

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й М И Р

6

1991

6

Н О В Ы Й
М И Р

1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (10-790)

Июль, 1991 г. (октябрь, 1990 г.)

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕВОРГ ЭМИН — К тебе из тьмы, стихи. Перевел с армянского Владимир Леонович	3
НОННА СЛЕПАКОВА — Пружина, стихи	4
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Бодался телёнок с дубом. Очерки лите- ратурной жизни	6
НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА — Надвись, стихи	117
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Четыре стихотворения	119
АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ — Я человек исторический, повесть. Окончание	121
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ — Сегодня, стихи	173

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ШУБКИН — Грустная правда	174
-----------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Ф. А. СТЕПУН — Мысли о России. Вступительная статья и составление Вадима Борисова Письмо к О. А. Шор. Публикация и комментарии Д. В. Иванова и А. Б. Шишкина	201
--	-----

К 120-летию со дня рождения И. А. Бунина

ВОПРОКИ НЕЛЕПЫМ ВЫМЫСЛАМ.. Письмо И. А. Бунина в редакцию «Октября». Вступительная заметка и публикация Д. Г. Санникова	240
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРИНА НОВИКОВА — Христос, Велес — и Пилат. «Неохристианские» и «неоязыческие» мотивы в современной отечественной культуре	242
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стр.

Литература и искусство

255

Л. Аннинский. «Как выбрать мед тоски из сатанинских сот?».

Е. Храмов. Китежанин.

Вячеслав Вс. Иванов. У истоков русского футуризма.

Политика и наука

263

Мира Петрова. «...остался самим собой».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Павел Басинский.— Анатолий Курчаткин. Записки экстремиста (Строительство метро в нашем городе). ◆

А. Коган.— Григорий Шурмак. Нас время учило. Повесть. ◆

Александр Агеев.— Петр Кожевников. Ученик. Петр Кожевников. Личная неосторожность. Повесть. ◆

В. Буцков.— Н. Нароков. Мнимые величины. Роман. ◆

Андрей Василевский.— Д. С. Мережковский. Записная книжка. 1919—1920

267

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

По не зависящим от редакции журнала «Новый мир» и издательства «Известия» обстоятельствам не выпущены последние четыре номера журнала за прошлый год. Поэтому мы печатаем № 9, 10, 11 и 12 «Нового мира» за 1990 г. в качестве № 5, 6, 7 и 8 за 1991 г.

Редакционная коллегия.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Новости экономики. Рассказ.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Кедр.

ИЗ АРХИВА ЗИНАИДЫ ШАХОВСКОЙ.

Ф. А. ХАЙЕК. Дорога к рабству. Перевод с английского Н. Ставиской. «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» ЧИТАЮТ НА РОДИНЕ. Из писем в редакцию «Нового мира».

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ. За страницей «Архипелага ГУЛАГ».

БОРИС ТАРАСОВ. Вечное предостережение («Бесы» и современность).

НАУМ ЛЕЙДЕРМАН. МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ. Между хаосом и космосом. Рассказ в контексте времени.

ГЕВОРГ ЭМИН

*

К ТЕБЕ ИЗ ТЬМЫ

Бабочка

В саду темно, а в комнате светло.
Пусть это каждый вечер повторяется —
ты вздрагиваешь, если о стекло
с размаху

мягко

тельце ударяется.

Еще, еще! И бьется и шуршит
созданье трепетное и наивное,
пыльцой стекло слегка запорошит
и жизнь отдаст — за что?

За что — вот именно!

Пускай рассудят сильные умы.
Я бился о стекло, как эта смертница —
годами! — рвался я к тебе из тьмы,
едва зажжешь окно

и в мире смеркнется.

Теперь, когда настал холодный день,
я нахожу в рассудке утешение:
стекло все пропускает — свет и темь, —
пустое,

гладкое

и совершенное.

Беда моя! Ты холодна была...
Твое окно, по счастью, не расколото:
навек

на глади твоего стекла
осталось это пепельное золото.

Римские каникулы

Уважаемое человечество,
опять и опять
я теряю твою вселенскую суть:
стоит ли душами устилать
или мостить безрадостный путь
драгоценными черепами,
чтобы этапами или толпами
от Нерона дойти до неона,
от неона...
прости,
но дальше нет пути.

И цена всему — лишь раскаянье
да неперенные временщики:
тот нерсничик,
этот — неронище,

неизвестный людской природе
еще...

Спаси меня от тоски,
столь гуманно распятой Бог!
Ты воскрес ведь — теперь бы
не смог,

не собрать бы костей,
ей-же, Господи, ей!
Располагают каникулы
(с их назойливой рифмой Калигула)
к сопоставленью времен:
относительно прошлых
настоящее — мольто капаче¹.
...Добрый старый злодей Нерон,
где там твой балаган,
что там игры твои жеребьячи!

Перевел с армянского ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ.

¹ По-итальянски — очень способное.

НОННА СЛЕПАКОВА

*

ПРУЖИНА

Концертный номер

В послевоенном багаже концертном
Был гвоздь программы, бивший наповал:
Нам, зрителям, обыкновенным смертным,
Он красотой скудость одевал.

Из полутьмы таинственной, глубинной
По грубому щелястому мосту,
Закуленная в кокон паутинный,
К нам шла актерка делать Красоту.

Она казалась пыльной и нечистой,
Замотана в бесцветное тряпье.
И дезинфекционный, закулисный
Дул ветерок — и подгонял ее.

Но падал луч — и мотылька ночного
В колибри, в махаона превращал,
И взлет внезапный верхнего покрова
Свистел атласом и парчой трещал,
И нежил, словно вишневый панбархат —
Так дивно пыль пушилась под лучом! —
Вот-вот, казалось, розами запахнет...
А что же хлорка? Хлорка ни при чем!

И шла покровов выброска и встряска,
Какая-то яванская метель:
Полдневно-изумрудная окраска,
Янтарный шелк, сапфирная синель,
И вдруг твердел российский белый иней
На выпуске китайской темно-синей...
И, серебром, как рыбка, облита
По всей точеной, выгнутой фигурке,
Вдруг застывала наша Красота,
Победоносно сбросивши кожурки.

И несколько блистательных минут
Надеялся с ней вместе каждый зритель:
Ее поймут, ее в балет возьмут,
И спать с ней не посмеет осветитель.

Мой друг подросток, будущий поэт,
Тогда еще не книжный, а тетрадный,
Рукоплескал в свои тринадцать лет,
И вождедел к волшебнице эстрадной,
И драгоценной почитал всерьез
Игру летучей ветоши и поз
Под непостижной техникою света...

Не зря тебя, словесник-виртуоз,
 Я вспоминаю, думая про это,
 И жалко мне актерку и поэта,
 Но жаль и осветителя до слез:
 Он знал, что за кулисами — мороз,
 Хоть волком вой, хоть зарывайся в стружку.
 И загодя в конурку он принес
 Два пирожка и малую чекушку,
 Чтобы согреть, раздухарить подружку,
 Царицу роз, владычицу стрекоз.

Пружина

«Мы не жили,— сказал нам К.,
 Вернувшись из Канады.—
 Еще не ведали пока
 Житейской мы отрады!»

Да, от рожденья наша плоть
 Комфорта не знавала,
 И скудость нас перемолоть
 Лет в сорок успевала.

О да, немотствовал наш дух,
 Подавлен и подвален.
 Мы говорить решались вслух
 В лесу иль средь развалин,
 И отключали телефон,

И радио включали,
 Чтоб не был слышен даже стон
 Того, о чем молчали.

Нас, как пружину, страх
 прижал,
 А ничего нет проще —
 Прижав, придать пружине жар
 Потенциальной мощи.

Как жемчуг спит на вязком дне
 И нимб — в клейме печати,
 Так в испытуемой стране —
 Надежда Благодати.

Вязание

Чей-то глумящийся взор...
 Пусть! Не могу оскорбиться,
 Лишь бы змеился узор,
 Петли копила бы спица.

Нет, не посмею сказать,
 Что обманулась, ослепла:
 Знала, что села вязать
 Свитер из пены и пепла.

Но от движенья рука
 Грелась,— и теплилось сердце,
 И шевеленье клубка
 Мир заставляло вертеться.

Что же, спасибо на том.
 Трезвый озноб осязанья
 Восторжествует — потом...
 Пусть! Я не брошу вязанья.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

Очерки литературной жизни

Исходная часть этой книги, не предполагавшая продолжения, написана А. И. Солженицыным весной 1967-го перед его письмом IV съезду советских писателей. Затем по мере развития событий писались три Дополнения к ней — в ноябре 1967-го, феврале 1971-го и декабре 1973-го. Вслед за тем в феврале 1974-го писатель был выслан из страны. В Швейцарии летом 1974-го было написано Четвертое Дополнение, описывающее развязку: арест и высылку, — и в таком составе книга опубликована в Париже в 1975-м в издательстве YMCA-PRESS. Сейчас в нашем журнале книга печатается в доработанном виде. Тогда же, в 1974 — 1975-м в Швейцарии, было написано и Пятое Дополнение, «Невидимки», — о друзьях и помощниках, кто был рядом с автором в его писательском погнолье. Пятое Дополнение не вошло в книгу, так как более ста человек, упоминающихся там, ради их безопасности не могли быть тогда публично названы. Теперь автор спросил их согласия (некоторые уже умерли). В конце 1991 года «Новый мир» напечатает и Пятое Дополнение.

ОГОВОРКА

Есть такая, немалая, вторичная литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да ещё литературные, — не совестно ли?

И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскрести вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.

Одно — наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что думаем и как истинно было дело, — мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость ещё продлится — не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадёт с нами невысказанное.

Обстоятельство второе — что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой логонько рвануть. Петля ли порвётся, шею ли сдушит, — предвидеть точно нельзя.

А тут как раз между двумя глыбами*, — одну откатил, перед второй робею, — выдался у меня маленький передых.

И я подумал, что, может быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить.

Апрель 1967

© 1990 Александр Солженицын.

* Между «Архипелагом» и «Красным Колесом» (Примеч. 1986)

ПИСАТЕЛЬ-ПОДПОЛЬЩИК

То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво — когда писатели.

У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дузелью, того — разломом семейной жизни, того — разорением или испоконной невылазной нищетой, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть ещё горше расцарапает грудь изнутри.

Но всё-таки: не о том печься, чтобы мир тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, — этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно, так чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и не соединённые, не известные никому листы томились в ней. В 20-е годы они были обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е наконец и подготовлены к печати Д. И. Шаховским, — но тут Шаховского посадили (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешая их печатать из-за... их реакционности! Так Чаадаев установил рекорд — уже 110 лет после смерти — замалчивая русского писателя. Вот уж написал, так написал!

А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше в стол, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения, да вскоре уже лепили и без них). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.

Но шагнув через порог ею же порождённых революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину, и меж сближенных стен, всё более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может пройти. А ещё лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не dokonечно отчаиваясь увидеть при жизни свои книги в печати.

До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.

С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под горами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел: писать только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди — напечататься.

И — изжил я досужную мечту. И взамен была только уверен-

ность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена — те поразит, и кому невидимым струением посылается — те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.

Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть — многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрической системой, а на пересылках наламыывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько — и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного, — уже неделя в месяц.

Тут началась ссылка, и тотчас же в начале ссылки — проступили метастазы рака. Осенью 1953 очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья — сами по лагерям. Мама — умерла. Жена — не дождалась, вышла за другого.

Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, бессонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать, и скручивал листы по несколько в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского, у неё горлышко широкое. Бутылку я закопал на своём огороде — и под новый, 1954 год поехал умирать в Ташкент.

Однако я не умер. (При моей безнадежно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель.) Тою весной в Кок-Тереке, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2—3 года только?), в угаре радости я написал «Республику труда». Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обзреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать. Путь к этому открыл мне Николай Иванович Зубов (см. Пятое Дополнение, очерк 1): как хранить редакции рабочие и окончательную. Затем я и сам стал осваивать новое ремесло, сам учился делать *зачачки*, далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые и в работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания, ещё надо было теперь учиться ремеслу — прятать написанное.

А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы и под солнцем, почти не уходящим в облака, — ловить короткую облачность). А микрофильмы потом — вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: Соединённые Штаты Америки, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого более на Западе не знал, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне.

Мальчишкой читаешь про фронт или про подпольщиков и удивляешься: откуда такая смелость отчаянная берётся у людей? Кажет-

ся, сам бы никогда не выдержал. Так я думал в 30-е годы над Ремарком («Im Westen nichts neues»), а на фронт попал и убедился, что всё проще гораздо, и вживаешься постепенно, а в описаниях — куда страшнее, чем оно есть.

И в подполье если с бухта-барахта вступать, при красном фонаре и чёрных масках, да клятву какую-нибудь произносить или кровью расписываться, так наверно очень страшно. А человеку, который давным-давно выброшен из семейного уклада, не имеет основы (уже и охоты) для постройкой внешней жизни, — тому зацепка за зацепкою, похоронки за похоронками, с кем-то знакомство, через него другое, там — условная фраза в письме или при явке, там — кличка, там — цепочка из нескольких человек, — просыпаешься однажды утром: батюшки, да ведь я давно подпольщик!

Горько, конечно, что не для революции надо спускаться в то подполье, а для простой художественной литературы.

Шли годы, я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную ничтожно-покорную жизнь — но к подпольно-литературной изнанке её я так же привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер страницы взять, как стеснить строки, на какой машинке, и куда потом экземпляры, — все эти вопросы решались не дыханием непринуждённым писателя, которому только бы достроить вещь, наглядеться и отойти, — а ещё и вечно напряжёнными расчётами подпольщика: как и где это будет храниться, в чем будет перевозиться, и какие новые захоронки надо придумывать из-за того, что всё растёт и растёт объём написанного и перепечатанного.

Важней всего и был объём вещи, — не творческий объём в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут выручали меня ещё неспорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти её из Москвы; полное уничтожение (всегда и только — сожжение) всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая, строчка к строчке (не в один интервал, 2 щелчка, но после каждой строчки я выключал сцепление и ещё сближал их от руки), без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончании перепечатки — сожжение и главное беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надёжным ещё с первых литературных шагов в лагере. По этой программе пошёл и роман «В круге первом», и рассказ «Щ-854», и сценарий «Знают истину танки», не говоря о более ранних вещах. (До слёз было жалко уничтожать подлинник сценария, он особенным образом был написан. Но в один тревожный вечер пришлось его сжечь. Сильно облегчалось дело тем, что в рязанской квартире было печное отопление. При центральном сожжении гораздо хлопотливей.)

Усвоением уроков Зубова я очень гордился. В Рязани я придумал хранение в проигрывателе: внутри нашёл полость, а сам он так тяжёл, что на вес не обнаружишь добавки. И халтурную советскую недоделку верха шкафа использовал для двойной фанерной крыши.

Все эти предосторожности были, конечно, с запасом, но бережёного Бог бережёт. Статистически почти невероятно было, чтобы безо всякого внешнего повода ко мне на квартиру нагрнуло бы ЧКГБ, хоть я и бывший зэк: ведь миллионы их, бывших зэков! (А если бы нагрнули, то — смерть, ничто меньшее не ждало меня при тогдашней безвестности и беззащитности, — как сможет убедиться читатель, прочтя когда-нибудь ну хотя бы исходный полный текст «Круга», 96 глав.) Однако это всё — пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок».

Безопасность приходилось усилить всем образом жизни: в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, при-

ятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости — потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничего внимательного взгляда,— жена строго выдерживала такой режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чуждость литературе. (Литературная «враждебная» деятельность ставилась мне в вину ещё по следственному делу — и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать.) Наконец, на каждом жизненном шагу сталкиваясь с чванством, грубостью, дурацтвом и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться — никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любой глупостью.

Понурая свинка глубок корень роет.

Это было очень нелегко! Как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же номера на мне, нисколько не поднята голова, нисколько не разогнута спина и каждый погон надо мною начальник. Всё негодование могло укипеть только в очередную книгу, а этого тоже нельзя, потому что закон поэзии — быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.

Но все эти дани я платил спокойно: мне работалось всё равно хорошо, плотно, даже при скудости свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне дико было слушать, как объясняли по радио обеспеченные, досужие, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я ещё в лагере научился складывать и писать на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешало мне и радио, и разговоры, — но даже под постоянный рёв грузовиков, наезжающих на наше рязанское окно, я одолел неведомую мне манеру киносценария. Лишь бы выдался свободный часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия.

Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания — пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, «второй жизни» после удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературные газеты, её бесчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и натужные радиоинсценировки — раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов, — наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо не то у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они — и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить главной правды, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась *соцреализмом*. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную

романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.

И ещё с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких — замкнутых упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда, — составляют её не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придёт пора — и все мы разом выступим из глубины моря, как Тридцать Три богатыря, — и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно.

И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохранённые верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрём. Я всё ещё не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература — объяснить потерянному и смятенному уму: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 1917 года вьётся и вяжется.

Но вот прошли года — и к тому, кажется, склонилось, что ошибка я по всем трём своим убеждённостиам.

Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нём всё, что даёт питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и «Тёркина», и «Тёркина на том свете», и крутолучинских мужиков Залыгина? Как не признать живыми имена Шукшина, Можаяева, Тендрякова, Белова, Астафьева да и Солоухина? И Максимов, Владимов. И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имён, сюда это не идёт. А ведь есть ещё — смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, презревший Булгакова, исторгнувший Ахматову и Пастернака, представлял мне из подполья совершенный Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захлапившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлён же я и очень рад своей ошибке.

Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких — и счастливых таких! — оказалось совсем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже, может быть, гениев — втёрты в землю без следа, без концов, без отдачи. (Или они ещё упорнее и хитрее нас? — и даже сегодня пишут безмолвно и не высовываются, зная, что час Свободы не достигнут? Допускаю. Потому что и обо мне бы кто-нибудь рассказал в секции прозы годиком раньше — ведь не поверили ж бы?)

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочёл их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался. Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много ещё было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть, — и я смолчал, продолжал писать.

Ошибся я и в третьем своем убеждении: гораздо раньше, ещё при нашей жизни, начался наш первый выход из бездны тёмных вод.

Мне пришлось дожить до этого счастья — высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.

А дальше, наоборот, замедлилось — потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждое петлёю обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотливо (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непримчивый швырнуть последние камешки из последних силёнок.

Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?

* * *

Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом дрогнул. Это было лето 1960 года. От написанных многих вещей — и при полной их безвыходности, я стал ощущать переполнение, потерял лёгкость замысла и движения. В литературном подпольи мне стало не хватать воздуха.

Сильное преимущество подпольного писателя — в свободе его пера: он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не стоит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины. Но есть в его положении и постоянный ущерб: нехватка читателей, и особенно литературно-изодрённых, требовательных. Ведь своих немногих читателей (у меня их было меньше десятка, главным образом бывших эзков, да и то никому из них не удалось прочесть все вещи, — ведь живём в разных городах, ни у кого нет ни лишних дней, ни лишних средств для поездок, ни лишних комнат для гощения), своих читателей писатель-подпольщик выбирает совсем по другим признакам: политической надёжности и умению молчать. Эти два качества редко соседствуют с тонким художественным вкусом. И так, жёсткой художественной критики со знанием современных литературных норм писатель-подпольщик не получает. А оказывается, что эта критика, трезвая топографическая привязка написанного в эстетическом пространстве, — очень нужна, каждому писателю нужна, хоть в пять лет раз, хоть в десять лет разочек. Оказывается, пушкинский совет:

«Ты им доволен ли, взыскательный художник?» — хотя и очень верен, но не до самого полна. Десять и двенадцать лет пиша в глухом одиночестве, незаметно распясываешься, начинаешь прсцать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного вскрика; то пошловатой традиционной связки в том месте, где более верного крепления не нашёл.

Позже, когда я из подполья высунулся и облегчал свои вещи для наружного мира, облегчал от того, чего соотечественникам ещё никак на первых порах не принять, я с удивлением обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и даже усиляется в воздействии; и те места стал обнаруживать, где не замечал раньше, как я себе поблажал: вместо кирпича целого, огнеупорного, уставлял надбитый и крохкий. Уже от первого касания с профессиональной литературной средой я почувствовал, что надо подтягиваться.

Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве — правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московские театры 60-х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не

драматургов, театры режиссёров как почти единственных творцов спектакля), я жалею, что писал пьесы*.

В 1960 году всего этого я не мог бы точно назвать и объяснить, но ощутил, что коснею, что бездействует уже немалый мой написанный ком, — и какую-то потяготу к движению стал я испытывать. А так как движения быть не могло, некуда было пошевелиться даже, то я стал тосковать: упиралась в тупик вся моя так ловко задуманная, беззвучная, безвидная литературная затея.

Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: писателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напечатают пусть после смерти. Не говоря о том, что Толстой ко всем благим мыслям приходил лишь после круга страстей и грехов, — здесь он ошибся даже и для медленных эпох, а уж для быстрой нашей — тем более. Он прав, что жажда повторного успеха у публики портит писательское перо. Но больше портит перо многолетняя невозможность иметь читателей — и строгих, и враждебных, и восхищённых, невозможность никак повлиять пером на окружающую жизнь, на растущую молодёжь. Такая немота даёт чистоту, но и разгружает от ответственности. Суждение Толстого опрометчиво.

Современная печатная литература, до той поры только смешившая меня, тут уже стала раздражать. Появились как раз мемуары Эренбурга и Паустовского — и я послал в редакции резкую критику, конечно никем не принятую, потому что моего имени никто не знал. По форме статья моя получилась как бы против мемуарной литературы вообще, а на самом деле это был упрёк, что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, всё стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пусячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залепливают, чтоб мы дольше не видели истины, — а чего уж так они боятся, писатели с положением, неугрожаемые?

В ту осень, мыкаясь в своей норе и слабая, стал я изобретать: не могу ли я всё-таки что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать — но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать! Так я задумал писать «Свечу на ветру» — пьесу на современном, но безнациональном материале: о всяком благополучном обществе нашего десятилетия, будь оно западное или восточное.

Эта пьеса — самое неудачное изо всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай её 4—5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и всё это — сочинённость. Много я на неё потратил труда, думал кончил — а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре, — почему же не удалось? Неужели только потому, что я отказался от российской конкретности (не для маскировки вовсе, и не только для «открытости» вещи, но и для большей общности изложения: ведь о сытом Западе это ещё верней, чем о нас), — а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой безъязыкой манере — и получается, почему ж у меня?.. Значит, нельзя в абстракции сделать полтора шага, а всё остальное писать конкретно.

Другую попытку я сделал в 1961, но совсем неосознанно. Я не знал — для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал *облегченно*, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то — и положил. Но положил уже открыто, не

* Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее — на том же круге материала и при том же авторском взгляде.

пряча. Это было очень радостное освобождённое состояние! — не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе — счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат.

Я уставал уже от конспирации, она задавала мне задачи головоломнее, чем само писательство. Но никакого облегчения ни с какой стороны не предвиделось, и западное радио, которое я слушал всегда и сквозь глушение, ничего не знало о глубинных геологических сдвигах и трещинах, которые скоро должны были отдалиться ударом на поверхность. Ничего никто не знал, ничего я радостного не ожидал, и взялся за новую отделку и перепечатку «Круга». После бесцветного XXI съезда, втуне и безмолвие оставившего все славные начинания XX, никак было не предвидеть ту внезапную заливистую яростную атаку на Сталина, которую назначит Хрущёв XXII съезду! И объяснить её, мы, неосведомлённые провинциалы, никак не могли!

Однако она произошла, и не тайная, как на XX съезде, а открытая! Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII съезде! В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи — и стены моего затённого мира заходили как занавеси театральных кулис, и в своём свободном колебании расширялись и меня колебали и разрывали: да не пришёл ли долгожданный страшный радостный момент — тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?

Я не смел ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!

А тут ещё хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая у него была нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а «мы не используем». Такая нотка, что просто нет у «Нового мира» вещей посмелее и поострее, а то бы он мог.

Твардовского времён «Муравии» я несколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи. И примечательных отдельных стихотворений я у него не знал, не обнаружил, просматривая в ссылке двухтомник 1954 года. Но со времён фронта я отметил «Василия Тёркина» как удивительную удачу: задолго до появления первых правдивых книг о войне (с некрасовских «Окопов» не так-то много их и всех удалось, может быть полдюжины), в потоке утарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбёжку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязнённую — по редкому личному чувству меры, а может быть и по более общей крестьянской деликатности. (Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться.) Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! — оттого и вышло чудо. Я это не по себе одному говорю, я это хорошо наблюдал на солдатах своей батареи во время войны. По условиям нашей звукоразведывательной службы они даже в боевых условиях много имели времени для слушанья чтения (ночами, у трубок звукопостов, а с центрального читали что-нибудь). Так вот из многого, предложенного им, они явно выделили и предпочли: «Войну и мир» и «Тёркина».

Но потом лагерный, и ссыльный, и преподавательский, и подпольный недосуг не дали мне прочесть ни «Дома у дороги», ни другого чего. (Только «Тёркина на том свете» читал я в списках ещё в 56-м году, Самиздату всегда предпочтение и внимание.) Я не знал даже, что публиковалась в «Правде» глава «За далью — даль», что поэма в том году получила ленинскую премию. «За далью — даль» я

прочёл гораздо позже, а главу «Так это было» — когда попалась мне в «Новом мире».

По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой: трудоночь тётки Дарьи, «ура! он снова будет прав...» и даже «Москва высотная вставала, как некий странный павильон». И был уже тогда у меня первый толчок: не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?

Но всё ту же главу перелистывая и раздумывая, я встречал и «грозного отца», и «правоту» его обок с неправотою, и ему мы «обязаны победой», и родство Сталина с бранной сталью,

И в нашей книге золотой...
Ни строчки, даже запятой...
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, всё, что с нами было,—
Было!

Уж слишком мягко: сорокалетний позор лагерей — не заслонил чести? Уж слишком бесконтурно: «что было — то было», «тут ни убавить, ни прибавить». Так и обо всех видах фашизма можно сказать. Тогда и Нюрнберга не надо? — что было, то было... ? Философия беспомощная, не вытягивающая на суждение об истории*. Поэт трогал ногой рядом с мощёной тропкой, но страшно было ему сходить.

И я не знал: если выдраться к нему из трясины и руки протянуть: сходи! — то пойдёт или упрётся?

И о «Новом мире» я не имел отличительного суждения: по тому, чем наполнены были его главные страницы, он для меня мало отличался от остальных журналов. Те контрасты, которые между собою усматривали советские журналы, были для меня ничтожны а тем более для дальней исторической точки зрения — спереди ли, сзади. Все эти журналы пользовались одной и той же главной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями,— и всего этого я даже ложкой чайной не мог принять.

Но — что-нибудь же значил гул подземных пластов, прорвавшийся на XXII съезде?.. Я — решился. Вот тут и сгодился неизвестно для какой цели и каким внушением «облегчённый» «Щ-854». Я решился подать его в «Новый мир». (Не случись это — случилось бы другое, и худшее: я послал бы фотоплёнку с лагерными вещами — за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет опубликовано и замечено, — не могло бы произойти и сотой доли того влияния. Но уже целый год тошнота моего тупикового положения нудила меня к какому-то прорыву.)

Сам я в «Новый мир» не пошёл: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке.

* Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» вспоминает, как та пятью годами раньше гневалась на Твардовского за тогдашнюю главу «Друг детства»: «Новая ложь взамен старой!»

Страна? При чём же здесь страна!..
Народ? Какой же тут народ!

И поэт вместе с эзком

...ведал всё. И хлеб тот ел.

И эзк

По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.

Да: для 1956 удобная лесенка лжи.

Я отдал — и охватило меня волнение, только не молодого славянолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след.

Это было начало ноября 1961. (В случайной записи от того месяца: «Ощущение высокого взлёта на качелях: страшно, дух захватывает — и хорошо»). Я и пути не знал в московские гостиницы, а тут, пользуясь предпраздничным безлюдьем, получил койку. Здесь я пережил дни последних колебаний — ещё можно было остановить, вернуть. (Остался я не для колебаний, а для чтения самиздатского «По ком звонит колокол», полученного на три дня. До той поры я и Хемингуэя ни одной строчки не читал.)

Гостиница оказалась в Останкине, совсем рядом с той семинарий-шарашкой, где происходит действие моего «Круга» и где, уже с первым лагерным опытом, я по-серьёзному начал писать в 1948. Пережмая с Хемингуэем, я выходил побродить мимо забора своей шарашки. Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкая всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши споры и замыслы.

В десятке метров брёл я теперь от того архиерейского домика-ковчега и тех лип, вечных лип, под которыми три года вышагивал-вышагивал-вышагивал утром, днём и вечером, мечтая о далёкой светлой свободе — в иные, светлые, годы и в посветлевшей стране.

А теперь, в пасмурный осклизлый день, по мокренькой ноябрьской слякоти, я шёл по другую сторону забора, по тропинке, где только смена караула от вышки к вышке пробиралась раньше, и думал: что ж я наделал? Ведь я — опять в их руках.

Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..

ОБНАРУЖИВАЯСЬ

А потом целый месяц в Рязани я тягостно жил: где-то невидимо двигалась теперь моя судьба, и я всё больше уверялся, что — к худшему. Исконному эзку, сыну ГУЛАГа, почти недоступно верить в лучшее. И за лагерные годы отвыкли от всякого собственного решения (почти всегда во всём крупном ты отдан течению рока), мы даже привыкаем, что безопаснее ничего не решать, не предпринимать: живёшь — и живи.

А я вот нарушил этот лагерный закон, и теперь было страшно. Да шла ж работа и над новой редакцией «Круга»: все тексты, и лагерных всех вещей, были у меня в квартире, и тем более губительным легкомыслием казалась эта затея с «Новым миром».

Как бы ни гремел XXII съезд, какой бы памятник ни сулились поставить погибшим экам (впрочем — только коммунистам, впрочем — и по сей день не поставили), а поверить, что вот уже пришло время правду говорить — ну, в это же поверить нельзя, ну слишком отчужены головы наши, сердца и языки! Мы уже смиренны, что и никогда не скажем правды и никогда не услышим.

Однако 9 декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищён статьёй» («статьёй» договорились мы зашифровать рассказ, статья могла бы быть и по методике математики). Как птица с лёта ударяется в стекло — так пришла та телеграмма. И кончилась многолетняя неподвижность. Ещё через день (в день моего рожденья как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского — вызов в редакцию. А ещё на завтра я ехал в Москву и, пересекая Страстную площадь к «Новому миру», суеверно задержался около памятника Пушкину — отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы.

Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице «Нового мира» — в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был

полдень, но Твардовский ещё не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского.

Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долгохраняемая и затаённая моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая, даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю,— Анну Самойловну не предупредили, оставляя, о свойствах этой вещи. Как-то А. С. начала расчищать стол, прочла несколько фраз — видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги — Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А. С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглохнет, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебраться рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости,— и в первые руки угодить — Твардовскому. Но! — не отвратился бы он от рукописи из-за её убогого слепленного сжатого вида. Попросила А. С. перепечатать за счёт редакции. Ушло на это время. Ещё ушло — на ожидание, пока Твардовский вернётся из очередного приступа своей слабости (несчастных запоев, а может быть спасительных, как я понял постепенно). Но главная трудность была — как заманеврировать членов редакции и прорваться к Твардовскому, который редко её принимал и несправедливо недолюбливал, то ли не оценивал её художественного вкуса, трудолюбия и отдачи всей себя интересам журнала. Хорошо, однако, зная суть и слабые места всех своих начальников, она у первого из них, зав. отделом прозы Е. Н. Герасимова, в прошлом достаточно трякнутого судьбой, спросила: «Есть вещь о лагерях. Будешь читать?» Герасимов отмахнулся: «Не морочь мне голову этими лагерями». Тот же вопрос — второму заместителю Главного, А. Кондратовичу — маленькому, как бы с ушами настороженными, дёрганому и залуганному цензурой. Ответил Кондратович, что о лагерях он всё уже знает, ничего ему не надо. К тому ж печатать всё равно нельзя. Тогда А. Берзер положила рукопись перед ответственным секретарём Б. Заксом и спросила коварно так: «Посмотрите, вам хочется это читать?» Нельзя было спросить ловчей. Уже много лет Б. Г. Заксу, сухому невесёлому джентльмену, никак не хотелось от художественной литературы, чтоб она испортила ему конец жизни, коктейльские солнечные октябрь и лучшие зимние московские концерты. Он прочёл первый абзац моего рассказа, положил молча и ушёл. (Да ведь печатать же нельзя.)

Теперь А. Берзер имела полное право обратиться и к Твардовскому,— ведь все отказались! Она дождалась случая, правда, в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и ещё такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал — эту давайте*. Но опомнился и подскочил Кондратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!

Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) тёмный автор лагерного рассказа даже расстановки ос-

* А «Софье Петровне» пришлось ещё несколько лет ожидать — до своей четверти века и зарубежного опубликования. Очень понятное у нас, это совсем непонятно Западу: один и тот же журнал не посмел бы опубликовать вторую повесть на тюремную тему. Ведь получалась бы линия...

новых членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение — неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.

Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это — глазами мужика. Не пустили б моего Денисовича три охранителя Главного — Дементьев, Закс и Кондратович.

Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбилось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поране.

Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не прочитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще, говорят, никаких рукописей второй раз не читает, даже и после авторских уступок). Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утрение, но для литераторов ещё ночные, и приходилось ждать ещё. Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнавать у Берзер: кто же автор и где он. Так получена была цепочка на Копелева, и теперь Твардовский звонил туда. Особенно понравилось ему, что это — не мистификация какого-нибудь известного пера (впрочем, он и уверен был), что автор — и не литератор, и не москвич.

Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов.

Он кинулся по друзьям, но вот странно: в пятьдесят один год, известный поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в союзе писателей, немелкий и среди коммунистов, — Твардовский не имел ярких друзей: свой первый заместитель (недобрый дух) Дементьев; да собутыльник, мутный И. А. Сац, шурин и посмертный оруженосец шутовского Луначарского; да М. А. Лифшиц, ископаемый марксист-догматик. Говорят, были периоды дружбы с Виктором Некрасовым, с Эм. Казакевичем, ещё с кем-то, но потом шла дружба по колдобинам, утыкалась, перепрокидывалась. Значит, и по окружной среде, и в самом Твардовском было: обречённость на одинокое стоянье. И от крупности. И от характера. И оттого что из мужичества он пришёл. И от неестественной для поэта жизни советского вельможи.

Пока распивались эти бутылки и затребовалась для дивления моя исходная рукопись, где буквы были стеснены как согнанные овцы и не было полоски белой пройти редакционному карандашу, — в редакции, как велось у них для важных случаев, составлялись письменные заключения о рукописи. Кондратович написал: «...Мы это, наверно, не сможем напечатать... Автору стоило бы прежде всего посоветовать ввести мотив ожидания заключения заключенными конца страданий... Нужно бы почистить язык». Дементьев: «Угол зрения: в лагере ужасно и за границами лагеря всё ужасно. Случай сложный: не печатать».

тать — бояться правды... печатать — невозможно, всё же показывает жизнь с одного боку». (Да не выведет отсюда читатель, что Дементьев действительно колебался — печатать или нет. Он хорошо знал, что печатать и невозможно, и вредно, и не будут, однако раз его шеф так втравился и увлёкся, нельзя было слишком круто отваливать.)

Но всё это я потом, не в один год, узнал и сметил. А в тот мой первый приезд Кондратович, стараясь быть важным (впрочем, его неосновательность и несамостоятельность видны были мне с летучего взгляда), значительно спросил меня как ошастливленного робкого автора:

— А что у вас есть ещё?

Лёгкий вопрос! Естественный вопрос — им надо понять, насколько случайна или не случайна моя удача. Но то и была моя главная тайна. Не для того я хитрил пять лет на лагерных обысках, восемь лет изобретал заначки в ссылке и на воле, чтобы поддерживать теперь любезную беседу. Я отломил Кондратовичу:

— Я не хотел бы начинать наше знакомство с этого вопроса.

Приехал Твардовский, и меня позвали в их большую редакционную комнату (новомирцы тогда располагались тесно, и кабинет Твардовского считался в открытом углу той же комнаты). Лишь по плохим газетным фотографиям я его знал и при слабой моей схватчивости на лица мог бы не узнать. Он был крупный, кругом широкий, но подкатился и ещё один, тоже крупный и тоже кругом широкий, да просто-таки симпатяга, еле сдерживающий своё добродушие. Этот второй оказался Дементьев. А Твардовский соответственно моменту держался с достойной церемонностью, однако и сквозь неё сразу поразило меня детское выражение его лица, — откровенно детское, беззащитно детское, ничуть, кажется, не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью тронем.

Вся головка редакции расселась за большим старинным догвоальным столом, я — против Александра Трифоновича. Он очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он всё больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я — он.

Он смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на ум, — перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца; он с такой ласковостью и умилением цитировал, будто сам это всё выстрадал и это даже любимая его вещь. (Другие члены редакции все кивали и поддакивали похвалам Главного, только, пожалуй, Дементьев сидел умеренно-безучастный. Он и не выступил в этот день.)

А сдержанней всех и даже почти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости, требовать уступок и выбросов, а я ни за что их делать не буду — ведь не знают они, что держат в руках уже облегчённую вещь, уже обкатанную. Я понимал, что это только стелят мягко, а сейчас-то и приступят с ножницами — отрезать всё, чем колетса лагерь, и все лохмотья, и все цветки. И своим мрачным видом я им заранее показывал, что насколько я не вскружен и не очень-то дорожу новым знакомством.

Но чудо! — мне не выламывали рук. Но чудо! — не вытаскивали и не разрезали ножниц. Да не сошёл ли я с ума? Неужели редакция серьёзно верит, что это можно напечатать?

Всего-то замечаний было у Твардовского — обходительных просьб, самым бережным голосом высказанных! — два: что не может Иван Денисович зариться на левую чужую работу — раскраску ковров; и что не может он совсем уж не допускать, что ступит когда-нибудь на волю. Так это, пожалуй, и верно было, это я легко тут же

пообещал. А Закс произнёс, что не может Иван Денисович всерьёз верить, что Бог луну на звёзды крошит. А Марьямов указал мне на два-три неверных украинских слова.

Так приятели задушевные, так же сотрудничать можно! Не такими я представлял себе наши редакции...

Предложили мне для весу назвать рассказ повестью, — ну, и пусть будет повесть*. Ещё, не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием «Щ-854» повесть никогда не сможет быть напечатана. Не знал я их страсти к смягчающим, разводняющим переименованиям, и тоже не стал отстаивать. Переброской предположений через стол с участием Копелева сочинили совместно: «Один день Ивана Денисовича».

Предупредил меня Твардовский, что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет усилий.

С любопытством задавали мне разные смежные вопросы. Сколько времени я писал эту повесть? (Осторожно, взрывается! Сорок пять дней я её писал. А что ж тогда остальные годы?) Да видите, трудно подсчитать, ведь всё урывками, после школы... В каком году начал, в каком кончил, сколько она у меня лежала? (Все даты огнём горели во мне! — но начни их называть, и сразу станет ясно, сколько ещё пустого времени.) Я как-то не запоминал годов... А почему я так тесно печатаю — без просветов, с двух сторон? (Да вы понимаете, что такое кубические сантиметры, вислоухие?!...) Просто, знаете, в Рязани бумаги не купишь... (Что тоже правда.)

Расспрашивали о моей жизни, прошлой и настоящей, и все смущённо смолкли, когда я бодро ответил, что зарабатываю преподаванием шестидесять рублей в месяц, и мне этого хватает. (Я в Рязани и не хотел полной ставки, чтобы время было, а при высокой зарплате жены она сама содержала своих трёх старушек.) Такие цифры для литераторов вообще за чертой понимания, за несколько строк рецензии столько платят. Да и одет я был в уровень со своей зарплатой. Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс — моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане, силясь держать внимание на том, чтобы не сказать о себе лишнего.

Упорнее всего Твардовский и редакция добивались: а что у меня есть ещё? ещё — что? ещё? Пробегая мои похороненные от 1948 года пласты, я выбирал, что ж им назвать. Едучи сюда, я не готовился ничего больше открывать, но что-то надо было, трудно было убедить их, что «Иван Денисович» написан как первая проба пера.

Говорила лиса мужику: ты мне дай только на воз лапку положить, а вся-то я и сама вспыргну.

Так и со мной.

Пообещал я, что покопаюсь к следующему разу, что кажется ещё у меня рассказик найдётся, да несколько этюдиков, да несколько стихов. (Тут обрадованно изрек Кондратович, что и — хорошо, лагерная тема и счерпана «Иваном Денисовичем», и хорошо бы мне взяться за фронтовую. Двадцать лет, тысячи ртов, они дружно дудили в армейскую дуду — и тема не была исчерпана! А пятидесяти миллионам, погибшим в ссылках и лагерях, довольно было буторка моего рассказа!..)

* Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович» — конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мелоче рассказа я бы выделял новеллу — легкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть — это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько — захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли.

За тот декабрь ещё раз два мне пришлось приезжать в Москву. Смягчили в рассказе десяток выражений, но правильно предупредила меня Берзер, с которой мы быстро и тепло сдружились, что никогда не поймёшь, что пройдёт в цензуре, а что зацепится, и лучше подольше ничего не исправлять. Да у меня и настроения не было уступать. Мне легче было забрать рассказ назад, чем его изувечить.

В те приезды я и привёз Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько «Крохоток» побезобиднее и рассказ «Не стоит село без праведника», облегчённый от самых непроходимых фраз. «Крохотки» он признал «записями в общую тетрадь про запас», их жанра совсем не почувствовал. О стихах сказал: «иные печатать можно, но *выстрела* не получится, а хочется *выстрела*». (Мятежный просил бури! — нет, он совсем не заплеснул!) О «Матрёне» же состоялось 2 января 1962 редакционное обсуждение.

(С этого времени я догадался, что сгодятся когда-нибудь записи литературных встреч, и стал записывать всегда посвежу, а то и при самих обсуждениях. Так записано и всё о Твардовском — и теперь жалко не привести тех встреч достоверно и объёмно, хотя это может отяготить построение «Очерков», лишить их краткости и лёгкости, каких бы я хотел.)

За тем же большим долгоовальным столом, где недавно так много их сидело, теперь Твардовский не собрал кворума: кто прочесть не успел, кого в редакции не было. Пришёл Дементьев (на полной ставке в Институте мировой литературы, он в «Новом мире» появлялся не надолго, здесь был не заработок его, а — важная миссия). Твардовский пригласил: «Саша, садись!» Но Дементьев отмахнулся, как от пустого: «Да чего ж тут говорить!» Он это по виду сокрушённо сказал (всё равно, де, не напечатать), но я воспринял иной тон: рассерженность, что я несу им рассказы один наглее другого и совлекаю Твардовского с проверенного мощёного пути. Я тогда же ощутил верный смысл этого их короткого перекора.

Они были на «ты», очень всегда запросто, оба — Саши. Никто в редакции не смел Твардовскому возражать, один Дементьев поставил себя с независимым мнением и вволю спорил, и даже так уставилось, что Твардовский никакого решения не считал окончательным, не столковавшись с Дементьевым, — не убедя или не уступя. А особенно дома (они в одном доме на Котельнической жили) Дементьев умел брать верх над Главным: Твардовский и кричал на него, и кулаком стучал, а чаще соглашался. Так незаметно один Саша за спиной другого поднаправлял журнал. Говорят, влиял Дементьев осторожно, очень взвешенно. Твардовский вряд ли бы потерпел, если б Дементьев всегда только удерживал его. Немало было случаев, что он и подталкивал — нечего, де, робеть (так было с рассказами В. Гроссмана, например). И почти неизменно он выставлял — «Саша, ты не прав! Это будем печатать!», когда Твардовский упирался по каким-то личным причинам. Дементьев спорил — но и знал меру, где отступить, признать себя побитым. Он никогда не бывал пусто-чванен, надут, и это облегчало существование ему самому и членам редакции. К нему не боязно было обратиться любому редактору, Дементьев всегда был настроен делово, живо выхватывал суть, и какую статью или абзац можно было пособить протолкнуть, — набросив ширмочку, переставив слова, — пособлял непременно. Он способствовал, чтобы журнал был и посвежей, и посочней и даже поострей — но всё в рамках разумного! но стянутое проверенным партийным обручем и накрытое проверенной партийной крышкой!

Он и с авторами разговаривал свободно, успешно: лишённый самодовольства, он имел глаза рассмотреть автора и правильно с ним обратиться. Он очень приятно окал, улыбался приятно, и знал за собой, как он нравится собеседникам — толстоморденький симпатичный мужичок, с очень уже прореженными, чуть вьющимися волосами,

под шестьдесят лет. Он и прищуриться уметь и вполголоса намекнуть — свойский паренёк, понятный каждому. Да вот он охотно принимает вашу рукопись! — «ну поработаем, конечно, *поработаем!*» (и исковеркаем). Он и перед Главным, перед которым вы робеете, умеет за вас замолвить: «Саша, ты прав, это дерьмо, но автору же нельзя вложить твою голову. Ну, поддержим его, подправим, напечатаем».

Но там, где разрывался партийный обруч, где выбивалась крышка, — там Дементьев не понимал, о чём можно толковать? Там вступало сердце и зрение Твардовского. Так сорвалось у Дементьева с «Иваном Денисовичем»: впечатления бессонной ночи и двойного чтения были слишком сильны над Твардовским, чтобы рывку его поэтического и мужицкого чувства Дементьев отважился противостать.

Впрочем, это тоже всё годами позже я узнал и понял. А тогда только чувствовал в Дементьеве врага. Я ещё не понимал, что главное обсуждение «Матрёны» уже состоялось между ними двумя, дома, втихую, что на этот раз второй Саша уже одолел первого «партийной истиной». Одолея редактора, но не мог заглушить чувства в поэте. И Твардовский, обречённый отказать мне, мучился, и для того и кликал второго Сашу за стол ничего не решающего обсуждения, чтобы тот помог разобраться в его собственном смятении и объяснить мне, почему рассказ о Матрёне ни в коем, ни в коем случае не может быть напечатан. (Как будто я им это предлагал! Я принёс рассказ, чтоб только откупиться от расспросов.) Но ушёл Дементьев, не помог, — и досталось Твардовскому «обсуждать» самому — при трёх молчаливых сотрудниках редакции и моих редких слабых ответах. Почти три часа длилось это обсуждение — монолог Твардовского.

Это была сбивчивая, растерянная и сердечная речь. (Сидевшая среди нас Берзер говорила мне потом, что за все годы в «Новом мире» не помнила, не слышала Твардовского таким.)

Он делал круг над рассказом и потом круг общих рассуждений, и опять над рассказом, и опять — общих рассуждений. Художник истинный, он не мог упрекнуть меня, что здесь неправда. Но признать, что это и есть правда в полноте, — подрывало его партийные, общественные убеждения.

Да не первый же раз, да сколько раз уже, конечно, он переживал это разрушительное душевное столкновение, только может быть не сходилась таким острым клином! Он и жил-то единственным истоком: русской литературой — с тех первых некрасовских стихов, заученных босоногим мальчишкой, и со своего первого стихотворения, написанного в тринадцать лет. Он предан был русской литературе, её святому подходу к жизни. И хотелось ему быть только — как те, Пушкин и кто за ним. Повторяя Есенина, он охотно бы умер от счастья, сподобленный пушкинской судьбе. Но не тот был век, и всеми и всюду была признана и в каждого внедрена, — а тем более в главного редактора, — другая, более важная истина — партийная. Направлять сегодня русскую литературу, помогать ей он не мог бы без партийного билета. А партийный билет он не мог носить неискренно. И как воздух нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались. (Потому вскоре он так полюбит и приблизит Лакшина, что тот сумеет ловко ладить между этими двумя правдами, сумеет пластично переходить от одной к другой, не выявляя трещины.) Всякую рукопись полюбив сперва чувством первым, Твардовский непременно должен был провести ее через второе чувство и лишь тогда печатать — как произведение советское.

Мы все сидели неподвижно, а он вставал и использовал простор позади своего стула, похаживал два-три шага туда-сюда. Говорил так: «Уж до такой степени у вас деревня с непарадной стороны — ну хоть бы один заходик с парадной... Все вокруг — дегенераты, вурдалаки, — а ведь из каких-то же деревень и генералы выходят, и директора заводов, и потом сюда в отпуск приезжают». Но тут же сам себя по-

ворачивал: «Нет, я не говорю вам, чтоб вы сделали Киру комсомолой». То находил он «слишком христианским» отношение повествователя к жизни. То как на приколе ходил вокруг мысли, что стало у нас *добро* — имуществом, и Толстой выступал ему напомин: «дети, старик *добро* вам говорил!» И хвалил мой рассказ за сходство с моральной прозой Толстого. И упрекал, что он «художественно пожиже», чем «Иван Денисович». (Ведь если художественно пожиже, так вот почему и можно не печатать...) Но тут же опять хвалил то за народные слова, то за сельские наблюдения.

Дошёл до того, что хвалил «реализм без прилагательных», и признавался, что ему приходится *критический* нисколько не хуже социалистического.

И потом ещё много было о материально-технической базе — о той, которая и в Америке, и в Швеции выше, и мы за 20 лет её не достигнем, но уже сейчас «с отвращением от неё отталкиваемся». И тут же вспоминал, как Сталин, возражая Троцкому, обещал построить социализм «не за счёт ограбления деревни». И вдруг остановился, как застигнутый снопом света, и, изумлёнными глазами обведя нас, спросил: «А за счёт же чего он построен?» Но мы не протянули ему соломинки, мы молчали, и снова он брёл по вязкому паркетному полу и рассуждал о разрыве между материально-технической базой и моралью. Однако, настаивал он, «религия имела слабое сдерживающее влияние на дурные инстинкты». (Непонятно, что ж их тогда сдерживало?..)

Так он вёл свой почти непрерывный монолог, то светясь благородством, то сгибаясь под догматическим потолком; то вздрагивая от чутья правды, опережаящего и слух, и глаза поэта, то как бульдозер натужно выталкивая наперёд себя баррикадой авгиевы завалы.

А мы не возражали и не соглашались — мы молчали. Возражал же ему — рассказ о нищей старухе Матрёне, безмолвная рукопись, которую он обещал Дементьеву отвергнуть. И не получив ни единого возражения вслух, но как будто битый по всем аргументам, Александр Трифонович с раскаянным стоном выложил свой последний и главный:

— Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!

Никто из нас этого не говорил, Боже упаси! никто не писал! Но вот конфуз — и сейчас никто из нас не подтвердил, не улыбнулся, ни даже кивнул. Мы неприлично молчали.

Как? — мы и этого простейшего не понимали? В недоумении, как всё ещё переослеплённый светом фар, Александр Трифонович стал против нас быковато и воскликнул в тоске:

— Так ведь если б не революция — не открыт бы был Исаковский!.. А кем бы была я, если б не революция?..

Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту! (А Есенин, а Клюев, Клычков — стали и без революции? А что получили от неё?)

И завершилось обсуждение тем, что — нет, конечно нет, безусловно нет, «эта вещь не может быть напечатана».

Но хотя естественно было после того вернуть рукопись автору, Твардовский с виноватой заминкой сказал:

— А всё-таки оставьте её пока в редакции. Почитает кое-кто...

Всё равно её обнаружив, ничего я теперь не терял, хоть и оставить.

И ещё А. Т. попросил меня (после сказанного многого это совсем изумительно звучало):

— Только, пожалуйста, не станьте *идейно-выдержанным*! Не напишите такой вещи, которую бы редакторы и без моего ведома, сами, решились бы запустить.

То есть ничего из принесенного мною он не мог напечатать — и просил впредь писать не иначе!!

Как раз это я легко ему мог обещать...

Тем более желая смягчить отказ, А. Т. стал говорить о мерах по печатанию «Ивана Денисовича» — пока ещё фантастических. И упнулся. Он действительно сам не знал: что предпринимать? с какой стороны? когда? Сказал мне примирительно:

— Ну, вы нас не торопите. Не спрашивайте, в каком номере будет.

Да я и не собирался. Обошлось без Лубянки — и спасибо. Проиграл я только то, что вообще рассекретился и теперь должен был с тройной осторожностью прятать свои готовые вещи и текущую работу. Я ответил:

— Это в молодости важно — скорей увидеть себя в печати. А теперь уж у меня другое дыхание.

* * *

Так мы и расстались довольно надолго. Я не торопил Твардовского и в тот год не находил ничего неправильного в его медлительности. Да и с чем было эту медлительность сравнивать, какой единицей измерять? Разве в нашей литературе до того был подобный случай?

В пустой след упрекать легко. Когда куриное яйцо поставлено с малой смятинкой тыльца, то все видят, что оно может стоять. А до того оно у всех валялось. Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме Твардовского захотел бы и одерзел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх? В начале 1962 года совсем нельзя было догадаться: какими путями придумает он действовать? насколько всё это ему удастся?

Но миновали годы, мы знаем, что Твардовский напечатал рассказ с задержкой в 11 месяцев, и теперь легко его обвинить, что он не торопился, что он недопустимо тянул. Когда мой рассказ только-только пришёл в редакцию, Никита ещё рвал и метал против Сталина, он искал, каким ещё камнем бросить, — и так бы пришлось ему к руке свидетельство пострадавшего! Да если б сразу тогда, в инерции XXII съезда, напечатать «Ивана Денисовича», то ещё бы легче далось противостаalinское улюлюканье вокруг него и, думаю, Никита в запальчивости охотно бы закатал в «Правду» и мои главы «Одна ночь Сталина» из «Круга первого». Такая правдинская публикация с тиражиком в 5 миллионов мне очень ясно, почти зрительно рисовалась, я её видел как въявь.

И теперь не знаю, как же правильно оценить? Не сам же бы я понёс и донёс рассказ Никите? Без содействия Твардовского никакой бы и XXII съезд не помог. Но вместе с тем как не сказать теперь, что упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну, которая перекинула бы наш бочёнок куда-куда дальше за гряды сталинистских скал и только там бы раскрыла содержимое. Напечатай мы тогда, в 2—3 месяца после съезда, ещё и главы о Сталине — насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрубянку. Литература могла ускорить историю. Но не ускорила.

Виктор Некрасов, нервничая, говорил мне в июле 1962:

— Я не понимаю, зачем такие сложные обходные пути? Он собирает какие-то отзывы, потом будет составлять письмо. Ведь ему же доступна трубка того телефона. Ну сними трубку и позвони прямо Никите! Бойтся...

Характер Твардовского, действительно, таков, что ему тошно напарываться на отказ в просьбах. Говорили, что он переносит с мучением, когда просят его походатайствовать о ком-нибудь, о чьей-ни-

будь квартире: а вдруг ему, депутату Верховного Совета и кандидату ЦК, откажут? — унизительно...

Можно понять, что он и рассказу боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущёву. Но думаю, что больше здесь была привычная неторопливость того номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользающую историю — потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся? А ещё была у Твардовского на несколько месяцев и некая насыщенность своим открытием, рассказ довлел ему и ненапечатанный. Он, не торопясь, давал читать его Чуковскому, Маршаку — и не только, чтоб их именами подкрепить будущее движение рукописи, но чтоб отзывами этими и самому понаслаждаться, почитать их вслух и членам редакции и повести хорошим знакомым (только мне не показал, боясь меня испортить). И Федину давал рукопись (тот никак не отнёсся), и не мешал дать прочесть Паустовскому и Эренбургу (недолюбивая, сам им не предложил). Он долго подгонял к повести предисловие (а собственно, его могло и не быть: зачем ещё оправдываться?). Так вёл он многомесячную неторопливую подготовку, ещё не определив, как же продвигаться *выше*. Просто отдать в набор и послать в цензуру казалось ему губительно (да губительно и было): цензура не только запретит, но немедленно донесёт в «отдел культуры» ЦК, и тот успеет с враждебными предупредительными шагами.

А месяцы шли — и остывал, и совсем уже миновал пыл XXII съезда. Непостоянный во всех своих начинаниях, а тем более в продолжениях, неустойчивый в настроении, Хрущёв должен был ещё и поддерживать Насера, и снабжать ракетами Кастро, и изобретать окончательный (уже самый наилучший) способ спасения и полного расцвета сельского хозяйства, да где-то же и космос подогнать, и лагеря укрепить, ослабшие после падения Берии.

И ещё одна, неожиданная для Твардовского, опасность была в этом методе прочтений, рекомендаций и планомерной подготовки: в наш машинописный и фотографический век быстро растекались копии рукописи. (Кажется, первичной виной всему были: тот же В. Некрасов, взял по-дружески у Твардовского на одну ночь и отдал перифотографировать, да наш вскоре близкий друг Н. И. Столярова, см. Пятое Дополнение, очерк 9. Оба доброжелателя действовали естественно, а на самом деле губительно.) В сейфе «Нового мира» исходные экземпляры хранились под строгим учётом — а между тем уже десятки, если не сотни перепечаток и отпечатков распозвались по Москве, по Ленинграду, проникли в Киев, Одессу, Харьков, Нижний Новгород. Распространение подогревалось всеобщей уверенностью, что эту вещь никогда не напечатают. Твардовский сердился, искал «измену» в редакции, не понимая техники и темпов нашего века, не понимая, что сам же он, с этим сбором устных восторгов и письменных рецензий, был главный распространитель. Он всё мялся, не решался, месяцы шли, — и вот narosла уже явная опасность, что рассказ утечёт на Запад, а там люди попроворнее — и, напечатанный там, он никогда уже не будет напечатан у нас. (Логика, вполне понятная советскому человеку и совершенно непонятная западному. Ведь для нас мир — не мир, а постоянно воюющие «лагеря», мы так приучены.) Что уплыл на Запад не произошёл почти за год — чудо не меньшее, чем само напечатание в СССР. А не уплыло — по западному верхоглядству: кто из иностранцев и узнал о такой повестушке — не придал значения.

Пожалуй, эта опасность и заставила Твардовского поспешить. В июле он передал рукопись, окружённую букетом рекомендаций, эксперту Хрущёва по культуре Владимиру Семёновичу Лебедеву.

Между тем меня Твардовский ни разу не звал, и я лишь по рассказам Берзер вызнал, что там в редакции делается. Да начинал иногда знакомиться с людьми, уже читавшими мою повесть. После

подпольной глухоты два десятка таких читателей создавали для меня ощущение толпы и бурной известности.

Я спешил подготовиться к новому опасному периоду жизни. Одно дело прятать рукописи, когда я песчинка среди других таких же; другое — когда я открылся, и Лубянка может проявить более настойчивую любознательность, чем «Новый мир», и прислать своих неторопливых лоботрясов — поискать, что ж у меня написано ещё. Стал я пересматривать свои похоронки — и показали они мне слишком простыми, вполне отгадными для этих взломщиков. И я сам теперь взламывал и уничтожал вторую крышку шкафа, так чтоб не было и следа; дожигал все лишние варианты и черновики. Остального решил дома не держать, и под новый, 1962 год мы с женой повезли мой хранимый архив к её приятелю Теушу в Москву (через три с половиной года часть этого архива и будет захвачена опричниками). Этот переезд я особенно запомнил потому, что в праздничной электричке какой-то ворвавшийся пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами. И так получилось, что никто из мужчин не противодействовал ему: кто был стар, кто слишком осторожен. Естественно было вскочить мне — недалеко я сидел, и ряжка у меня была изрядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми рукописями, и я не смел: после драки неизбежно было потянуться в милицию, хоть участником, хоть свидетелем, — обое рябое. Вполне была бы русская история, чтобы вот на таком хулигане оборвались бы мои хитрые нити. И так, чтобы выполнить русский долг, надо было не русскую выдержку иметь. И я позорно, трусливо сидел, потупя глаза от женских упреков, что мы — не мужчины.

Может быть не в такой постыдной форме, но так же отяготительно сколько раз моя изнуряющая литературная конспирация лишала меня свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Всех нас гнуло, но меня ещё этот подвальный огрузняющий этаж как пригубил, сколько души отбирал от литературы. Все кости ноют, все кости просят — разогнуться!! — и хоть умереть.

Отвёз я архив, но из январской встречи в «Новом мире» понял, что в печать, собственно, ничто не идёт. В новом уязвимом положении надо было и дальше, совмещая со школой, писать в урывки дней. Была у меня потребность ещё в одной, последней, редакции «Круга», и с января 1962 я рискнул. Четыре месяца, до конца апреля, ничем другим я не был занят, а в судьбе «Ивана Денисовича» только тем озабочен, чтоб лучше эти месяцы ничего не страгивалось, не менялось, пусть и не продвигается, — лишь бы спокойно мне кончить роман.

И молиться было не надобно: ничего с «Иваном Денисовичем» и не стронулось. На майские праздники я, ещё не следимый, благополучно отвёз экземпляр отпечатанного романа к Зубовым в Крым (куда они переехали после ссылки), и ещё набор тайных плотных отпечатков. Потом дома занимался разными доработками, и уж лето подошло, и надо было славно провести его в движении, а по пути развезти ещё копии микрофильмов на Каму и на Урал. Всё дело с «Новым миром» настолько казалось заглохшим (и к лучшему! — думал я, вернусь постепенно в безопасное состояние), что придумали мы с женой ехать на Енисей и на Байкал (был я в Сибири, но только в «вагон-заке» и только до Новосибирска). Так и вышло по пословице «бедному жениться...». Именно в Иркутске, не ближе никак, ожидала меня копия срочной телеграммы Твардовского, приглашающего «на короткое время» заехать в редакцию.

Ещё до того «короткого времени» езды от Иркутска было четверо суток.

Опять устроили всередакционное заседание. Неопределённо было мне объявлено, что в одной важной инстанции (это значило — В. С. Лебедевым) повесть моя одобрена. Но высказаны некоторые по-

желания к её улучшению. Твардовский считал, что этих пожеланий совсем немного, и он бы очень просил меня выполнить их, не упустить появившейся возможности.

Он очень себя сдерживал, чтобы не ликовать слишком открыто. Детскость его проявлялась непогасимой радостью в глазах. Очень он был доволен своим удающимся многомесячным планом и только из редакционной церемонийности делал вид, что добавляет какие-то свои замечания, а иных от меня не хотел, лишь бы я принял лебедевские. Но так прямо он не говорил, а серьёзно вёл заседание и предлагал всем членам высказываться о необходимых исправлениях.

Говорили что-то, но ничего существенного, потому что не имели другой цели, как угодить главному редактору, и не хотели даже иметь собственного мнения, от него отличного. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы.) Но Дементьев-то сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто не заминался на должности парторга ленинградской писательской организации, а в хрущёвские времена стал комиссаром самого либерального журнала,— кем-то же и зачем-то же был послан сюда? — долею освежиться, долею очиститься,— но и не пущать же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущёвского референта и поддаться благодушию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 1961, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что рассказ этот всё равно будет зарублен. Но сейчас, когда искажённым, незаконным ходом событий прорисовалось рассказу вырваться в свет,— сейчас он должен был сделать всё, чтоб его и с п р а в и т ь.

И куда же делось то лукаво-дружеское, то душевно-дружеское его выражение в приятном отклоне седеющей головы? И как ожестело его покоряюще-милое оканье! Как нарумянило его, как распалило, и до самых ушей! Одно только: он не вешал с Олимпа, а спорил, волнуясь,— волнуясь не выиграть, не убедить. Раскаты были только в самих формулировках — в коммунизме, в патриотизме, в материализме, в соцреализме. Воля бы Дементьева, он весь рассказ мой сострогал бы под гладь, не оставил бы ни задоринки. Но уж тут надо было бить по ядру. И обвинил он меня, что я позорю знамя и символ советского искусства — «Броненосец «Потёмкин», и весь разговор о нём надо снять. А ещё надо снять разговор Шухова с Алёшкой о Боге — потому что он художественно совсем не выразительный, а идеологически неправильный, и длинный слишком, и только портит хорошую повесть. А ещё не должен автор уклоняться от политически-точной оценки бандеровцев, даже в их лагерном существовании, ибо они запачканы кровью наших советских людей. А ещё... Да оказывается, он на машинописи сделал много пометок и может мне их конкретно показать, только машинопись ту забыл дома.

Распалённым яростным кабаном выглядел Дементьев к концу своего монолога, и положить бы сейчас перед ним полтора листа страниц той машинописи — он бы, кажется, клыками их разметал.

А Твардовский молчал. Ещё бы не верно! очень верно рассуждал политический комиссар, он хотел из моего аморфного рассказа выковать оружие соцреализма,— и что же мог возражать ему главный редактор? Он не мог ему возражать, но он почему-то молчал. Он не поддержал его ни кивком, ни бровью. И ожидаательно на меня смотрел. Если б я уступил, значит так бы и было.

Однако — перебрал Дементьев! При своём несомненном и быстром уме совсем он не знал породы эзков, племенного нашего закала. Выражайся он осторожно, требуй он маленьких, но гадких уступочек, достаточно портящих вещь,— я бы это всё записал, а потом вперемеж-

ку с требованиями хрущёвского эксперта обдумал и наверно что-нибудь бы испортил. Но перед назирающими обзолёнными глазами я ответил без колебания, без труда, совсем не задумываясь, насколько это выгодно. Перед моими зэками, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я ещё обсуждаю тут с ними что-то, что я серьёзно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды.

— Десять лет я ждал, — ответил я освобождённо, — и могу ещё десять лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду.

Тут вмешался переполошенный Твардовский:

— Да вы ничего не должны! Всё — на ваше доброе усмотрение, что сказано было сегодня. Но просто всем нам очень хочется, чтобы рукопись прошла.

И — не спорил больше Дементьев! Он стих. Он смяк. Он дошёл до того упора, где обрывалось его влияние на Главного. Дальше он не мог рисковать.

И тут же потребовалось мне ехать... именно к Дементьеву домой — забирать основной экземпляр. Как он переменялся, как он стал дружелюбнее! Да разве это он полчаса назад так разгорячённо шёл на меня, стуча копытами? Вдруг он предложил мне... свою квартиру для работы. Вдруг, совсем позабыв ту терминологию раскатистых измов, он какими-то смутными намёками стал искать у меня понимание. Э-э, не из куска чугуна был этот комиссар. Он, кажется, был за перегородками многими, и за каждой следующей всё грустней. (Кстати, слышал я потом, что он происходил из богатой купеческой семьи; по возрасту должен был тот быт ещё захватить. Из опасений ли анкетных он так выпирал в ортодоксальность? Бывает. Ведь и Софронов, кажется. И несколько их, таких услужателей, в литературной верхушке.)

И остался я перед своим рассказом опять. Я-то знал, чего не знала редакция: что это совсем не истинный вариант, что здесь уже было и трогано, и стрижено, совсем это не целокупная недотрога. Где начато, можно и продолжать. Заряду хватит здесь и после отбавки. Но дурным казалось мне такое начало литературного пути: уступать, как и все они. Отчётливо помню, что для себя мне было в этот момент ничего бы лучше не исправлять, а — чёрт с ними, пусть не печатают. Однако глупо было бы не попробовать вовсе. Ослабленное на полпроцента, на три четверти процента (так по значению и объёму висело то, что решил я Лебедеву и «Новому миру» уступить), — как это всё-таки будет разить в напечатанном виде! Нет, попробовать стоило.

Если вникнуть, то требования Лебедева даже поражали своей незначительностью. Они ничего не трогали в рассказе главного. Самые отчаянные места, которые, сердце сжав, я пожалуй бы и уступил, были им обойдены, как будто не замечены. Да что ж это за таинственный либерал там, наверху, в первой близости к первому секретарю ЦК? Как он пробрался туда? Как держится? Какая у него программа? Ведь надо ему помочь!

Главное, чего требовал Лебедев, — убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь «положительного героя»!). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто «героическое», но «недостаточно раскрытое», как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был — что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять к конвойным слово «попки», снизил я с семи до трёх; пореже — «гад» и «гады» о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осу-

дил бы бандеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она́ была естественна, но их-то слишком густо поносили и без того). Ещё — присочинить зэкам какую-нибудь надежду на свободу (но этого я сделать не мог). И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, — хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно — он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул «бабку усатого» один раз...

Внёс я исправления, уехал из Москвы, и снова начался для меня период полной затиши и темноты (ах, не дали Байкал досмотреть!). Снова всё пришло в неподвижное прежнее состояние, как будто движение рассказа никогда не начиналось, как будто это всё сон. Лишь в конце сентября и то под большим секретом, от Берзер, узнал я, как развивались дела. На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущёву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и кричал, а со середины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, «как Иван Денисович раствор бережёт» (это Хрущёв потом и на кремлёвской встрече говорил). Микоян Хрущёву не возразил, судьба рассказа в этом домашнем чтении и была решена. Однако Хрущёв хотел всё обставить демократично.

Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил «Новый мир» среди дня, распоряжение из ЦК: к утру представить ни много ни мало — 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии «Известий», раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры «Нового мира» проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки и дивуясь содержанию. А потом переплётчик в предутреннюю вахту переплёл все 25 в синий картон «Нового мира», и утром, как если б это труда не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущёв велел раздать экземпляры ведущим партвождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.

Он вернулся недели через две под роковыми для себя звёздами середины октября. На очередном заседании политбюро (тогда — «президиума») стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется всё-таки члены политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались («чего молчите?» — требовал Никита), кто-то осмелился спросить: «А на чью мельницу это будет воду лить?» Но был в то время Никита «я всех вас давишь!» по сказке, да не обошлось, наверно, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладёт. И постановлено было — печатать «Ивана Денисовича». Во всяком случае, решительного голоса против не раздалось.

Так стряслось чудо советской цензуры или, как точнее его назвали через три года — «последствие волюнтаризма в области литературы».

20 октября, в субботу, Хрущёв принял Твардовского — объявить ему решение. Это была не знаю первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к голове. В сердце Твардовского, как наверно во всяком русском да и человеческом сердце, очень сильно жажда верить. Так когда-то, вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи, он отдался вере в Сталина, потом искренно оплакивал его смерть. Так же искренно он потом отшатнулся от разоблачённого Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой правды. Именно таким он увидел

в эту двух-трёхчасовую встречу Хрущёва; через месяц, в пору нашей самой восприимчивой близости, А. Т. говорил мне: «Что это за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!»

В то свидание с Твардовским Хрущёв был мягок, задумчив, даже философичен. Можно этому поверить. Уже кинжальным клином сошлись против него враждебные звёзды. Уже наверно имел он телеграмму от Громыки, что накануне в Белом Доме тот спрошен был: «Скажите честно, господин Громыко, держите вы ракеты на Кубе?» И, как всегда честно и уверенно, ответил Громыко: «Нет». Не знал, конечно, Хрущёв, мирно разговаривая с Твардовским о художественной литературе, что уже готовятся в Вашингтоне щиты с увеличенными фотоснимками советских ракет на Кубе, что в понедельник они будут предъявлены делегатам американских государств и Кеннеди получит согласие на свой беспримерно-смелый шаг: досматривать советские суда. Всего только одно воскресенье отдала Хрущёва от его недели позора, страха и сдачи. И как раз в эту последнюю субботу довелось ему дать визу на «Ивана Денисовича».

«Я даже его перебивал! — вспоминал мне Твардовский, сам удивляясь. — Я сказал ему: от поцелуев дети не рождаются, отмените цензуру на художественную литературу! Ведь если ходят произведения в списках — хуже же нет!» И Никита примирительно выслушивал, он будто сам был близок к тому, как показало Твардовскому. (Из сопоставления его пересказов в редакции можно допустить, что А. Т. невольно приписал молчащему Хрущёву свои собственные мысли.)

Хрущёв рассказал Твардовскому, что собрано уже три тома материалов о преступлениях Сталина, но пока не публикуются*. «История рассудит, что мы предприняли». (Никита всегда возвышался и смягчался, когда говорил о всеобщей смертности, об ограниченности человеческих сроков. Это звучало у него и в публичных речах. Это была у него неосознанная христианская черта, — у него-то, худшего гонителя церкви со времён Ленина! Никто из коммунистических вождей, ни до ни после него, ни западнее ни восточнее его, никогда так не говорил. Никита был царь, совершенно не понимавший своей сущности, ни своего исторического назначения, подрывавший всегда те слои, которые хотели и могли его поддержать, никогда не искавший и не имевший ни одного умного советника. Проворный хваткий зять его Аджубей тоже был неумён, только авантюрист, ещё ускоривший падение тества.) В убийстве Кирова Сталиным Хрущёв был уверен, но и понимал, что сам по себе Киров был личностью незначительной.

Кажется, всё было решено с повестью, и скомандовал Твардовский запускать её в 11-й номер. Но тут началась ракетная драма с Америкой. Могло и так, что от карибской бури завихрение по коридору ЦК смело бы мою повестушку.

Однако утихло! Перед ноябрьскими, как раз через год с тех пор как я выпустил рассказ из рук, я был вызван на первую корректуру**. Пока я сидел над машинописными текстами — всё это был миф, не ощущалось нисколько. Но когда передо мной легли необрезанные журнальные страницы, я представил, как всплывает на свет к миллио-

* Ничего не доводил Хрущёв до конца, не довёл и низвержения Сталина. А немного б ему ещё, и ничьи б уже зубы не разомкнулись провягать о «великих заслугах» убийцы.

** «Новый мир» изящно пошутил над цензурой: безо всякого объяснения послал им на визу первую вёрстку «Ивана Денисовича». А цензура в глуши своих застенок ничего и не знала о решении ЦК, ведь оно прошло келейно, как всё у нас. Получив повесть, цензура обалдела от этой «идеологической диверсии» и грозно позвонила в журнал: «Кто прислал эту рукопись?» — «Да мы тут», — невинно ответила зав. редакцией Н. П. Бианки. — «Но кто персонально одобрил?» — «Да всем нам понравилось», — щebetала Бианки. Угрозили что-то, положили трубку. Через полчаса позвонили весело: «Пришлите ещё пару экземпляров» (им тоже почитать хотелось). Хрущёв — Хрущёвым а виза цензуры всё равно должна была на каждом листе стоять.

нам несведущих крокодиле чудище нашей лагерной жизни, — и в непривычной роскоши гостиничного номера я первый раз плакал сам над рассказом.

Тут передали мне просьбу Лебедева: ещё выпустить из рукописи слова Тюрина: «Перекрестился я и говорю: Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь». Досмотрелись... Досмотрелись, но поздно, до этого главного места в повести, где я им опрокинул и вывернул всю легенду о гибели руководящих в 37-м году! Склоняли меня в редакции: ведь Лебедев так был сочувственен! ведь это он пробил и устроил! надо ему теперь уступить. И правильно, и я бы уступил, если б это — за свой счёт или за счёт литературный. Но тут предлагали уступить за счёт Бога и за счёт мужика, а этого я обещался никогда не делать. И всё ещё неизвестному мне мифическому благодетелю — отказал.

И такова была инерция уже сдвинутого и покатившегося камня, что сам советник Хрущёва ничего не мог исправить и остановить!

То попробовал сделать Аджубей: не остановить качество, но хоть перенаправить. Может быть — под давлением ортодоксов-благомыслов, которые хотели всё же по-своему в первый раз представить историю лагерей (себя — как главных страдальцев и главных героев); но скорее — мельче того: просто перехватить инициативу («вставить фитиля»), обскакать Твардовского уже после трудного пути и выхватить приз первым. На редакционном сборе «Известий» гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что была такой рассказ из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам — уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста, и тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали, — напечатали с бесстыжей «простотой», без всякого даже восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настроили всем. Твардовский очень тогда расстроился и обиделся на Аджубея. А я думаю — ничего им «Самородок» не дал: неотвратимо катился наш камень и именно в таком виде суждено было русским читателям впервые увидеть контуры лагеря.

Уже осознав победу, Твардовский, как предусмотрительный наторелый редактор, заглядывал дальше, и в те же ноябрьские праздники прислал мне большое письмо:

«...Хотел бы вам сказать по праву возраста и литературного опыта. Уже сейчас столько людей домогалось у нас в редакции вашего адреса, столько интереса к вам, подогретого порой и внелитературными импульсами. А что будет, когда вещь появится в печати?.. Будет всё то, что называется славой... Речь я веду к тому, чтобы подчеркнуть мою надежду на ваше спокойствие, выдержку, на высокое чувство собственного достоинства... Вы прошли многие испытания, и трудно мне представить в вас нестойкость перед этим испытанием... наоборот, порой казалось, что не чрезмерна ли уже ваша несуетность, почти безразличие... Мне, вместе с моими товарищами по редакции... пережившему настоящий праздник победы, торжества в день, когда я узнал, что «всё хорошо», — мне показалась чуть-чуть огорчительной та сдержанность, с которой вы отозвались на мою телеграмму-поздравление, то словечко «приятно», которое в данном случае было, простите, просто обидным для меня... Но теперь я взываю как раз к вашей сдержанности и несуетности — да укрепятся они и останутся неизменными спутниками вашего дальнейшего труда... К вам будут лезть с настырными просьбами «дать что-нибудь», отрывок, кусочек, будут предлагать договоры, деньги... Умоляю — держитесь... не давайте в руки, ссылайтесь (мы имеем некоторое право надеяться на это) на обязательство перед «Новым миром», который де забирает у вас всё, что выйдет из-под вашего пера».

У них был «праздник победы»! А я объяснил ему свою обстановку:

«Знаете ли вы, с какими мыслями я вскрыл ваш конверт? Жена принесла и говорит встревоженно: «Толстое письмо из «Нового мира». Почему такое толстое?» Я пощупал и сказал: «Совершенно ясно. Кто-то хочет от меня ещё уступок, а я их больше делать не могу. На этом печатание пока закончено...» Моя жизнь в Рязани идёт во всём настолько по-старому (в лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе), что московские разговоры и телеграммы кажутся чистым сном... Для меня из вашей телеграммы только то и стало ясно, что пока запрета нет. Поэтому, дорогой А. Т., не оставляйте в сердце обиды на моё словечко «приятно», я был бы неискренен, если бы выразился сильнее, никакой буйной радости я тогда не испытал. Вообще вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью. Я усвоил ещё в лагере русскую поговорку: «Счастью не верь, беды не пугайся», приладилась жить по ней и надеюсь никогда с нею не сойти... Главную радость «признания» я пережил в декабре прошлого года, когда вы оценили «Денисовича» бессонной ночью».

Но призыв его «держаться» и «в руки не даваться» ещё бы не нашёл у меня отклика! меня эта роскошь гостиницы «Москва» в Охотном ряду, бархаты, ковры и услуги портье не радовали, а пугали. Первое ощущение славы — как будто язык твой перестал чувствовать вкус, а пальцы уже не осязают так тонко, как прежде. «Почему не ездить на такси?» — удивлялся Копелев. А мне seemed в такси казалось предательством, я понимал только — с рюкзаком в автобусе. И теперь уверенно отвечал Твардовскому: «Слава меня не сложенит... Но я предвижу кратковременность её течения — и мне хочется наиболее разумно использовать её для моих уже готовых вещей». (А и «Новый мир»-то ещё не знал их...)

Но Твардовский, после хрущёвской милости, вот этой-то кратковременности — никак не понимал.

Мы уже стали так теплы, хотя с глазу на глаз, без редакции, ещё и не встретились ни разу. Вскоре я был у него дома — и как раз курьер из редакции (потом — уличённый стукач) принёс нам сигнальный экземпляр 11-го номера. Мы обнялись. А. Т. радовался как мальчик, медвежьим телом своим порхая по комнате: «Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж — почти невозможно!» (Почти... И он тоже до последнего момента не был уверен. Да разве не случилось — уничтожили весь отпечатанный тираж? Труд ли, деньги ли нам дороги? Нам дорога идеология.) Я поздравлял: «Победа — больше ваша, чем моя».

«Шпарьте прямо ко мне!» — в таком необычном тоне заговорил он со мной по телефону в мой следующий приезд. Сразу после выхода тиража 11-го номера был пленум ЦК, кажется — о промышленности. Несколько тысяч журнальных книжек, предназначенных для московской розницы, перебросили в ларьки, обслуживающие пленум. С трибуны пленума Хрущёв заявил, что это — важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем). Он даже жаловался пленуму на своё политбюро: «Я их спрашиваю — будем печатать? А они молчат!..» И члены пленума «понесли с базара» книжного — две книжечки: красную (материалы пленума) и синюю (11-й номер «Нового мира»). Так, смеялся Твардовский, и несли каждый под мышкой — красную и синюю. А секретарь новосибирского обкома до заключительной речи Хрущёва сказал Твардовскому: «Ну, было и похуже... У меня в области и сейчас такие хозяйства есть, знаю. Но зачем об этом писать?» А после Никитиной речи искал Твардовского, чтобы пожать ему руку и замаять свои неправильные слова.

Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем «Матрёну»! Матрёну, от которой журнал в начале года отказался, которая «никогда не мо-

жет быть напечатана», — теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда!

«Самый опасный — второй шаг! — предупреждал меня Твардовский. — Первую вещь, как говорят, и дурак напишет. А вот — вторую?..»

И с тревогой на меня посматривал. Под «второй» он имел в виду не «Матрёну», а — что я следующее напишу. Я же, переглядывая, что у меня написано, не мог найти, какую вытянуть наружу: все кусались.

К счастью, в этот именно месяц написалась у меня легко «Кочетовка»* — прямо для журнала, первый раз в жизни. (Истинный случай 1941 года с моим приятелем Лёней Власовым, когда он комендантствовал на ст. Кочетовка, с той же подробностью, что проезжий именно забыл, из чего Сталинград переименован, — и чему никто поверить не мог, начиная с А. Т. А по-моему, для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой пришлёпки.) А. Т. очень волновался, беря её, и ещё больше волновался, читая, — боялся промаха, боялся, как за себя. С появлением Тверитинова его опасения ещё усилились: решил он, что это будет патриотический детектив, что к концу поймают подлинного шпиона.

Убедясь, что не так, тут же послал мне радостную телеграмму. Над «Кречетовкой» и «Матрёной», которые по его замыслу должны были утвердить моё имя, он первый и последний раз не высказывал политических соображений «пройдёт — не пройдёт», а провёл со мной в сигаретном дыму честную редакторскую работу**. Его уроки (моей самоуверенности) оказались тонкими, особенно по деревенскому материалу: нельзя говорить «деревенские плотники», потому что в деревне — каждый плотник; не может быть «тёсовой драни»; если поросёнок жирный, то он не жадный; проходка в лес по ягоды, по грибы — не труд, а забава (впрочем, тут он уступил, что в современной деревне это уже — труд, ибо больше кормит, чем работа на колхозном поле); ещё — что у станции не может расти осинка, потому что там всё саженое, а её никто никогда не посадит; что «парнишка» старше «мальчишки». Ещё он очень настаивал, что деепричастия не свойственны народной речи, и поэтому нельзя такую фразу: «заболтав, замесив, да испеку». Но тут я не согласился: ведь наши пословицы иные так звучат.

Эти частые наши встречи осенью 1962 были как будто и непринадлежны и очень теплы. В те месяцы не чаял А. Т. во мне души и успехами моими гордился как своими. Особенно ему нравилось, что я веду себя так, как он бы и замыслил для открытого им автора: выгодно корреспондентов, не даю интервью, не даюсь фото- и киносъёмкам. У него было ощущение, что он меня сотворил, вылепил и теперь всегда будет назначать за меня лучшие решения и вести по сияющему пути. Он так подразумевал (хотя ни разу я ему этого не обещал), что впредь ни одного важного шага я не буду делать без совета с ним и без его одобрения. Например, он сам взялся определить, какому фотографу я могу разрешить сфотографировать себя (фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было — выражение замученное и печальное, мы изобразили). Подошла необходимость какой-то сжимок биографии всё-таки сообщить обо мне — А. Т. сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел, — за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. (Он не знал, как это ещё сможет

* Но пришлось сменить на «Кречетовка», чтоб не распалить вражды кочетовского «Октября» к «Новому миру».

** Соображения «пройдёт — не пройдёт» настолько помрачали мозги членам редакции «Нового мира» (тем более — всех других советских журнальных редакций), что мало у них оставалось доглядчивости, вкуса, энергии делать всякие художественные замечания. Во всяком случае со мною, кроме вот этой единственной беседы А. Т., никто в «Новом мире» никогда не провёл ни пяти минут собственно-редакторской, а не противозензорской работы.

пригодиться, когда партия на своих инструктажах объявит меня изменником родины. Его взгляд больше охватывал настоящее, а будущего — почти никогда. К тому ж, очень подслонны бывали истинные причины его внешних движений. Например, сам он долго верил в Сталина, и всякий уже тогда не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего. Так он отклонил и моё объяснение, что Тверитинов может не любить Сталина из одной только тонкости вкуса. Как бы это мог тот не любить? — значит, либо сам сидел, либо его родственники, иначе А. Т. не принимал.)

Я не спешил бунтовать против его покровительства, не рвался доказывать, что к сорока четырём годам уж какой отлился, такой отлился. Но — не может быть подминной дружбы без хотя бы признаваемого равенства. А. Т. преувеличивал соотношение наших кругозоров, целей и жизненного опыта. Важнейшей частью своего опыта он считал хорошее знание иерархии, ходов заседательских, телефонных и закулисных. Но он преувеличивал охватность и долготу всей этой системы. Он не допускал, что эту систему можно не принять с порога. Он не допускал, что в литературе или политике я могу разглядеть или знать такое, чего не видит или не знает он.

Со мной пережил он вспышку новой надежды, что вот нашёл себе друга. Но я не заблуждался в этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и прѣступы его поэтической детскости, плохо защищённой вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда — перед вышестоявшими (в лицо, — а по телефону он чаще терялся), и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отемнённых лагерной сенью. Ещё характеры наши как-то могли бы обталкиваться, обтираться, приноровляться, — но не бывает дружбы мужской без сходства представлений.

Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, — но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведёт их по разным путям.

НА ПОВЕРХНОСТИ

Как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению, — всплыв на поверхность, гибнет от недостатка давления, оттого что слишком стало легко и она не может приспособиться, — так и я, пятнадцать лет благорассудно затаённый в глубинах лагеря, ссылки, подполья, никогда себя не открыв, никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, — выплыв на поверхность внезапной известности, чрезмерной многотрубной славы (у нас и ругать, и хвалить, — всё через край), стал делать промах за промахом, совсем не понимая своего нового положения и новых возможностей.

Я не понимал степени своей приобретенной силы и, значит, степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности. И та и другая были нужны, это верно, потому что случайный прорыв с «Иваном Денисовичем» насколько не примирял Систему со мной и не обещал лёгкого движения дальше.

Не обещал движения, да, — но пока, короткое время, два месяца, нет, месяц один, я мог идти безостановно: холопски-непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции, все театры!

А я не понимал... Я спешил сам остановиться, прежде чем меня остановят, снова прикрыться, притвориться, что ничего у меня нет,

ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен! Как будто теперь упустили бы меня из виду!

И ещё, невольное торжество напечатания загораживало, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерял был год, год разгона, данного XXII съездом, и подъехали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным подсчётам я клял себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной несомненно заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц — от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлёвской встречи 17 декабря. И даже ещё меньше — до первой контратаки 1 декабря (когда Хрущёва натравили в Манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.

А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался «наиболее разумно использовать» кратковременный бег моей славы, но именно этого я не делал — и во многом из-за ложного чувства обязанности по отношению к «Новому миру» и Твардовскому.

Это надо верно объяснить. Конечно, я был обязан Твардовскому — но лично. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают в «Новом мире», а лишь из того исходить постоянно, что я — не я, и моя литературная судьба — не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий. Как Троя своим существованием всё-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни «Новому миру», ни Твардовскому, не смел принимать в расчёт, поверят ли они, что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчётом.

Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомирские окопы были на мне — вторичные, а всё ж заметно тянули и они.

У меня, как и предсказывал А. Т., просили «каких-нибудь отрывков» в литературные газеты, для исполнения по радио — и я должен был без промедления их давать! — из «Круга», уже готового, из готовых пьес, и так объявленными названиями остолбят участки, с которых потом нелегко меня будет сбить. В четырёхнедельной волне ошеломления, прокатившейся от взрыва рассказа, всё бы у меня прошло беспрепятственно — а я говорил: «нет, нет». Я мнил, что этим оберегаю свои вещи... И горд был, что так легко устаиваю против славы...

Ко мне ломились в рязанскую квартиру и в московские гостиничные номера корреспонденты, звонили из московских посольств в рязанскую школу, слали письменные запросы от агентств, даже с такими глупыми просьбами, как: оценить для западного читателя, насколько блестяще «разрешил» Хрущёв кубинский конфликт. Но никому из них я не сказал ни слова, хотя беспрепятственно мог говорить уже очень много, очень смело, и всё бы это обалдевшие корреспонденты разбросали по миру. Я боялся, что начав отвечать западным корреспондентам, я и от советских получу вопросы, предопределяющие либо сразу бунт, либо унылую верноподданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать, я предпочёл — молчание.

В конце ноября, через десяток дней после появления рассказа, художественный совет «Современника», выслушав мою пьесу («Олень и шалашовка», тоже уже смягчённую из «Республики труда»), настойчиво просил разрешить им ставить тотчас, и трупна будет обедать и спать в театре, но за месяц берётся её поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я — отказал...

Да почему же?? Ну, во-первых, я почувствовал, что для выхода в публичность нужна ещё одна перепечатка пьесы, это — семь чистых дней, а при работе в школе и наплыве бездельно-восторженной переписки — как бы и не месяц. «Современник» шёл и на это, пусть я текст

доизменю на ходу, — так я не мог бросить школу! Да почему же? а: как же так вдруг стать свободным человеком? вдруг да не иметь повседневных тяготящих обязанностей? И ещё: как же ребятишек не довести до конца полугодия? кто ж им оценки поставит? А тут ещё, как назло, нагрянула в школу инспекторская комиссия именно на оставшийся месяц. Как же подвести директора, столько лет ко мне добро, и ускользнуть? За неделю я мог дать «Современнику» текст, приготовленный к публичности; дважды в неделю мог выдавать по «облегчённому» отрывку из «Круга» и читать их по радио, и давать интервью, — а я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите...

Да и потом: а вдруг «люди с верху» увидят пьесу ещё до премьеры — и разгневаются? и не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в «Новом мире»? А тираж «Нового мира» — сто тысяч. А в зале «Современника» помещается только семьсот человек.

Да и опять же: ведь я обещал всякую первинку Твардовскому! Как же отдать пьесу в «Современник», пока её не посмотрит «Новый мир»? И так, замедлив с боевым «Современником», я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев, и в саму редакцию пьеса не попала: она не вышла из двух квартир дома на Котельнической набережной, от двух Саш. Между ними и было решено, а мне объявлено Твардовским: «искусства не получилось», «это не драматургия», это «перепахивание того же лагерного материала, что и в «Иване Денисовиче», ничего нового». (Ну как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия. Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! В пьесе не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство.)

Ну, после «Ивана Денисовича» выглядит слабовато. Легко, что Твардовскому вещь и не понравилась. Да если б дело кончилось тем, что «Новый мир» отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею. Не тут-то было! Не так понимал Твардовский моё обещание и наше с ним сотрудничество ныне и присно и во веки веков. Ведь он меня в мои 43 года открыл, без него я как бы и не писатель вовсе, и цены своим вещам не знаю (одну принеся, а десяток держа за спиной). И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского (и Дементьева): то ли эту вещь печатать в «Новом мире», то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано.

Именно так и было присуждено об «Олене и шалашовке»: не давать, не показывать. «Я предупреждаю вас против театральных гангстеров!» — очень серьёзно внушал мне А. Т. Так говорил редактор самого либерального в стране журнала о самом молодом и смелом театре в стране! Откуда эта уверенность суждения? Был ли он на многих спектаклях «Современника»? Ни одного не видел, порога их не переступал (чтобы не унизиться). Высокое положение вынуждало его получать информацию из вторых (и нечистых) рук. Где-нибудь в барвихском правительственном санатории, где-нибудь на кремлёвском банкете, да ещё от нескольких услужливых лиц в редакции услышал он, что театр этот — дерзкий, подрывной, беспартийный, — и значит «гангстеры»...

Всего две недели, как я был напечатан, ещё не кончился месяц мёда с Твардовским, — я не считал достойным и полезным взбунтоваться открыто, и так я попал в положение упрашивающего — о собственных вещах упрашивающего кому-то показать, а Твардовский упирался, не советовал, возражал, наконец уже и раздражался моей ослушностью. Едва-едва он дал согласие, чтобы я показал пьесу театру... только не «Современнику», а мёртвому театру Завадского (лишь потому, что тот поставил «Тёркина»). Позднее согласие! Поло-

жась на слабую осведомлённость А. Т. (вдали и выше обычной литературной публики, московской динамичной среды), я остался связан с «Современником». Однако задержал пьесу на месяц — неповторимый месяц! — ждал, чтобы цензура подписала «Матрёну» и «Кречетовку». После этого я полностью отдал пьесу «Современнику» — да упущено было время: уже сказывалось давление на театры после декабрьской кремлёвской «встречи». «Современник» не решился приступить даже к репетициям, и пьеса завяла на многие годы. Твардовский же с опозданием узнал о моём своеволии — и обиделся занозливо, и в последующие годы не раз меня попрекал: как же мог я обратиться в «Современник», если он просил меня не делать этого?

Впрочем же и без Твардовского: вскоре приехала ко мне представительница «Ленфильма» с четырьмя экземплярами договора на «Кречетовку», уже подписанного со стороны Ленфильма, мне оставалось только поставить подпись и получить небывалые для меня деньги — и «Кречетовка» появится на советских экранах. Я — сразу же отказался: отдать им права, а они испортят, покажут нечто осовеченное, фальшивое? — а я не смогу исправить...

А. Т. в письме назвал меня «самым дорогим в литературе человеком» для себя, и он от чистого сердца меня любил бескорыстно, но тиранически: как любит скульптор своё изделие, а то и как сюзерен своего лучшего вассала. Уж конечно не приходило ему в голову поинтересоваться, — а у меня не будет ли какого мнения, совета, предложения — по журнальным или собственным его делам? Ему не приходило в голову, что мой внелитературный жизненный опыт может выдвинуть свежий угол зрения.

Даже в темпах бытового поведения мы ощущали разность. Теперь, после нашей великой победы, отчего было не посидеть за большим редакционным столом, попить чайку с бубликами, покалякать то о важном, то о пустячном? «Все писатели так делают, например Симонов, — шуточно внушал мне А. Т., — прилично сядут, негоропливо покурят. Куда вы всё торопитесь?» А я туда торопился, что на пятом десятке лет ещё слишком много ненаписанного разрывало меня, и слишком стойко стояли глиняные, однако и железобетонные, ноги неправды. И цвела лопухами враньева литература*.

Первую рецензию обо мне — большую симоновскую в «Известиях», А. Т. положил передо мной с торжеством (она только что вышла, я не видел), а мне с первых абзацев показалось скучно казённо, я отложил её не читая и просил продолжать редакторский разговор о «Кречетовке». А. Т. был просто возмущён, то ли счёл за манерность. Он не видел, какой длинный-длинный-грозный путь был впереди, и какие тараканьи силёнки у всех этих непрошенных рецензий.

Тем более расходились наши представления о том, что надо сейчас в литературе и каким должен быть «Новый мир». Сам А. Т. считал

* Да куда совсем не поспевали ни мои заботы, ни тем более Твардовского, а где очень надо было бы обернуться-позаботиться: что делается сейчас с переводами «Ивана Денисовича» на языки? Ужасности этого — что рассказ мой зарубливают на 25 и на 40 лет вперёд, — я совершенно не представлял. При том, что СССР — не член международных соглашений об авторском праве, рассказ был открыт на расхват кому угодно. А тут такая политическая сенсация! Только на одном английском языке взялись издавать 6 издательств, не считая на других. И все же — наперегонки, кто раньше, переводчики — самые случайные, только бы скорей! — а перевод-то наисложнейший. Даже группа Хингли и Хэйворда, самая солидная, перевела неудачно. — что ж говорить о других! Серый малограмотный поток с политическим шибаньем в нос. Погасли все краски, все языковые пласты, все тонкости, а уж намёки на брань переводились самими последними отъявленными ругательствами, полным текстом. (Примеч. 1978)

В 1981 в штатах Массачусетс и Вермонт книгу изымали из школьных библиотек за эти грубые ругательства (хотя нынешние американские школьники ругаются грязнее наших эзков) — и я получал негодующие письма от родителей: как можно такую мерзость печатать! А новым переводом заниматься совсем некому и теперь, Гарри Виллетс не успевает с Узлами. (Примеч. 1986)

его предельно смелым и прогрессивным — по большому успеху журнала у отечественной интеллигенции, по вниманию западной прессы.

Это было так, да. Но приверженцы «Нового мира» не могли иметь первым масштабом иной, как сравнение с бездарной вереницей прочих наших журналов — мутных, даже рвотных по содержанию и дохлых по своей художественной нетребовательности. (Если в тех журналах — я обхожу «Юность» — и появлялось что-либо интересное «для заманки», то либо спекуляция на именах умерших писателей, такими же шавками затравленных, чем прослыла «Москва», либо статьями, далёкими от литературы.) Прирождённое достоинство и благородство, не изменявшие Твардовскому даже в моменты самых обидных его ослеплений, помогали ему не допускать в журнал прямой пошлости (вернее, она текла и сюда, особенно в мемуарах чиновных людей вроде Конева, Емельянова, но всё же сдержанным потоком), а сохранять равновесный тон просвещённого журнала, как бы возвышенного над временем. В первой половине журнальной книжки бывало и пустое, и ничтожное, но во второй, в публицистике, критике и библиографии, всегда была обстоятельность, содержание, всегда много интересного.

Однако существовал и другой масштаб: каким этот журнал *должен был бы* стать, чтобы в нём литература наша поднялась с колен. Для этого «Новый мир» должен был бы по всем разделам печатать материалы следующих классов смелости, чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения верхов, от колебаний страхов и слухов — не в пределах разрешённого вчера, а каждым номером хоть где-то раздвигая пределы. Конечно, для этого частенько бы пришлось и лбом о стенку стучать с разгону.

Мне возразят, что это — бред и блажь, что та кой журнал не существовал бы у нас и года. Мне укажут, что «Новый мир» не пропускал ни пол-абзаца протащить там, где это было возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни выражался журнал — он искупал это своим тиражом и известностью, он неумоимо распатывал камни дряхлеющей стены. Столкнуться же разик до треска и краха и потом совсем прекратить журнальную жизнь редакции не может: журнал, как и театр, как киностудия, — своего рода промышленность, это не воля свободного одиночки. Они связаны с постоянным трудом многих людей, и в эпоху гонений им не избежать лавировать.

Наверно, в этом возражении больше правды, чем у меня. Но я всё равно не могу отойти от ощущения, что «Новый мир» далеко не делал высшего из возможного, — ну хотя бы первые после XXII съезда, неповторимо-свободные месяцы — как использовал «Новый мир»? А сколько номеров «Нового мира» еле-еле выбарахтывались на нейтралке? Сколько было таких, где на две-три стоящих публикации остальное была несъедобщина и серятина, так что соотношение страниц тех и этих давало к.п.д. ниже, чем у самого никудышного теплового двигателя?

Год за годом свободолюбие нашего либерального журнала выросло не так из свободолюбия редакционной коллегии, как из подпора свободолюбивых рукописей, рвавшихся в единственный этот журнал. Этот подпор был так велик, что сколько ни отбрасывай и ни калечь цензура — в оставшемся всё равно было много ценного. Внутри либерального журнала каменела консервативная иерархия, доклады «вверх» делались благоприятные и приятные, а неприличное так же успешно (но более дружественно) задушивалось на входе, как и в «Москве» или «Знамени». Об этих отвергнутых смелых рукописях Твардовский даже и не узнавал ничего, кроме искажённого наслуха. Он так мне об этом сказал:

— В «Новый мир» подсылают литераторов-провокаторов с антисо-

ветчинкой: ведь вы, мол, единственный свободный журнал, где же печататься?

И заслугу своей редакции он видел в том, что «провокации» вовремя разгадывались и отвергались. А между тем «провокации» эти и была свобода.

Я всё это пишу для общей истины, а не о себе вовсе (со мной оборот — Твардовский брался и через силу продвигать безнадежное). Я это пишу о десятках произведений, которые гораздо ближе подходили к норме легальности и для которых «Новый мир» мог сделать больше, если б окружение Твардовского не так судорожно держалось за подлокотники, если б не сковывал их постоянный нудный страх: «как раз сейчас такой неудобный момент», «такой момент сейчас...» А этот момент — уже полвека.

Я как-то спросил А. Т., могу ли я, печась о журнале, рекомендовать ему вещи, которые мне особенно нравятся. А. Т. очень приветливо пригласил меня это делать. Два раза я воспользовался полученным правом — и не только неудачно, но отягощающе для моих отношений с журналом.

Первый раз — ещё в медовый наш месяц, в декабре 1962. Я убедил В. Т. Шаламова подобрать те стихи «Из колымских тетрадей» и «Маленькие поэмы», которые казались мне безусловными, и передал их А. Т. через секретаря в закрытом пакете.

Во главе «Нового мира» стоял поэт — а отдел поэзии журнала был скуден, не открыл ни одного видного поэтического имени, порой открывал имена некрупные, быстро забываемые. Много внимания уделяя дипломатическому «национальному этикету», печатая переводные стихи поэтов союзных республик * или 2—3 маленьких стихотворения какого-нибудь уже известного поэта, он никогда не давал большой сплотки стихов, которая составила бы направление мысли или формы. Стихотворные публикации «Нового мира» не бывали художественным событием.

В подборке Шаламова были из «Маленьких поэм» — «Гомер» и «Аввакум в Пустозерске», да около 20 стихов, среди которых «В часы ночные, ледяные», «Как Архимед», «Похороны». Для меня, конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область «просто поэзии», — они были из горячей памяти и сердечной боли; это был мой неизвестный и далёкий брат по лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская ноги, и наизусть, пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятка.

Я не считаю себя судьёй в поэзии. Напротив, признаю за Твардовским тонкий поэтический вкус. Допустим, я грубо ошибся, — но при серости поэтического отдела «Нового мира» так ли нетерпимо отвергать? К тому времени, когда смогут быть опубликованы эти мои очерки, читатель уже прочтёт и запрещённые стихи Шаламова. Он оценит их мужественную интонацию, их кровотечение, недоступное опытам молоденьких поэтов, и сам произведёт суждение, достойны ли они были того, как распорядился Твардовский.

Мне он сказал, что ему не нравятся не только сами стихи, «слишком пастернаковские», но даже та подробность, что он вскрывал конверт, надеясь иметь что-то свежее от меня. Шаламову же написал, что стихи «Из колымских тетрадей» ему не нравятся решительно, это — не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя.

Стал я объяснять Твардовскому, что это — не «интрига» Шаламова, что я сам предложил ему сделать подборку и передать через ме-

* Есть литература каждого отдельного народа и есть литература мировая (оглабающая по вершинам). Но не может быть никакой промежуточной «многонациональной» — литературы (пропорциональной, вроде Совета национальностей). Это дутое представление, наряду с соц. реализмом, тоже помешало развитию нашей литературы в истекшие десятилетия.

ня,—нисколько не поверил Твардовский! Он удивительно бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у него уверенность в кознях Шаламова, играющего мной.

Второй раз (уже осенью 1964) мне досталось напористо побуждать редколлегию напечатать «Очерки по истории генетики» Ж. Медведева. В них было популярное изложение неизвестной народу сути генетической дискуссии, но ещё больше там был — накал и клич против несправедливости на материале вполне уже легальном, а между тем клич этот разбуживал общественное сердцебиение. И книга эта что называется «единодушно нравилась» редакции (ну, Дементьев-то был против), и на заседании редакции Твардовский просил меня прекратить поток аргументов, потому что «уже убеждены» все. И только «о небольших сокращениях» они просили автора; а потом о больших; а потом «потерпеть несколько месяцев»,— да так и заколодило. Потому что эта книга «выдавала» свободу мысли ещё не разрешённой порядией.

Непростительным же считал Твардовский и что с «Оленем и шалашовкой» я посмел обратиться к «Современнику». Обида в груди А. Т. не покоилась, не тускнела, но шевелилась. Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу, не просто говорил о ней недоброжелательно, но *предсказывал*, что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных надолб. Более того, он сказал мне (16 февраля 1963, через три месяца от кульминации нашего сотрудничества!):

— Я не то чтобы запретил вашу пьесу, если б это от меня зависело... Я бы написал против неё статью... Да даже бы и запретил.

Когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже белели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское. (А ведь для чего запретить? — чтоб моё имя побережь, побуждения добрые...)

Я напомнил:

— Но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения?

Ничего не ответил. Но и душой не согласился, нет, внутренне у него это как-то увязывалось. Раз вещь была не по нему — отчего не задержать её и силой государственной власти?..

Такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взросте.

Твардовский не только грозился помешать движению пьесы, он и действительно помешал. В тех же числах, в начале марта 1963, ища путей для разрешения пьесы, я сам переслал её В. С. Лебедеву, благодетелю «Ивана Денисовича». «А читал ли Твардовский? Что он сказал?» — был первый вопрос Лебедева теперь. Я ответил (смягчённо). Они ещё снеслись. 21 марта Лебедев мне уверенно отказал:

«По моему глубокому убеждению пьеса в её теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Деятели театра «Современник» (не хочу их ни в чём упрекать или обвинять) хотят поставить эту пьесу для того, чтобы привлечь к себе публику («а какой театр хочет иного?») и вашим именем и темой, которая безусловно зазвучит с театральных подмостков. И я не сомневаюсь в том, что зрители в театр будут, что называется, «ломиться», желая познакомиться... какие явления происходили в лагерях. Однако... в конце концов театр вынужден будет отказаться от постановки этой пьесы, так как в театр тучами полетят «огромные жирные мухи», о которых говорил в своей недавней речи Н. С. Хрущёв. Этими мухами будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств, всевозможные нашеньские обыватели и прочие подобные люди».

Обыватели и «прочие подобные люди»! То есть попросту — народ? Театр «сам откажется»? Да, когда ему из ЦК позвонят... Вот — и эпоха, и театральные задачи, и государственный деятель!

Отношения Твардовского с Лебедевым не были просто отношениями зависимого редактора и притронного референта. Они оба, кажется, называли эти отношения дружбой, и для Лебедева была легка дружба с первым поэтом страны (по табелю рангов это было с какого-то года официально признано). Он дорожил его (потом и моими) автографами (при большой аккуратности, думаю, и папочку особую имел). Когда Твардовский принёс Лебедеву «Ивана Денисовича», обложенного рекомендациями седовласых писателей, Лебедеву дорого было и себя выказать ценителем, что он прекрасно разбирается в качествах вещи и не покусится трогать её нежную ткань грубой подгонкой.

Откуда он взялся в окружении Хрущёва и чем он занимался раньше? — я так и не узнал. По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. Может быть, руководило им личное соперничество с Ильичёвым, которого обскакать он мог только на либеральной лошадке?.. Познакомились мы на первой «кремлёвской» встрече руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией — 17 декабря 1962.

Вызов на первую встречу настиг меня распахом: в субботу вечером пришло в школу распоряжение из обкома партии, что в понедельник я вызываюсь в ЦК к товарищу Поликарпову (главный душеватель литературы и искусства), а повезёт меня туда в 6 утра обкомовская машина. По своему подпольному настрою я вдался в мрачные предположения. Я решил, что Поликарпов, не сумев задержать вещь, теперь будет меня хоть в партию вгонять: не может же среди них толкаться чужеродный, надо его повязать той же клятвой. Я готовился к разговору, как к большой беде, так я и знал, что налечтание к добру не поведёт. В партию я конечно не пойду, но аргументы выглядят шатко. И я нарочно поехал в своём школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненных-перечиненных ботинках с латками из красной кожи по черной, и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придураться: мол, эки мы, и много с нас не возьмёт. Таким-то зачуханным провинциалом я привезен был во мраморно-щёлковый Дворец Встреч.

И вот тут-то в одном из перерывов как бы случайно (а на деле — нарочком) мимо нашего с Твардовским дальнего конца стола стали проходить то краснолицый надменный Аджубей, зять Хрущёва, то ничтожный вкрадчивый Сатюков (редактор «Правды»), то невысокий, очень интеллигентный, простой и во взгляде и в обращении человек, с которым Твардовский поспешил меня познакомить. Это и был Лебедев. Меня поразила непохожесть на партийных деятелей, его безусловная тихая интеллигентность (он был в безобразных очках, только стёкла и поблескивали, оставалось впечатление как от пенсне). Может быть потому, что он был — главный благодетель и смотрел ласково, я его и охватил таким. Разговора содержательного не было, он заверил меня, что я «теперь на такой орбите, с которой не сбить» меня. Спросил, не намерен ли я сегодня выступить. Нет конечно, мне даже дико показалось (о чём бы я мог перед этой публичкой?!). Он, кажется, и доволен, что я не выступлю. Похвалил, что я интервью не даю (знал бы он, что не верноподанность за этим, а не хочу ни в чём приоткрыться), и просил «Ивана Денисовича» с автографом. Это был просто от неба приставленный к беспутному Хрущёву ангел чеховского типа. (Объяснил, почему так экстренно меня вызвали: «Прос в ЦК забыли». Да охотней зубами бы растёрли.)

(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.): Об этих встречах в печати почти никто не рассказывал, я не встречал. Да большинство участников всё ещё в той же сфере и остался, и под той же пятой, для кого и сладостной,— им и не рассказать, и незачем. И конечно, с отдалением нашим от тех дней всё ничтожней и само событие и участники его. Уже сейчас не все имена запомнены, а следующему поколению они будут и видны. Но вапчь будет когда-нибудь и всё наше рабство,— и как его потом вообразить? У меня сохранились записи — самих совещаний, прямо там и сделанные, на коленях, и в те

же вечера ещё добавленные посвежу. Всё в подробностях не буду, но даже глоток того воздуха вырвать из тех залов и дать подышать опоздавшим — может быть стоит.

Идея «встречи руководителей партии и правительства с деятелями культуры и искусства» — не была нова: по каким-то поводам и Сталин встречался, изрекал для справки несмышлёншей, да и Хрущёв летом 1957 принимал у себя на подмосковной даче избранную группу литераторов и впускал, как не надо распатывать основы, эту встречу воспеда Алигер — то ли в стихах, то ли в воспоминаниях. Что руководители правительства покидают государственные дела и занимаются выправлением искусства — для тоталитарного государства нисколько не диво, оно только тогда и тоталитарно, тогда и держится, если не упускает ни единого живого места, так что живопись, музыка, а тем более литература для них так же важны, как и своевременное вооружение. А самих «деятелей искусства» эти встречи не только не удивляли — но были искренним праздником для большинства и предметом жестокого соревнования: как попасть в число приглашённых? Почти все приглашённые были тем самым уже награждены: ЦК относит их к «ведущим», а значит им обеспечены впрямь тиражи, выставки, спектакли. В то утро помню разговор в отделе культуры ЦК при мне, что Исаковский, впервые обойденный, слёзно вымалывал себе приглашение: впервые ему не оказалось места в важном собрании, и значит он перестал быть ведущим, и карьера его как бы заканчивалась. А приглашённых в тот раз было немало — 300 человек, но вместе с напреспублниками, которые летели и ехали в Москву, за несколько дней предупредённые, — сам же отбор производился в ЦК, конечно переизбирался с ЦК нацкомпартий и с руководством творческих союзов, и много тут сталкивалось желаний, обид, личных протекций и партийных сшибок. А помимо «ведущих» вызывались и те, кого надо было осадить, призвать к порядку (в тот раз такой был Эрнст Неизвестный, а Втушенко — и такой, но и ведущий, уже он пробил себе дорогу).

Эта встреча 17 декабря произошла через месяц без дня от публикации «Ивана Денисовича» 18 ноября — и события были связаны. Всем благоразумным коммунистам показал «Иван Денисович», что дальше им отступать нельзя, что этак развалится и государство и партия. Сталин, сколько ни проявлял, как будто, своих личных прихотей, а на самом деле никогда не вымётывал из партийной колеи: даже уничтожая ленинскую партию, он был не против партии, а с ней, — он катил инерционно-косно, ленинским путём. А Хрущёв, никогда не уничтожая и внешне блюдя партийную линию (он мышлением куда ближе был к 20-м годам, чего стоит его лютая ненависть к церкви), — то и дело по характеру и сердцу выпрыгивал в стороны неожиданно, как не может себе позволить равномерная тоталитарность. Из таких разрушительных явных выпрыгов было разделение партии на промышленную и сельскохозяйственную, но и послабление в литературе было для коммунистов предусмотрительных достаточно грозно: ведь если позволить печатно обсуждать ГУЛАГ, то что ж останется от системы? Итак, после прорыва «Ивана Денисовича» надо было срочно образумить Хрущёва и втянуть его обратно в колею. Кто из ЦК руководил этим поворотом — достоверно не известно, но очень можно подозреть Суслова. (В противоречие с этим, единственный из вождей, кто в перерыве подошёл ко мне знакомиться, — был Суслов же. Но, может быть, тут противоречия и нет: он присматривался, как и меня захватить в их колею?) Разработано было недурно: если бы вразумление делали против Хрущёва, а он бы выбрыкивался, — развалил бы он всё, ничего бы не получилось. Прямо на рожон лезть и убеждать Хрущёва, что «Иван Денисович» был ошибкой, — никак было невозможно. Но придумали, как против Хрущёва пустить самого же Хрущёва! — этим обеспечены были натиск и энергия обратного поворота. Уже 1 декабря подстроили в Манеже выставку художников недопустимых направлений (в том числе и работы 20-х годов!) — и дружески повели Хрущёва показывать, до чего воольность искусства доводит. Хрущёв, конечно, в простоте расвирепел — и тут же его уговорили на образование деятелей искусства, хоть завтра, оставалось дело за организацией. Рассчитывали правильно, что инерция общего поворота потом захлестнёт и лагерную литературу. Но я попадал на эту встречу пока — не главным виновником, а главным имениником.

Близ 10 утра подкатали меня к зданию самого ЦК на Старой площади, о котором раньше лишь понаслышке я ведал, сюда и не забраживал, это — особенно чистое место, машины стоят только большие чёрные, охраняемые, а пешеходы, случайно попавшие на этот кусок тротуара, — скромно строго быстро мимо, чтобы глазами своими преступными чего непопозволятельного не выказать охране да не быть захваченным. А я вот — вхожу даже, сказываюсь в окошко, — там звонят и сразу дают мне пропуск, и я поднимаюсь мимо стражи по пустой лестнице, не смея на лифт, дальше по обширным пустым коридорам — а на дверях одни фамилии, без чинов и должностей (между своими все всё понимают, а чужим и не надо).

К облегчению, сам Полварков видеть меня не пожелал (мерзко, наверно, ему было, и правильно сердце его чувствовало), зато отдел принял меня восхитительно-заботливо (да они всю жизнь, наверно, сочувствовали лагерной литературе! зря я сюда ещё раньше повесть не принёс?), сразу разъяснилось, что вызван я всего лишь на торжество, а младшие сотрудники аппарата спешили в дверь заглянуть, на меня посмотреть. Дали мне кусок изукрашенного картона — это и был пропуск на сегодня в кремлёвский дворец приёмов, любопытный: цвет, литер, номер — что-то значат, а неизвестно, ни даты, ни места приглашения, и если вот на улице найдёшь, оброненный, то никогда не догадаешься, что это — пропуск, и куда. А сперва — в гостиницу «Москва» (автомобилем, разумеется), — ту самую, как бастион на центральной московской площади, — и мимо неё, раздававший величием, я сколько мимо прохаживал, тут в 1945 шёл с тремя конвоирами сдавать себя на Лубянку, тут после 1956 протаскивал

сумки тяжёлые с московской провизией — скорей в метро да на Казанский вокзал. И вот — внутрь, да направленный не к безнадежному барьеру вестибюля, где номеров никогда никому нет, кроме иностранцев, но в рядовую, как бы жилиую комнату, а там-то, для знакомых, и распределяют все места. И едва овладела я своим невиданным пышным номером — как уже новая большая чёрная машина ждёт внизу — нас, нескольких почётных, рядом со мной — холёный мужчина в годах, изволит знакомиться, оказывается — Соловьёв-Седой, сколько его надоевшие песни нам на шарашке в уши лезли из приёмников — думал ли я когда, что нас сведёт? Однако, кажется, весь сон мой — не на один день, а мне теперь среди них — жить и обращаться, и надо как-то привыкать. Тем временем широченная машина взносит нас виадуком Комсомольского проспекта — да на Воробьёвы горы. Сколько меня в жизни давило это Государство, как оно было всегда безжалостно, неприступно, неуповчиво, и большинство людей в этом верном впечатлении так и проживут всю жизнь, — а вот, оказывается, у этой мощи есть и оборот: она вовсе не давит насмерть, не закрыта вся железными створками, но распахнута бархатно, но несёт такими уверенными крылами, как, может быть, ни одна сила в мире носить не умеет. Эй, берегись, старый эзк, это всё не к добру!

Сперва обширный каменный забор на высоком взлёте (да не здесь ли Герцен с Огарёвым клялся в свободе?), у ворот проверка машин часовыми, тогда уже въезд (а кто на случайных машинах приехал — тот через двор пешком, даже и Федина так узнаю; а мы — к самому входу). В раздевалке ливрейные молодцы приняли моё тёртое унылое длинное провинциальное пальто, как будто и не удивясь. А дальше — залы крупного паркета, да кажется день же сегодня будний или вообще не день? Задернуты все великолепные оконные белоснежные занавеси, лётся белизна от ламп дневного света, да и то скрытых. Где-то там тужатся по стране — трудовые вахты, шахты, виснут трудящиеся на ступеньках автобусов, ухающих через грязные колдобины, — здесь переполнены залы разодетой праздной публикой, все мужчины — в остроносых лакированных ботинках, в каких и по уличному снежному месиву не пройдёшь, — и все друг ко другу так и спешат — здороваться, наговариваться, шутить, все друг друга знают в лицо, кроме некоторых наёмнов. Есть и дамы, разряженные, но мало их. Я шёл сторонкой, рыла своего не выказывая, ботинками ступая понезаметней, никого я тут не знал, не узнавал, одного Шолохова, фотографируемого при многих молниях и под треск аппаратных ручек, а он стоял и преглапо им улыбался. До того мне было тут зажато-чуже, что обрадовался я, увидав казахов, хорошо отличаемых мною после ссылки, пошёл и сел подле них, думая тут перебыть втихомолку, но и сюда подошла какая-то большая недобрая пиковая дама, и мимо-радостно с казахами знакомилась, что она тоже из Казахстана, — и тогда я сообразил, что это Серебрякова.

Просидел я при казахах, глаз не поднимая, очень опасаясь всяких вопросов и разговоров, а когда позвали в обеденный зал, то пошёл опять при казахах и при них же сел, места были незазаннанные. Весь зал, обставленный белыми колоннами с золотёными основаниями, занимал широкий стол буквой «П» — и тут же мы все опять поднялись, душевно-радостными аплодисментами приветствуя вход за короткую сторону стола десятка руководителей партии и правительства. Длинный Суслов там был среди них, тучный Брежнев, устало-досадыливый Косыгин, непроницаемый Микоян, — но посредние маленький лысый Хрущёв мягким голосом пригласил: «Когда человек поест — он становится добрей», и предложил пока пообедать. С большой готовностью усаживались — а съёмочные аппараты все исчезли. А на столе-то было уже наставлено — я такого в живой жизни не выдвигал: перед каждым по 5 фузеров, три ножа — нормальный, малый и кривой, зачем ещё этот кривой? икра, осетрина, мясо, курчигина, салаги, вина, боржомы, — да одного этого холодного должно было на всех хватить досыта — но ни-сколько не хватало. Растерялся я в этом изобилии и только думал справиться примером соседей, но не казахов же. А с другого боку и противу меня сидели русские — да отменные ряжки, крупнолицые, крупнотелье мужчины в живой весёлой беседе друг с другом, очень запросто о Поликарпове, и тут я начал смеяться, что это всё — важные руководители: истинный руководитель всего Союза писателей Георгий Марков, а рядом со мной — тучный уверенный Вадим Кожевников, а невдалека наискосок — невзрачный Шолохов, средь дух невероятно крупных морд. (Софронов, кажется.) А ещё между ними — небольшой проныраивый Чаковский, кожей носа то и дело подбрасывающий свои очки, и первый с бокалом, кланяясь наискосок: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» — и все вдогон, чтоб не отстать: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» (Я — не шевелюся, я — из другой республики.)

Это — всё грозные были имена, звучные в советской литературе, и я совсем незаконно себя чувствовал среди них. В их литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня — и как же мне теперь среди них жить и дышать?

Тем временем пользуюсь, что смотрят на меня нё внимательней, чем на любого казаха, я, тайком от соседа Кожевникова, на коленях записывал в блокнотик: суп с осетриной, лимоном и маслинами; осетрина с картофелем; битки с картофельной стружкой; пирожки; фруктовые блюдо; мороженое; кофе. Все подавали молодые бешумные дрессированные официанты во фраках, в изогнутой позе, одна рука с блюдом, другая за спиной. И это — все десятилетия, что мы выработывали пайку, а в Саратове и сегодня душатся за макаронами, — а они вот так едят! И церемониал обслуживания не сегодня же возник, да и деятеля искусств к нему, кажется, весьма привычны.

Шёл обед часа полтора, потом гуляли в перерыве — и втекали в отдельный зал смотреть картины художников, осуждаемых партией, — так предварялась тема сове-

шания. Тут я набрёл на Твардовского, и он меня взял под руку и водил, выбирая, с кем знакомить, а с кем нет. В этот и в следующий перерыв он так знакомил меня — с композитором Свиридовым, которого я всё же отличал, да и сам оказался симпатичен; с прославленным тогда кинорежиссёром Чужраем, с Берггольц, Пановой, Кетлинской, Борщаговским, Мальцевым (Пупко). Знакомился я знакомился, все они высказывали радостное сочувствие, а я учился с ними разговаривать, за своих никого тут признать не мог. Не предстояло мне выбирать, с кем я, ясно — что ни с кем, кроме вожакого моего: а все они — тут же годами были, когда за одним столом с правительством, когда за соседними, — однако за макаронами не душился никто. И какие они ни либералы, какая ни оппозиция, — но все на государственных заказах и работают на государство, и по сравнению с тем, что волок я позади своих плеч, — все они друг другу равнялись.

Так мы с Твардовским гуляли-гуляли (за это время ещё обнаружив забавный приём: в мужскую уборную того этажа, где банкет, пускали только членов Политбюро, специально дежурил чин в проходе, — а всех остальных направляла этажом ниже). Уже и звонок дали, и все ушли в зал, а Твардовский чего-то поджидал, или это уговорено у него было, я и не понял, — в пустом и уже полутёмном вестибюле вдруг оказались только мы двое, да кинооператоры с диковинными подсунутыми нам микрофонами — и тут Твардовский меня повернул — а шёл через вестибюль один Хрущёв. Твардовский меня представил. Хрущёв был точно как сошедший с фотографии, а ещё крепкой и шарокастый мужик. И руку протянул совсем не вежливо, и с простой улыбкой сказал что-то одобрительное, — вполне он был такой простой, как рассказывал нам в лубянской камере его шофёр Виктор Белов. И я испытал к нему толчок благодарного чувства, так и сказал, как чувствовал, руку пожимая:

— Спасибо вам, Никита Сергеевич, не за меня, а от миллионов пострадавших.

Мне даже показалось, что в глазах у него появилась влага. Он — понимал, что сделал вообще, и приятно было ему от меня услышать.

Пока ещё руки наши были соединены, пока ещё длилось это мгновение немешаемое рядом — я мог сказать ему что угодно, я мог какой-то важный и необратимый шаг сделать — а не был подготовлен, не сообразила голова: чувствую, что упускаю, а не сообразил.

Сообразил, только потом понял, через месяцы: надо было мне просить аудиенции, хотя и не составлена была беседа в голове. Надо было понять, что весь наш успех, едва достигнутый, уже шатается, что не осталось и мне того полугода открытости, на которые я рассчитываю, что вообще мы в последнем крайнем залёге в свободу, а теперь всё попытается, — и чтоб это пытаться остановить, предупредить — мне надо было смело говорить с Хрущёвым! Он был человек — индивидуальных решений, вполне возможно — я подвиг бы его на закрепление начато! Но я оказался не вровень с моментом — с первым прямым касанием к ходу русской истории. Слишком резок и быстр для меня оказался взлёт.

Да наверно и долго просидев, не мог бы я составить правильного плана разговора с Хрущёвым.

И так я руку опустил. И говорить больше нечего было (киношники между тем крутили — и в кинохронике наше пожатие было). Оставалось повернуться и идти в зал. И я — повернулся. И там — до закрытых дверей, где никого не было, точно, — теперь одиноко стоял малоросток Шолохов и глупо улыбался. Как Твардовский ловил Хрущёва — так и Шолохову, значит, этот момент высмотрел, и он выперся сюда, назад, тоже присутствовать, как царь литературы. Но Хрущёв миновал его стороной, а мне предстояло идти прямо на Шолохова, никак иначе. Я — шагнул, и так состоялось рукожатие. Царь — не царь, но был он фигурой чересчур влиятельной, и ссориться на первых шагах было ни к чему. Но и — тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного.

— Земляки? — улыбался он под малыми усиками, растерянный, и указывая путь сближения.

— Донцы! — подтвердил я холодно и несколько угрожающе.

Пошли в зал. Начинали.

Теперь на столах остался один боржом, и уже кинооператоры снимали беззапретно. Увёл меня Твардовский за дальний-дальний конец, где стигивалась как бы оппозиция и где — вот знамение времени! — сидел и Сурков. Да что там, не только с нами сидел, но мне пошутил: «Знаете, как этот дворец называется? Колхоз „Заветы Ильича“». Вот как шатались тогда столпы, и никто не понимал, куда же кружат небесные светила!

На краю стола вождей поднялся низкий узкий Ильичёв, заведующий отделом пропаганды ЦК, и стал делать доклад, изгибаясь узкой шеей на подобие змеино. Может быть и не сильный, голос его громко повторялся стенными динамиками, да и смысл слов был партийно-сильный. Что полезно время от времени сверять свои часы. Что абстракционисты действуют чрезвычайно активно и заставляют социалистов уйти в оборону. (Наличие войны разумелось само собою.) Формалисты навязывают партии новый диктат. И поступают в ЦК письма: неужели решения партии (несчётно было их за годы, но все в один бок) устарели? Нет! — вздрагивал Ильичёв всей шеей, — мы не допустим кощунственно распространять про Ленина, будто он был сторонник лозунга «пусть расцветают сто цветов!» — То втягивал голову в плечи, то губы закусывал от негодования: — И кинематографисты копаются на заднем дворе, слепнут к генеральной магистрали. И в литературе молодые бравируют фыркающим скептицизмом. А иностранцы высказывают проходимцев вроде Есенина-Вольпина. (Хрущёв: Портнография, а не искусство.) А часть поэтов пропагандирует общечеловеческое начало,

как Новелла Матвеева,— мол, всем поко, всем даю. Наступила пора безнаказанного своеволия анархических элементов в искусстве! Требуют выставок без жюри, книг без редакторов. Требуют мирного сосуществования в области идеологии! На собраниях бывают такие условия, что отстаивать партийную позицию становится неудобно. (Сталинцев хрип!)

Так представил партию совсем маленькой, слабой, утесненной,— а интеллигенцию грозно наступающей. Но, сам такой маленький, выстаивал против неё, крутя головой. Оказывается, откуда-то поползли фальшивые слухи, что будет новый поход против творческой интеллигенции,— и пришло письмо самому Никите Сергеевичу за подписью таких видных деятелей как Фаворский, Конёнков, Завадский, Эрэнбург. (И... Сурков! — вот куда он попался!) Сделайте всё, чтобы не повторился произвол! Без возможности разных направлений искусство, мол, обречено на гибель. Потом — отозвали своё письмо назад. (Хрущёв: И лучше б совсем не присылали!)

Жидкие аплодисменты зала.

А Ильичёв нагнетает и пошёл в наступление, распухая от малого своего объёма: диверсия буржуазии в области идеологии, мы не имеем права недооценивать. Не молодые художники «ищут путей» — а их нашли и потащили за собою. У нас — полная свобода для борьбы за коммунизм, но у нас нет и не может быть свободы для борьбы против коммунизма! Великое счастье, что партия определяет всё направление искусства.

Становилось всё жутковатее в зале. Настолько смешались в одной церемонии именины с похоронами, что мелькнуло у меня: пожалуй и со мной отбой дадут, сейчас навалятся, уж никак мой Денисович не за коммунизм. Да когда стеснялись наши дать обратный ход? Я единственный тут вызывал двойное, что сегодня — ещё и именины тоже.

А там близко перед ними стояла, нам не видно, медная скульптура Эрнста Неизвестного! И Хрущёв зарычал на неё внеочередь: «Вот произвол! Стали бы они большинством — в бараний бы рог нас свернули!»

А — мастера же поворачивать, когда руль всегда им послушен. С новым изгибом шеи, как от очень неудобного воротника, Ильичёв повёл совсем новую руладу: в отличие от произведений упаднических партия должна отличать произведения хотя и остро-критические, однако жизнеутверждающие. В последнее время появились очень правдивые, смелые произведения — такие, как «Один день Ивана Денисовича». Показаны человеческие люди в нечеловеческих условиях.

Хрущёв брал инстинктом, чем и отличался ото всех коммунистических вождей: что рассказ мой против коммунизма — он не заметил, потому что не голова тут сработала и не бронированная догма. А что честно по-крестьянски — заметил. Теперь, настороженно перебивая Ильичёва, забубнил:

— Это не значит, что вся литература должна быть о лагере. Что это будет за литература! Но как Иван Денисович раствор сохранял — это меня тронуло. Да вот меня Твардовский познакомил сегодня. Посмотреть бы на него.

А уже просмотрен я был чутким залом, как прошёл с Твардовским, — и теперь стали сюда обращаться и аплодировать — самые угодливые раньше Хрущёва, а уж после Хрущёва совсем густо.

Я встал — ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал — безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами, сурово. Всей глубины нашей правды они не представляли — и нечего даже пытаться искать их сочувствие.

Поклонился холодно в одну сторону, в другую, и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я — не ихний.

Ещё продолжался доклад Ильичёва, но всё более переходя в непрерывный комментарий Хрущёва. Отвечал он всё авторам того, взятого назад, письма, — что нет, нет, возврата к культуре личности не будет. «В тюрьму сажать никого не будем, — уверенно объявил Хрущёв. — Получайте паспорта и скатертью дорога, проявляйте свои таланты там».

(Это была ещё тогда настолько неправдоподобная нота, что никто всерьёз не принял.)

Как всякий новичок никогда не охватывает всей обстановки местности, всеми пролажен, но ничего не видит, я не смекнул, что для меня обстановка от первого перерыва до второго решительно изменилась. В первом перерыве ещё неизвестен был доклад Ильичёва, ещё никак ко мне не проявился Хрущёв, — и многие думать могли: а вдруг опять поворот? а вдруг Партия уже насчёт «Ивана Денисовича» передумала? И потому в первом перерыве к нам с Твардовским мало кто подходил, то ещё были отчаянные, а вот когда поваляли — в следующем перерыве (теперь-то и Чухрай подошёл), когда я был уже заведомо утверждён партией, и можно было ожидать моего дальнейшего взлёта. Тут-то — мимо нашего дальнего конца стола оказался крюк самым коротким — с лицом незапоминаемым, никаким, подошёл Сатюков. Так он дружески к нам вник, что дальше мы выходили уже втроём, и Сатюков сам спросил нетерпеливо: не предстоит ли моя новая публикация и не дам ли я отрывка в «Правду»? Я не совсем понял: зачем же это, портить новомирский рассказ. Я не сообразил, что значит «Правда» за честь берёт — перехватить меня у «Известий» и выколыхать перед Хрущёвым. И не сообразил, что для самого рассказа и для «Нового мира» это открывает дорогу без критики. Но Твардовский мгновенно всё понимал — и обещал непременно дать.

А ещё минут пять спустя к нам подошёл какой-то высокий худощавый с весьма

неглубоким удлинённым лицом и энергично радостно тряс мне руку и говорил что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятнее у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я: «Простите, с кем же...?» Твардовский укоризненно вполголоса: «Михаил Андре-е-ич!» Я: «Простите, какой Михаил Андреич?» Твардовский сильно забеспокоился: «Да Су-услов!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! — но меня зрительная память часенёко подводит, вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал, ещё продолжал рукопожатие. Так разворачивалась моя орбита! Те крупные бандиты из Союза писателей тоже, конечно, теперь жалеи, что упустили моё соседство в начале банкета, но при Твардовском подойти не могли никак, это был другой лагерь.

Хотя мнение партии было ясно, начался третий сеанс — прения. Чтобы тот же гвоздь теперь подтверждали и забывали сами деятели искусства. И они спешили выговориться, иногда выразительнее самого ЦК. Грозный Грибачёв так и лепал: хотят подменить идеологическое общечеловеческим, вообще о добре, в духе христианской морали, — так чем мы тогда будем отличаться от наших врагов? Призывал, «чтоб молодое поколение не мешало старому поколению мужественно стирать пятна прошлого». И уже знакомая мне Галина Серебрякова: «Я вся молодею при Никите Сергеевиче» (она хотела этим передать политическую весну, но Твардовский очень смеялся), заявляла уверенно и даже властно: «И в Органах и в охране есть честные люди, которые спасали нас (то есть старых большевиков) и верили в нас». Ее и выдвинули против моей опасности, и она поучала теперь: «Лагерная тема может быть столь же полезна, сколь и вредна. Закономерно не то, что такие вещи были, но что они миновали, ЦК очистил нас от них». Ещё выступал здоровый упитанный художник Серов (иронический однофамилец великого предшественника) и откровенно объявлял, что в искусстве бездарность — не опасность, лишь несчастье, а опасность — абстракционизм. Чистый ленинский путь — это не мармелад, и хороши только те грани жизни, в которых отражается солнце построения коммунизма.

Я пишу эти заметки через 16 лет — и всё это так уже ушло в прошлое, измельчилось, отвороспелелось по сравнению с новыми кусающими ударами и болями, которых тогда нельзя было и предвидеть, — что меня самого охватывает скучающее чувство, и останавливается перо. Но и опоминаюсь: да ведь это — царствовало полвека и ещё сегодня в Союзе забывает мозги, — так свидетельство не может быть лишним.

Собственно, три нити вились в дискуссии этого дня. Первая — абстракционизм в живописи, уже безусловно осуждённый, безнадёжный и не подлежащий отстаиванию. Но полуниткою отгрёпывалось от него — «общечеловеческое», которое тоже осуждала партия и здравые деятели искусства, но которое — на это смелость требовалась! — можно было попытаться и чуть отстаивать. Общечеловеческое как часть абстрактного искусства! — вот была вся наша уродливая цель свободы! Но седой джентльмен с благородным голосом Щипачёв (в другие времена — обрядовый марксист) тут осмелился сказать: «Нам принадлежит будущее — и темы должны быть очень широки. Именно нашей литературе принадлежат общечеловеческие темы, а буржуазная — потеряла на них свои права». Сильно было песочной подмесью, но даже это в тот день в том зале звучало смело, — и я поторопился в этом месте первый сдвинуть аплодисменты зала, — и были хорошие.

Вторая нить вилась — лагерная тема. А третья — темнонакалённая — антисемитизм. Московская творческая интеллигенция остро опасалась, чтобы новое гонение не стало противоеврейским, и этот сгущённый страх вошёл и в этот зал во многих грудях, и хорошо известен был ЦК. Ильичёв, хоть и час говорил, а тему эту обминул, но Никита ещё в репликах высказал: неправильно «Бабий Яр» написан, будто Гитлер одних евреев истреблял, а славян он истребил ещё больше. Есть ли у нас сейчас антисемитизм в стране? Нет! А — был ли? В первые годы советской власти процентный перевес евреев был хотя и очень понятен, но антисемитизм — вызывал. А Шостакович, написав на стихотворение Евтушенко симфонию, совершил работу вредную. (Но — мягко Шостаковичу: «Я вас уважаю. Я думаю, что вы ошибаетесь») И даже Грибачёву (хотя уж как поддержанному аппаратом) пришлось оправдываться, что он не антисемит. И когда затем выступали Евтушенко и Эренбург, то самим фактом выступления и собою — напоминали, что позиций так не отдадут.

Евтушенко находился (он ещё этого не знал) на последнем докате своей гремящей роли и славы, дальше предстоял спад. Если уверенность Грибачёва крепла на поддержке власти, то Евтушенко держался именно самоуверенно, повышено значительно, театрально (и Твардовский сказал мне по соседству: «ведь не ты же выступаешь, а почему-то неловко»). Не общёлся он и без театрализованных басен — как он сейчас разговаривал с таксёром, по пути сюда (любимый сюжет городских щелкоперов), или как приходил в их семью освобождённый эзк и рассказывал о преданности ленинизму его деда, умершего в лагере, — и голос Евтушенко содрагивал сочувствием. Осмелился судить о Сталине — что он «может быть даже иногда верил коммунизму» (Хрущёв горячо поправил: «Сталин был предан коммунизму всей душой! но вот — как он его строил...»). Осмелился назвать догматизм также формой ревизионизма — и отсюда сделал самый смелый выпад: «А сколько на выставке было бездарно-догматических картин? Никита Сергеевич, вот ваш там портрет — плохой!» (Это тогда — очень дерзко звучало, хотя уверен был Евтушенко, что на личном Хрущёв не обидится).

А Эренбург, напротив, вышел — дряхлым губошлёпом, уже близким к своему концу. Сколько за свою жизнь он придворничал, лгал, изворачивался, ходил по лезвию. И сейчас, который раз, соображая всё новейшую обстановку, он ступал где посмелей,

где порабистей. Да, он — боялся Сталина. Сколько раз он него спрашивал себя: «за что?» тот губит людей. И — неужели никто не скажет Сталину правды? И вот теперь задача (?): объяснить молодым, почему народ (и Эрэнбург) продолжал работать и при Сталине? Но, но! — Сталин не был антисемитом! (Как урок нынешним, наиболее удобная форма высказать позицию.) Сталин, будто бы, вызывал редакторов и ругал их: что за безобразия — раскрытие еврейских псевдонимов в газетах? (Какие смельчаки редакторы!) В общем, *деды* (ленинские соратники) — были хороши, *отцы* подгуляли. Признался: «Я сам не понимал, что писал в 20-е годы». (Но скольких же отравил!) А сейчас если что его беспокоит — то «неполное согласие с Никитой Сергеевичем». — Вот с таким ничтожным итогом кончал это наш учитель коммунистических десятилетий. Мне противно было его слушать и вспоминать, что в 1941 его статьи меня сильно волновали.

А между тем — за обедом, докладом, променадом и прениями прошло уже более шести часов, за белоснежными занавесами уже стемнело, рабочий день страны перекатился в отдых грядущихся, — а мы всё сидели, и в какой-то особо удручённо-ослиной позе, не разделяя этого сборища и не касаясь его, сидел Косыгин. Глава правительств — сам тут был раз бесзастенчивый, комический, хотя ждали его дела поважнее. По необъятному размаху задуманного партией — ещё было говорить и говорить, записалось 40 человек, а выступило только 8, сегодня — уже явно не уместиться. Перенести? Но на завтра нельзя было перенести: предполагался несколькодневный визит Тито. Значит — на неопределённое время. А если так — то неизбежно было предварительное заключительное слово Никиты Сергеевича. Оно и наступило.

Ну, конечно, о печати как дальнобойном оружии партии. Внутри нашей страны — нет сосуществования систем, здесь — вопрос чистоты или грязи. (Ещё раз видно, какой манёвр для них — сосуществование.) Борьба не терпит компромиссов. (Отговариваясь: хотя с Кеннеди мы пошли на разумный компромисс. — Ведь Хрущёв только-только вынырнул из страшных дней, первый раз проведя мир вплотную к ядерной войне, и вот, из первых его мирных занятий — с нами.) Идёт борьба за умы людей. Ваши умы — для нас очень ценны, вы сами — маршалы. То, что мы вас вызвали — уже и доказывает (?), что культ личности нет. Да, партия допускала ошибки. Возможны ошибки и в будущем. (Обрадовал. Но — смело это, обычно так не говорилось.) Я тоже буду в ваших глазах сталинист: я — поддерживал эти устои. Чем меньше ответственности за будущее — тем больше жадности к тюремной теме. (Как раз наоборот!) Считать, что всё написанное — Богом данное и тащи в типографию, — так нельзя. Такое общество неуправляемо, оно — не выживет. «Живи и живи давай другим» — я этого не признаю. Мы живём на средства, созданные народом, — и надо народу платить. (И рассердясь, тыкая на выставленную скульптуру Неизвестного: «Шелепин! Проверь, откуда они медь берут? Здесь — 8 килограмм народной меди!» (То потише:) Я призываю и к миру и к борьбе! (То непримиримо:) Я — за войну, не за мир! В войне отстаивать то, что облагораживает душу человека. Судья — история, но мы — отвечаем за государство и будем отстаивать то, что полезно. Наверно, Ной был неглупый человек, раз не брал с собой нечистого.

А дальше Хрущёв всё больше терял тон государственного человека и сбивался на выражение личных вкусов, как и считал себя вправе, будучи царём. Весь день обручивался Есенин-Вольпин (в том числе и Евтушенко), теперь Хрущёв обругал и Есенина-старшего. «Кто кончает жизнь самоубийством, тот у меня уважением не пользуется. Видимо и Есенин (как сын его) был заражён сумасшествием. Я спросил у Неизвестного: вы — настоящие мужчины или педерасты? От музыки Шостаковича — колики, живот болит. Не хочю обидеть негров — во весь американский джаз — от негров. А я, когда слушаю Глинку, — у меня текут слёзы радости. Я — старорежимен. Мне нравятся Ойстрах, коллектив скрипачей. Другой раз и не знаю, что они играют, — а нравится... Я воспитывался в русской деревне, на русской музыке. Постойм за старину!»

Постойм за старину! — так это необходимо для большевиков прозвучало: нет, было в Хрущёве помимо коммунизма и исконное.

Но и на этом Хрущёв не кончил, уж разнесло его. Стал вспоминать эпизоды из сталинского времени, — «вот, Анастас помнит» (Микоян хорошим истуканом присидел всё заседание). Как было написано постановление о «Богдане Хмельницком», — сидели в ложе, Ворошилов выступил, Сталин продиктовал... Потом уже совсем что-то несуразное: будто Сталин принимал Хрущёва за польского шпиона и велел его арестовать...

Все охотно слушали. Часам к 9 вечера это кончилось.

Всё отошло — и уже поверить нельзя. А какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил её. Я жил — у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху. «Новые миры» с «Денисовичем» были давно распроданы — а в редакцию шли паломники, студенты приносили пачки студенческих билетов в залог за экземпляр на сутки. Ворохи писем со всей страны шли на редакцию и в Рязань. Уже набралась 700-тысячная «Роман-газета», 300-тысячное отдельное издание (вдруг распоряжение: снизить до 100 тысяч! мне сказали, но я не придал значения, не стал оспаривать). Через несколько дней после совещания — «Правда» напечатала отрывок из «Кречетовки». Это уже давало понятие, что не задержит цензура набираемые в «Новом мире» «Кречетовку» и «Матрёну». Я не ощущал своего разлёта, но при всей зыбкой предусмотрительности не представлял и как короток он — вот уже к февралю оборвётся.

Из двух борющихся сторон я настолько бесповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с ними считал позорным даже повидаться с так называемой «черной сотней» —

руководством Союза писателей РСФСР. Под Новый год они приняли меня в Союз без обычной процедуры, без поручительства, даже сперва без заявления (я для издѣвки не дал его в спешке рязанскому секретарю, не хотел давать им росписи, но потом пришлось дослать), ещё и прислали мне коллективную поздравительную телеграмму (Соболев, Софронов, Кожевников и другие), а приехал я 31 декабря в Москву — звали меня к себе на Софийскую набережную, собрались там все (изумаясь моему раскату, они могли предвидеть ещё любой вперѣд, подозревали мои особые тесные связи с Хрущёвым), звали меня, чтобы в полчаса выписать мне московскую квартиру (это — в их руках), — я тогда отказался ехать. Чтобы только не повидаться с «чёрной сотней», чтоб только этого пятна на себя не навлечь, я гордо отказывался от московской квартиры (совсем уже чужь, впрочем отчасти — боялся я и московской сутолоки, расхвата, что здесь работать не дадут, не усвоил, что все работают в Подмоскови), — обрѣк себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притеснённый там, в капкане, и вечные поездки с тяжѣлыми продуктами, — о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. [А в дальнейшем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.]

Еще и в январе на перевыборы рязанского секретаря приезжал от них М. Алексеев и очень доброжелательные повторял приглашения, да прежде всего сразу после перевыборов приглашался я на процедуру пьянки, где все речи уже произносятся не формально-собранчески, а по существу, в открытую, — я и тут не пошёл. Я всё делал не так, как все, не так, как ожидается и как разумно. И я уверенно пѣр в своей правоте: мне надо взрывы спешить делать!

Тем временем, откладывали-откладывали, наконец состоялось продолжение кремлёвских «встреч» — 7 и 8 марта 1963.

Собрали в белом совершенно круглом Владимирском зале Кремля под куполом, который и с Красной площади виден всем хорошо. Круглый, но колоннами выделялась зрительная часть с голубою мягкостью кресел — и председательское, как бы судейское возвышение из жѣлтого дерева, а сзади в нише, под лепными нимфами — портрет Ленина. Голубой цвет умеренно повторялся в обрамлении зала там и сям. Дневного света через купол не хватало, был электрический.

Теперь всё правительство, или политбюро, как его считать, — сидело не где-то вдали на нашем уровне, а высоко взнесенное над нами, ясно видимое — и пришедшее нас судить. Теперь среди публики было много незнакомых лиц, не только мне, но и для деятелей искусств: этих поменяло, а позвали человек сто-полтораста партийных рож. И Никита — был не тот хлебосольный хозяин — сперва покушать из семи блюд и быть добрей, но встал — и свирепо, а у него свирепость тоже получалась выразительно, заявил:

— Всем холуям западных хозяев — выйти вон!

Даже охолонули все — кому это? что? не мне ли? Даже покосились — не выходит ли уже кто? (А он имел в виду: кто-то что-то шептал западным корреспондентам о прошлой встрече — так чтоб не шептали об этой. Давно ли, кажется, был 1956-й? А вот уже и шептать нельзя.)

Ещё догремливал Никита:

— Применим закон об охране государственных тайн! — (то есть: до 20 лет лагеря)

Напугал — и сел.

И над судейским помостом, над трибуной, высунулся снова щуплый Ильичѣв. Змеяного даже меньше было в нём, чем прошлый раз, потому что повернулись события в его и их пользу.

Оказывается, «под влиянием оздоравливающих идей партии исчезло чувство незащищенности» (почему-то верится этому их чувству; вот так: стоят десятилетиями на командных высотах — и от одной повести, от одной выставки уже незащищены), «люди в полный голос заговорили о социализме». На Западе уже идут рассказы о бунте детей против отцов, якобы запятнавших себя в годы культа. Эрэнбург ввѣл двусмысленное понятие «оттепель» — а теперь предсказывают «заморозки».

Хрущёв (грозно): — «А для врагов партии — морозы». (Его, видать, сильно накрутили с декабря, узнать его нельзя. Его руку направили рубить сук, на котором сидит он сам, и он рубит с увлечением.)

Косыгин сидит, всё так же уныло ссунувшись плечми между рук, показывая, что он тут ни при чём, не участвует, такой бы глупостью он не стал заниматься. Брежнев, рядом с Хрущёвым, крупный, полноплечий, в цветущем состоянии. И Сулов, недоброжелательно-вобленный (не так сам худ, как все они толсты).

В лад с Хрущёвым и у Ильичѣва появляется угрожающая жестикация: «Выступают, разоблачают, а за душой ни талантишка. Выдают себя за вождей молодѣжи, а вождѣ молодѣжи — один: КПСС». Дальше похвалил Эрнста Неизвестного, Евтушенку, которые за это время успели признать свои ошибки. А такие-то художники (кажется: Андронов, Неведов, Гастев, Вилковир) заняли воинственную и неправильную позицию. И о писателях: «Можно понять таких, которые долго пишут, но нельзя понять тех, кто вообще молчат». (Я сижу, всё записываю и думаю — ну, угодишь с ними! Раньше-то я мог молчать и молчать, а теперь и молчать нельзя!) Затем навалился на Эрэнбурга (им тогда он казался — вождѣм оппозиции, грозной фигурой): пока его мемуары повествовали о давних событиях — наша печать молчала. А сейчас — читатели протестуют: Эрэнбург выдвинул «теорию молчания». (То есть: обо всѣм давно знали — но молчали.)

Как всё меняется в проекции времени! А в тот год не было острой вопроса, чем этот: зна ли или не зна ли все вожди, все партийные верхи о том, что творилось

при Сталине? Вот в какое идиотское положение поставил их Хрущёв. Для спасения лица им оставалось только принять теорию незнания.

Ильичёв: «Так что же получается по Эренбургу: знали и спасали свою шкуру? Но ЦК в постановлении о преодолении культа объяснил, почему народ молчал». (И тут народом загордились.) «Но вы, Илья Григорьевич, не молчали, а восхваляли. В 1951 вы сказали: «Сталин помог мне написать большинство моих книг». В 1953: «Сталин любил людей, знал слёзы матери, знал думы и чувства миллионов».

И что ж Эренбургу ответить, если б и пригласили? Цитаты подобраны неплохо, да наверно десятки их есть, и хуже. Уж он-то вымазан — так вымазан. (И не на том бы уровне ему мемуары писать — а в раскаянии. И, при его европейской известности, не в советском журнале их печатать.)

И так поворачивает Ильичёв уверенно: «Я выделяю вас, Илья Григорьевич, не для того, чтобы поставить вам в вину восхваление. Мы — все верили и восхваляли. А вы восхваляли — и оказывается, не верили». (Наказали его и за то малое, что он осмелился сказать.)

Так разбит главный лидер оппозиции. А ещё одно имя нужно у неё отнять — Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не всё. Мейерхольд умел возразить на критику: «Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?» — (Хрущёв даже подпрыгивает от смеха. И Суслев выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) — Мейерхольд писал: «Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные». Поэтому мы его и реабилитировали».

И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?

Дальше вышел жердяй и заика Михалков с тремя медалями трех сталинских премий. Удивил он меня, что сослался на письмо Николая Александровича Бенуа: «Абстракционизм — исчадие ада, поддерживается и католической церковью. Западное общество не способно сопротивляться эстетическому террору». Записал я, всё дивясь. И до сих пор не знаю, так ли Бенуа сказал, где, когда, — а насчёт эстетического террора ведь верно! (Впрочем, сам Бенуа в 1917 каких наивностей не нагородил.)

Дальше Михалков читал ядовитое стихотворение против кого-то молодого и прогрессивного, то ли Евтушенко. А затем зацепил вопрос первостепенный: как «под видом борьбы с религией» (не под видом!) уничтожали деревянное народное зодчество, — но Ильичёв его оборвал: «Должено, устранено, об этом можно не говорить. Бьёте ложную тревогу».

Сразу осадил — это не в цвет. От своего они не ожидали такого выпада. (Всё-таки время какое — пробивалось и через этого!)

А список ораторов у них был подготовлен тщательно — одна железная когорта и чтобы все били в одно место, нагнетать ужас. Вышел свинокартонка Александр Прокофьев, поэт, просто исходил ядом. Особенно подковыривал Андрея Вознесенского, — стихи формалистичны, кому они служат, назвал «Треугольную грушу» (Никита опять подскакивал, смеясь). Вот, мол, я получил письмо (это распространённый советский ораторский приём: не самому ругать — а получил письмо от Пролетарского Читателя, по ди поспор), пишут: «молодые хотят выйти к славе любой ценой». Стихи Вознесенского крикливы и рассчитаны на моду (хоть и так, да не вам бы критиковать). Маяковский без Вознесенского давно Америку описал — чего Вознесенский суётся?

А в общем, Прокофьев «почувствовал великое доверие партии к нам». Мелкий подхалим Андрей Мальшко: «Стыдно, что мы так долго боялись бороться с формализмом. Пикассо тоже ещё надо от многого очиститься, мы признали у него только «Разрушение Герники» и голубя мира». Пафосный Петрусь Бровка: «Мы благодарны ЦК и лично Никите Сергеевичу. Чего стоят утверждения, будто в годы культа создавались ничтожные произведения, — а на каких же произведениях воспитаны легендарные борцы? Да золотой фонд был создан тогда!»

Так потянули шеренгу одних своих, до самого перерыва. Сидячей еды теперь не подавалось — но пустили к закускам стоя. Лауреаты и деятели очень жадно толкались у столов, захватывая, кто что успеет. Слышал я в кулуарах: Ермилов: «Да мы бы с ума сошли, если б знали» (то есть об ужасах культа). И рыжая Шевелёва кинулась к какому-то оратору: «Спасибо, что защитили советских людей!»

Встретился мы с Твардовским, и он мне сказал, поблескивая весело, но не без тревоги: «Есть фольклор, что Шолохов на подмосковной даче со 140 помощниками приготовил речь против Солженицына». А я ещё так был самоуверен, да и наивен, говорю: «Побоятся быть смешным в исторической перспективе». Твардовский охнул: «Да кто там думает об исторической перспективе! Только о сегодняшнем дне».

Познакомил меня с Солоухиным, — «какое знакомое лицо», сказал я. А знакомое потому, что — общекрестьянское. Он и заговорил — о Матроне и что можно с Корниным познакомиться (давно я мечтал посмотреть «Русь уходящую»). Правда, была у меня на Солоухина обида: ещё из неизвестности посылал я ему письмо в газету против громкого радовещания, бича сельской тишины (у него во «Владимирских просёлках» сходное место), — и просил что-нибудь сделать, напечатать, от себя. А Солоухин мне — вовсе не ответил. Я ему сейчас сказал — он не вспомнил, Твардовский же осадил меня: «А вы теперь — всем отвечаете? А сколько у вас неотвеченных писем?» (И чем более идут годы — тем более вздыхаю я об этом.)

Вернулись в зал — но не только не было просветления в ораторской чередке, а снова вышел Ильичёв и стал читать бывшие стихи Эренбурга (кто-то, значит, ему в перерыве подсунул). Но Хрущёв нетерпеливо перенял речь себе, — к трибуне он не выходил, да не помню, вставал ли и за помостом, да ведь и так высоко сидел — и оттуда метал

ничем не ограниченные громы. С интересом он, де, читал мемуары Эренбурга: потому что сам Хрущёв, того же возраста, честно воевал в Красной Армии, а Эренбург то на Дону, то в Крыму, и видел лакеев буржуазии. «Эренбург не радуется революции, а страдает с окна на чердаке. Что ж, как вы к нам, так и мы к вам, товарищ Эренбург. Сейчас, когда враг трепещет перед нашей мощью, — нам предлагают идеологическое сосуществование? Свободно продавать у нас западные газеты? Неплохая идея, только не торопитесь. — (Ильичёв подкидывал голову с блинной улыбки.) — Вы — неплохо умеете скрывать свои мысли. Но жизнь заставляет читать между строк». Оказывается, прошлый раз Хрущёв просто не дослышал; что говорил Евтушенко, оттого и не отозвался. «Вы говорите — времена не те? Но — и не те, которые были временно созданы в Будапеште! Москва — не Будапешт! И клуба Петефи не будет! И конца такого — не будет! Да, обстоятельства заставляют нас читать между строк. — (Как будто они иначе когда делали.) — В Малом театре поставили «Горе от ума» с подкашиванием — мол, у отцов учиться не надо. И «Застава Ильича» (фильм Хуциева) — туда же. Товарищ Хуциев, не верю! Сука всегда спасает щенка (то есть как КПСС — молодёжь). — Ну хорошо, дайте сатиру. Но и сатира разная бывает. Не так, что в сельском хозяйстве провал — из-за того, что началась борьба с абстракционизмом. Мне очень нравится прошлое и сегодняшнее наше совещание. Но надо, чтобы не партия, а сами вы боролись за чистоту своих рядов. Как чеховский мужичок говорит: одну гайку завинтить, другую отвинтить, чтобы крушения не было. Не пора ли и в театрах перестать водить на казнь несчастную шотландскую королеву? — (Это — против классики, не могу сейчас воссоздать всю связь речи.) — И кончил решительно: «Извините, партийное руководство мы ни с кем делить не будем. Партия и народ — единое! А вы думаете — при коммунизме будет абсолютная свобода? Это стройное, организованное общество, автоматика, кибернетика, — но и там будут ходить люди, облечённые доверием, и говорить, что кому делать». (Очень откровенная картина. Вряд ли она попала в газеты, как и большая часть той речи. Откровенность — редкая, полезная.)

И, собственно, после такого Никитиново развращения, после уже двух выступлений Ильичёва и нескольких удачливых — совещание могло бы и закончиться, уже всё главное высказано. Ещё же надо охватить, сколько было насовано в зал партийных деятелей — по крайней мере 40%, они и сидели сплочённо и, сильно, дружно аплодировали всем правильным речам — это тоже внушало, рокот и нестратимость партийной силы.

Но нет, провороты бюрократической машины требовали теперь всему правительству и всем нам сидеть и преть ещё полтора суток, чтобы партийная воля лучше дошла бы до нашего смятенного сознания.

Тут — объявили Шолохова, я вспомнил слова Твардовского, и сердце моё пригнелось: ну, сейчас высадят из седла и меня, не много же я проехал!

В своих записях я помечал время начала каждого оратора. Ильичёв и Хрущёв начали в 13.25, Шолохов — в 13.50. А следующего за ним я записал — 13.51. Всего-то одну минуту, без преувеличений, говорил наш литературный гений, это ещё и со сменой. На возвышенной трибуне выглядел он ещё ничтожнее, чем вблизи, да и бурчал невнятно. Он вытянул вперёд открыто небольшие свои руки и сказал всего лишь: «Смотрите, я безоружный. — (Пауза.) — Вот Эренбург сказал — у него была со Сталиным любовь без взаимности. А как сейчас у вас — с нынешним составом руководства? У нас — любовь со взаимностью».

И — всё, и уже сходил, как Хрущёв подал ему руку с возвышенности: «Мы — любим вас за ваши хорошие произведения и надеемся, что вы тоже будете нас любить».

И всё. Этот жест безоружности и был показ, что заготовленной речи Шолохов говорить не будет. (Потом узналось: его и Кочетова предупредили против меня речей не произносить, чтобы «пощадить личный художественный вкус Хрущёва»). А — должны были две речи грянуть, шла банда в наступление!

Тут вышел первый не из которты — кинорежиссёр Ромм. У московской интеллигенции он был как бы вторым лидером, после Эренбурга, и теперь, когда Эренбурга громили, противостояния ждали от него. Но — он никак не был готов, ему трудно. Вся смелость его (как и большинства) ушла в аналогии («Обыкновенный фашизм»), а — прямо вот так, напрямую? У него были извинчивые обороты, извинительный голос, прикладывание пальцев к груди. «Мне трудно спорить с первым секретарём ЦК». (Но и тем не понал, Хрущёв откликнулся сердито: «Тогда вы лишаете меня права подавать реплики. Но я тоже — гражданин своего народа!») С одной стороны кинематограф наш на правильном пути, с другой стороны — тревожно за молодых. (Хрущёв: «Острее чтоб направленность была!») Возражал против уже прослышанной ликвидации союза кинематографистов. (И так и было, Хрущёв: «Я хочу, чтоб вы помогали не министерству, а партии!») А Ромм всё о союзе (поручили ему отстаивать — дома творчества, курсы). И прямо просил: оставьте! (Хрущёв: «Положитесь на партийное руководство!» Так и не дал ему говорить.) И вот — всё выступление ожидаемого лидера.

Теперь вылезла та рыжая вольная Шевелёва и читала стих «Я верю в судьбу твою, Индия» почему-то. Потом вышел, как разжиревший вышибала, председатель композиторского союза Хренников. Он грошил «душок либерализма в творческих объединениях», Москву назвал Джазозубежником, за приём джазов. (Хрущёв хмуро: «Это министерство культуры так несерьёзно приглашает».)

Затем — цыгановатый Чухрай, такой модный среди передовых, надежда либерализма, — и такой осторожный. Во-первых, мол, выступать при членах правительства — высокая честь. Прыгал в тыл противника (вероятно, делать киносёмки партизан), воевал, лежал в госпитале, — но так высоко, как сейчас — не приходилось. Лозунг сосуществования идеологий — бессмыслица. (Очень потрафил.) В Югославии этот опыт

произведен. (Хрущёв: «Но сейчас-то Тито и-на-че смотрит!») Чухрай сразу и в отступление: «Я может быть отстал, я был там два года назад». Есть западные фильмы — только половые проблемы, и режиссёр гордится, если показал половой акт на экране.

Тут захотел Хрущёв показать нам картину советского художника. И произошёл лучший номер всего совещания: тучного Брежнева, возвышенного рядом, Хрущёв потыкал пальцем в плечо — «а ну-ка, принеси». И Брежнев — а он был тогда Председателем Президиума Верховного Совета, то есть президентом СССР — не просто встал достойно сходить или кого-нибудь послать принести, но побежал — в позе и движениях, только по-лагерному описываемых, — на цырлах: не просто побежал, но тряся телесами, но мяжкоступными переборами лап показывая свою особую готовность и услужливость, какжется — и руки растопырил. А всего-то надо было вбежать в заднюю дверку и тут вскоре взять. Он тотчас и назад появился, с картиной, и всё так же на медвежьих цырлах поднес Хрущёву, расплывшись чушкиной рыжко. Эпизод был такой яркий, что уже саму картину и к чему она — я не запомнил, не записал.

Из той же двери время от времени появлялся один какой-нибудь служака в чёрном костюме и нёс на подносе единственный бокал под салфеточкой с соком или кока-колой кому-нибудь из вождей. И торжественно уносил пустой.

А Чухрай мягко-вкрадчиво продолжал, — и уже не понять: он от оппозиции выступает или от власти? — Конечно, коммунисту надо иметь мужество защищать социалистический реализм. На это нечего жаловаться. Мне доставляет удовольствие, когда на меня свистят враги. Я согласен: опасность формализма велика. Вот, я выслушал речь товарища Ильичева и спрашиваю себя: ну, и что ты психовал? — (Ильичёв улыбаётся.) — А потом думаю: нет, здесь есть основания тревожиться. — (Ильичёв нахмурился.) — Во всех моих фильмах искали: а не хочет ли Чухрай подорвать советскую власть?.. Нет! Некоторые бездарные и тупые приняли нынешние мероприятия партии за сигнал пересмотра политики партии. XX съезд провозгласил принцип доверия к художнику. Я — не за либерализм, но я — за доверие. Я — не могу иначе, как с народом. Пускай партия треплет меня, как хочет. — (Хрущёв: «От ошибок никто не застрахован. Несчастье Сталина было: сказал — и всё. А на ошибку надо только указать. Вот если настаивает на ошибке — тогда... Мы указали Евтушенке на ошибку — а сейчас наши посольства в ФРГ и Франция — хвалят его».) — Чухрай, подбодренный сочувствием Хрущёва: Антигероизм — хитрая лошадка капитализма: если нет героев, то кто же выйдет на улицу свергать капитализм? Развелась публика, смотрящая на наши глубокие споры, как на ристалище. Надо бороться за чистоту коммунистической идеологии! (И.. и.. какой же вывод? вершина речи?) Если вы нам оставите союз кинематографистов — мы своей честью ручаемся!

За эту речь потом все кинематографисты восхваляли Чухраю, и вся интеллигенция, стало быть, довольна была.

Так, всего-то, в ристалище этого зала, чужом для меня ристалище, соревновались вожди власти, когорта приставленных да интеллигенция: чтоб не отняли у них позиций и благ, какие они считали своими. Вот она и есть, центровая образованщина. Ни народной правды, ни голоса о том, что есть ещё какая-то низовая страна Россия с её страдательной историей, без нужды в этих творческих союзах, — тут не раздавалось. Но все клялись непременно именем Народа.

Затем выступил страшный Владимир Ермилов — карлик, а с посадкою головы как у жабы. (Всё его речь ему благожелательно кивал Ильичёв). Наши недостатки стали более заметны оттого, что наша литература выросла. Иметь постоянное чувство идеологии противника. Особо интуитивно выезжающих за границу — и выслушивать их отчёты потом. Особенно бранил Виктора Некрасова: стыдится за свою страну, радуется, что выехал и смотрит. (А кто из них не радовался поездкам?) Нетвердо вёл себя с опоздавшими студентами Колумбийского университета. «Может быть, и стукнуть башмаком по столу!» — (Хрущёв: «Можно, можно!» Глубоко недемократически, что Некрасов в Нью-Йорке рассказал вперёд о ещё не вышедшем фильме «Застава Ильича» (тем самым отрезая возможность запрета). Не создавать ни моду, ни иллюзию гонимости вокруг некоторых имен.

Между тем я стал замечать, что сильно ошибся в выборе места в зале: кроме главных рядов, в середине, ещё были стулья и кресла по возвышенному окружному кольцу, между колоннами, как бы ложи, там я и сидел. Но при этом я оказывался очень виден всему залу и президиуму: что всё время строчу и строчу на коленях в блокнот — именно занятостью карандашом и оправдывая, что руки мои не могут хлопать вместе со всеми, — а хлопали в самых обидных и верноподанных местах. И то, что я не хлопаю — слишком видно, и слишком видно, что я, может быть единственный в зале, непрерывно что-то пишу. (Ни стенограммы, ни протокола не велось.)

И после перерыва я пошёл и спрятался на одном из задних мест, за спинами всех, близ Олега Ефремова.

Возобновил заседание опять словоохотливый Хрущёв, он чувствовал себя вполне как глава дома на семейном сборище. Сказал Чухраю: «Ну, вы своей речью разложили руководство». То есть насчёт союза кинематографистов: останется он, так и быть. Но пусть оправдывает себя «дальнобойное орудие — кино». И опять — на тему, где единственный он смел трактовать: «Наше понимание: Сталин был деспот, но деспотизм свой понимал в интересах партии. Мы не прощаем деспотизма, конечно (о, ещё пока хоть так!), но люди с душком хотели бы, чтоб мы вместе со Сталиным выбросили коммунизм». (Именно этого хотел от них я.)

Художник Иогансон: «Страдания людей не должны стать модными в нашем искусстве. А появляется мода. Надо, и отрицая, утверждать. Пафос утверждения — лучший памятник тем, кого нет среди нас». (Хорошо вам, в лагере не побывав.)

Хрущёв: «Правильно! Правильно! Нечего мусорные ямы описывать, они и при коммунизме будут. Это — только услаждать врагов».

Роберт Рождественский, тогда известный поэт, вид застенчивого мулата, очень волновался, даже заикался. «Наша партия — самая поэтичная в мире. Проблема непонимания отцов и детей — выдуманная. Нельзя о молодёжи говорить огульно: «не выйдет, мальчики!» Наоборот, молодёжь учится у отцов принципиальности». (Ильичёв хлопал ему. А Хрущёв нашёл неясности выражений: «С кем бороться собираетесь — непонятно. Становитесь в ряды!»)

Наконец, из главных столпов советской литературы, разбеденный и грозный Леонид Соболев. Взаплавлял он, где же у нас «свобода критики молодых» по Ленину? Нельзя отказываться от ленинских принципов партийности искусства. Нельзя писать сумеречные произведения, и очень опасно обтекаемые. Кто не с нами, тот против нас! Мы теперь стали стыдиться создавать положительный образ, боимся упреков от либералов. «Нужен пафос для того, чтобы восхититься самими собой». (Ему, конечно, густо хлопал, как и всем своим, надёжным.)

А тут, по недомотру ли, выступили художника Пластова, который клоунничал под протаска — и так выказал единственное свежее за всю эту полосу встреч. В глубинке не понимают ни соцреализма, ни абстракционизма. Там спрашивают: а деньги вам платят? А то, вот, мы второй месяц работаем — нам не платят. — (Не второй, а сто второй? — конечно смягчил.) — В деревне нет проблемы отцов и детей: отец — конохом, сын — скотником. Вы в Москве с жиром беситесь. Меня спрашивают: сколько за эту картину берёшь? Пятёрку дадут? Я знаю, что — полтысячи, говорю: четвертную. Удивляются: ну, золотые у тебя руки! А старик сидит рядом, кивает: «всё — с нас, всё — с нас». — (Тут Никита искренне схватился двумя руками за голову. Схватиться б ему покрепче.) — Ещё и жалованье получаете? Ещё и премию дают?.. Нельзя жить всё время в Москве, тут правды не увидишь. Здесь мы услышим, что нам надо говорить, — а там увидим, что нам надо делать. — (Хрущёв: «Надо придавать картинам героические черты».)

Вот это, что Пластов, — первое, что и я сказал бы. Это он — от души, за меня сказал.

И заключили Эрнстом Неизвестным, с наружностью французского министра. Где-то он перед тем уже покаялся? Теперь: «Я с верой смотрю в будущее. Может быть, наступит день, когда меня захотят назвать помощником партии».

Нет, заключить мог только Хрущёв. Рождественский может спать спокойно, я не говорю, что его стихотворение антипартийное. А Грибачёв сказал: «не выйдет, мальчики!» — но он солдат хороший, он имел право сказать.

У-у-уф, уф, кажется бы уж кончить: победили, покорили, раздавили, — кончить, назавтра у всех работа? Нет: перерыв до завтра.

И назавтра опять приходит всё главное правительство заседать с нами об искусстве. Но вчерашняя атака — на Эренбурга, Ромма, старших — исчерпалась. Сегодняшний день посвятить напутиванью молодых.

И для этого подстроено первое выступление старой, сухой, чавкающей Ванды Василевской, польской коммунистки, присоединённой вместе с Западной Украиной. Она шамкала, что выступает вынужденно, — из-за интервью, которое дал в Польше Вознесенский. Он всем предыдущим советским литературным поколениям противопоставил — Гроссмана, Эренбурга и Солженицына. Как можно давать такие интервью в Польше, где сильные буржуазные влияния? Ведь это там воспринимается как директива из СССР. За что же бороться, если Советский Союз за 45 лет достиг таких мрачных перспектив? То, что можно печатать в Париже, — нельзя в тех странах, которые ещё борются.

И вместе с густыми ей аплодисментами раздались подстроенные дружные голоса: «Пусть Вознесенский скажет!.. Пусть Вознесенский!»

Вот для чего нужно было сегодняшнее заседание — новый шаг от вчерашнего, партийная сплотка приободрилась: вернуть атмосферу 30-х годов! Вытаскивать на трибуну тех, кто и слова не просил!

Щуплый узкий Вознесенский поднялся серый. Ещё не сразу и гул утих. Сдавлен-ным горлом:

— Как и мой любимый поэт и учитель Маяковский — я не член партии.

Хрущёв взорвался (или, пожалуй, велел себе взорваться, но — очень грозно): «Это — не доблесть! Вызов даёте?» — И — кулаком по столу. — «Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! Мы бороться — можем, умеем!» (Голоса: «Доло-ой!») «Он хочет партию беспартийных создать? Ведётся историческая борьба, господин Вознесенский!»

Гремели аплодисменты — как похоронный звон.

Сжатый, совсем без привычки, долго ждал Вознесенский. Договорил наконец:

— И, как и он, я не представляю себя без коммунистической партии.

Слышал Хрущёв, не слышал, но продолжал бушевать, да так, наверно, было у них наиграно:

— Для таких будут — самые жестокие меры!.. Мы — те, которые помогали венграм давить восстание!.. У нас есть более опытные, которые могут сказать, а не вы!.. Мы ещё переучим вас! Хотите завтра получить паспорт — и езжайте к чёртовой бабушке! Не все русские те, кто родились на русской земле!.. Эренбург сидел со сжатым ртом, а когда Сталин умер, так он разболтался! — И всё более подхваченный лихой яростью, показывая как раз ту ложу, где я вчера сидел, ушёл вовремя:

— А вон те молодые люди почему не аплодируют? Вон тот очкарик! — (Голоса — «Поднять его!» Тот поднялся, в красном свитере и с лицом покрасневшим.)

Тем временем Вознесенский нашёл паузу (его слова у меня не в конспекте, а — полностью, он ничего больше не успевал):

— Я не представляю своей жизни без Советского Союза.

Но Хрущёв добушёвывал:

— Вы — с нами или против нас? Никакой оттепели! Или лето, или мороз!

— У меня были неверные срывы, как и в этом польском интервью.

Помягчел Хрущёв:

— Нет людей безнадежных. Шульгин — лидер монархистов, а патриот. Давайте послушаем его. Меры успеем принять. Во внуки мне годится! Сколько вам лет?

— Двадцать девять.

— Наша молодёжь — принадлежит партии. Не трогайте её, иначе попадёте под жернова партии! — (Это предупреждение — уже всем в зал.)

Вознесенский, желая доказать преданность, прочёл занудное стихотворение «Секвойя Ленина».

Хрущёв слушал стих, опустив брови, надув губы, работа мысли на лбу. Покойнее:

— Вам поможет только скромность. Вам вскружила голову: родился принц. Не протягивайте руку к молодёжи! Мы, старики, люди цепкие. Вы берёте Ленина, не понимая его. Ладно, чтобы вы были солдатом партии! — И подал ему руку через стол.

— Не буду говорить слов, — обещал Вознесенский. — Работа покажет. — (Уже тогда ли задумал «Лонжюмо»? Или рассчитывал проскользнуть на электронике XXI века и антимирах?)

Тут вытащили того в красном свитере, графика Голицына. Стали его допрашивать, почему не аплодирует, кто он да кто отец, поняли так, что умер в лагере, Хрущёв опять подкинулся:

— А вы нам — за отца мстить, что ли?

(А для людей прежнего времени и достойно было бы.)

Затем надо было ещё одного молодого причесать — Аксёнова. Сам ли он просился на трибуну, его ли вызвали, но говорить не дали. Опять кричал Хрущёв:

— Вы что клеветаете на нашу партию? Мы оплакиваем вашего отца. Борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Мы не дадим империализму, чтоб здесь росла семена. При оттепели могут расти сорняки. Мы не признаём лозунга «пусть цветут сто цветов»!

И успел Аксёнов:

— Думаю только о том, чтобы приносить пользу своей стране.

Хрущёв недовольно:

— И Пастернак так говорил. И Шульгин — «за единую неделимую», Пользу родине, — только какой?

Молодых — обуздали без труда. Но по раскатке 30-х годов, всей восстановленной атмосфере «единодушных» собраний, где воспитывались лютые звери, а обречённые доживали только до ближайшей ночи, — уже ревели, требовали дальше: «Давайте спросим московскую организацию!» — то есть, кто направлял. «Щипачёва!» Щипачёву надо было ещё за «общечеловеческое» врезать. Но оказалось, что он — уже два месяца как переизбран, — вместо него комичный маленький Елизар Мальцев. (Поставлен фракция — как фигура легкоуправляемая.) Вышел, очки долетяв, ничего не видит.

— Два месяца как я секретарь — и всё время жду продолжения этого совещания. Не имеем указаний. Иностранной информации тоже не имеем...

Хрущёв осадисто:

— Но вы — коммунист! И контрреволюционеры должны знать!

Контрреволюционеры! — никаких не «оцифающихся!» Звучит то как страшно! Уже не 30-е, а 20-е годы. Вблизи от меня сбоку сидел пастушок-переросток, большие уши, растрёпанные волосы. Я не узнал его, сосед объяснил: Евтушенко. Теперь я покашлялся на него. Он порозовел, живыми губами выражал волнение. В любую минуту удар мог упасть и на него. Счастлив он был, что уже выступил в прошлый раз, в лучшей обстановке.

И — опять покатали верные. Истеричный Василий Смирнов: надо договаривать, Соболев только намекнул, после XXII съезда писательское собрание прорабатывало Кочетова как главную опасность! Мы в московской организации подавлены. Мы вынуждены на съезде РСФСР стараться собрать всех из областей, чтобы нас выбрали. — (Откровенно). — Рыба тухнет с головы, Союз писателей — с московской организации. Пусть нас поддержит партия, иначе не будет у нас литературы!

Хрущёв:

— Если не справятся сами коммунисты — назначим к вам бюро от ЦК.

(Диктатура пролетариата.)

Худой волковатый Кочетов после Смирнова кажется выдержанным. — Молодые не привыкли к такой встрече, как сегодня. Мы редко выезжаем за границу. А эти молодые поэты уютжат Европу. Там они стыдятся произносить «соцреализм».

Хрущёв: — Я знаю вас и Грибачёва как хороших бойцов. Бороться надо!

Кочетов: — За рубежом ждут наших книг — именно тех, в которых они увидели бы свой завтрашний день.

А Хрущёв что вспомнит, нет на бумажке записать, а сразу перебивает:

— Как мог беспартийный Эрэнбург увлечь кандидата в члены ЦК подписать этот документ о мирном сосуществовании? С кем, товарищ Сурков, вы хотите сосуществовать?

Сурков (с места): — Я кемозжко боролся. — (Непонятно: против Эрэнбурга или против буржуазии в своё время.)

Хрущёв: — Эх вы, капитулировали. Не солдат партии, разоружился перед врагами. А по врагам — огонь!

Упомянул Кочетов московскую писательскую организацию — Хрущёву новый повод:

— Ложное неправомерное направление — переезжать в Москву. Писатель из Сибири — дайте ему квартиру в Москве. Как алмазы должны пронизывать толщу народа... А может быть московских писателей распределить по одному в заводские парт-организации? Надо подумать. Свежим воздухом будете дышать.

Кочетову нравится: — Конструктивно. Ведь всё у нас перестраивается по производственному принципу. Писательские организации — продукция не выпускают. Фантазия: союз тех, кто пишет. Или — тех, кто склочничает? А может быть: создать новый творческий союз всех вообще творческих работников — и объявить новый приём?

Это был — подготовленный план когорты в те дни. Они думали тем оппозицию смешать, а сами утвердиться.

Хрущёв: — Не аплодирую, не разобрался. Может быть и нужно.

Так и идёт — не докладом, а диалогом с Никитой. Жалуется Кочетов, что ездили в Норвегию — там все о Пастернаке говорят, Никита вслух:

— Если бы «Живаго» была напечатана — никакой бы премии не получил.

Ещё прошёлся Кочетов по «Вологодской свадьбе» Яшина, противопоставил такой пьянствующей деревне — просвещённую, жаждущую журналов (его «Октября»), и закончил неудовлетворённо: — Не выбрасывать же со Сталиным и Советскую власть. Я приготовил другую речь, извините, прочёл эту.

Так понять: речь-то была — против «Ивана Денисовича». И самое время им — дуть его всеми катками! самая пора атаковать! Но — нельзя. Вот он, «культ личности»!

Потом через одного выступал известный портретист и украшатель Сталина Налбандян. Тоже вот обстановочка, как ему сейчас выглядеть чистым? «Наш народ негодует против абстракционистов, но негодование не попадает в прессу. До каких пор будет демократия?»

Хрущёв, охотно отзываясь:

— Если такие вывихи в союзе художников, то не надо собирать съезда, а собрать совещание, — только те силы собрать, которые нам нужны. А для тех, кто оппозицию строит — дадим паспорта на выезд. (Зрела эта идея у них уже тогда, зрела.) — Демократия — это средство, а не цель. Нужно было Учредительное Собрание разогнать за то, что против Октябрьской революции, — разогнали. Надо на трибуну выходить, а у Свердлова расстройство желудка. Так тем более на нашем этапе теперь — неужели подвергнем опасности наши завоевания?

Налбандян: — Но разве виноваты художники, писатели, которые честно воспевали культ личности? Так что теперь, из этого делать ярмо?

Хрущёв: — Да 99% непропущенных при Сталине вещей — было верно задержано. Сталин-то — не враг был революции. Теперь рассчитывают: что у меня тогда выпустили — я теперь вставаю и ещё посылней напишу. Нет, не проташите! Что ж, писатель в кабинете сидит — он и судья? Судьёй будет партия! Никто из нас сам от себя никогда не выступает, советуем. А почему вы считаете, что это принуждение, когда требуют, чтобы вы что-то опустили? Это у вас мания величия. Это уже будет не демократия, а дом сумасшедших. Теперь будет не жёстче, но — больше внимания к вам.

В перерывах я стал замечать, что кто в декабре жаждали со мной знакомиться, теперь не только не искали меня, но ускользали. Правда, Симонов в этот раз сам подошёл, познакомились.

А ещё есть Турсун-Заде, пафосный карлик: — В национальных литературах такая теперь тенденция: Солженицын открыл дорогу — значит, тащи из мусорного ящика. Нет! Критиковать — так надо одновременно и утверждать. А то для положительных героев не хватает слов. Эренбург для Маяковского не нашёл красок...

Эренбург? Никита не может слышать, не отозвавшись:

— В Париже, мол, я писал, дышал, — а тянет в Россию. Чего его тогда в Россию тянет?

Турсун-Заде: — Наши сердца принадлежат партии.

Хрущёв: — Да я вот никогда не имел партийных взысканий, потому что у меня внутренняя дисциплина. Если так и у писателя будет — никакой цензор не нужен тогда. А то думает: как изложить, чтобы проскочило? Это — антипартийность.

Это — всё реплики были. А теперь, оказывается, начинается его сплошная речь. Не помню, занял ли он трибуну, или так и говорил со середины президиумного стола (кажется). Начало речи было отмечено тем, что подали ему бумагу, и он стал читать. Длинно читал. Вроде как бы резолюция, но не нами принимаемая, или заключение ЦК, нам лишь к сведению.

Идейно-творческих провалов не произошло, но ряд ошибок. И по сейчас мы с удовольствием поём песни Демьяна Бедного. Некоторые представители искусств судят по запахам отхожих мест. (Перечисляются области искусств и в какой что сделано хорошо и в какой что плохо.) В кино — дело далеко не так благополучно. Нам, ЦК, в предварительном порядке показали «Заставу Ильича». Там ещё есть неприемлемые места, надо исправлять. Но поскольку Некрасов уже об этом высказался за границей — скажем и мы. При таком символическом названии трое молодых героев не знают, зачем живут. Сомнительные гулянки. Отец не может ответить на вопросы сына, — как это может быть? Внести разлад с отцами?

— Не выйдет! В Советском Союзе нет проблем отцов и детей! В Ленинграде поставили «Горе от ума» (видимо, Товстоногов), а на занавеси: «И чёрт меня дёрнул родиться в России с моим умом и талантом». Тут Грибоедов взят как щит. А Грибоедов — прогрессивный писатель. Гнилая идея! Оставьте в покое шотландскую коро-

леву! Велик был Шекспир — но в своё время. А вы дайте нам такое, что вызывает гнев или пафос труда.

Даже Сукарно и тот сторонник направляемой демократии. Вот — острые произведения, разоблачающие культ: «За далью — даль», «Один день Ивана Денисовича», «Чистое небо» (фильм Чухрая) и несколько стихов Евтушенко. Но ошибочная тенденция: всё внимание односторонне сосредоточивать на беззакониях. Те годы — не были сплошным беззаконием.

— Если недостатки так называемой лакировки сравнить с недостатками тех, кто сидит на мусорной яме?.. Эрэнбург был ли другом Сталина — не скажу, но и врагом не был. Враги уже на этом собрании не присутствуют... А вот Галина Серебрякова выдержала — и сразу взялась за оружие... Почему мы не пресекли культ тогда? Мы не знали, что берут невинных. (?) Классовые враги ещё не были физически искоренены. Хорошо показано в «Поднятой целине». А Сталин звал на борьбу с врагами.

(Жуть пробрает, стусился над залом давящий мрак. И — что ж осталось от ХХ, от ХХII съезда и от недавнего «доброго» Хрущёва, распустителя ГУЛага?)

— Но Сталин потерял сдерживающие центры, как Ленин говорил ещё в 1923 году. Дальше какой-то бредовый миф: что ЧК вовсе не столько расстреливала, сколько объявлялась. Давала списки расстрелянных — фиктивные фамилии, просто для острастки. (Уж не говоря о методе «острастки», — какая ж острастка, если никто этих лиц не знает? Напуга не будет, всё расплывётся.) Затем перечислял ценные вклады Сталина, как бы панегирик ему. Сталин особенно возрос в борьбе против враждебных оппозиций. Если бы Бухарин — Рыков — Томский взяли верх — у нас была бы реставрация капитализма. Ленин считал Сталина марксистом. Он только хотел, чтобы генсек был немного вежливей и не капризным. Но мы — отдаём должное Сталину. Он только совершал теоретические и практические ошибки.

— У меня были слёзы на глазах, когда мы его хоронили.

В руинах дымился весь ХХ съезд. Сейчас внеси портрет Сталина, объяви Никита: «На колени перед портретом!» — и все партийные повалятся, и вся когорта повалится радостно, — и остальным куда ж деваться? Попробуй, устоя!

Но — неисчерпаем Никита, знает сто лазеек. И в радости не даст упокоиться, но — и в горе. Тут же без перерыва начинает историю за историей, одна другой дичей, и даже я, ненавистник Сталина, записываю безо всякой веры.

Глубоко-больной, подозрительный. Если б его не сдерживали работавшие рядом — «дел» было бы ещё больше. Например, вызывает Никиту из-под Львова телефонным звонком. Приехал. «Нате письмо! В Москве — центр контрреволюции». Читаю, какой-то сукин сын пишет: создана организация под руководством Попова, и в ней участвуют все секретари райкомов. Я — спрятал в сейф, ему не напоминаю. Но он — не забудет! «Ну, как?» Да, говорю, мерзавец написал. «Да неужели?» — не любил Сталин недоеврия к таким материалам. — Или в Сухуме один раз, говорит мне и Микояну: «Я — пропащий человек, я никому не верю и сам себе не верю». Оставляет Микояна на своей даче: «Не уезжай». Потом меня позовёт: «Поди спроси у Микояна — что у него, своей дачи нет, чего сидит?» Я не любил к нему на дачу ездить: напоят, накачают вином. — («Пляши, хохол!» — не добавляет.) — Отговорюсь. Опять Поскрёбывшев звонит: «Вы уже выехали? А товарищ Сталин ждёт». Так и представляю — Сталин рядом с ним стоит, приходится ехать. Обычно за руку не здороваемся — так гигиеничнее. Пришёл я, сел к столу. Сталин нахмурился: «Вас кто звал?» Я ушёл в горы. Через час вызывает меня: «Ну как, Микита? Может, рыбу удить поедём?»

— Да это был сумасшедший на троне. Спрашивают нас: а почему вы его не сняли? На XIX съезде говорит: «Я уже стар, может мне в отставку?» И — смотрит, кто первый скажет «да». А то берёт список Политбюро: «Как это Ворошилов пролез?» — «Да вы же сами его вписали». Это, что я сейчас говорю, завтра не будет в газете... Сам созывал съезд партии раз в 13 лет — а пусть бы Украина не созвала! Но — он был предан уставу, следил, чтоб не было партийных нарушений... Тогда, после доноса, мы с Маленковым: давай, этого Попова подальше сунем, спасём его. А объяснит ему самому — не можем. А Попов: «Куда вы меня из Москвы?» Думает, Москва без него пропадёт... А Каганович жить не мог без дела об украинских националистах. Но мы не поддались и не дали погубить творческую интеллигенцию Украины.

Весной 1933 Шолохов, мол, поднял голос против насилия на Дону, теперь нашли его письмо в архивах. Что над десятками тысяч колхозников творятся надругательства, как у Короленко над тремя. Пошлите в Вешенский район дополнительных коммунистов! Сталин ответил: ваши письма производят одноклоное впечатление. Это — только одна сторона, надо видеть и другую. Хлеборобы вашего района проводили итальянку, тихую войну на измор Советской власти. «Уважаемые хлеборобы» — не такие безобидные люди.

— Берия не скрывал своей радости у гроба Сталина. Берия и Маленков предлагали сдать ГДР. Мы с Молотовым — были заодно, против. Ну, придут они на польские границы. А потом — на наши? Не-е-ет!.. Маленков — он совершенно безвольный. В лето фестиваля сидим, балтаем. А жена приказала ему сделать укол, теперь рука болит.

(Записываю, думаю: да, только при такой последовательности мысли и мог проскочить мой «Иван Денисович».)

Нам чужды пессимизм, уныние. Отображать их могут только те, кто стоит вне творческого труда... Вот хороший был фильм Торндайка «Русское чудо».

— А вы, мальчишки, уважайте умерших и живущих. Позор вам будет, если не сохраните наследства. Надо сохранить! Грибачёв — хороший солдат-дядька, он опытен. Нас сейчас победить силой оружия — невозможно. Значит — вся надежда на «оттепель»,

взорвать советское общество изнутри... Мне бы сегодня выгодней было не стучать кулаком. Как после XX съезда, когда выступали некоторые учёные, мы их: исключить из партии, установить наблюдение, если не опомнятся — арестовать... Да на кой чёрт людей в тюрьмах держать, их там кормить надо... Но иногда от этого удержаться нельзя... Вот, у нас много дела — а мы с вами три дня сидим. Потому что нет вопроса более сложного, чем идеология.

Беспартийности в нашем обществе нет и быть не может. Человека определяет не партийный билет, а его душа. Накипь бывает и на вареньи, хозяйка сбрасывает. Также и на социализме, её надо снимать. «Как закалялась сталь» — всегда будет нашей настольной книгой... Участие в революции на стороне трудящихся — это самое гуманное дело. Кто не идёт вместе с ними, тот неизбежно идёт против них. Когда во время октябрьских боёв обстреливали Кремль, Луначарский пытался «спасать сокровища искусства», — но Ленин над ним посмеялся... Товарищ Шолохов борец за счастье трудящихся. Хорошо видит друзей, хорошо распознаёт врагов. Кто знает начало — не должен забывать о конце. Москва — не Будапешт!... «Защитить то далёкое время»? Это значит — вернуть его? Не выйдет!.. А Евтушенко не надо подлаживаться ко вкусам обывателей. Выбирайте, чьи похвалы вам нужны... Центральный Театр Советской Армии — глупая идея Кагановича, пятиконечная звезда, самое неразумно построенное здание... А вот, мы под Новый год гуляли в лесу, — какая красота! Вот это — красота!.. А додекафония — это какофония... Эренбург большой специалист навязывать свои вкусы. Конечно, Ленин не мог так говорить о левых художниках, как Эренбург ему приписывает... А Некрасов возмущается, что молодым ставят в пример старого рабочего...

И — до чего же смелы деятели искусств — те, которые окружали Кочетова и Шолохова, впрочем и попеременно с партийным подсадом, — смело перебивали самого первого секретаря ЦК! Стали дружно кричать:

— Позор!.. Гражданский позор!.. «Новый мир»!..

(«Новый мир»! — это за Некрасова.)

Хрущёв одобрительно принял шквал. И дал вывод:

— Абсолютной свободы личности не будет даже при коммунизме!.. Это что, как муж или жена храпит — так почему лишаете меня свободы храпа?.. При коммунизме отклонения от воли коллектива должны быть — лишь как единичные явления.

Партия поддерживает только такие произведения, которые сплывают народ. «Оттепель — осуждаем: неустойчивая, непостоянная, незавершённая погода!.. Не пустим на самолёт! Бразды правления не ослаблены!.. Во всех издательствах — наплыв рукописей о тюрьмах и лагерях. Опасная тема! Любители жареного накидываются! Но — не каждому дано справиться с такой темой. Тут — нужна мера. Что? Было бы, если б все стали писать?»

— Я помню процесс Бейлиса, я уже тогда носил длинные штаны... Сионисты облепили товарища Евтушенко, использовали его неопытность... Анекдот: великий поэт, как ваше здоровье? Лесть — самое ядовитое оружие... Я — против погромов... Богатые евреи сидели в квартирах околоточного. Товарищ Шостакович, и вы не разобрались! А Израиль предлагает вашу симфонию ставить. А там у них — классовое государство. Евреи, уехавшие туда, пишут теперь, что сидят без работы.

(Я покосился — у Евтушенки сильно горят уши. Да всякое грозное обзывание с кафедры при полутьмечеловек с грозной трёхсотней — и никому не безразлично. Не такой глупый и процесс обработки, может быть и есть смысл им потерять время.)

— Стихотворение «Бабий Яр» — не антисоветское, говорят — музыка хорошая, я послушаю. Запрещать глупо... Да заместитель маршала Малиновского был еврей Крейзер, и сейчас командует на Дальнем Востоке. В числе первых, кто взял в плен Паулюса, был еврей полковник Винокуров, комиссар бригады.

От поездки во Францию Некрасова, Паустовского, Вознесенского неприятное впечатление. Ошибки и у Катаева в Соединённых Штатах. Евтушенко не удержался от желания понравиться буржуазной публике: мол, «Бабий Яр» критикуют догматики, а народ принимает.

— Я — не за то, чтоб отгораживаться от Запада. Это — Сталин боялся, думал: если начнём разговаривать — нас сразу забудут. А у нас если слов не хватит — можно выругаться. Общаться можно, но надо высоко держать достоинство советского человека. Что общение было — на пользу нам.

(И эта программа — великолепно выполнена в последующие годы. Я начал восстанавливать эти записи с улыбкой, как курьёз и анекдот. А по ходу страниц смотрю, — и совещания те имели смысл и, что называется, победила партия. Биться против партии — там было некому, смысла становились наши деятели лишь когда утекали на Запад.)

Этими встречами откатил нас Хрущёв не только позадь XXII съезда, но и позадь XX. Он откатил бильярдный шар своей собственной головы к лузе сталинистов. Оставался маленький толчок.

На второй встрече Лебедев не искал меня видеть, он озабочен был и «очень спешил» совнаркомовским коридором из двери в дверь. Вид его сильно изменился к отстранённости и чиновности. Через две недели ответил он мне и о пьесе,

А карусель идеологии продолжала раскручиваться, уж теперь трудней её было остановить, чем само солнце. Не успели отгреться

два кремлёвских совещания, как замыслено было ещё важнейшее: пленум ЦК в июне 1963, посвящённый исключительно «вопросам культуры» (не было у Никиты больших забот в его запущенной несуразной державе)! И по хрущёвскому размаху на пленум этот приглашались тысячи «работников» избранной области. Теперь предстояло мне в жару неделю ходить и неделю дуреть на этом пленуме, как будто я был член партии «с... года», а не дремучий зэк, а не писатель в первые месяцы приобретенной свободы. Моя несчастная слава начинала втягивать меня в придворно-партийный круг. Это уже порочило мою биографию.

Пришлось мне искать приёма у Лебедева — уговорить его лишить меня высокой чести быть приглашённым на пленум, отпустить душушку. Так мы увиделись в третий и последний раз — в ЦК, на пятом этаже главной (хрущёвской) лестницы.

Просьба моя удивила его крайне: ведь билетов на эти встречи и пленумы домогались, выпрашивали по телефону, по ним соображалась шкала почёта. Мог ли я говорить ему прямо? Конечно нет. Бормотал о семейных обстоятельствах... (И Твардовский потом порицал меня: а «октябристы» будут думать, что вас лишили внимания, что вы падаете в своём значении; ни в коем случае, мол, вы не имели права отказываться. Ведь я — уже был не просто я, моё снижение снижало и «Новый мир»... Из такой политики и состояла десятилетиями литература...)

Разъяснил мне Лебедев ещё раз, чем дурна моя пьеса: ведь в лагерях же люди *и исправлялись, и выходили* из них, — а у меня этого не видно. Потом (очень важно!): пьеса эта *обидит интеллигенцию*, — оказывается, кто-то там приспособливался, кто-то боролся за блага, а «у нас привыкли свято чтить память тех, кто погиб в лагерях» (с каких пор?!..). И неестественно у меня то, что нечестные побеждают, а честные обречены на гибель. (Уже прошёл шумок об этой пьесе, и даже Никита спрашивал — какая? если по «Ивану Денисовичу», то пусть ставят. Но Лебедев сказал ему: «Нет, не надо». Лебедеву конечно пора была со мною хвататься за все тормоза.) Многознающе убеждал меня: «Если бы Толстой жил сейчас, а писал так, как раньше — (ну, то есть против государства) — он не был бы Толстой».

И вот был тот закадычный либерал, тот интеллигентный ангел, который совершил всё чудо с «Иваном Денисовичем»! Я долго у него просидел, рассматривал, — и всё более незначительным, ничем не отмеченным казался мне он. Невозможно было представить, чтобы в этой гладенькой головке была не то чтобы своя политическая программа, но отдельная мысль, отменная от партийной. Просто накал сковороды после XXII съезда был таков, что блин мой схватился, поджарился, просился в сметану. А вот остыло — и видно, как он сыр, как тяжёл для желудка. И не поволокли бы блинчика на конюшню.

То и дело поднимая трубку для разговора с важными цекистами (и всё по пустякам, какие-то шутки, что-то о футболе, разыгрывали кого-то статьёй в «Комсомолке»), он неприятно смеялся мелкими толчками, семеня смехом. Он фотографировал меня до головной боли (моей), хватался новейшей «лейкой» из ФРГ за 550 рублей, «мы же премию за книгу получили» (это — ленинскую, за репортаж, как Никита в Америку ездил). Гордясь и с охотой показывал мне тяжёлые обархатенные альбомы, где под целлулоидовыми плёнками хранились его крупные цветные снимки, по альбому на каждую заграничную прокатку Никиты: Ильичёв то в одежде Нептуна, то жонглирует блюдом на голове; Аджубей и Сатюков с шутовскими выражениями прильнули к статуе богини; Хрущёв целует прелестную бирманскую девушку; Громыко блаженствует в кресле самолёта. Они действительно жили в самом счастливом обществе на земле. (К тому ж всю обработку лебедевских снимков вела фотолаборатория ЦК, а сам

Лебедев в служебное время только рассматривал, сортировал и раскладывал негативы и карточки.)

В одном альбоме на фоне тех же книжных полок, где он только что отснял меня, улыбались Шолохов и Михалков. Были места и для меня... Всё-таки Лебедев не предполагал, как жестоко во мне обманулся.

* * *

Но обманулся и я, что хоть полгода есть у меня для забивки всех лазов. Пора моего печатания промелькнула, не успев и начаться. Масляному В. Кожевникову поручили попробовать, насколько прочно меня защищает трон. В круглообкатанной статье он проверил, допускается ли слегка тяпнуть «Матрёнин двор». Оказалось — можно. Оказалось, что ни у меня, ни даже у Твардовского никакой защиты «наверху» нет (уж Лебедев струживать начал — зачем так тесно с нами сопрягся). Тогда стали выпускать другого, третьего, ругать вслед за «Матрёной» уже и высочайше-одобренного «Денисовича», — никто не вступался (кроме самого «Нового мира», так это им не платина). Стали цеплять «Денисовича» до идиотизма: почему не отображаю «тайных партийных собраний» эзков в лагерях и почему Иван Денисович к ним не прислушивался. А ходким козырем стало, что он — повторяет Каратаева: примиренчество. (Да посмотрели бы внимательно: за что попал в армию Платон Каратаев? — ведь был черёд не ему, а брату. «Война и мир», т. IV, ч. 1, гл. 12: «Платон рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секали, судили и отдали в солдаты». И что же стоит за этой «длинной историей»? Да уж, наверно, и отбивался? Так Каратаев не без плутоватости и мятежа?)

Собственно, после лагерной выучки, эти газетные нападки несколько меня не задевали, не досаждали. Как говорится, людям тын да помеха, а нам смех да потеха. Напротив, в этой печати меня гораздо больше удивляло и позорило предыдущее непомерное восхваление. А теперь я вполне соглашался на ничью: гавкайте потихоньку да не кусайте, буду и я тихо сидеть. Рассуждая реально, моё положение было превосходно: с ракетной скоростью меня приняли в союз писателей и тем освободили от школы, поглощавшей столько времени; впервые в жизни я мог поехать жить за рекой при разливе или в осеннем лесу — и писать; наконец, я получал теперь разрешение работать в спецхране Публичной библиотеки — и сладострастно накидывался на те запретные книги. (Но, не доверяя своему новому положению, я оставался эзком: в конспекты тех книг я вписывал, якобы от себя, в советском духе неодобрительные пометки: чтоб если меня вдруг обыщут, то не докажут, что я сочувствую криминалу. Да умри завтра Хрущёв — что со мной будет? Всё держится на одном Хрущё.) Просто грешно было обижаться на непечатанье: не мешают писать — чего ещё? Свободен — и пишу, чего ещё?

Раздвинулись сутки, раздвинулись месяцы, я стал писать непомерно много сразу — четыре больших вещи: собирал материалы к «Архипелагу» (на всю страну меня объездили эзкам, и эзки писали, несли и рассказывали); к заветной главной моей книге о революции 17-го года (условно «Р-17»); начал «Раковый корпус»; а из «Круга первого» надумал выщепивать главы для неожиданной когда-нибудь публикации, если представится.

Молчать! Молчать — казалось самое сильное в моём положении. Но не так легко молчать, когда ты связан с благожелательной редакцией. Всё-таки я понашивал туда кое-что для облегчения совести — не уступить возможностей. Как-то съёс несколько глав старой лагерной повести в стихах «Дороженьки» (тоже переименованной и смягчённой), Твардовский справедливо отверг её. «Я понимаю, — говорил он, — в лагере надо же что-то писать, иначе мхом обрастёшь. Но...» Он волновался, не обижуся ли. Я успокоил:

— Александр Трифонович! Даже если вы десять моих вещей отвергнете подряд, всё равно и одиннадцатую я принесу вам же.

Просиял, был доволен сердечно. А обещание моё оказалось пророческим: десять не десять, но почти столько пришлось мне ему стащить прежде, чем выяснилось, что он потерял на меня права.

Весной 1963 я написал для журнала рассказ, которого внутренне мог бы и не писать: «Для пользы дела». Он как будто и достаточно бил и вместе с тем в нагнетённой обстановке после кремлёвских встреч казался *проходимым*. Но писался трудновато (верный признак неудачи) и взял неглубоко. Тем не менее в «Новом мире» он встречен был с большим одобрением, на этот раз даже единодушным (недобрый признак!). А всё лишь потому, что укреплял позиции журнала: вот, проведя меня в литературу, они не сделали идеологической ошибки.

До того уж почувствовал журнал свои права на меня, что летом, пока я был в отъезде, Закс без моего ведома уступил цензуре из моего рассказа несколько острых выражений (вроде *забастовки*, которую хотят устроить студенты). Это был их частый приём и со многими авторами: надо спасать номер! надо, чтобы журнал жил! А если страдает при этом линия автора — ну что за беда... Вернувшись, я упрекнул их горько. Твардовский принял сторону Закса. Им просто непонятно было, из чего принципиальничать? Подумаешь, пощипали рассказ! Мы, авторы «Нового мира», им рождены и ему должны жертвовать.

Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал немало возбуждённых и публичных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления.

Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному «Новому миру» надо относиться с обычной противоначалнической хитростью: не всегда-то и на глаза попадаться, сперва разведывать, чем пахнет. В этот приезд, в июле 1963, пока я горячился из-за цензурных искажений, А. Т. тщетно пытался передать мне свою радость:

— Вы легки на помине, о вас был там разговор!

Я говорю — «радость», но по-разному бывал он радостен: чист и светел, когда здоров от своей слабости, а в этот раз — с мутными глазами, полумёртв, вызывал жалость (его лишь накануне лекарственным ударом вырвали, чтобы доставить в ЦК к Ильичёву). И ещё ведь курил, курил, не щадя себя! Радость А. Т. была на этот раз в том, что он на заседании у Ильичёва ощутил некое «новое дуновение», испытал какие-то «греющие лучи». (А было это — просто очередное вихлянье агитпропа, манёвр. Но в бесправной унижительной жизни главного редактора опального журнала и при искренних толчках сердца о красную книжечку в левом нагрудном кармане, обречён был Твардовский падать духом и запивать от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора, и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры.)

Так вот что было там, на Старой Площади. «Подрабатывался» состав советской делегации в Ленинград на симпозиум КОМЕСКО (Европейской Ассоциации писателей) о судьбах романа, и вот А. Т. удалось *добиться*, чтобы включили в ту делегацию меня. (А потому Ильичёв и уступил, что для симпозиума была нужна декорация.)

Он договорить ещё не успел, я уже понял: ни за что не поеду! Вот из таких карусельных мероприятий и состоит жизнь писателя на поверхности... Недорогой способ нашли они показать меня Европе (да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорелли!): в составе делегации, конечно *единой во мнении*, а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но ещё и предательством родного «Нового мира». Сказать, что действительно думаешь — невозможно. И рано. А ехать мартышкой — позор. Отклоня уже столь-

ко западных корреспондентов, должен был я свою линию вытягивать и дальше.

— Зря вы хлопотали, Александр Трифонович. Меня совсем туда не влечёт ехать, да и несручно: я недавно из Ленинграда, я так мотаться не привык.

Вот тут и шла между нами грань, не перейденная за все годы нашей литературной близости: никогда мы по-настоящему не могли понять и принять, что думает другой. (По скрытости моей работы и моих целей он особенно не мог понять меня.)

А. Т. обиделся. (Всю обиду он выказывал обычно не враз, но потом в жизни возвращался и возвращался к ней многожды. Как, впрочем, и я.)

— Моя задача была — отстоять справедливость. А вы можете и отказаться, если хотите. Но в *интересах советской литературы* вы должны там быть.

Да ведь я ей не присягал.

Случился тут и Виктор Некрасов, недавно ошелмленный на мартовской «встрече» и уже несколько месяцев под партийным следствием в Киеве, — и он, он тоже убеждал меня... ехать! Вот и ему ещё было столько непонятно, и нельзя объяснить...

Дружный внутренний порыв влѣк их обоих в ресторан, а мне было легче околеть, чем переступить тот порог. Никак не решив, мы потянулись сперва на Страстной бульвар (что теперь ещё зовут Страстным, бывший Нарышкинский, а Страстной-то большевики уничтожили нацело). Тут заметил я, как неумело и боязливо переходил А. Т. проезжую часть улицы («ведь эти московские перекрестки такие опасные»). Да ведь он отвык передвигаться по улицам иначе, как в автомобиле... И седоку автомобильному нельзя, нельзя понять пешехода, даже и на симпозиуме. Стал А. Т. говорить, что симпозиум, конечно, будет пустой: нет романов, о которых хотелось бы спорить; и вообще романа сейчас нет; и «в наше время роман *даже* *вряд* *ли* *возможен*». (Уже начат был «Раковый корпус», уже год, как закончен был «Круг», но не знал я, в каком виде посметь предложить его Твардовскому. И вот так, со связанными руками и заткнутым ртом должен буду я сидеть на симпозиуме и слушать сорокоусто: умер роман! изжит роман! не может быть романа!..)

Грустно говорил А. Т. и о том, что на Западе хорошо его знают как прогрессивного издателя, но не знают как поэта. «Конечно, ведь у меня же — мерный стих, и есть содержание...» (Да нет, даже не в модерне дело, но как перевести русскость склада, крестьянность, земляность, неслышное благородство лучших стихов А. Т.?) «Правда, мои «Печники» обошли всю Европу», — утешался он.

Всё складывалось горько, и партийное следствие в Киеве, и упрямство моё туда же, — и вырвались они от меня и пошли пить лимонад. Я проводил их как потерянных: такой у века темп, а им времени некуда девать.

На том не кончилось: ещё от того симпозиума пришлось мне из дому убежать, на велосипеде, не оставив адреса. Как в школу меня раньше директор вызывал, так требовало теперь правление Союза, телеграммы и гонцы: ехать и всё! Но не нашли.

(А Твардовский тот симпозиум использовал к делу: их повезли потом в Пицунду, на хрущёвскую дачу, и сослужил Лебедев ещё одну службу: подстроил чтение вслух «Тёркина на том свете». Иностранцы ушами хлопали, Хрущёв смеялся, — ну, значит и разрешено, протасили*.)

* Изворотливый Аджубей первый же и напечатал, но с таким вступлением: как эту поэму красиво слушал Шолохов (?!). Тут и Аджубей весь, тут и нашим и вашим, тут и: своего же 30 лет ничего нет, будешь слушать...

После «Тёркина на том свете», пролежавшего (и перележавшего) 9 лет в готовом виде, 9 лет вязавшего Твардовскому руки,— они теперь как бы освободились для риска. И осенью 63-го года я выбрал четыре главы из «Круга» и предложил их «Новому миру» для пробы, под видом «Отрывка».

Отказались. Потому что «отрывок»? Не только. Опять тюремная тема... (Она же «исчерпана»? и кажется — «перепахана»?)

Тем временем нужно было им печатать проспект — что пойдёт в будущем году. Я предложил: повесть «Раковый корпус», уже пишу. Так название не подошло! — во-первых, символом пахнет; но даже и без символа — «само по себе страшно, не может пройти».

Со своей решительностью переименовывать всё, приносимое в «Новый мир», Твардовский сразу определил: «Больные и врачи». Печатаем в проспекте.

Манная каша, размазанная по тарелке! Больные и врачи!.. Я отказался. Верно найденное название книги, даже рассказа,— никак не случайно, оно есть — часть души и сути, оно сроднено, и сменить название — уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название «На Иртыше», если «Живой» Можаяева (как глубоко! как важно!) выворачивается в «Из жизни Фёдора Кузькина», — то это неисправимое повреждение. Но А. Т. никогда этого не принимал, считал это мелочью, а редакционные лъстецы и медоточивые приятели даже укрепили его в том, что он замечательно переименовывает, с первого прищуря. Он давал названия понезаметней, поневыразительней, рассчитывая, что так протянет через цензуру легче, — и верно, протягивал.

Не столкнувались, и «Раковый корпус» не попал в обещания журнала на 1964. Зато вязался журнал добывать для «Ивана Денисовича» ленинскую премию. За год до того все ковры были расстелены, сейчас это уже было сложно. (Ещё через два года всем станет ясно, что это — грубая политическая ошибка, оскорбление имени и самого института премий.)

А. Т. очень к сердцу принял эту борьбу, каждый лисий поворот Аджубея, выступавшего то так, то эдак. Правда, первый тур А. Т. не был на ногах, победа свершилась без него. Зато во втором он настойчиво взялся, рассчитывал внутрикомитетские тонкости (за кого подавать голос, чтоб иметь больше сторонников для себя). В секции литературы голоса разделились совсем не случайно, а даже пророчески: за «Ивана Денисовича» голосовали все националы и Твардовский, против — все остальные русские. Большинство оказалось против. Но по статуту учитывались ещё и результаты голосования в секции драматургии и кино, а там большинство оказалось «за». Итак, в список для тайного голосования «Иван Денисович» прошёл против голосов «русских» писателей! Успех этот очень обеспокоил врагов, и на пленарном заседании комитета премий первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня, — первой и самой ещё безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский, хотя и крикнул «неправда», был ошеломлён: а вдруг правда? Это показательно: уже более двух лет мы в редакции целовались при встречах и расставаниях, но настолько оставалась непреходима разность между нами, что не было у него толчка расспросить, а у меня повода рассказать — как же сталась моя посадка. (Да вообще, ни одного эпизода тюремно-лагерной жизни, из тех, что я направо и налево рассказывал первым встречным, ни даже из фронтовой, — не пришлось мне ему никогда рассказать. А он мне, хотя я наводил, не рассказал о ссылке семьи, что очень меня интересовало, а только — эпизоды литературно-чиновной, придворной жизни: как пятерым поэтам и пятерым композиторам Хрущёв поручил сочинять новый гимн; о случаях в барвихском санатории; о ходах редакторов «Правды», «Известий», «Октября» и ответных ходах самого

А. Т.— обычно вяловатых, но всегда исполненных достоинства.) Теперь он за одни сутки, по моему совету, получил из Военной коллегии Верховного Суда копию судебного заключения и моей реабилитации. (В век нагрывавшей свободы документы эти должны были естественно публиковаться сводными томами,— но они даже от самих реабилитированных были секретны, и путь к ним я узнал случайно, через встречу с Военной коллегией,— бывший зэк в Верховном Суде! знаменательная встреча, но сюда не помещается.) Это заключение на следующий день Твардовский сумел эффектно огласить на заседании комитета премий перед тайным голосованием. Прозвучало, что я — противник «культы личности» и лживой нашей литературы ещё с годов войны. Секретарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться. Однако уже запущена была машина. Утренняя «Правда» за два часа до голосования объявила: по *высокой требовательности*, которую до тех пор, оказывается, проявляли к ленинским премиям, повесть об одном лагерном дне, конечно, её недостойна. Перед самым тайным голосованием ещё отдельно обязали партгруппу внутри комитета голосовать против моей кандидатуры. (И всё равно, рассказывал Твардовский: голосов никому не собралось. Созвали комитет вторично, приехал Ильичёв и велел при себе переголосовывать — голосовать за «Тронку» Гончара. Уже неоднократно лауреат и член комитета самого, Гончар тут же около урны сидел и бесстыдно наблюдал за тайным голосованием.)

Уже тогда, в апреле 1964, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели — и удалось. Это обнадеживало их, что и Сам-то не крепок.

Над статьёй «Правды» в своём новом кабинете (зданье бывших келий Страстного монастыря) утром, перед последним голосованием, Твардовский сидел совсем убитый, как над телеграммой о смерти отца. «Das ist alles», — встретил он меня почему-то по-немецки, и это кольнуло меня сходством с чеховским «Ich sterbe»: ни одного иностранного слова не слыхивал я от А. Т. ни до этого, ни после. Ленинская премия для меня, о которой Твардовский бился, себя не жалея (и удивительно — не запил даже от поражения), — была престиж журнала, как бы орден, приколотый к его синеватой обложке*. Когда отказали, он рвался (впрочем, не впервые и не в последний раз) демонстративно выйти — на этот раз из комитета по премиям. Но соредакторы и родные уговорили, что его задача — беречь и вести журнал. И конечно верно, не тот был повод.

Сам я просто не знал, чего и хотеть. В получении премии были свои плюсы — утверждение положения. Но минусов больше, и главный: утверждение положения — а для чего? Ведь мои вещи это не помогло бы мне напечатать. «Утверждение положения» обязывало к верноподданности, к *благодарности*, — а значит не вынимать из письменного стола неблагоприятных вещей, какими одними он только и был наполнен.

Всю эту зиму я кончал облегчённый для редакции и для публики роман «В круге первом» (Круг-87). Облегчённый-то облегчённый, но риск показать его был почти такой же, как два года назад «Ивана Денисовича»: перешагивалась черта, которую до сих пор не переступали. До какой степени у Твардовского перехватит дыхание? — не настолько ли, что он обернётся тоже в недруга?

Во всяком случае все эти зимние месяцы, пока он боролся за премию, я не мешал его борьбе и не показывал ему обещанного «Круга». Весной пришла пора Твардовскому читать мой роман. Но как на вре-

* Так оно и сказывалось. После отказа мне в премии, жаловался потом А. Т., стало журналу совсем невыносимо, придирались в цензуре к каждому пустяку. И чтобы журнал не опаздывал безнадежно, приходилось уступать.

мя чтения оторвать его от главных противосоветчиков и прежде всего — от Дементьева? Мне нужно было, чтоб над романом сформировалось собственное мнение А. Т. Я сказал:

— Александр Трифонович! Роман готов. Но что значит для писателя отдать в редакцию роман, если всего за жизнь думаешь сделать их только два? Всё равно что сына женить. На такую свадьбу уж приезжайте ко мне в Рязань.

И он согласился, даже с удовольствием. Кажется, уникальный случай в его редакторской жизни.

В Рязани, как раз в пасхальную ночь (но А. Т. вряд ли памятовал её), мы встретили его как могли пышно — на собственном «москвиче». Однако он поёживался, влезая в этот маленький (для его фигуры — вправду маленький) автомобиль: по своему положению он не привык ездить ниже «волги». Он и приехал-то простым пассажиром местного поезда и билет взял сам в Круглой башне, не через депутатскую комнату, — может быть, со смоленских юношеских времён так не ездил.

За первым же ужином А. Т. тактично предварял меня, что у каждого писателя бывают неудачные вещи, надо это воспринимать спокойно. Со следующего утра он начал читать не очень захваченно, но от завтрака до обеда разошёлся, курить забывал, читал, почти подпрыгивая. Я заходил к нему как бы ненароком, сверяя его настроение с номером главы. Он вставал от стола: «Здорово!» — и тут же подправлялся: «Я ничего не говорю!» (то есть не обещает такой окончательной оценки). Как я понимаю работу, ему нужно было быть трезвым до её конца, но гостеприимство требовало поставить к обеду и водку, и коньяк. От этого он быстро потерял выдержку, глаза его стали бешеноватые, белые, и вырывалась из него потребность громко изговариваться. Он захотел пройти на почту, звонить в Москву (условлялась у него с женой покупка новой дачи); до почты было четыреста метров, а шли мы туда и обратно два часа: А. Т. поминутно останавливался, загораживая тротуар, и как я ни понуждал его идти или говорить тише, он громко выговаривался: что человек никому ничего не должен; что «начальство трогательно любит само себя»; о маршале Коневе (я видел его в редакции в штатском — туповатый средний колхозный бригадир), который в виде похвалы сказал Твардовскому, что сделал бы его из подполковника запаса генерал-майором; и о тайственности московской комиссии по прописке, решающей, кому жить, кому не жить; и о тайных местах (острова в Северном море) тайной ссылки инвалидов войны (от первого Твардовского я это слышал, не сомневаюсь в достоверности; умонепостигаемо для всех, кроме советских: этих бывших героев и эти жертвы, принешие нам победу, выбросить вон, чтоб своими обрубками не портили стройного вида советской жизни, да не требовали слишком горласто *прав* своих); и о том, как Брежнев стал «жертвой культа» (пострадал от Сталина за то, что в Кишинёве общественный городской сад забирал себе под резиденцию); и о том, что несправедливо оплачиваются сборники стихов — массовые меньше, чем немассовые (мне пришлось замечать, что он вникал в расчёты и вычеты по своим изданиям, похвалив издание, добавлял «да и деньги немалые», но это было не жадно, а с добродушной гордостью труженика, как крестьянин возвращается с базара); и о Булгакове («блестящий, лёгкий»); и о Леонове («его раздул, непомерно возвысил Горький»); о Маяковском («остроумие — плоское, не национален, хотя изощрялся в церковно-славянских вывертах; не заслуживает площади рядом с Пушкинской»).

В этот вечер я пытался ему объяснить, что один его заместитель ничтожен, а другой враждебен его начинаниям, лицо совсем из иного лагеря. А. Т. во всём не соглашался. «Дементьев сильно эволюционировал за десять лет». — «Да где ж эволюционировал, если с пеной у рта бился против Ивана Денисовича?» — «Он ушиблен очень...» Но вообще-то высказал А. Т., что мечтает иметь «первое лицо в редакции» —

такого знающего и решительного заместителя, который безошибочно управлялся б и сам. (Это будущее «первое лицо» уже состояло в редакции и уже возвышалось,— Лакшин.)

Второй день чтения проходил насквозь в коньячном сопровождении, а когда мы пытались сдерживать, А. Т. настаивал на «стопце». Кончал день он опять с бело-возбуждёнными глазами.

— Нет, не могли ж вы испортить роман во второй половине! — выказывал он с надеждой и страхом.

После главы «Критерий Спиридона»:

— Нет, теперь, в конце, вы уже никак не сможете его испортить!

Ещё после какой-то:

— Вы — ужасный человек. Если бы я пришёл к власти — я бы вас *посадил*.

— Так Алексан Трифонович, это меня ждёт и при других вариантах.

— Но если я сам не сяду — я буду носить вам передачи. Вы будете жить лучше, чем Цезарь Маркович. Даже бутылочку коньяку...

— Там не принимают.

— А я — одну бутылочку Волковому, одну — вам...

Шутил он шутил, но тюремный воздух всё больше входил и заражал его лёгкие.

После «Освобождённого секретаря»:

— Завтра будет у нас разговор совсем в другой плоскости, чем вы предполагаете: мы будем говорить больше не о вас, а обо мне.

(О его ограниченных издательских возможностях?.. о долге совести?.. о том, как он ощущает собственные изменения?.. Такой разговор не состоялся, и я не знаю, что имел в виду Твардовский.)

Это настроение (что, может быть, не избежать и самому *садиться*, верней: тоскливое шевеленье души, как у Толстого в старости: а жаль, что я не *посидел*, мне-то бы — надо...) в тот приезд несколько раз проявилось у него. С ним и в поезде была книга Якубовича-Мельшина «В мире отверженных», уже она готовила его. Он с большим вниманием относился к подробностям зарешёточной жизни, с любопытством спрашивал: «А зачем там лобки бреют?», «А почему стеклянную посуду не пропускают?» По поводу еврейской линии в романе сказал: «Идти на костёр — так идти, но было бы из-за чего». Несколько раз, уже теряя в парах коньяка и тон и ощущение шутки, он возвращался к обещанию носить мне передачи в тюрьму, но чтоб и я ему носил, если не сяду. А к вечеру второго дня, когда по ходу чтения посадка Иннокентия становилась уже неминуемой («теряешь чувство защищённости»), да ещё после трёх стаканов старки, он очень опьянел и требовал, чтобы я «играл» с ним «в лейтенанта МГБ», именно: кричал бы на него и обвинял, а он стоял бы по струнке.

Досадным образом чтение романа переходило в начало обычного запоя А. Т., — и это я же подтолкнул, получается. Однако чувство реальной опасности росло в нём не спяну, а от романа.

Мне пришлось помочь ему раздеться и лечь. Но вскоре мы проснулись от громкого шума: А. Т. кричал и разговаривал, причём на разные голоса, изображая сразу несколько лиц. Он зажёл все лампы, какие были в комнате (он вообще любит в комнате побольше света — «так веселей»), и сидел за столом уже безбутылочным, в одних трусах. Говорил жалобно: «Скоро уеду и умру». То кричал ревом: «Молчать!! Встать!!» — и сам перед собою вскакивал, руки по швам. То оскорбело: «Ну и пусть, а иначе я не могу...» (Это он решался идти на костёр за убийственный мой роман!) То размышлял: «Смоктуновский! Что за фамилия? А Гамлета сыграл лучше меня...»

Тогда я вошёл к нему, и мы с ним ещё сидели час. Покурил, постепенно лицо его мягчело, он начал уже и смеяться. Вскоре я уложил его оять, и больше он не буянил.

На третий день ему оставалось уже немного глав, но он начал утро с требования: «Ваш роман без волки читать нельзя!» Кончая гла-

ву «Нет, не тебя!», он дважды вытирал слёзы: «Жалко Симочку... Шла как на причастие... А я б её утешил...» Вообще в разных местах романа его восприятие было не редакторским, а самым простодушным читательским. Смеялся над Пряничковым или размышлял за Абакумова: «А правда, что с таким Бобыниным поделаешь?» По поводу подмосковных дач и холодильников у советских писателей: «Но ведь там же и честные были писатели. В конце концов, у меня тоже была дача».

Он кончил читать, и мы пошли с ним посмотреть рязанский кремль и разговаривать о романе. Обещанный разговор о самом А. Т., видимо, весь усочился в ночной самодialog.

— И имея такой роман, вы ещё могли ездить собирать материалы для следующего?

Я: — Обязательно должен быть перехлёст. На рубеже реки нельзя останавливаться, надо захватывать предместный плацдарм.

Он: — Верно. А то кончишь, отдохнёшь, сядешь за следующий, а — хрена! не идёт!

Твардовский хвалил роман с разных сторон и в усиленных выражениях. Там были суждения художника, очень лестные мне. «Энергия изложения от Достоевского... Крепкая композиция, настоящий роман... Великий роман... Нет лишних страниц и даже строк... Хороша ирония в автопортрете, при самолюбовании себя написать нельзя... Вы опираетесь только на самых главных (то есть классиков), да и то за них не цепляетесь, а своим путём... Такой роман — целый мир, 40—70 человек, целиком уходишь в их жизнь, и что за люди!..» Хвалил краткие, без размазанности, описания природы и погоды. Но были и суждения официального редактора тоже: «Внутренний оптимизм... Отстаивает нравственные устои», и главное: «Написан с партийных позиций (!) ... ведь в нём не осуждается Октябрьская революция... А в положении арестанта к этому можно было прийти».

Это «с партийных позиций» (мой-то роман!) — примечательно очень. Это не была циничная формулировка редактора, готовящегося «пробивать» роман. Это совмещение моего романа и «партийных позиций» было искренним, внутренним, единственно-возможным путём, без чего он, поэт, но и коммунист, не мог бы поставить себе цель — напечатать роман. А он такую цель поставил — и объявил мне об этом.

Правда, он попросил некоторых изменений, но очень небольших, главным образом со Сталиным: убрать главу «Этюд о великой жизни» (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно-точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. (А я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил — теперь каждый имеет право писать о нём всё по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать свою картину, заразить читателей.)

Вообще же о сталинских главах в романе он хорошо сказал: их можно было бы и изъять, но отсутствие их в романе могло бы быть воспринято как «испугался», «побоялся не справиться». В них можно допустить даже некоторую излишность, то есть сверх того, что необходимо для конструкции романа.

А Спиридон показался ему слишком коварен, хитёр, нарисован «несколько с горожанскими представлениями». Сперва я удивился: неужели я его не добротнo описал? Но понял: о мужике так много плохого сказано с 20-х годов, что Твардовскому больно уже тогда, когда говорится не одно сплошь хорошее. Это уже — отзывно, идеализация нехотя.

Утром четвёртого дня мы неумело пытались пресечь заболевание А. Т. тем, что не дать ему опохмелиться, — однако он досуха лишился возможности завтракать, не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался: «Конечно, черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них? Какое низкое развитие!» Кое-

как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан, выпил поллитра, почти не заедая, и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто: «Не думайте обо мне плохо».

Все эти подробности по личной бережности, может быть, не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически-слабеющими руками вёлся «Новый мир» — и с каким вбирающим огромным сердцем.

Итак, мой замысел — завлечь Твардовского моим романом в отсутствие Дементьева — как будто удался. Твардовский не только хвалил роман — он готовился принять за него и страдания. Он даже торопил меня при расставании: скорей переделывать сталинские главы и привозить ему окончательный вариант.

А это уже и выходило за пределы моих ожиданий! Я не мог поверить, чтобы «Круг первый» способен был проскочить в печать в 1964 году. Но тогда зачем же я давал его Твардовскому?.. чего хотел? Пожалуй, опять как с «Иваном Денисовичем»: переложить с себя на него ответственность за эту вещь. Чтобы он знал: вот есть такая. А самому не упрекаться, что ничего не сделал для продвижения. Теперь же я как будто ввязывался в ложную бесплодную возню и только отвлекался от настоящей работы.

Через две недели привёз я Твардовскому роман с переделками. Как и все мои пещерные машинописи, эта была напечатана обоесторонне, без интервалов и с малыми полями. Ещё предстояло её всю перепечатывать, прежде чем что-то делать.

А. Т. встретил меня у себя дома такой чистенький, по детскому славный, в бархатной курточке, что невозможно было и предположить, будто он когда-либо выпивает, вообразить его ревуцим буйволом в трусах. Он был один: жена поехала ближе разглядывать новопкупленную на этих днях дачу в Пахре (свою прошлую он отдал замужней старшей дочери).

А. Т. не только очнулся от запоя, но и протрезвился от восторгов по поводу романа, был настроен гораздо осмотрительнее: уже сокращал список лиц, кому надо дать прочесть. «Ал Григ» (Дементьев) был, конечно, первый читатель.

— Он, разумеется, будет против, — не упускал я ещё раз предвзирать. — Но ведь ему шестьдесят лет, он переживал и гонения, — до каких пор можно жаться?

— Он эволюционирует на моих глазах! — повторял А. Т.

Правда, в редакции быстро входил в доверие Твардовского Лакшин, его влияние в те годы было противоположно дементьевскому, они частенько схватывались. В одну из схваток Лакшин сказал:

— Мы с Александром Григорьевичем оба — историки литературы и должны понимать, что подлинная история литературы сейчас делается именно в «Новом мире», а не в «институте мировой литературы».

Это хорошо было сказано (и в иные месяцы так и было). Лакшин поддержал «Круг».

Пока роман перепечатывался, Твардовский забирал в сейф все экземпляры и зорко следил, чтобы читали только члены редакционной коллегии (даже редакторам отдела прозы, своим извечным неопенимым работягам, он не дал прочесть): пуще всего он боялся теперь, чтобы роман не распространился по рукам, как было с «Иваном Денисовичем».

Так сошло, что три дня Пасхи он читал у меня роман, а обсуждать его редакционная коллегия собралась на Вознесение, 11 июня. Заседание шло почти четыре часа, сам А. Т. в начале объявил его «приведением к присяге». Он сказал, что все эти 40 дней роман был «предметом душевного обихода» для него, что он непрерывно его обмысливает, «считаясь не только с точкой зрения вечности, но и — как он мо-

жет быть прочитан теми, от кого зависит решение». Уязвимыми объявил Твардовский только детали сталинского быта; ещё он хотел бы, чтоб я «смягчил резкие антисталинские характеристики»; опустил бы «Суд над князем Игорем» «за литературность». Вступление своё он закончил даже с торжественностью: «Для нормативной критики этот роман не только должен быть спущен под откос, но должно быть возбуждено уголовное преследование против автора. Кто же мы? Уклонимся ли от ответственности? Кто хочет сформулировать? Кто хочет разок бултыхнуться в воду?»

Так оправдало себя чтение романа Твардовским, «оторванное» от заместителей! «Самое первое обсуждение», как сказал А. Т., и было здесь, при мне, и таким торжественным приглашением начинал его главный редактор. Ещё входя на обсуждение, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым — последним. Я ожидал от него сегодня атаки напрокид. Он же с самого начала вместо удобного развала в кресле примостился зачем-то на подоконник раскрытого окна. За окном грохотала улица. Твардовский не преминул заметить:

— Ты что, потом скажешь: а мне не слышно было, о чём толковали?

Дементьев продолжал сидеть там же, с неудобно свешенными ногами:

— Жарко.

Твардовский не унимался:

— Так ты считаешь воспаление лёгких схватить? И потом нужное время в постельке пролежать?

Пришлось Дементьеву слезть и сесть со всеми. Он так был подавлен, что даже не отшучивался. Да ведь давно и верно он предчувствовал, куда их заведёт эта игра с тихим рязанским автором.

А прения начать пришлось Кондратовичу. Лицо Кондратовича как бы приспособлено к убеждённому выражению уже имеющегося, уже названного мнения. Он тогда умеет и выступать с прямодышащей взволнованностью, заливчато, кажется и умереть за это мнение готовый, так верен службе. Но не представляю себе его лица, озаряемого самостоятельно-зреющим убеждением. Нестерпимо было бы Кондратовичу начать эти прения, если б долголетнее общение с цензурой не уравнило его обоняние с обонянием цензуры. Как внутри военного бинокля уже содержится угломерная шкала и накладывается на всё видимое, так и глаза Кондратовича постоянно видели отсчёты от красной линии опасности.

Порадовался Кондратович, что «не умирал жанр романа», и вот движется. И тут же легонечко проурчал о «подрыве устоев», «чем больше художественная сила изложения, тем больше разоблачения перерастают в символ». («Да нет, — успокоил его А. Т., — об идее коммунизма здесь речь не идёт».) Но ведь освобождённый секретарь — это не просто частный парторг Степанов, это — символ! Предлагал Кондратович «вынимать шпильки раздражённости» из вещи там и сям, много таких мест. Нашёл он «лишнее» даже в главах о Большой Лубянке. Озаботило его, что ступени лубянские стёрты за тридцать лет, «значит, падает тень и на Дзержинского?» — Заключение же дал удобное в оба конца, как по «Денисовичу» когда-то: «Напечатать невозможно. Но и не напечатать морально невозможно: как допустить, чтоб эта вещь лежала, а читатели её не читали бы?»

Задал им задачу Главный! Мягкое окончание чула колосось и верно говорило им, что — нельзя, а Главный понукал: можно! по этому следу!

Затем выступал медленный оглядливый серый Закс. Он был так напуган, что даже обычная покорность Твардовскому сползала с него. Он начал с того, что читать надо второй раз (то есть выиграть время). Что он рад: все понимают (Твардовский-то не понимал! вот было

горе, вот куда он тянул и намекал) исключительную трудность этого случая. Что, собственно, он ничего не предлагает, а ощущает. Ощущает же он вот что: не нужны и не интересны все главы за пределами тюрьмы, не нужно этого распространения на общество. И неправильно, будто солдату на войне труднее, чем корреспонденту: корреспондентов тоже сколько-то убито (Закс и сам был в такой газете). И ещё он озабочен вопросом о секретной телефонии. (Не отказал ему цензорский нюх! А Твардовский простодушно возразил: «Ну, это ж совершенно фантастическая вещь! Но придумана очень удачно!») И не нравится ему сцена с Агнией и всё это христианство. И где герои философствуют — тоже плохо. И необычно полон набор зацепок, как будто автор специально старался ничего не пропустить. И ещё ему ночь Ройтмана не понравилась очень. (Это он и отдельно потом разъяснил мне.)

Тут пришлось мне его прервать:

— Такое уж моё свойство, я не могу обминуть ни одного важного вопроса. Например, еврейский вопрос, — зачем бы он мне нужен? Спокойнее миновать. А я вот не могу.

Привыкли они к литературе, которая боится хоть один вопрос затронуть, — и хомутом им шею трёт литература, которая боится хоть один вопрос упустить.

А предложение своё сформулировал Закс очень дипломатично:

— Раньше времени сунемся — загубим вещь.

Он — за вещь, за! — и поэтому надо придушить её ещё здесь, в редакции!

Но знал А. Т. и такие редакционные повороты!

— Страх свой надо удерживать! — назидательно сказал он Заксу.

Лакшин говорил очень доброжелательно, но сейчас я просматриваю свои записи обсуждения (с большой скоростью пальцев я вёл их в ходе заседания, тем только и занят был) и при распухлости нынешних моих очерков не вижу, что бы стоило оттуда выписать. Лакшин принял линию Твардовского — и обо всём романе и о сталинских главах, что без них нельзя. Однако достаточно было ему в этом именно духе сказать, что публицистические заострения как бы вырываются из общего пласта романа, — Твардовский тотчас же перебил:

— Но осторожней! Это — черты его стиля!

Вот таким он умел быть редактором!

Марьямов выступил в нескольких благожелательных словах — присоединился, похвалил, возразил, что не видит подрывания устоев.

— А что думает комиссар? — спросил Твардовский настороженно. Сколько раз по стольким рукописям он соглашался с этим комиссаром прежде, чем создавал своё мнение, да вместе с ним он его и создавал! — а сегодня уже предупреждал, что трудно будет Дементьеву спорить.

И Дементьев не поднялся в ту рукопашную атаку, которой я ждал. Из удручённости своей он начал даже как бы растерянно:

— О конкретных деталях говорить не буду... Трудно собрать мысли... (Уж ему-то, десятижды опытному!..) С советами такому большому художнику рискуешь попасть в неловкое положение... Публицистика иногда — на грани памфлета, фельетона...

Твардовский: — А у Толстого разве так не бывает?

Дементьев: — ...но написано гигантски, конечно... Сталинские главы сжать до одной... Если мы на этом свете существуем, не отказались мыслить и переживать, — роман повергает в сомнение и растерянность... Горькая тяжёлая сокрушительная правда... Имея партийный билет в кармане...

Твардовский: — И не только в кармане!

Дементьев: — ...начинаешь с ним (билетом) соприкасаться... Пашет эта правда так глубоко, что объективно или субъективно выходит за пределы культа личности... Искусство и литература — великая

ценность, но не самая большая. (Разрядка моя — А. С. Для редакции литературного журнала разве диктатура пролетариата не дороже?) ...Начинает выглядеть непонятно: *ради чего делалась революция?* (Управился! — встал в рост! И пошёл в атаку!..) По философской части нет ответов автора: *что же делать?* Только — быть порядочным? (Он звал меня высунуться по грудь!..)

Твардовский: — Это и Камю говорит. А здесь роман — русский.

Дементьев: — Достоевский и Толстой отвечают на ставимые ими вопросы, а Солженицын — не отвечает...

Твардовский: — Ну да, — как же будет с поставкой мяса и молока?..

Дементьев: — Я пока думаю... Ещё ничего не понимаю...

И этот не понимает!.. Залёг опять. Задал им Главный!.. Тут Марьямов и Закс о чём-то зашептались, А. Т. буркнул: «Что там шепчетесь? Мол, лучше бы нам в обход идти?» Дементьев настолько был взволнован, что принял на свой счёт: «Я не шепчусь...»

И ещё изумительно повернул Дементьев:

— Нельзя ли автору отнестись к людям и жизни по добрей?

Этот упрёк мне будут выпирать потом не раз: вы не добры, раз не добры к Русановым, к Макарыгиным, к Волковым, к ошибкам нашего прошлого, к порокам нашей Системы. (Ведь они ж к нам были добры!..) «Да он народа не любит!» — возмущались на закрытых семинарах агитаторов, когда их напустили на меня в 1966.

Но ещё прежде публично секли и меня, и Ивана Денисовича, и особенно несчастную мою Матрёну за то, что мы «слишком добренькие», «неразборчиво добренькие», что нельзя быть добрым ко всем окружающим (вот они к нам и не были!), что доброта ко злу только увеличивает в мире зло. («Октябрь» по дурости долго долбил пустое место «непротивленца», думая, что бьёт — меня.)

А всё вместе? А вместе это называется — *диалектика*...

После членов редакции слово получил я и удивился, что некоторым членам редакции кажется, будто мой роман относится не к культуре личности, явлению очень разветвлённому и ещё не искоренённому, а к нашему обществу, здоровеющему на глазах, или даже к самым идеям коммунизма. Однако случай, конечно, трудный. Выбор стоит перед редакцией, не передо мной: я роман уже написал, и выбирать мне нечего. А редакция два-три раза решит не в ту сторону и, прости-те за бестактность, обратится в какое-нибудь «Знамя» или «Москву».

Так я нагел. Но щедролюбиво настроенный ко мне Твардовский и здесь не обиделся и не дал никому обидеться, заявив, что я им высказал комплимент: они выше тех журналов.

Всем ходом обсуждения он выдал из редакции согласие на мой роман и теперь с большим удовольствием заключил:

— Чрезвычайно приятно, что впервые (?) никто не остался в стороне: а я, мол, умненький, сижу и помалкиваю. (Именно так все и старались!..) Сейчас за шолоховскими эпопеями забыли, что его герой — не наш герой, а партию у него представляют только неприятные люди. Вопрос «Тихого Дона»: чего стоит человеку революция? Вопрос обсуждаемого романа: чего стоит человеку социализм и под силу ли цена? Содержание романа не противостоит социализму, а только нет той ясности, которой нам бы хотелось. «Война» здесь дана исчерпывающе, а вот «мир» — лучшее из того, что было в те годы, — не показан. Где же историческое творчество масс?.. Скромное моё пожелание как читателя: о, если бы хоть краем зари выступила и *такая* жизнь! Засветить край неба лишь в той степени, в какой это допускает художник...

Увы, мне уже там нечего было засвечивать. Я считал, что я и так представил им горизонт осветлённый, снял острый «атомный сюжет», какой в самом деле случился, и заменил на «лекарственный» из расхожего советского фильма тех лет.

А Твардовский в эту одну из своих вершинных редакторских минут тоже ни на чём не настаивал:

— Впрочем, будь Толстой на платформе РСДРП — разве мы от него получили бы больше?

В тех же днях настоящим Лакшина был заключён со мною и договор на роман (опасливый Закс почернел, съёжился и сумел как-то отпереться: свою постоянную обязанность поставить подпись пересунуть на Твардовского) *.

И в нормальной стране — чего теперь ещё надо было ждать? Запускать роман в набор, и всё. А у нас решение редакции было — ноль, ничто. Теперь-то и надо было голову ломать: как быть?

Но кроме обычной подачи в цензуру на зарез — что мог придумать А. Т.? Опять показать тому же Лебедеву? — «Я думаю, — говорил А. Т., — если Лебедеву что в романе и пригрезится, то не пойдёт же он... Это ему самому невыгодно...»

Лебедев, разумеется, не пошёл, — но не пошёл и роман. Я наивно представлял, что для идеологической схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы, тем более, что поношение Сталина возьмёт на себя не ЦК, а какой-то писатель. Но был август 1964, и, наверно, ощущал уже Лебедев, как топка становится почва под ногами его шефа. Уж не раз он, наверно, раскаивался, что запятнал свою репутацию мною.

А. Т. дал ему на пробу только четверть романа, сказав: «Первая часть. Над остальными работает».

Тут сложилось так, что у А. Т. произошло столкновение с Лебедевым из-за Эренбурга. Поликарпов («отдел культуры» ЦК) и Лебедев хотели, чтоб отклонение последней части эренбургских мемуаров взял на себя Твардовский, то есть чтоб они не были «запрещены цензурой», но «отклонены редакцией». А. Т. ответил им с достоинством: «Не я его сделал лауреатом, и депутатом, и борцом за мир. Я вообще не его поклонник. Но раз он и лауреат, и депутат, и всемирно известен, и за 70 лет, — значит надо печатать, что б он ни написал».

Из-за глав моего романа раздражение ещё усилилось. Лебедев обьявил их клеветой на советский строй. А. Т. попросил объяснений. Лебедев ответил единственным примером: «Разве наши министерства работали ночами? Да ещё так — в шашки играют...»** И посоветовал: «Спрячьте роман подальше, чтобы никто не видел». А. Т. ответил твёрдо: «Владимир Семёнович, я вас не узнаю. Ещё недавно как мы с вами относились к подобным рецензиям и рецензентам?» Лебедев: «Ах, если бы вы знали, кто недоволен теперь и жалеет, что «Иван Денисович» был напечатан!»

(Из других источников, достоверно: Н. П. Хрущёва жаловалась одному генералу-пенсционеру: «Ах, если бы вы знали, как нам досталось за Солженицына! Нет уж, больше вмешиваться не будем!»)

Да и то сказать, не проходит чудо дважды по одной тропочке. Прекратить ли Лебедева, что он отшатнулся? Не удивиться ли верней, как он первый-то раз смелость нашёл?***

* В тех же днях ещё М. А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предвещала собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и может быть отчасти поколебала Твардовского. Пришлось мне письменно защищаться, чтобы его подкрепить.

** Совсем недавно мне сказали, что Лебедев был — чекистом... По расчёту времени — при Сталине. Тогда, конечно, не в шашки они играли.

*** После свержения Хрущёва Лебедев, по новой круговой поручке верхов, только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К. И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие-то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (заели-таки его мои главы). Ещё с новым 1966 годом он меня поздравил письмом — и это поразило меня, так как я был на краю ареста (а может быть, он не знал?) До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к

На том и кончилось пока «движение» «Круга». Правда, ещё в проспекте на 1965 год Твардовский посмел объявить, что я работаю «над большим романом для журнала».

Я хотел молчать и писать, я хотел воздержаться от всякого елозения моих вещей,— и сам же не выдерживал. Потому что трудно сообразить истинный смысл обстановки и свою верную линию: а вдруг я что-то упускаю? Так по нескольким театрам протаскал я «Свечу на ветру», но не имела та пьеса успеха у режиссёров. А весной 1964, вопреки своей тактике осторожности, просто толчком, я дал в несколько рук свои «Крохотки» на условии, что их можно не прятать, а «давать хорошим людям».

Эти «Крохотки», напротив, имели большой успех. Они очень скоро распространились в сотнях экземпляров, попали в провинцию. Неожиданнее всего было для меня то, что откровенная защита веры (давно ли в России такая позорная, что ни одна писательская репутация её бы не выдержала?) была душевно принята интеллигенцией. Самиздаг прекрасно поработал над распространением «Крохоток» и прорисовал недурной выход для писателя, которого власти решили запретить. Распространение «Крохоток» было такое бурное, что уже через полгода — осенью 1964, они были напечатаны в «Гранях», о чём «Новый мир» и я узнали из письма одной русской эмигрантки.

Твардовскому это нелегальное движение даже самых моих мелких (и уже отвергнутых им!) вещей было болезненно неприятно: тут и ревность была, что моё что-то идёт помимо его редакторского одобрения; и опасения, что это может «испортить» роману и вообще моей легальной литературе (а в чём ещё можно было испортить?..). И вот как он менялся или какие были грани в нём самом: давно ли он превзошёл себя в усилиях выдвинуть безнадежный мой роман, а вот уже брезгливо спрашивал по поводу одной насильно прочтенной моей крохотки (его принудили в пахринской компании, он почти с отвращением читал,— ещё и распространялось не через него!):

— Творец — и с большой буквы? Что это?..

А уж известие, что «Крохотки» напечатаны за границей, было для него громовым ударом. Со страхом прочли они в своём цензурном справочнике, какой это ужасный антисоветский журнал — «Грани». (Там же не было написано, какие в нём бывают статьи о Достоевском, о Лосском...) Впрочем, полгода понадобилось «Крохоткам», чтобы достичь Европы,— для того же, чтоб о случившемся доложили вверх по медальным нашим инстанциям, и инстанции бы прочухались,— ещё 8 месяцев.

А пока что произошла «малая октябрьская» — сбросили Никиту. Это были тревожные дни. Такой формы «просто переворота» я не ожидал, но к возможной смерти Хрущёва приуговлялся. Выдвинутый одним этим человеком — не на нём ли одном я и держался? С его падением не должен ли был бы загреметь и я? Естественные опасения для вечно гнаного лагерника,— ведь я и вообразить себе не мог всей истинной силы своей позиции. Безвзвучный и бездеятельный до снятия Хрущёва, я намеревался теперь стать ещё безвзвучней и ещё бездеятельней. Первым моим рывком была срочная поездка к Твардовскому, на новую дачу. Я был настроен тревожно, он — бодро. Решение пленума ЦК было для него обязательно не только административно, но и морально. Раз пленум ЦК почёл за благо снять Хрущёва — значит действительно терпеть его эксперименты дальше было нельзя. Два года назад А. Т. весь заполнен был восхищением, что во главе нас

примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил может быть самого бескорыстного душевного движения Лебедева. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всеяльного советника не пришёл никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы,— один Твардовский. Представляю себе его дожую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева.

стоит «такой человек». Теперь он находил весьма обнадеживающие стороны в новом руководстве (с ним «хорошо говорили *наверху*»). Да и то признать, последние месяцы хрущёвского правления жилось Твардовскому невыносимо. Минутами он просто не видел, как можно существовать журналу. «Москве» можно печатать и Бунина (кроме), и Мандельштама, и Вертинского, «Новому миру» — никого, ничего, и даже булгаковский «Театральный роман» два года удерживали — «чтобы не оскорбить МХАТа». — «Нужен верноподанный рассказ от вас», — грустно говорил он, вовсе и не прося.

Я приехал с довольно паническим проектом: *погменить роман романом*. То есть «Круг», которого ещё пока никто не знает, кроме Лебедева, потерявшего власть, я заберу из сейфа журнала, а вместо этого вскоре дам «Раковый корпус», и это будет считаться «тот самый роман», только переименованный автором. Я опасался, что вот-вот придут проверить сейф «Нового мира», изымут мой роман — и сверзимся мы с Твардовским далеко в преисподнюю. Теперь уж я считал оплошным неразумием, что вытаскивал роман из подполья и дал читать в редакцию. Теперь я метался — как понезаметнее прильнуть к земле и снова слиться с серым цветом её. Как бы мне по-прежнему тихо писать, расставшись со всякими издательствами?

Но — плохо ещё я понимал Твардовского, предлагая ему такую авантюрно-лагерную затею. Он слишком уважал и свой журнал и свой пост, чтобы действовать методом «зачапки» и подмены. Да и: что же прятать, если в романе «нет ничего против идеи коммунизма», как мы согласились на заседании редакции?.. Не мог же я теперь пятиться: вы не доглядели! это — опасней гораздо!

А. Т. боялся другого, он ещё с лета угрожающе выпытывал, не ходит ли роман по рукам? «Есть слухи — его читают», — на всякий случай припугивал он. Он счёл бы это с моей стороны чёрным предательством. Роману закрыли все пути, может быть, многие годы он не получит никакого движения, — но я, автор, не смел никому давать его читать. В этом понимал А. Т. смысл нашего договора с редакцией.

Впрочем, в ожидании расправы и мне было не до распространения.

На сковыре Никиты я потерял один полный комплект всего своего написанного: это было второе (из двух) полное хранение, вдали от Москвы. Хранитель (Н. И. Зубов) имел от меня разрешение в случае опасности всё сжечь. Падение Хруща ему естественно показалось (в глуши не оценишь) такой опасностью: переворот, начнутся повальные обыски и аресты. И он сжёг. Впрочем, всего было у меня по три-четыре копии, только «Пир победителей» — в двух, и теперь остался лишь один в Москве.

Хрущёвское же падение подогнало меня спасти мои вещи: ведь все они были здесь, все могли быть задушены. В том же октябре с замиранием сердца (и удачно) я отправил «Круг Первый» на Запад. Стало намного легче. Теперь хоть расстреливайте!

Однако в свержении Хрущёва было для меня и малое облегчение, — малое, почти призрачное, которое скажется не сейчас, позже гораздо, но оно было: уход Хрущёва освобождал меня от долга чести. Взнесенный Хрущёвым, я при нём не имел бы настоящей свободы действий, я должен был вести себя *благодарно* по отношению к нему и Лебедеву, хоть это и смешно звучит для бывшего зэка, — с простой человеческой благодарностью, которую не может отменить никакая политическая правда. Освобождённый теперь от покровительства (да было ли оно?), я освобождался и от благодарности.

Я верил, что лучшие времена будут и даже суждено мне до них дожить, что ещё наступит время полной публичности. А пока я избирал себе путь многолетнего молчания и скрытого труда. По возможности не делать ни одного общественного шага, дать себя забыть (о,

если бы забыли!). Никаких попыток печатания. А самому — писать, писать. Разве это плохо?.. Мне казалось — мудрая линия. А это было — самоуничтожение.

Полгода потом я и в «Новом мире» не был, — нечего делать. Всю зиму с 64-го на 65-й работа шла хорошо, полным ходом я писал «Архипелаг», материала от эзков теперь избывало. Торопя судьбу, нагоняя упущенные полстолетия, я бросился в Тамбовскую область собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах, которых уже сами потомки и родственники заучено звали *бандитами*.

Гонений мне как будто не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущёве, так уж не дотыкали плотней.

И я опять распустился, жил как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск, близ него купил садовый участок на реке Истье у села Рождества. Разрывался писать и «Архипелаг» и начинать «Р-17».

Впрочем, новое руководство отличалось вообще большой осмотрительностью и очень медленно что-нибудь решало или изменяло. Только в апреле 1965 у «агитпропа», или как он там называется, появился начальник — Дёмичев. Но тут Твардовский был в долгом упадке, в больнице и санатории (чисто-русский способ! из самого беспроблемного тупика, напряжения, обиды издательской работы он мог на две, на три недели, а в этот раз и на два месяца выйти по невыносимой алкогольной оси координат в мир, не существующий для его сотрудников-служащих, а для него вполне реальный, и оттуда вернуться с телом больным, но с отдохнувшей душой). Лишь в июле Твардовский явился к Дёмичеву на первый приём. Приём прошёл доброжелательно, и высказал Дёмичев, что хотел бы видеть и этого Солженицына. Где меня искать, Твардовский не знал, и не обещал, но в этот день меня с неудержимостью вдруг потянуло в «Новый мир», — толкуй, что нет передачи мыслей и воли. Оттуда А.Т. созвонился тотчас, и назавтра, 17 июля, мне был назначен приём.

Почти вся редакция сидела в кабинете Твардовского. Давно я их всех не видел, и показалось мне чуждо и скучно с ними. В голову-то был — «Архипелаг» да Тамбов 1921 года, а они хором требовали от меня «проходимого рассказика», будто бы публикация «чего-нибудь» после моего двухлетнего перерыва (и в знак лояльности к новому Руководству) сейчас очень важна.

Для них и для лояльного «Нового мира» — конечно, да. А для меня «проходимый рассказик» был бы порчей имени, раковиной, дуплом. Сила моего положения была в чистоте имени от сделок — и надо было беречь его, хоть десять лет ещё молчать.

А ещё все они (вслед за Твардовским, правда; это очень наглядно было у них, как они единодушно поддерживали мнение шефа по любым пустякам) настаивали, чтобы для завтрашнего визита я сбрил недавно отпущенную бороду. Независимый и беспартийный русский писатель, идя представляться начальнику партийного агитпропа (с какой вообще стати? зачем?), я должен был непременно принять тот безликий вид, к которому привыкли в партаппарате. И так серьёзно меня в этом убеждали, будто серьёзней и дела в редакции не было. Я трижды, четырежды уклонялся (не прямо, конечно, о партаппарате), — тогда стали требовать, чтобы я шёл не в легкомысленной апашке да ещё навывпуск, а в чёрном костюме при галстуке, — это в июльскую жару! (Конечно, я так не пошёл.)

Пытался я поговорить с А.Т. вдвоём, но получилась пустота, ничего. Он возбуждён и даже окрылён был тем, что с ним ласков Дёмичев, и очень много возлагал на мою завтрашнюю встречу: что от неё укрепитя и моё положение и новомирское.

А я шёл на встречу с такой задачей: как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. Я не опасен вам нисколько — и оставьте меня в покое. Я очень медленно работаю, и у меня почти ничего не написано, кроме того, что напечатано и в редакции. И, в

конце концов, я — математик, и готов вернуться к этой работе, раз литература не кормит меня.

Это был — исконный привычный стиль, лагерная «раскидка чернухи»; и прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый, Дёмичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во всё поверил. В его тихом голосе совсем отсутствовало живое чувство, но к концу даже проявилось — облегчением. Он был крайне невзрачен, и речь его была стёртая.

К этому времени уже начала проявляться та «клевета с трибуны», которой в открытом обществе никак не применить, потому что обвиняемый может всегда ответить, а в нашем закрытом — форма беспромахная и убойная: печать хранит молчание (это — для Запада, чтобы к травле не привлекать внимание), а на закрытых собраниях и инструктажах ораторы по единой команде произносят многозначительно и уверенно любую ложь о неудобном человеке. Он же не только доступа не имеет на те собрания и инструктажи — для ответа, но долгое время не знает даже, где и что о нём говорили, лишь застаёт себя охваченным стеною глухой клеветы.

Ещё были только начатки этой клеветы, ещё и форма не прорисовалась, но уже объявили, что я изменил родине, был в плену, был полицаем. Подавать в суд? Но клеветников слишком много, и они занимают официальные посты.

Дёмичев смотрел строго-сочувственно, сочувственно-осуждающим глазом (второй — не совсем в порядке).

Сам направляя разговор, я затеял отвечать на газетную критику «Матрёниного двора». Что за глупый журналистский упрёк: почему я не поехал за 20 километров показать передовой колхоз? * — ведь я не журналист, а учитель, и работаю там, куда меня назначили. И потом, чем мрачна моя колхозная картина, если «Известия», разнося меня, сами подтвердили, что не одна матрёнина деревня, но и весь куст колхозов, и не в 1953, но через 10 лет, ещё не собирает столько хлеба, сколько сам же сеет в землю? Хорошенькое сельское хозяйство — устройство по сгноению зерна!.. А тип женщины бескорыстной, бесплатно работающей хоть на колхоз, хоть на соседей? — разве не хотим мы видеть бескорытными всех?

Он всё молчал, и я задавал вопрос, который не полагается задавать снизу вверх:

— Вы — согласны со мной? Или хотите возразить?

Призыв был слишком неожиданным, мнение ещё не избрано (да и не могло быть избрано единолично им!), аргументы мои никак не подходили под установленную у них систему фраз, и он закинул вопрос далеко в сторону:

— Всегда ли вы понимаете, что пишете и для чего?

Тихо!.. Я-то, конечно, всегда понимаю, для этого я достаточно испорчен русской литературной традицией. Но объявлять об этом рано. Осторожными шагами я иду по скользкому:

— Смотря в каких вещах. «Для пользы дела» — да: утвердить ценность веры у молодёжи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях. «Кречетовка» — с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодеяния, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе. (Впрочем, Дёмичев сказал позже, что ни «Пользы дела», ни «Кречетовки» не читал, и не подготовлен был к разговору со мной.) А в «Матрёне» и в «Денисовиче» я... просто шёл за героями. Никакой цели себе не ставил.

(Это место окажется для него ключевым в разговоре. В нескольких публичных выступлениях он будет рассказывать одними и теми

* Критики просто не заметили, я упомянул: «соседнего председателя», который поднял колхоз на лесной спекуляции, — намёк на того самого Горшкова, которого мне критик и ставил в пример.

же словами, как он припёр меня к стенке вопросом — зачем я пишу, и я не нашёлся ничего сказать, кроме как повторить устаревший и уже не годный для соцреализма довод — «иду за героями». А их надо вести за собой...)

Защищая «Денисовича», я дуплетом ударил по книжке Дьякова (интеллигент-то высокий, да почему кирпичиков не кладёт на социализм? почему за 5 лет только и выполнил полчаса бабьей работы — сучья обрубал?..) и по рассказам Г. Шелеста (как его любимый герой мог брать хлеб и еду, воруемую у работяг, и притом конспектировать Ленина?). Но поведение шелестовского старого коммуниста не показалось Дёмичеву предосудительным, напротив, тут-то он с готовностью мне возразил:

— А разве Иван Денисович не замотал лишнюю порцию каши?

— Так то ж Иван Денисович! Он же интеллектуально не дорос, он Ленина не конспектирует! Он же лагерем испорчен! Мы ж его жалеем, что он только и борется за пайку.

— Да,— важно сказал Дёмичев.— Хотелось бы, чтоб он больше прислушивался к тамошним сознательным людям, которые могли бы дать ему объяснение происходящего...

(А где ты был со своим объяснением, когда это происходило? Что б вы с той повестью бедной сделали, если б я ещё всё объяснил?..)

Я: — Для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы ещё одна книга. Но — (выразительно) — не знаю, и нужно ли?

Он: — Не нужно! Не нужно больше о лагере! Это тяжело и неприятно.

Повторяя, что я ни в чём написанном не раскаиваюсь и снова всё написал бы так же, я внедрил в него свой замысел: что очень медленно работаю и поэтому подумываю вернуться к математике (это он принял явно без тревоги за отечественную литературу); что очень бываю недоволен своими вещами и часто уничтожаю написанное.

— Скажу вам совсем нескромно: мне хочется, чтобы вещи мои жили двадцать, тридцать и да же пятьдесят лет.

Он простил мне такую нескромность и с теплотой указал на Голая, сжегшего вторую часть «Мёртвых душ».

— Во-во. И я так же делаю.

Очень он был доволен.

— А сколько времени вы писали «Ивана Денисовича»?

— Несколько лет,— вздохнул я.— Не сочтёшь.

Я всё ждал вопроса о «Круге», который год уже томился в сейфе «Нового мира». Я ждал вопроса о «Крохотках», напечатанных на Западе. Но руководитель агитпропа ни о чём этом не знал.

На градусе взаимной откровенности выдал я ему и свои творческие задушевные планы: «Раковый корпус».

— Не слишком ли мрачное название?

— Пока условное. Там будет работа врачей. И душевное противостояние смерти. И казахи, и узбеки.

— А это не будет слишком пессимистично? — всё-таки тревожился он.

— Не-ет!

— А вы вообще — пессимист или оптимист?

— Я — неискоренимый оптимист, разве вы не видите по «Ивану Денисовичу»?

И изложил он мне, чего не надо, и чего не хочет партия в произведениях (это очень чётко, уже готовое было у него в голове):

1) пессимизма; 2) очернительства; 3) тайных стрел.

(Я поразился, как точно было выражено третье, да будто прямо обо мне. Узнать бы, кто там у них формулировал?..)

«Тайные стрелы» я замял, а «очернительство» хотел термин уточнить. Вот например, богучаровские мужики, которые княжну Марью

не отпускают эвакуироваться (а уж сами-то верно ждут Наполеона), — это очернительство патриотической войны или нет?

Но видно, не читал Дёмичев той книги, не вышло спора. А разговор складывался всё лучше и лучше.

— Мне нравится, что вы не обиделись на критику и не огорчились, — уже не без симпатии говорил он. — Я боялся, что вы озлоблены.

— Да в самые тяжёлые минуты я никогда озлоблен не был.

По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже и без нужды: «Вы — сильная личность», «вы — сильный человек», «к вам приковано внимание всего мира». — «Да что вы! — удивлялся я. — Да вы преувеличиваете!» (Он таки и преувеличивал: на Западе свыше политической моды почти и не понимали меня.)

— Приковано, — недоумевал он и сам. — Судьба сыграла с вами такую шутку, если можно так выразиться.

Всё более ко мне расположенный, уж он взялся меня даже утешать:

— Не всех писателей признают при жизни, даже в советское время. Например, Маяковский.

(Ну и я ж этого хочу! — не будем друг друга трогать, отложим дело до вечности.)

— Я вижу, вы действительно — открытый русский человек, — говорил он с радостью.

Я бесстыдно кивал головой. Я и был бы им, если б вы нас не бросили на Архипелаг ГУЛаг. Я и был бы им, если б за 48 лет хоть один бы день вы нам не врали, — за 48 лет, как вы отменили тайную дипломатию и тайные назначения, хоть один бы день вы были с нами нараспашку.

— Я вижу, вы действительно — очень скромный человек. С Ремарком у вас — ничего общего.

Ах вот, оказывается, чего они боялись, — с Ремарком!.. А русской литературы они уже отучились бояться. Сумеет ли вернуть им этот навык?

Я радостно подтвердил:

— С Ремарком — ничего общего.

Наконец, всеми своими откровенностями я заслужил же и его откровенность:

— Несмотря на наши успехи, у нас тяжёлое положение. Мы должны вести борьбу не только внешнюю, но и внутреннюю. У молодёжи — нигилизм, критиканство, а некоторые деятели только и толкают и толкают её туда.

Но не я же! Я искренно воскликнул, что затянувшееся равнодушие молодёжи к общим и великим вопросам жизни меня возмущает.

Тут выяснилось, что мы с ним — и года рождения одного, и предложил он вспомнить нашу жертвенную горячую молодость.

(Была, товарищи, была... Да только история так уныло не повторяется, чтоб опять... У неё всё-таки есть вкус.)

Оба мы очень остались довольны.

Я не просил его ни печатать сборника моих рассказов, ни помочь мне с пьесами. Главный результат был тот, что совершенно неожиданно, без труда и подготовки, я укрепился при новых руководителях и теперь какое-то число лет могу спокойно писать.

— Они не получили второго Пастернака! — провожал меня секретарь по агитации.

Нет, среднему инженеру или математику XX века никогда не привыкнуть к тем черепашьим скоростям, с которыми Старая Площадь оборачивается получать информацию в собственном аппарате! Только 9 месяцев прошло, как «Крохотки» напечатаны в «Гранях», — откуда ж Дёмичеву знать?.. Поликарпов узнал только месяц назад,

показывал Твардовскому и спрашивал — мои ли. Твардовский ответил, что он уверен: большинство — не мои.

Ведь Твардовский же не видел всех — вот и уверен, что не мои! И так уверен, что посылая меня к Дёмичеву, даже не вспомнил о том разговоре, не предупредил, — а я ведь сказал бы, что все мои! Тут номенклатурная логика: подчинённому (мне) не надо знать всего, что знает начальник (он). И подчинённый (я) не мог же написать такого, о чём не поставлен в известность начальник (он).

Но вдруг случайно узнал А.Т., что журнал «Семья и школа» собирается часть из этой серии напечатать на родине. Он пришёл почти в смятение: ведь он поручился перед начальством, что «Крохотки» — не мои! К тому ж его язвила ревность: ведь никто другой (и ни сам я!) не имел прав на опубликование моих произведений, а только «Новый мир». А «Крохотки» он три года назад определил как «заготовки», — о каком же печатании речь? И наконец, раз произошло такое ужасное несчастье, что они напечатаны на Западе, значит на родине они не будут напечатаны н и к о г д а! (Это понимание зарубежных изданий как безнадежной потери вещи и унижения для автора сохранялось у Твардовского все годы, что я знал его. С такой же безглаголивостью он сперва относился и к Самиздату. Признавал он только то открытое казённое печатание, которое авторам его журнала было закрыто как никому.)

И стал он меня немедленно вызывать. Наверно, и в других издательствах так, но я по «Новому миру» знаю и не перестаю удивляться: что-то не так автор сделал — и *вызывается* в свою редакцию! Автор рассматривается, видимо, как состоящий на государственной службе в своём журнале, и, как на всякой другой службе, может быть своим начальником востребован.

Однако в том августе не помогли Твардовскому меня разыскать, и он уехал в Новосибирск (где, кстати, на читательской конференции уже подали записку: «Правда ли, что Солженицын служил в гестапо?»).

Я могу только наощупь судить, какой поворот готовился в нашей стране в августе—сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживём же мы до публичной истории, и расскажут нам точно, как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с «железным Шуриком» Шелепиным. Говорят, предложил Шелепин: экономику и управление зажать по-сталински — в этом он, будто бы, спорил с Косыгиным, а что идеологию надо зажать, в этом они не расходились никто. Предлагал Шелепин поклониться Мао Цзэ-дуну, признать его правоту: не отсохнет голова, зато будет единство сил. Рассуждали сталинисты, что если не в возврате к Сталину смысл свержения Хрущёва — то в чём же?.. и когда же пробовать? Было собрано в том августе важное Идеологическое Собрание и разъяснено: «борьба за мир» — остаётся, но *не надо разоружать советских людей* (а — непрерывно натравливать их на Запад); поднимать воинский дух, бороться против пацифизма; наша генеральная линия — отнюдь не «существование»; Сталин виноват только в отмене коллективного руководства и в незаконных репрессиях партийно-советских кадров, больше ни в чём; не надо бояться слова *администрирование*; пора *возродить полезное понятие «враг народа»*; дух ждановских постановлений о литературе был верен; надо присмотреться к журналу «Новый мир», почему его так хвалит буржуазия. (Было и обо мне: что искажил я истинную картину лагерного мира, где страдали только коммунисты, а враги сидели за дело.)

Все шаги, как задумали шелепинцы, остаются неизвестными. Но один шаг они успели сделать: арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965. («Тысячу интеллигентов» требовали арестовать по Москве подручные Семичастного.)

В то тревожное начало сентября я задался планом забрать свой роман из «Нового мира»: потому что придут, откроют сейф и... Рано всё было затеяно, надо спешить уйти в подполье и замаскироваться математикой.

6 сентября я был у Твардовского на даче вопреки его вернувшейся болезни. Тяжёлыми шагами он спустился со второго этажа, в нижней сорочке, с мутными глазами. Даже с трезвым мне было бы сейчас трудно объясняться с ним, а тем более с таким. Он оседлал только главные свои обиды, а остального не видел, не слышал, не воспринимал.

— Я за вас голову подставляю, а вы...

Да и можно его понять: ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчётов, ходов была скрыта от него и проступала неожиданно.

В путаном разговоре, не собираемом ни к какому стержню, А. Т. выговаривал:

— что я не имею права действовать самостоятельно, «не посоветовавшись» (то есть не спросив дозволения);

— что я не должен был разрешать «Крохотки» «Семье и школе»;

— а ещё — о бороде! о бороде...

Вот удивительно засела в нём эта борода. Колебались царства, и головы падали, а он — о бороде... Впрочем теперь, по пьяной откровенности, объяснил:

— Говорят, вы хотите скрыться...

— Кто говорит? Кого вы слушаете?

— Я не обязан вам отвечать... Говорят: он носит бороду неспроста... Удобный способ перейти границу.

— Да в чём же борода помогает перейти границу?!

— А — сбрить и незаметно перейти.

Расплывчатый пьяный прищур, заменяющий многознание и догадку... Заодно высказывает А.Т. и как говорят в «отделе культуры» ЦК: что, наверно, я сам передал «Крохотки» в «Грани».

Мне горько стало. Не потому, что так говорят обо мне в «отделе культуры», а что Твардовский захвачен этим сам и не имеет силы сопротивляться.

Всё же я кое-как пробил своё: хочу забрать «Круг» «для переделки синтаксиса»...

Не верит.

Открываюсь: не считаю надёжным их сейф.

Это дико ему, — что ж может быть надёжней сейфа в официальном советском учреждении?! Хотя я и автор, но закабалённый договором, и журнал имеет право не отдать мне романа. Тем более, что я настаиваю забрать подчистую все четыре экземпляра.

Но А.Т.— добр, верит мне, и, как ему ни жаль, обещает назавтра разрешительный звонок в редакцию — чтоб отдали.

Ну, кажется, всё хорошо. Мне бы только пересидеть «железного Шурика»! Рано я вылез... Рано...

7 сентября из редакции с трудом добиваюсь Твардовского к дачному телефону. Голос его слаб, но осмыслен, не вчерашний. Он ласково просит меня: не берите, не надо! У нас — надёжно, не надо! Хорошо, возьмите три экземпляра, оставьте один.

Ему — как матери отпускать сыновей из дому. Хоть одного-то оставьте!..

И ведь разумно! И редакция — имеет право.

Но я — одержим: мне нужны все! (Я вижу лучше! я вижу дальше! я решил! Я помню, как роман Гроссмана забрали именно из новомирского сейфа.) Суетливость моя! Вечно меня подпирает, подкалывает предусмотреть на двадцать ходов вперёд.

Забираю все четыре. Отпечатанные с издательским размахом, они распирают большой чемодан, мешают даже замкнуть его.

С чем бы другим, секретным, я сейчас поостерегся, пооглянулся, замотал бы следы. Но ведь это — открытая вещь, подготовленная к печатанию. Я только уношу её из угрожаемого «Нового мира». Я несу её, собственно, даже не прятать.

Правда, я несу её на опасную важную квартиру (Теушей), где ещё недавно хранился мой главный архив — тот самый, в новогоднюю ночь увезенный из Рязани. Но основную часть похоронок, всё сокровище, я недавно оттуда забрал, осталось же второстепенное, полуоткрытое, вроде «Свечи».

Бывают минуты, когда слабеет, мешается наш рассудок. Когда излишнее предвидение обращается в грубейшую слепоту, расчёт — в растерянность, воля — в бесхарактерность. (Без таких провалов мы не знали бы себе границ.) Теуш, профессор математики на пенсии, — вполне достойный человек, но ведь — неаккуратен, путаник, не строг в конспирации, и это качество я за ним знал, — однако больше трёх лет как-то всё обходилось, хотя словоохотлив хозяин по телефону, да и сам написал полукриминальную работу об «Иване Денисовиче», и даже слух мы имеем, что его работа лежит уже в ЦК, — мне всё как нипочём! Недавно забирая у Теуша переносную записку-проигрыватель с моим архивом, я не проверил его содержимое, не устроил шмона, действительно ли только второстепенное держится у Теуша открыто. А он, нарушая наш уговор, время от времени вынимал почитать-перечитать: то «Пир победителей» (последний экземпляр!), то «Республику труда», то лагерные стихи, ещё чудом — не остальное некоторое. *И ничего этого по небрежности не вкладывал обратно!* После меня потом это всё найдя, он спокойно, мне даже не сообщив, отправил на лето своему молодому другу Зильбербергу.

И вот теперь на квартиру Теуша — нашёл я надёжней новомирского сейфа! — я припёр чемодан с четырьмя экземплярами «Круга». (Когда тащил его, как будто удушенным, загнанным ощущал себя на московских улицах: оттого, наверное, что в спину мне упирались проектора совиных глаз.)

Да смех один, насколько был потерян мой рассудок: я по-мужски решил уходить в глубину и по-ребячьи поверил вздорным завлечениям Ю. Карякина, что его оч-чень либеральный шеф Румянцев, теперь редактор «Правды», собирается напечатать одну-две безопасных главы из «Круга». И оставив у Теуша три экземпляра, я четвёртый потащил для «Правды». Обезумел.

Вечером 11 сентября — в щель между арестами Синявского и Даниэля — гебисты одновременно пришли и к Теушам (взяли «Круг»), и изо всех друзей их — именно к Зильбербергу, за остатками моего архива.

В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности — я был подстрелен!

Подстрелен.

Подстрелен...

ПОДРАНОК

С тех пор ещё не прошло двух лет, а за 22 года с моего ареста потускнело чувство, — но тяжелей того ареста пережил я это новое крушение. Арест был смягчён тем, что взяли меня с фронта, из боя; что было мне 26 лет; что кроме меня никакие мои сделанные работы при этом не гибли (их не было просто); что затевалось со мной что-то интересное, даже увлекательное; и совсем уже смутным (но прозорливым) предчувствием — что именно через этот арест я сумею как-то повлиять на судьбу моей страны.

А провал мой в сентябре 1965 был самой большой бедой за 47 лет моей жизни. Я несколько месяцев ощущал его как настоящую физическую незаживающую рану — копьём в грудь, и даже напрокол, и

наконечник застрял, не вытащить. И малейшее моё шевеление (вспоминанье той или другой строчки отобранного архива) отдавалось колющей болью.

Главный удар был в том, что прошёл я полную лагерную школу — и вот оказался глуп и незащищён. Что 18 лет я плёл свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным — но не провалился ни разу, не ошибся ни разу; столько было положено усилий для предохранения, столько жертв для самого писания; замысел казался грандиозным, ещё через десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем своим написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было бы сгореть и самому; — но вот один скользок ногой, одна оплошность, — и весь замысел, вся работа жизни потерпела крушение. И не только работа моей жизни, но заветы миллионов погибших, тех, кто не дошептал, не дохрипел своего на полу лагерного барака, — тех заветы я не выполнил, предал, оказался не достоин. Мне дано было выползти почти единственному, на меня так надеялись черепа погребённых в лагерных братских могильниках, — а я рухнул, а я не донёс их надежды.

Всё время сжатое средостение. Близ солнечного сплетения тошнотно разбирает, и определить нельзя, что это: болезнь души или предчувствие нового горя. Нестерпимое внутреннее жжение. Палит — и нечем помочь. Долгая сухость горла. Напряжение, которое невозможно ослабить. Ищешь спасенья во сне (как когда-то в тюрьме): спал бы, спал бы и не вставал! Видеть выключенные беззаботные сны! — но через несколько часов отпадают защитные преграды души, и палящее сверло вывинчивает тебя к яви. Каждый день изыскивать в себе волю к прямохождению, к занятиям, к работе, делая вид, что это нужно и что это можно для души, а на самом деле каждые пять минут мысль отвлекается: за чем? теперь — зачем?.. Вся жизнь, которую ведёшь, — как будто играешь роль: ведь знаешь, что на самом деле всё лопнуло. Впечатление остановившихся мировых часов. Мысли о самоубийстве — первый раз в жизни и, надеюсь, последний. (Одно укрепляло: что плёнка-то моя — уже была на Западе! Вся прежняя часть работы не пропадала!)

В таком состоянии — правда с перерывами к движению и просветлению, я прожил три месяца. Импульсивно я производил защитные действия — самые неотложные, самые ясные (иногда, впрочем, тоже ошибочные), но я не мог верно сообразить своего общего положения и верно избирать поступки. Я реально ожидал ареста, почти каждую ночь. Правда, для ареста я осваивал себе новую твёрдую линию: я откажусь от каких-либо показаний; я объявлю их недостойными вести следствие и суд над русской литературой; я потребую лист «для собственноручных показаний» (по УПК я имею на это право, теперь я знаю) и напишу: «Сознавая свою ответственность перед предшественниками моими в великой русской литературе, я не могу признать и принять жандармского надзора за ней. Я не буду отвечать ни на какие вопросы следствия или суда. Это моё первое и последнее заявление». (Никуда не денутся, подошьют в дело! — так у них полагается.) Таким образом, хоть к смерти, хоть к бесконечному заключению я был готов. Но в обоих случаях это был обрыв моей работы. Да он уже произошёл, обрыв: провал застиг меня в разгаре работы над «Архипелагом». И бесценные заготовки и часть уже написанной первой редакции были в единственном экземпляре и были атомно-опасны. С помощью верных друзей с большими предосторожностями от слезки всё это пришлось забросить в дальнее Укрывище, и когда теперь вернуться к этой книге — неведомо было.

Работа всё равно остановилась — ещё и прежде ареста.

Известие о беде настигло меня в два приёма. не сразу. Сперва приехала Вероника Туркина и рассказала только о захвате романа —

но и это ужалило меня до стона: что я наделал! не послушал Твардовского, взял роман — и сам его погубил. Тут же сообщила она об аресте Синявского. Мой ли роман давал меньше поводов? Может быть, за два дня потому я и не взял только, что они ещё не нашли меня в моём Рождестве? А что было на рязанской квартире — я не знал, жизнь разбросалась. Может быть, туда уже *приходили*?

Было к вечеру. И поспешно побросав в автомобиль какие-то вещи с собой и что было из рукописей (без нас, через час, могут приехать и обыскивать), мы поехали подмосковными дорогами, минуя Москву, на дачу к Твардовскому: успеть сообщить ему, пока я не схвачен.

Сейчас даже не понимаю, почему открытие «Круга»-87 показалось мне тогда катастрофой: ещё главной катастрофы я не знал, а падение романа на Лубянку просто было «судьбою книги» согласно латинской поговорке — началом её особого литературного движения. (Думаю, они приходили не за романом, это был для них дополнительный подарок, и кому-нибудь орден за него дали, и ликовали в инстанциях. И только годы покажут, не на свою ли голову они ликовали. Ещё не тронутый к движению, как ледник в горах, роман им был, пожалуй, побезопаснее...)

Беда к беде, не хватило бензина на последний километр, и по писательскому посёлку Пахры я пошёл с пустой канистрой. Твардовский был дома и вёл разговор с мастерами, укреплявшими забор его новой дачи и переносившими ворота. Мастера требовали хорошего задатка. В этот разговор вошёл я и, отманив А.Т. в сторону, сказал тихо:

— Худые вести. Роман забрали.

Он так и осунулся:

— *Оттуда?*

Надо было ещё кончить с мастерами, и к Тендрякову идти за бензином, и мне доехать, — за это время А.Т. успел привыкнуть к новой мысли.

В тот вечер он прекрасно себя держал, намного лучше меня. Неделю назад в этих же комнатах он по случаю гораздо более мелкому так досадовал, волновался, упрекал, — а сейчас напротив, нисколько не упрекал, хотя прав оказался. Сегодня он держался мужественно, обдумчиво, даже не спешил спрашивать, где и как это произошло, и обсуждать не спешил. В мрачновато-зámковой своей даче он поджёг хворост в парадном камине, и сидели мы так.

Его первый порыв был — что он завтра же сам обжалует Дёмичеву. Через час и подумавши — что лучше это сделаю я.

Я тут же стал писать черновик письма — и первой легчайшей трещинкой наметилось то, что потом должно было зазять: А.Т. настаивал на самых мягких и даже просительных выражениях. Особенно он не допускал, чтобы я написал «незаконное изъятие». А.Т. настаивал непременно это слово убрать, ибо их действия не могут быть «незаконными». Я вяло сопротивлялся. (На следующий день в Москве он ещё по телефону отдельно проверял — заменил ли я слово. К позору своему я уступил, переправил холуйским словом «незаслуженное». В затемнённый ум не входило более подходящее с теми же начальными буквами, чтоб исправлять меньше.)

После бессонной палящей ночи мы с женой рано поехали в Москву. Там через несколько часов я узнал от Теушей о горшей беде: что в тот же вечер 11 сентября были взяты и «Пир победителей», и «Республика труда», и лагерные стихи! — как это могло получиться? ведь я это всё забрал у Теушей! — я ещё понять не мог. Вот она была беда, а до сих пор — предбежки! Ломились и рухались мосты под ногами, бесславно и преждевременно.

(Вот такие повороты я и имею в виду, горько подзаглавив эту книгу «*очерки литературной жизни*»...)

Но заявление Дёмичеву я написал так, будто знаю об одном романе. Пересек солнечный, многолюдный и совсем нереальный московский день; опять через пронзительный контроль вошёл в лощёное здание ЦК, где так недавно и так удачно был на приёме; прошёл по безлюдным, широким, как комнаты обставленным коридорам, где на дверях не выставлено должностей, а лишь фамилии — неприметные, неизвестные, стёртые; и отдал заявление уже мне знакомому любезному секретарю.

Оттуда заехал в «Новый мир»: А.Т. беспокоился насчёт «незаконных действий», хотел удостовериться изустно, что я убрал. И ещё очень важное он требовал: чтобы я никому не говорил, что отобран у меня роман! — иначе *нежелательная огласка* сильно затруднит положение.

Трещинка расширялась. Чьё положение?.. верхов или моё? Нежелательная?.. Да огласка — одно моё спасение! Я буду рассказывать каждому встречному! Я буду ловить и искать — кому рассказать бы ещё, кто раззвонит пошире!.. (Взятие «Крута» вместе с крамольным «Пиром» оказалось не отяжелением, а облегчением: я смел громче говорить об изъятии.)

Но если сейчас открыть это Твардовскому — у него разорвётся сердце! Такая невысказанная дерзость как смеет закрасться в голову автора, открытого партийным «Новым миром»?!. А что тогда будет с «Новым миром»?.. Нет, не готов А.Т. услышать этот ужас полностью. Подготовить его частично.

— Оказывается, не один роман взяли. Ещё — старую редакцию «Оленя и шалашовки» и лагерные стихи.

Гуще омрачился А.Т.:

— И стихи — не про папу и маму?..

Он окис. Но рад был, что один из перепечатков романа — уцелел, и даже в сейфе «Правды»!

Однако всё пришло в движение в этих днях, снят был из «Правды» Румянцев, и мой доброжелатель Карякин должен был в суете утаскивать роман и из «Правды».

Это было уже 20 сентября. За истекшую неделю после ареста Синявского и Даниэля встревоженная, как говорится, «вся Москва» перепрыгивала куда-то *самизгат* и преступные эмигрантские книги, носила их пачками из дома в дом, надеясь, что так будет лучше.

Два-три обыска — и сколько переполюха, раскаяния, даже отступничества! Так оказалась хлипкая и зыбкая наша свобода разговоров, и рукописей, дарованная нам и проистекшая при Хрущёве.

Попросил я Карякина, чтобы вёз он роман из «Правды» прямо в «Новый мир». Преувеличивая досмотр и когти ЧКГБ, не были мы уверены, что доведёт. Но довёз благополучно, я положил его на диванчик в кабинете А.Т. и ждал Самого. Я не сомневался, что при виде спасённого экземпляра сердце А. Т. дрогнет и он с радостью тотчас же вернёт роман в сейф. Я ясно представлял эту его радость! Пришёл А.Т., начался разговор — знакомая же толстая папка косовато лежала на диванчике. А.Т. углядел, подошёл и, не касаясь руками, спросил с насторожей: «Это — что?»

Я сказал. И — не узнал его, насуспенного и сразу от меня отединённого:

— А зачем вы принесли его сюда? Теперь-то, после изъятия — (вот оно, законное изъятие!) — мы не можем принять его в редакцию. Теперь — за нашей спиной не прячьтесь.

Он меня как ударил!.. Не потому, что я за этот экземпляр испугался, у меня были ещё (и на Западе один), но ведь он-то думал, что это — из двух самых последних! (А.Т. любил, когда его журнал сравнивали с «Современником»). Конечно, времена не те, но если бы Пушкину принесли на спасенье роман, за которым охотится Третье от-

деление, — неужели бы он не ухватился за папку, неужели отстранился бы?)

Более того — А.Т. отказался напечатать в «Новом мире» моё письмо с опровержением клеветы о моей биографии («служил у немцев», «полицай» и «гестаповец» уже несли агитаторы комсомола и партии по всей стране). Две недели назад А.Т. сам посоветовал мне писать такое письмо (с загадочным «мне порекомендовали...»). Но вот беда: я послал в «Правду» первый экземпляр своего письма, рассчитывая на лопнувшего теперь Румянцева, а Твардовскому достался второй. И слышу:

— Я не привык действовать по письмам, которые присылаются мне вторым экземпляром.

Так изменились поэты...

— И как же опровергать, пока арестован роман?.. Будут говорить: значит, что-то есть!..

Это прозвучало уверенно-номенклатурно. Логика! — если в 1965 арестован роман — как можно утверждать, что автор не был полицаем в 1943? (Да не это, конечно! А — силы он не имел печатать моё опровержение, и надо было самому себе благовидно объяснить отказ: как будто по убеждению.)

Я сидел потерянный, вяло отвечал, а Твардовский долго и нудно меня упрекал:

1) как я мог, не посоветовавшись с ним (!), послать за эти дни ещё три жалобы ещё трём секретарям ЦК — ведь я этим оскорбил Петра Нильча Дёмичева и теперь ослаблю желание Петра Нильча помочь мне.

Он так пояснил: «Если просят квартиру у одного меня — я помогаю посильно, а если пишут: «Федину, Твардовскому», я думаю — ну, пусть Федин и помогает».

И он видел здесь сходство? Как будто размеры события позволяли размышлять о каком-то «оскорблении», о каких-то личных чувствах секретарей ЦК. Да будь Дёмичев мне отцом родным — и то б он ничего не сдвинул. Столкнулись государство — и литература, а Твардовский видел тут какую-то личную просьбу... Я потому поспешил послать ещё три письма (Брежневу, Суслову и Андропову*), что боялся: Дёмичев — тёмен, он, может быть, шелепинец, он прикроет моё письмо и скажет — я не жаловался, значит — чувствую себя виноватым.

Уж А. Т. прощал моей человеческой слабости произошедшую всё-таки огласку, что я не удержался, кому-то сказал об аресте романа. (Не удержался!.. — я специально пошёл в консерваторию на концерт Шостаковича и там рассказывал о своей беде.) Но:

2) если б я с ним посоветовался, кому ещё послать жалобу, он, А.Т., порекомендовал бы мне обратиться прямо и непосредственно к Семичастному (министру ГБ). Зачем же его обходить?

Я отдёргнулся даже: вот это — никогда! Обратиться к Семичастному — значит признать суверенность госбезопасности над литературой!

И снова, снова и снова не мог Твардовский понять:

3) как я мог в своё время отдать пьесу в «Современник» вопреки его совету?..

Как важно было ему именно сейчас рассчитаться с этими «гангстерами сцены»! Как важно было упрекнуть меня именно в мой смутный час! И ещё:

4) как мог я положить хранить святого «Ивана Денисовича» рядом с ожесточёнными лагерными пьесами? (Ведь тем самым я бросал тень не только на «святого Ивана Денисовича», но и на «Новый мир»!) И ещё:

* Вот уж не предполагал, что он станет дальше шефом КГБ!..

5) почему я не получал московской квартиры в своё время, «когда мог получить особняк»? И:

6) как мог я разрешить «Семье и школе» печатать мои «Крохотки»? И, наконец, чрезвычайно важно, очень ново (угрюмо, без улыбки и в совершенной трезвости):

7) зачем я стал носить бороду? Не для того ли, чтобы сбрызнуть при случае и перейти границу? (Не упустил передать мне и чьего-то высшего подозрения: зачем это я добивался переехать в «атомный центр» Обнинск?..)

Повторительность и мелочность этих упреков была даже не мужской.

Я не отбивался. Я не рассчитал каната, сорвался и достоин был своего жалкого положения.

И только то дружеское движение было у А.Т. за весь этот час, что он предложил мне денег. Я не взял,— не от безденежья я погибал...

Взял я под мышку свой отвергнутый беспризорный роман и спустился к новомирскому курьеру-стукачу осургучить папку (тоже рабский расчёт: когда придёт ГБ— пусть видят, что читать не давал). Впрочем, сутки ещё — и я догадался отдать его в официальный литературный архив — ЦГАЛИ.

Минувшую неделю,— горе горюй, а руками воюй,— я занят был спасением главных рукописей и всего непопавшего, затем — предупреждением людей, чтобы перестали мне письма писать. Когда эти тяготы опали, самое близкое и несомненное было сделано,— меня охватило то палящее и распирающее горе, с которого я начал эту главу. Я не знал, не понимал, как мне жить и что делать, и с большим трудом сосредотачивался поработать в день часа два-три.

В эту пору К. И. Чуковский предложил мне (бесстрашие для того было нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить боялся: оттуда легко было пресечь мой выезд, там можно было взять меня совсем беззвучно и даже безответственно: всегда можно свалить на произвол, на «ошибку» местных гебистов. На переделкинской даче Чуковского такая «ошибка исполнителей» была невозможна. Я гулял под тёмными сводами хвойных на участке К. И.— многими часами, с безнадежным сердцем, и бесплодно пытался осмыслить своё положение, а ещё главней — обнаружить высший смысл обвалившейся на меня беды.

Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед,— я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал их обратно их истинному и далеко рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего — и я только немел от удивления. Многие в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая верного пути,— и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надёжно, что только и оставалось задачи: правильной и быстрой понять каждое крупное событие моей жизни.

(Вяч. Всев. Иванов пришёл к этому же самому выводу, хотя жизненный материал у него был совсем другой. Он формулирует так: «Есть мистический смысл во многих жизнях, но не всеми верно понимается. Он даётся нам чаще в зашифрованном виде, а мы, не расшифровав, отчаиваемся, как бессмысленна наша жизнь. Успех великих жизней часто в том, что человек расшифровал спущенный ему шифр, понял и научился правильно идти».)

А с провалом моим — я не понимал! Кипел, бунтовал и не понимал: за чем должна была рухнуть работа? — не моя же собствен-

ная, но — почти единственная, уцелевшая в память правды? за чем должно быть нужно, чтобы потомки узнали меньше правды, почти никакую (ибо каждому после меня ещё тяжелее будет раскапывать, чем мне; а те, кто жили раньше — не сохранились, не сохранили или писали совсем не о том, чего будет жаждать Россия уже невдолге)? Давно оправдался и мой арест, и моя смертельная болезнь и многие личные события, — но вот этого провала я не мог уразуметь! Этот провал снимал начисто в е с ь прежний смысл.

(МалOVERУ, мне так казалось! И всего лишь через две осени, миновавшей зимоу, мне кажется — я всё уже понял. Потому и сел за эти записки.)

Две — но не малых — политических радости посетили меня в конце сентября в моё гощение у Чуковского; они шли почти в одних и тех же днях, связанные единими звёздами. Одна была — поражение индонезийского коммунистического переворота, вторая — поражение шелепинской затеи. Позорился тот Китай, которому Шелепин звал поклониться, и сам Железный Шурик, начавший аппаратное наступление с августа, не сумел свергнуть никого из преемников Хрущёва. Были за полгода назначены на XXIII съезд докладчики — но не Шелепин.

Власть Шелепина означала бы немедленный мой конец. Теперь мне обещали полгода отсрочки. Конечно, в том ещё не было никакой верной защиты, лишь надежда, и та в плене. Защитой верной казалось бы мне, если бы западное радио сообщило об аресте моего романа. Это не был, конечно, арест живых людей, как Синявского и Даниэля, но всё-таки, медведь тебя раздери, если арестовывают у русского писателя его десятилетнюю работу, то ревнители греческой демократии и Северного Вьетнама могли бы уделить этому событию хоть строчечку? Или уж вовсе им безразлично? Или не знают?

Продлили мне время, — но что было правильно мне теперь делать? Я не мог уразуметь. Я ложно решил: вот теперь-то напечататься! Хоть что-нибудь.

И отослал в «Новый мир» пьесу «Свеча на ветру», до сих пор им не известную. Когда все прочли, пошёл в редакцию.

За месяц, что мы не виделись, Твардовский ещё больше померк, был утеснён, чувствовал себя обложенным, беспомощным, даже разрушенным: всё оттого, что с ним плохо поговорили *наверху*. (Ему Дёмичев сурово выговаривал, что не оказался он в нужную минуту на ногах; надо было ехать в Рим выбираться вице-президентом Европейской Ассоциации Писателей, не хотели там ни Суркова, ни Сиимонова.)

Всё же о моём романе два раза спрашивал А. Т. у Дёмичева, хоть и по телефону. Учтывая, как ему это было мучительно, следует его усилие высоко оценить. Первый раз Дёмичев ответил: «да, я распорядился, чтобы вернули». (Соврал, конечно.) Второй раз: «да, я велел *разобраться*».

Твардовский плохо понимал, что делать, и я — не намного лучше. И я согласился на вздор — просить приёма у Дёмичева.

Отзыв А. Т. о пьесе не порадовал меня. Я знал, что она вяла и многоречива, он же нашёл её «очень сценичной» (бедный А. Т., его номенклатурное положение не позволяло ему ходить в московские театры, следить за современной сценой). Так почему бы не напечатать? А вот:

— Вы замаскировали под неизвестно какую страну, но это — о нас, слишком ясно, вывод из пьесы недвусмысленный.

Я, совершенно искренне: — Я писал это о пороках всего современного человечества, особенно — сытого. Вы допускаете, что могут быть *общие* современные пороки?

Он: — Нет, не могу принять такой точки зрения, без разграничения на капитализм и социализм. И не могу разделить ваших

взглядов на жизнь и смерть. Сказать вам, что бы я сделал, если бы всё зависело целиком от меня? Я бы написал теперь не предисловие, а послесловие — (не улавливаю, в чём тут принижение), — что мы не можем скрывать от читателя произведения авторов — (хо-го! за пятьдесят-то лет!..), — но мы не разделяем высказанных взглядов и должны возразить.

Я: — Это было бы чудесно! Мне большего и не надо.

Он: — Но это зависит не от меня.

Я: — Слушайте, А. Т., а если б это написал западный автор — ведь у нас бы схватились, поставили сразу: вот мол как бичует буржуазную действительность.

Он: — Да, если б это написал какой-нибудь Артур Миллер.. Но и то б у него отрицательный персонаж высказывался антикоммунистически.

Да в одной ли пьесе тут было! Ухудшенно и настороженно относился А. Т. ко мне самому: не оказался я тем незамутнённым кристаллом, который он чаял представить Старой Площади и всему прогрессивному человечеству.

Но терять мне было нечего, и я протянул ему «Правую кисть», на что не решался раньше.

Он принял её радостными, почти трясущимися руками. Испытанный жанр, моя проза, — а вдруг *проходимая*?

На другой день по телефону:

— Описательная часть очень хороша, но вообще — это страшнее всего, что вы написали. — И добавил: — Я ведь вам не давал обязательств...

О, конечно нет! Конечно, журнал не давал обязательств! Только давал обязательства я: таскать свои вещи сюда и сюда. Но сколько ещё отказов я должен встретить — и продолжать считать себя новмирцем?..

Очень утешало меня в эти месяцы ежедневное чтение русских пословиц, как молитвенника. Сперва:

— Печаль не уморит, а с ног собьёт.

— Этой беды не заспишь.

— Судьба придёт — по рукам свяжет.

— Пора — что гора: скатишься, так оглянешься.

(Это — об ошибках моих, когда я был взнесен — и зевал, смиренничал, терял возможности...) Потом:

— От беды не в петлю головой.

— Мы с печалью, а Бог с милостью.

— Всё минется, одна правда останется!

Последняя утешала особенно, только неясно было: а как же мне этой правде помочь? Ведь

— Кручиной моря не переедешь.

И такая с прямым намёком:

— Один со страху помер, а другой ожил.

И ещё загадочная:

— Пришла беда — не брезгуй и ею.

Получалось, что надо мне «от страху ожить». Получалось, что беду свою надо использовать на благо. И даже, может быть, на торжество? Но — как? Но — как? Шифр неба оставался неразгадан.

20 октября в ЦДЛ чествовали С. С. Смирнова (50 лет), и Копелевы уговорили меня появиться там, в первый раз за три года, что я был членом Союза, — вот мол я жив-здоров и улыбаюсь. И вообще первый раз я сидел на юбилее и слушал, как тут друг друга хвалят. О том, что Смирнов председательствовал на исключении Пастернака, — я не знал, я бы не пошёл. С Брестской крепостью он как будто потрудился во благо. Только я прикидывал: а как бы он эту работу сделал, если б нельзя было ему пойти на развалины крепо-

сти, нельзя было бы подойти к микрофону всесоюзного радио, ни — газетной, журнальной строчки единой написать, ни разу выступить публично, ни даже — в письмах об этом писать открыто, а когда встречал бы бывшего брестовца — то чтоб разговаривать им только тайно, от подслушивателей подальше и от слежки укрывшись; и за материалами ездить без командировок; и собранные материалы и саму рукопись — дома не держать; — вот тогда бы как? написал бы он о Брестской крепости, и сколь полно?.. Это — непридуман- ные были условия. Именно в таких условиях я и собрал 227 показаний по «Архипелагу ГУЛагу»*.

После торжества прошёл в вестибюле ЦДЛ слушок, что я — тут. И с десятков московских писателей и потом сотрудники ЦДЛ подхо- дили ко мне знакомиться — так, как если б я был не угрожаемый автор арестованного романа, а обласканный и всесильный лауреат. И кругом — перешёптывания, сторонние взгляды. Что это было? — обычное тяготение к славе, хоть и опальной? Или — уже ободряю- щий знак времени? Или просто — неосведомленны о моём крахе?

Был на юбилее и Твардовский. Щурясь от всплешек фотомолний, он рано скрылся из нелюбимого президиума за сцену, может быть и в ресторан, в выходном же вестибюле опять выплыл. В нём взы- грала ревность, что не он привёл меня первый раз в ЦДЛ (и вообще я с ним об этом приходе не посоветовался!), он тотчас утащил меня в сторону и от моих друзей и от этих представлений, тут подтяну- лись его оруженосцы Деметьев и Кондратович. Куда делась поза- вчерашняя кислотность А. Т.! — он высказал: «А ведь борода переста- ёт быть хемингуэвской, уже тянет на Добролюбова!» Те двое, ко- нечно, с готовностью подтвердили. За два дня изменилась им и бо- рода! А вот почему: обещан был мне на завтра приём у Дёмичева.

— Победа! Победа! — ликовал освежённый Твардовский. Уже ощущал он это благоуханное миро, которое вот-вот истечёт с верха сперва на меня, — но значит и на него, но значит и на журнал. — Что б там ни было сказано, вернут — не вернут, но раз *принимает* — уже победа! Звоните мне завтра обязательно, я буду весь день у теле- фона.

Бедный А. Т.! — он ничуть от меня не отшатнулся, он душевно продолжал быть за меня, — только и я же должен был опомниться, не дерзить Руководству, но вернуть нам милость.

Однако на другой день, в огорчение Твардовскому, отказано мне было в приёме у Дёмичева. То есть не отказано напрямую, принял меня «помощник» Дёмичева, точнее, референт по вопросам культуры И. Т. Фролов, но это не могло считаться «приёмом». Референт был 36-ти лет. Ещё не оступелое лицо, и в меру умён, и очень умело и старательно вёл среднюю линию между своим нутряным, конечно, демократизмом да ещё крайней предупредительностью к уважаемо- му писателю, — и постоянным почтительным сознанием своей при- ближенности к высокому политику.

Только и мог я повторить референту содержание моего нового письма Дёмичеву, где я упоминал уже и об отнятом архиве, но пи- сал, что и многие партийные руководители так же не захотели бы сейчас повторить иных своих высказываний прежде XX съезда и от- вечать за них. Уже крайняя наглость! А ещё наглое было в письме то, что именно теперь, когда мне уготовлялась жилплощадь на Боль-

* Кстати, так в этот вечер сложилось, что главным «юбиларом» оказался почему- то маршал Жуко», сидевший гостем в президиуме. При всяком упоминании его имени, а это было раз пять шесть, в зале вспыхивали искренние аплодисменты. Московские писатели демонстративно приветствовали опального маршала! Струйка общественной атмосферы... Но к добру ли она льётся? Несостоявшийся наш де Голль сидел в гражданском чёрном костюме и мило улыбался. Мило-мило, а холоп, как все маршалы и все генералы. До чего же пала наша национальность: даже в военачальниках — ни единой личности.

шой Лубянке, я заявлял, что в Рязани у меня слишком дурны квартирные условия и я прошу квартиру... в Москве!

За неимением дел мы с референтом говорили на общелитературные темы. Вот что сказал он: что очень сера вся современная советская литература (их детище! их цензуры! — но он объяснял это временным выбеднением народа на таланты. «Я оптимистичнее вас смотрю! — упрекнул я. — Таланты есть, да только вы их сдерживаете».); что поэтому абсолютно нечем уравновесить меня, увы, даже Шолоховым, моё произведение обязательно прочтут, а «уравновеса» не прочтут, — и вот только почему нельзя меня печатать с моими трагическими темами; и ещё так, очень интересно: он видит проявление эгоизма перестрадавших заключённых в том, что мы хотим навязать молодёжи наши переживания по поводу минувшего времени.

Это прямо изумило меня, мораль Большого Хью из уайльдвудской сказки! — эти несколько жемчужных мыслей об эгоизме тех, кто хочет говорить правду! Значит, в руководящих кругах это отстоялось, отлилось, за чистозвонную монету ходит! Им приятно и важно знать, что добры именно они, стараясь воспитать молодёжь во лжи, забвении и спорте.

Прошло десять дней от подачи письма — и отвечено было через рязанский обком, что моя «жалоба передана в Генеральную Прокуратуру Союза ССР».

Вот это вышел поворотик! В генеральную прокуратуру поступила от ничтожного бывшего (видимо, недосидевшего) зэ-ка Солженицына жалоба — на аппарат всеильной Госбезопасности! Для правового государства — порядок единственно правильный: кто ж, как не прокуратура, может защитить гражданина от несправедливых действий полиции? Но у нас это носило совсем иной оттенок: это значило, что ЦК отказался принять политическое решение — во всяком случае, в мою пользу. И только один ход дела мог быть теперь в прокуратуре: обернуть мою жалобу против меня. Я представлял, как они робко звонят в ГБ, те отвечают: да вы приезжайте почитайте! Едет тройка прокуроров (из них — два матёрых сталиниста, а один затёрханный) — и волосы их дыбятся: да ведь в хорошее сталинское время за такую мерзость — только расстрел! а этот наглец ещё смеет жаловаться?.. Но с другой стороны, если бы ЦК хотело меня посадить, то не было надобности загружать этой работой прокуратуру: достаточно было дать разрешение Семичастному. Однако ЦК ушёл от решения. Что ж остаётся генеральной прокуратуре? Тоже уйти. (Так и было. Через год я узнал, что положен был мой роман в сейф генерального прокурора Руденко, и даже жаждущим начальникам от делов не дали почитать.) Страшнозвато звучало: «ваше дело передано в генеральную прокуратуру», но прогноз уже тогда у меня запрашивался ободряющий.

Кончался второй месяц со времени ареста романа и архива — а меня не брали вослед. Не только полный, но избыточный набор у них был для моего уголовного обвинения, десятикратно больший, чем против Синявского и Даниэля, — а всё-таки меня не брали? (Всё же неловко было им арестовывать меня на третьем году после того, как трубно прославили?)

Отвага — половина спасения! — напёптывала мне книжечка словиц. Все обстоятельства говорили, что я должен быть смел и даже дерзок! Но — в чём? Но — как? Бедой не брезговать, беду использовать, — но как?

Эх, если б я это понял в ту же осень! Всё становится просто, когда понято и сделано. А тогда я никак не мог сообразить.

Да если б на Западе хоть расшумели б о моём романе, если б арест его стал всемирно-известен — я, пожалуй, мог бы и не беспокоиться, я как у Христа за пазухой мог бы продолжать свою работу.

Но они молчали! Антифашисты и экзистенциалисты, пацифисты и страдатели Африки — о гибели нашей культуры, о нашем геноциде они молчали, потому что на наш левофланговый нос они и равнялись, в том только и была их сила и успех. И потому что в конце концов наше уничтожение — наше внутреннее русское дело. За чужой щекою зуб не болит. Кончали следствие Синявский и Даниэль, мой архив и сердце моё терзали чекистские когти, — и именно в эту осень сунули нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова.

Надежды на Запад — не было, как впрочем и не должно быть у нас никогда. Если и станем свободными — то только сами. Если будет у человечества урок XX века, то дадим его Западу мы, а не Запад нам: от слишком гладенького благополучия ослабились у них воля и разум.

Полугодом спустя тот человек, который выхлопотал эту премию Шолохову и не мог оскорбить русскую литературу больней, — Жан Поль Сартр, был в Москве и через свою переводчицу выразил желание увидиться со мной. С переводчицей мы встретились на площади Маяковского, а «Сартры ждали ужинать» в гостинице «Пекин». На первый взгляд мне было очень выгодно с ним увидиться: вот «властитель дум» Франции и Европы, независимый писатель с мировым именем, ничто не мешает нам через десять минут сидеть уже за столиком, и я пожалуюсь на всё, что делается со мной, и этот трубадур гуманности поднимет всю Европу?

Но — если б то был не Сартр. Сартру я нужен был немножко из любопытства, немножко — для права рассказать потом о встрече со мной, быть может — осудить, я же не найду, где потом оправдаться. Я сказал переводчице: «Какая может быть встреча писателей, если у одного из собеседников заткнут рот и связаны руки сзади?» — «Вам неинтересна эта встреча?» — «Она горька, невыносима. У меня только уши торчат над водой. Пусть он прежде поможет, чтобы нас печатали».

Я привёл ей пример искривлённого мальчика из «Ракового корпуса». Вот такой односторонне-изогнутой представляется русская литература, если смотреть из Европы. Неразвитые возможности нашей великой литературы остаются там начисто неизвестными.

Прочёл ли Сартр в моём отказе встретиться — глубину того, как мы его не приемлем?

Всё-таки начал я действовать. Как теперь вижу — неправильно. Действовать несообразно своему общему стилю и своему вкусу. Я спешил как-нибудь заявить о себе — и для этого придрался к путаной статье академика Виноградова в «Литературной газете». У меня, правда, давно собирался материал о языке художественной литературы, но тут я скомкал его, дал поспешно, поверхностно, неубедительно, да ещё в резкой дискуссионной форме, да ещё в виде газетной статьи, от которых так зарекался. (Да ещё утая главную мысль: что более всех испортили русский язык социалисты в своих неряшливых брошюрах и особенно — Ленин.) Всего-то и вышло из этой статьи, что я крикнул госбезопасности: «Вот — живу и печатаюсь, и вас не боюсь!»

Редактор «Литгазеты», оборотливый и чутконосый Чаковский, побежал «советоваться» с Дёмичевым: может ли имя моё появиться в печати? Дёмичев, видно, сразу разрешил.

И был прав.

А я — совсем не прав, я запутался. Лишний раз я показал, что, предоставленные себе, мы этой шаровой коробкой, какая вертится у нас на шее, скорей всего избираем неправильный путь.

Потому что в тех же днях (9 ноября) благословенная умная газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» напечатала: что был у меня обыск и забрали мои произведения. Это и было то, чего я жаждал минувших два месяца! Теперь это могло распространиться, подтвердиться. Но тут подошла на Запад «Литгазета», и я ничтожной статейкой своей как бы всё опроверг, крикнул: «Вот — живу и печатаюсь, и ничего мне!», только не госбезопасности крикнул, а газете «Нойе Цюрхер Цайтунг», подвёл её точных информаторов.

Однако эти несколько строк, что она обо мне напечатала, очень меня ободрили и укрепили. Свою ошибку я понял не сразу. Тогда я считал, что и статья в «Литгазете» тоже меня укрепила.

Ко мне вернулось рабочее равновесие, и мне удалось кончить несколько рассказов, начатых ранее: «Как жаль», «Захара-калиту» и ещё один. И решил я: сцепить их со своей опасной «Правой кистью» и так сплоткой в четыре рассказа двинуть кому-нибудь. Кому-нибудь, но не «Новому миру». Ведь Твардовский успел уже отвергнуть дюжину моих вещей — больше, чем напечатал. Ведь Твардовский только что испугался «Правой кисти», — настолько испугался, что даже членам редакции не показал. (И об этом сказал мне как о своей заслуге — что бережёт меня, моё имя «доброе»... Такое ли лежало уже на Лубянке! Неосознанно или осознанно, он берёт — себя, свою репутацию: что не ошибся он, кого открыл.)

Л. Копелев пошутил тогда, что я совершил «переход Хаджи-Мурата», с четырьмя этими рассказами пройдя несколько редакций враждебного «Новому миру» журнального лагеря. И действительно, с точки зрения «Нового мира», особенно с личной точки зрения Твардовского, я совершил тогда кровную измену. (Впрочем, по обычной своей плохой информации о неофициальных событиях, А. Т. так и не довелось узнать весь объём этой измены: что «Правую кисть», схороненную им даже от верных помощников, я беспечно раздавал врагам и не мешал секретаршам и курьерам копировать.)

Я же не видел и не вижу здесь никакой измены по той причине, что отчаянное противоборство «Нового мира» «Октябрю» и всему «консервативному крылу» представляется мне лишь силами общего поверхностного натяжения, создающими как бы общую прочную плёнку, сквозь которую не могут выпрыгнуть глубинные бойкие молекулы. Тот главный редактор, который не печатает пьесу лишь потому, что в ней не проведено различие между капитализмом и социализмом; чурается и брезгует стихотворениями в прозе за то одно, что первый их напечатал эмигрантский журнал; для кого вообще русского литературного зарубежья не существует или мало чем оно отличается от мусорной свалки, а наш самиздат — от торговли наркотиками; кто напуган рассказом, где автор не избежал дать этическую оценку карателью гражданской войны; — тот главный редактор чем же, кроме добрых намерений, отличается от своих «заклятых врагов» Кочетова, Алексеева и Софронова? Здесь уравнительное действие красных книжечек! А уж члены их редакций, например, огоньковцы Кружков, Иванов, так, право, неотличимы от Кондратовича и Закса, даже в кабинетных суждениях прямее и смелее (не напуганы). Например, о мужичестве, погибшем в коллективизацию, здесь как-то пооткрытее говорили, поестественней чувствовали. Даже М. Алексеев, целиком занятой своею карьерой, сказал мне в ту осень, правда наедине: «Много лет мы всё строили на лжи, пора перестать!»*

Меня остановят, чтобы я не кощунствовал, чтоб и сравнивать дальше не смел. Мне скажут, что «Новый мир» долгие годы был для читающей русской публики окошком к чистому свету. Да, был. Да, окошком. Но окошком кривым, прорубленным в гнилом срубе, и забранным не только цензурной решёткой, но ещё собственным добровольным идеологическим намордником — вроде бутырского армированного мутного стекла... (В исправление сказанного: в разговорах этих «октябристов» я чувствовал не только ненависть к «Новому миру», но и страх перед новомирским критическим отделом, скрытое уважение к нему. Казалось бы — при развёрнутости их бесчисленных печатных полос, при всеобщем круговом восхвалении — что им там критика единственного, вечно опаздывающего, с глуховатым голосом журнала? Ан нет, всё время помнили её, шельмецы, глубоко она им отзывалась. Неотвратимо понимали, что только новомир-

* Конечно, выходя на люди, Алексеев строит только на лжи. Гибель собственных рогатей от голода в коллективизацию он в автобиографическом «Вишнёвом омуте» скрыл как деталь незначительную.

ское тавро припечатается и останется, а их собственные штампы смоем первый дождь. «Н. мир» был единственный в советской литературе судья, чья художественная и нравственная оценка произведения была убедительна и несмываема с автора. Кстати, такую оценку, и с пользой для себя, получил бы в «Н. мире» и Евтушенко, если бы арест Синявского не помешал выходу уже набранной его статьи с разносом самодовольной «Братской ГЭС».)

А я просто хотел вытратить эту неосуществлённую возможность — вдруг она что-нибудь да потянет: пресловутому «консервативному крылу» (а никакого другого «крыла» не было у перешибленной птицы нашей печати) предложить свои рассказы во главе с «Правой кистью» — как они съедят? А что если их литературные разногласия с «Н. миром» столь им досадчивы, что они пренебрегут своей идеологической преданностью и пронесут мои рассказы через родственные им цензурные рога — только чтобы «перехватить» меня к себе? Шанс был очень слаб, но и эту «степень свободы», мне казалось, надо использовать — хотя б для того, чтобы потом себе не пенять. Напечатать же «Правую кисть» не стыдно было хоть и в типографии самого КГБ.

И ещё одну историческую проверку, историческую зарубку я хотел сделать: уже много лет эти деятели бахвалились, что они — русские, выпячивали, что они — русские. И вот я давал им первую в их жизни возможность доказать это. (И в три дня, слабея животом, они доказали, что — коммунисты они, никакие не русские.)

На первых часах «переход Хаджи-Мурата» действительно привёл там переполох. Мне не давали шагу одного сделать пешком — привозили, перевозили и увозили только в автомобилях. В «Огоньке» встречать меня собрался полный состав. Софронов приехал из-за города, радостно напоминал мне, что мы оба — ростовчане, и спешил выгудить из забвения, что когда-то он писал похвальную рецензию на «Ивана Денисовича» (когда все писали их стадом); Стаднюк, держа ещё не чтённые рукописи, возмолился: «Дай Бог, чтоб это нам подошло!»; Алексеев одобрял: «Да, надо вам переезжать в Москву и приобщаться к литературной общечеловечности». Главред «Лит-России» Поздняев тоже разговаривал с пружинной готовностью, тоже напоминал забытый случай, когда он имел честь писать мне письмо, и уже вперёд забежал, как они умеют быстро печатать, как они перевёрстывают номер за два дня до выпуска.

В этом возбуждённом приёме я снова увидел знак времени: ни партийная их преданность, ни чекистская угроза не были уже так абсолютны, как в булгаковские времена, — уже литературное имя становилось самостоятельной силой.

Однако вся их радость была только до первого чтения. В «Лит-России» прочли в два часа, и уже Поздняев звонил:

— Вы понимаете, что за такой короткий срок мы не успели бы посоветоваться. — (Уж и это было важно им доказать — что они не побежали с доносом!) — Будем говорить откровенно: у нас в ушах ещё звучит всё то, что мы слышали на последних партийных собраниях. Наше единое мнение: печатать можно только «Захара-калиту».

И сразу назвал день печатания и даже гонорар — в нём жили сыгинские ухватки, хотя в ушах и звучали партсобрания... Я попросил вернуть все четыре рассказа. Он ещё уговаривал.

«Огоньку» так пекло меня напечатать, что сперва они отвели одну «Правую кисть», остальное брались. Потом позвонили: «Как жаль» тоже нельзя. Тогда и я отказался.

Легче написать новый роман, чем устроить готовый рассказ в печать у издателей, вернувшихся с Идеологического Совещания! Вся затея моя, вся эта суета с рассказами надоела мне в три дня, — и в журнал «Москву» я уже не ходил, не звонил, передал через друзей. А там — молча держали несколько дней, и создавалось у меня том-

ление, что главред Поповкин потащил «Правую кисть» показывать на Лубянку — довесом ко всему отобранному.

2-го декабря я пошёл в «Новый мир» поговорить начистоту — в день, когда не было А. Т., с остальной редакцией, потому что и им уже А. Т. ничего не давал ни читать, ни решать со мною. Дементьеву и Лакшину я объяснил, как Твардовский рядом отказов толкнул меня действовать самостоятельно и даже идти к тем. (Ведь я и статья в «Литгазете» не имел права печатать, *не посоветовавшись!*) И Дементьев, этот постоянный мой враг в «Н. мире», вдруг как будто всё понял и одобрил: и мои самостоятельные шаги, и поход к тем, и что мне даже очень хорошо напечататься не в «Н. мире», а где-нибудь: мол, никакой «групповщины», широкий взгляд.

А вот в чём была пружина, я не сразу вник: «либерал» Дементьев уже понимал больше всех тех «консерваторов» — и Алексеева, и Софронова, и Поздняяева; он понимал, что подкатила пора, когда меня вообще невозможно печатать, ни непроходимого, ни проходимо-го; что уже тяготееет запрет на самом имени, и хорошо бы «Новому миру» от этого груза тоже освободиться. Я дал им «Захара-калиту» (уж если печатать его одного, так в «Новом мире»), а Дементьев и Лакшин дружно ухватились, но странно как-то: чтоб не в «Новом мире» печатать, а где-нибудь в другом месте. Лакшин предложил «Известия», Дементьев замахнулся выше — в «Правде»! В этот поучительный вечер (тем и поучительный, что всё — без Твардовского) этот мой противник проявил редкую обо мне заботливость: долго дозванивался, искал зав. «отделом культуры» «Правды» видного мракобеса Абакина; сладким голосом ё ласкающим оканьем стал ему докладывать, что у Солженицына — светлый патриотический рассказ, и злободневный, и очень подходит к газете, и «мы вам его уступаем». И тут же младшего редактора прозы, уже по окончании рабочего времени, погнал собственными ножками отнести пакет с рассказом в «Правду». (Во всех остальных редакциях даже курьеры ездили на «волгах».)

Качели! Весь следующий день мой рассказ шёл по «Правде», возвышаясь от стола к столу. Я знал, где поставил там антикитайскую мину, и на неё-то больше всего рассчитывал. (Антикитайскую-то мину я рассчитывал, а не заметил, что рассказом своим закладываю куликовского Захара. Говорят, опозоренная такой фигурой, Фурцева распорядилась уволить Смотрителя Поля. Так и всегда: в сумрачной столице идут политические бои, а у дальних мужиков головы летят.) А они, может быть, и не заметили её (или она им нужна не была?), а заметили только слово «монголь». И объяснил мне Абакин по телефону: *сложилось мнение* (а выраженьице-то сложилось!), что печатание «Захара» именно в «Правде» было бы международно истолковано «как изменение нашей политики относительно Азии. А с Монголией у Советского Союза сложились особенные отношения. В журнале, конечно, можно печатать, а у нас — нет».

Вот в это я поверил: что они так думают, что так о в их потолок. А в «Новом мире» все рассмеялись, сказали, что это — ход, отговорка.

В тот день мне впервые показалось, что благодаря своим частым и долгим выходам из строя, А. Т. начинает терять прочность руководства в журнале: журнал не может же замирать и мертветь на две-три недели, как его Главный! За день до того члены редакции выпорили против А. Т. своё мнение о рассказе В. Некрасова (печатать), вчера смело оперировали с моим рассказом, а сегодня даже не дали ему «Захара» читать, потому что экземпляр — один, и что-то надо с ним делать дальше*. Твардовский сидел растерянно и посторонне.

* И Лакшин ещё сумеет подсунуть его «Известиям» и там будет набор, и лишь когда уже там рассыпят — придётся «Н. миру» принять на себя эту публикацию.

Мы поздоровались холодно. Дементьев уже изложил ему мои вчерашние объяснения и мои претензии к «Новому миру» — дико-неожиданные для А. Т., ибо не мыслил он претензий от телёнка к корове. Я не собирался перекоряться с А. Т. при членах редакции, но получилось именно так, и потом их ещё прибавилось на шум. Да и совсем не упрекать Твардовского я хотел (за отклонение стольких уже вещей; за отказ сохранить уцелевший экземпляр романа; за отказ напечатать мою защиту против клеветы), — я только хотел показать, что на каком-то пределе кончаются же мои обязательства. Однако А. Т. уже был напряжён отражать все мои доводы сподряд, он стал тут же запальчиво меня прерывать, я — его, и разговор наш принял характер хаотический и взаимнообидный. Ему была обидна моя неблагодарность, мне — туповатая эта опека, не обоснованная превосходством жизненного взгляда.

Всю осень настрекал он меня упрёками, и сейчас не только не отступился от них, но снова и снова нажигал:

— как я мог, не посоветовавшись с ним, отнести хранить свои вещи к «тому антропософу»;

— как я смел рядом со «святым» Иваном Денисовичем и т. д. (мне всякое упоминание об этом провале 11 сентября, о том, что, где и как я у Теуша держал на свою беду, — был мой нарыв постоянный, горло сжимающий нарыв, — а он вередил наутык);

— и как мог я не послушаться и взять роман из редакции;

— и как мог я *погсунуть* «Крохотки» «Семье и школе»;

— и опять же, крайне важно: как я мог писать жалобы четырёх секретарям ЦК, а не одному Петру Нилычу?? (Раздавался железный скрежет истории, а он всё видел иерархию письменных столов!);

— и опять-таки: зачем бороду отрастил? не для того ли...?

Но в нудном повторном этом ряду звучали и новые упрёки, как стон:

— я вас *открыл!*

— небось, когда роман отняли — ко мне первому приехал! я его успокоил, приютил и согрел! (то есть поздно ночью не выгнал меня на улицу).

И слушала всё это редакция!

И наконец по свежим следам:

— как я мог идти «ручку целовать» Алексееву, которого потрошат в очередном «Новом мире»?

Я мог бы больно ему отвечать. Но при всей обидности разговора я несколько на него не сердился: понимал, что здесь никакая не личная ссора, не личное расхождение, а просто — куц оказался тот общий наш путь, где мы могли идти как литературные союзники, ещё не оцарапавшись и не оттолкнувшись острыми рёбрами идеологий. Расхождение наше было расхождением литературы русской и литературы советской, а вовсе не личное.

И я лишь по делу возражал:

— Когда ж с вами советоваться? — приедешь в Москву на день-два, а вас постоянно нет.

И в этом кровавом трагическом разговоре А. Т. воскликнул с достоинством:

— Я две недели был на берегах Сены!

Не сказал просто: в Париже.

Но если б только в этом фальшь! Главная фальшь была в том, что он обо мне на берегах Сены говорил, а теперь от меня скрывал. Сын своей партии, он защищался глухостью и немостью информации! А мне уже перевели из «Монд» о его интервью. После тревожного гудка, поданного «Нойе Цюрхер Цайтунг», его конечно спрашивали обо мне. И если бы судьба художника, уже залотнувшего солёной воды и только-только ртом ещё над поверхностью, была бы для него первое, а империализм как последняя стадия капитализ-

ма — второе, он, с его благородным тактом, сумел бы без опасности для себя как-то ответить неполно, уклончиво, в чём-то дать паузу, — и понял бы мир, что со мной действительно худо, что я в опасности. Твардовский же сказал корреспондентам, что моя чрезвычайная скромность (которую он высоко ценит!), моё просто-таки монашеское поведение запрещают и ему, как моему редактору и другу, что-либо поведать о моих творческих планах и обо мне. Но что заверяет он корреспондентов: ещё много моих «прекрасных страниц» они прочтут.

То есть он заверил их, что я благополучно работаю, пишу, и ничто мне не мешает, кроме моей непомерной монашеской скромности. То есть он опроверг «Нойе Цюрхер Цайтунг».

Я от солёной воды во рту не мог крикнуть о помощи — и он меня тем же багром помогал утолкать под воду.

Потому что он хотел мне зла? Нет!! — потому что партия делает поэтов такими... (Он добра мне хотел: он хотел представить меня таким послушным, чтобы Пётр Нилович умиловился бы!..)

Всё же накал этого бранного разговора был так велик, что, раздражённый моим круговым несогласием и упрямством, А. Т. вскочил и гневно крикнул:

— Ему ... в глаза, он — «божья роса»!

Я всё время старался помнить, что он — заблудившийся бессильный человек. Но тут, теряя самообладание, ответил с гневом и я:

— Не оскорбляйте! От надзирателей я ведь слышал и погрубей!

Он развёл руками:

— Ну, если так...

Три сантиметра оставалось, чтобы мы поссорились лично. А это было совсем ни к чему, это только затемняло важную картину раскола двух литератур. Но присутствующие предупредили взрыв, все его не хотели (кроме, думаю, Дементьева).

Мы кончили сухим рукопожатием.

Мне оставался до поезда час, и ещё надо было... *бороду сбрить*, да! вот бы подскочил Твардовский, если б узнал! Час до поезда, и не в Рязань, но и не «границу переходить», а — в далёкое Укрывище, на несколько месяцев без переписки, — туда, где ждал меня спасённый утаённый «Архипелаг». Сколько мог, я за эту осень пошумел, подействовал, показался, круг этих бестолковых хлопот надо было и обрывать. Я ехал в такое место, где б не знали обо мне, не могли бы и взять. С освобождённой душой я снова возвращался к той работе, которую ГБ прервало и разметало.

Это удалось! В укрывище по транзисторному приёмнику следил я и за процессом Синяевского — Даниэля. У нас в стране за 50 лет проходили и во сто раз худшие издевательства и в миллион раз толпнее — но то всё соскользнуло с Запада как с гуся вода, того всего не заметили, а что заметили — простили нам за Сталинград. Теперь же — опять знак времени, «прогрессивный Запад» заволновался.

Для себя я прикинул, что от этого шума придёт гестам избирать со мною какой-то другой путь. Они колебались. В конце декабря и в январе, как мне потом рассказали, на нескольких собраниях их чины объявляли, что захваченный мой архив «концентрировался для отправки за границу». Но не потому они эту версию покинули, что из квартиры Теуша не шли пути за границу (мастера подделки, они б это обставили шутя), — а потому, что не *влезал* второй такой же суд вслед за первым.

Как когда-то Пастернак отправкой своего романа в Италию, так теперь Синяевский и Даниэль за своё писательское душевное двоение беспокоянным принятием расплаты, — открывали пути литературы и закрывали пути её врагов. У мракобесов становилось простора меньше, у литературы — больше.

В Ленинграде на встрече КГБ с писателями (смежные специальности: и те и другие — инженеры человеческих душ) Гранин спросил: «Правда ли, что у Солженицына отобрали роман?» С отработанной прелестной наивностью чекистов было отвечено: «Роман? Нет, не брали. Да он нам и не жаловался. Там был какой-то роман «В круге первом», но неизвестно чей». (На титульном листе — моя фамилия.)

Просто ещё не решено было, что со мной делать.

А когда надумали — решение оказалось диковинным: решили *издать* мои отображенные вещи закрытым тиражом! По-видимому, расчёт был, что они вызовут только отвращение и негодование у всякого честного человека.

Когда в марте 1966 года я вернулся к открытой жизни и до меня дошёл первый рассказ, что кто-то из ЦК не в закрытой комнате и не под расписку, а запросто в автомобиле передавал *почитать* мой роман Межелайтису, — я просто не поверил: ведь это игра с огнём, неужели настолько лишился Бог разума? этот огонь не удержится скоро и в жароупорных рукавицах, ведь он разбежится! Да и в чтении не станет он работать на них: у моих врагов, у скально-надёжных лбов он отнимет какую-то долю уверенности; головы затуманенные на долю просветлит. Смотришь, одного-второго-третьего это чтение и обернёт.

Однако весной 66-го, месяц за месяцем, из одних уст и из других, рассказы накладывались: издали и роман, и «Пир победителей»! и *дают читать*! Кто же даёт? Очевидно ЦК, туда это всё перешло из ЧК. Кому дают? Крупным партийным боссам (но те не очень-то читчики, ленивы, нелюбопытны), и крупным чинам творческих союзов. Вот прочёл Хренников, и на заседании композиторов загадочно угрожает: «Да вы знаете, какие он пьесы пишет? В прежнее время его б за такую пьесу расстреляли!» Вот прочёл Сурков и разъясняет, что я — классовый враг (какому классу?). Вот сел изучать мой роман Кочетов, может что-нибудь украдёт. Дают читать главным редакторам издательств — чтобы сам срабатывал санитарный кордон против моего имени и каждой моей новой строчки.

Нет, не тупая голова это придумала: в стране безгласности использовать для удушения личности не прямо тайную полицию, а контролируемую малую гласность — так сказать, номенклатурную гласность. Обещались те же результаты, и без скандала ареста: удушить, но постепенно.

И всё же дали, дали они тут маху! Плагиаторская афера! — без меня и против меня издавать мои же книги! Даже в нашей незаконной неправовой стране (где закрытое ведомственное издание не считается и «изданием», даже в суд нельзя подавать на нарушение авторских прав!), но с нарождающимся общественным мнением, но со слабеньким эхошком ещё и мирового мнения, — залез их коготь что-то слишком нагло и далеко. Эй, застрянет? Обернётся этот способ когда-то против них.

Этим закрытым изданием на какое-то действие они толкали и меня, но я опять тугодумно не мог понять — на какое же? Я только не увидел в этой затее опасности, она мне даже понравилась. Настроят против меня номенклатуру? Так они и так меня все ненавидят. Зато, значит, *брать* меня сейчас не собираются.

Вот как неожиданно и удивительно развивается история: когда-то сажали нас, несчастных, ни за что, за полслова, за четвертушку крамольной мысли. Теперь ЧКГБ имеет против меня полный судебный букет (по их кодексу, разумеется) — и это только развязало мне руки, я стал идеологически экстерриториален! Через полгода после провала с моими архивами выяснилось, что этот провал принёс мне полную свободу мысли и исповедания: не только исповедания Бога — мною, членом атеистически-марксистского союза писателей, но

исповедания и любой политической идеи. Ибо что б я теперь ни думал, это никак не может быть хуже и резче, чем то сердитое, что я написал в лагерной пьесе. И если не *сажают* за неё, значит не посадят и ни за какое нынешнее убеждение. Как угодно откровенно я теперь могу отвечать в письмах своим корреспондентам, что угодно высказывать собеседникам — и это не будет горше той пьесы! Что угодно я теперь могу записывать в дневниках — мне незачем больше шифровать и прятаться. Я подхожу к невиданной грани: не нуждаться больше лицемерить! никогда! и ни перед кем!

Определив весной 1966, что мне дана долгая отсрочка, я ещё понял, что нужна *открытая*, всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, которая займёт в сознании общества тот объём, куда не прорвались конфискованные вещи.

Очень подходил к этой роли «Раковый корпус», начатый тремя годами раньше. Взялся я его теперь продолжить.

ЧКГБ не ждало, не дремало, тактика требовала и мне с «Корпусом» поспешить — а как же можно спешить с писанием? Тут подвернулась мысль: пока выдать 1-ю часть без 2-й. Сама повесть* не нуждалась в этом, но тактика гнала меня кнутом по ущелью.

Как хотелось бы работать не спеша! Как хотелось бы ежедён пережевать писание с неторопливой бескорыстной языковой гимнастикой. Как хотелось бы десяток раз переписывать текст, откладывать его и возвращаться через годы, и подолгу на пропущенных местах примерять и примерять кандидатов в слова. Но вся моя жизнь была и остаётся гонка, уплотнение через меру, — и только удалось бы обежать по контуру того, что совсем неотложно! А может быть и по контуру не обежать...

Столькие писатели торопились! — обычно из-за договоров с издательствами, из-за подпирающих сроков. Но, казалось, — чего бы торопиться мне? — шлифуи и шлифуи! Нет. Всегда были могучие гнавшие причины, то необходимость прятать, рассредоточить экземпляры, использовать помощь, освободиться от других задач, — и так ни одной вещи не выпустил я из рук без торопливости, ни в одной не нашёл всех последних точных слов.

Кончая 1-ю часть «Корпуса», я видел, конечно, что в печать её не возьмут. Главная установка моя была — Самиздат, потом присоветовали друзья давать её на обсуждение — в московскую секцию прозы, на Мосфильм, и так утвердить и легализовать бесконтрольное распространение её. Однако для всего этого нужно было безукорное право распоряжаться собственной вещью, — а я ведь повинен был сперва нести её в «Новый мир». После всего, что Твардовский у меня уже отверг, никак я не мог надеяться, что он её напечатает. Но потеря месяца тут была неизбежна.

С той ссоры мы так и не виделись. Уचितым письмом (и как ни в чём не бывало) я предварил А. Т., что скоро предложу полповести и очень прошу не сильно задержать меня с редакционным решением.

Сердце А. Т., конечно, дрогнуло. Вероятно, он не переставал надеяться на наше литературное воссоединение. Нашу размолвку он объяснял моим дурным характером, поспешностью поступков, коснением в ошибках, — но все эти пороки и даже сверх он готов был великодушно мне простить.

А прощать или не прощать не предстояло никому из нас. Кому-то из двух надо было продуть голову. Моя уже была продута первыми же тюремными годами. После хрущёвской речи на XX съезде начал это развитие и А. Т. Но, как у всей партии, оно вскоре замед-

* И повестью-то я её назвал сперва для одного того, чтоб не путали с конфискованным романом, чтоб не говорили: ах, значит, ему вернули? Лишь потом выяснилось, что и по сути ей приличнее называться повестью.

лилось, потом запетлилось и даже попятилось. Твардовский, как и Хрущёв, был в довечном заклётом плену у принятой идеологии. У обоих у них природный ум бессознательно с нею боролся, и когда побеждал — то было лучшее и высшее их. Одна из таких вершин мужика Хрущёва — отказ от мировой революции через войну.

В «Новом мире» с первой же минуты получения рукописи «Корпуса» из неё сделали секретный документ, так определил Твардовский. Они боялись, что рукопись вырвется, *пойдёт*, остерегались до смешного: не дали читать... в собственный отдел прозы! А от меня то повесть уже потекла по Москве, шагали самиздатские батальоны!

18 июня — через два года после многообещающего когда-то обсуждения романа, состоялось обсуждение 1-й части «Корпуса». Мнения распались, даже резко. Только умягчительная профессиональная манера выражаться затирала эту трещину. Можно сказать, что «молодая» часть редакции или «низовая» по служебному положению была энергично за печатание, а «старая» или «верховая» (Дементьев — Закс — Кондратович) столь же решительно против. Только что вступивший в редакцию очень искренний Виноградов сказал: «Если этого не печатать, то неизвестно, для чего мы существуем». Берзер: «Неприкасаемый рак сделан законным объектом искусства». Марьямов: «Наш нравственный долг — довести до читателя». Лакшин: «Такого сборища положительных героев давно не встречал в нашей литературе. Держать эту повесть взаперти от читателя — такого греха на повесть не беру». — Закс начал затирать и затуманивать ровное место: «Автор даёт себя захлестывать эмоциям ненависти... Очень грубо введено толстовство... Избыток горючего материала, а тут ещё большая тема спецпереселенцев. *Что за этим стоит?*.. вещь очень незавершённая». — Кондратович уверенно поддержал: «Нет завершённости!.. Разговор о ленинградской блокаде и другие пятнышки раздражённости». — Дементьев начал ленивым тоном: «Конечно, очень хочется (ему-то!) напечатать повесть Солженицына... В смысле проявления сил художника уступает роману... — (Но именно романа он не принимал! Теперь, когда роман не угрожал печатанием, можно было его и похвалить.) — ...Объективное письмо вдруг уступает место обнажённо-тенденциозному... — А дальше возбуждаясь и сердясь: — У Толстого, у Достоевского есть внутренняя концепция, ради которой вещь пишется, а здесь её нет, вещь не завершена в своих внутренних мотивах! — (Каждый раз одно и то же: он тянет меня высказаться до конца, чтобы потом было легче бить. Шалишь!..) — «Подумайте, люди, как вы живёте», — это мало. Нет цельности — и значит, печатать в таком виде нельзя. — (Как будто весь печатаемый зламный поток превзошёл эту ступень цельности!..) — И всё больше сердясь: — Как так не было предусмотрительности с Ленинградом? Уж куда больше предусмотрительность — финскую границу отодвинули!»

Вот это называется — литературная близость! Вот и дружи с «Новым миром!» Дивный аргумент: границу финскую и то отодвинули! И я — бит, и в повести наклеветал. Я же не могу «внутреннюю концепцию» открыть до конца: «Так нападение на Финляндию и была агрессия!» Тут не в Дементьеве одном, дальше в разговоре и Твардовский меня прервёт:

— О *принципиальных* уступках с вашей стороны нет и речи: ведь вы же не против советской власти, *иначе бы мы с вами и разговаривать не стали*.

Вот это и есть тот либеральный журнал, факел свободной мысли! Затаскали эту «советскую власть», и даже в том никого из них не вразумишь, что советской-то власти с 1918 года нет.

В чём объединились все: осудили Авиегу, и фельетонный стиль главы, и вообще все высказывания о советской литературе, какие только есть в повести: «им здесь не место». (А где им место? На весь

этот ворох квачущей лжи кому-то где-то один раз можно ответить?) Здесь удивила меня общая немужественность (или забитость, или согбенность) «Нового мира»: по их же тяжёлой полосе 1954 года, когда Твардовский был снят за статью Померанцева «Об искренности», я брал за них реванш, взглядом стороннего историка, а они все дружно во главе с Твардовским настаивали: не надо! упоминать «голубенькую обложку» — не надо! защищать нас — не надо!

Я думал — они только для газеты в своё время раскаялись, для ЦК, для галочки. А они, значит, душой раскаялись: нельзя было об искренности писать.

И ещё обсуждался «важный» (по нашим условиям) вопрос: как же быть с тем, что повесть не кончена, что только 1-я часть? Одни говорили: ну и напишем, что 1-я. Но Твардовский, хорошо зная своих чиновных опекунов, и обсуждать не дал: «Мы лишены возможности объявить, что это — 1-я часть. Нам скажут: пусть напишет и представит 2-ю, тогда решим. Мы вынуждены печатать как законченную вещь».

А она не закончена, все сюжетные нити повисли!.. Ничего не делаешь, таковы условия.

Итак, раскололись мнения «низовых» и «верховых», надо ли мою повесть печатать, и камнем последним должно было лечь мнение Твардовского.

Каким же он бывал разным! — в разные дни, а то — в часы одного и того же дня. Выступил он — как художник, делал замечания и предложения, далёкие от редакционных целей, а для кандидата ЦК и совсем невозможные:

— Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же, как на том свете, не рассуждаем — *пойдёт* или *не пойдёт*... Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать... Современность вещи в том, что разбуженное народное сознание предъявляет нравственный счёт... Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершённости: «Воскресенье», «Бесы», да где этого нет?.. Эту вещь мы хотим печатать. Если автор ещё над ней *поработает* — запустим её и будем стоять за неё *по силам и даже больше!*

Так он внезапно перевесил решение — за «младших» (они растергали его своими горячими речами) и против своих заместителей (хотя, очевидно, обещал им иначе).

И тут же, на этом заседании, он говорил иное: то вот — о советской войне; то — «заглавие будем снимать», не испрашивая встречных мнений. То прерывал мой ответ державными репликами, тоном покровительственным и в политике и в мастерстве. Он абсолютно был уверен, что во всех обсуждаемых вопросах разбирается лучше присутствующих, что только он и понимает пути развития литературы. (Так высоко умел рассуждать! — а и сегодня не удержался от ворчания: «отрастил бороду, чтобы...», — не знал он, что борода уже *вторая*... Это не просто было ворчание, но подчинённость личного мнения мнению компетентных органов.)

Возражал я им всем дотошно, но лишь потому, что все их выступления успел хорошо записать, и вот они всё равно лежали передо мной на листе. Только одно местечко с подъёмом: каких уступок от меня хотят? Русановых миллионы, над ними не будет юридического суда, тем более должен быть суд литературы и общества. А без этого мне и литература не нужна, и писать не хочу.

Ни в бреде Русанова, ни в «анкетном хозяйстве», ни в навыках «нового класса» я не собирался сдвинуться. А в остальном все часы этого обсуждения я заметил за собой незаинтересованность: как будто не о моей книге речь, и безразлично мне, что решат.

Ведь самиздатские батальоны уже шагали.. А в печатание легальное я верить перестал. Но пока марш батальонов не донёсся до кабинета Твардовского, надо было пробовать. Тем более, что 2-ю часть я предвидел ещё менее «проходимой».

Нет, они не требовали от меня убирать анкетное хозяйство или черты нового класса, или комиссию по чистке, или ссылку народов. А уж ленинградскую блокаду мог я и разделить между Сталиным и Гитлером. Главу с Авиетой со вздохом пока отсечь. Бессмысленнее и всего досаднее было — менять название. Ни одно взамен не шло.

Всё ж я покорился, через неделю вернул в «Н. мир» подстриженную рукопись и в скобках на крайний случай указал Твардовскому запасное название (что-то вроде «Корпус в конце аллеи», вот так всё и мазали).

Ещё через неделю состоялось новое редакционное обсуждение. Случайно ли, не случайно, но не было: ни Лакшина, считавшего бы грехом совести держать эту рукопись взаперти; ни Марьямова с нравственным долгом довести её до читателя. Зато противники все были тут. Сегодня они были очень сдержанны, не гневались нисколько: ведь они уже сломали Твардовскому хребет там, за сценой.

Теперь начал А. Т.— смущённо, двоясь. Сперва он неуверенно обвинял меня в «косметической» недостаточной правке (зато теперь Дементьев в очень спокойном тоне за меня заступился — о, лиса! де, и правка моя весьма существенна, и вещь стала закончена... от отсечения главы!). Требовал теперь А. Т. совсем убрать и смягчённый разговор о ленинградской блокаде, и разговор об искренности. Однако тут же порывом отбросил все околичности и сказал:

— Внешних благоприятных обстоятельств для печатания сейчас нет. Невозможно и рискованно выступать с этой вещью, по крайней мере в этом году.— (Словно на будущий «юбилейный», 50 лет Октября, станет легче!..) — Мы хотим иметь такую рукопись, где могли бы отстаивать любое её место, разделяя его.— (Требование очень отягчительное: автор нисколько не должен отличаться от редакции? должен заранее к ней примеряться?) — А Солженицын, увы,— тот же, что и был...

И даже нависание над раковым корпусом лагерной темы, прошлый раз объявленное им вполне естественным, теперь было названо «литературным, как Гроссман писал о лагере по слухам». (Я о лагере — и «по слухам»!) Потом, «редакции нужно прогнать вещи, находящиеся в заторе». (Это — бековский роман о Тевосяне и симоновские «Дневники». Дементьев и Закс обнадеживали, что пройдут «Дневники». Но зарезали и их.) В противоречие же со всем сказанным А. Т. объявил: редакция считает рукопись «в основном одобренной», тотчас же подписывает договор на 25%, а если я буду нуждаться, то потом переписывает на 60%. «Пишите 2-ю часть! Подождём, посмотрим».

Вторую-то часть я писал и без них. А пока что предлагалось мне получить деньги за то, чтобы первую сунуть в гроб сейфа и уж конечно, по правилам «Нового мира» и по личным на меня претензиям А. Т., — никому ни строчки, никому ни слова, не дать «Раковому корпусу» жить, пока в один ненастный день не приедет полковник госбезопасности и не заберёт его к себе.

Такое решение редакции искренно меня облегчило: все исправления можно было тотчас уничтожить, вещь восстановить — как она уже отстукивалась на машинках, передавалась из рук в руки. Отпала забота: как выдержать новый взрыв А. Т., когда он узнает, что вещь *ходит*. Мы были свободны друг от друга!

Но всего этого я не объявил драматически, потому что лагерное воспитание не велит объявлять вперед свои намерения, а сразу и молча действовать. И я только то сказал, что договора пока не подпишу, а рукопись заберу.

Кажется, из сочетания этих двух действий могла бы редакция и понять! — но они ничего не поняли. Так и поняли, что я покорился, повинился, и вот буду работать дальше, считая себя недостойным даже договора. Я опять стал для них овечкой «Нового мира»!

Однако не прошло и месяца, как Твардовский через родственницу моей жены Веронику Туркину срочно *вызвал* меня. Меня, как всегда, «не нашли», но 3 августа я оказался в Москве и узнал: донеслось до А. Т., что *ходит* мой «Раковый корпус», и разгневан он выше всякой меры; только хочет убедиться, что не я, конечно, *пустил* его (разве б я смел?!); — и тогда он знает, кого *выгонит* из редакции! (Подозревалась трудолюбивая Берзер, вернейшая лошадка «Нового мира», которая тянула без зазора.)

Был поэт и цекистом, мыслящим государственно: невозможная для печати, даже для предъявления цензуре «рискованная» книга, написанная однако под советским небом, была уже собственностью государства! — и не могла по произволу несмышлёныша-автора просто так даваться людям читать!

А я-то думал как раз наоборот! Вот уж год кончался после провала моего архива, и даже в моей неусвойчивой голове прояснилось положение их и моё: что нечего, нечего, нечего мне терять! Что открыто, не таясь, не отрекаясь, давать направо и налево «Корпус» для меня ничуть не опаснее, чем та лагерная пьеса, уже год томящаяся на Большой Лубянке. — Вы раздаёте? — Да, я раздаю!! Я написал — я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства! — мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют распространить так свои рукописи!

Так вот оно, вот оно в каком смысле говорится: «пришла беда — не брезгуй и ею!» *Беда может отпирать нам свободу!* — если эту беду разгадать сумеь.

О моей силе толковал мне когда-то Дёмичев — я ещё тогда не допоял. Теперь своим годовым бездействием показали мне власти во плоти мою силу.

Я не поехал на вызов Твардовского, а написал ему так:

«...Если вы взволнованы, что повесть эта стала известна не только редакции «Нового мира», то... я должен был бы выразить удивление... Это право всякого автора, и было бы странно, если бы вы намерились лишить меня его. К тому же, я не могу допустить, чтобы «Раковый корпус» повторил печальный путь романа: сперва неопределённо-долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать, затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется по какому-то закрытому списку...»

Я писал — и не думал, что это жестоко. А для А. Т. это очень вышло жестоко. Говорят, он плакал над этим письмом. О потерянной детской вере? о потерянной дружбе? о потерянной повести, которая теперь попадёт в руки редакторов-гангстеров?

С тех пор в «Новый мир» ни ногой, ни телефонным звонком, свободный в действиях, я бился и вился в поисках: что ещё? что ещё мне предпринять против наглого когтя врагов, так глубоко впившегося в мой роман, в мой архив? Судебный протест был бы безнадежен. Напрашивался протест общественный.

Ещё весной 1966 я с восхищением прочёл протест двух священников — Якунина и Эшлимана, смелый чистый честный голос в защиту церкви, искони не умевшей, не умеющей и не хотящей саму себя защитить. Прочёл — и позавидовал, что сам так не сделал, не найдясь. Беззвучно и неосознанно во мне это, наверно, лежало, лежало и проворачивалось. А теперь с неожиданной ясностью безошибочных решений проступило: что-то подобное надо и мне!

Когда-то, когда я смотрел на союз писателей издали, мне весь он представлялся глумливым торжищем в литературном храме, достой-

ным только вервяного бича. Но — бесшумно растёт живая трава, огибая наваленные стальные балки, и если её не вытаптывать — даже балки эти закроет. Здоровые и вполне незагрязнённые стебли неслышно прорастали это гнилое больное тело. После хрущёвских разоблачений стал особенно быстр их рост. Когда я попал в СП, я с удивлением и радостью обнаружил здесь много живых свободолюбивых людей, — искони таких, или не успевших испортиться, или сбрасывающих скверну. (Лишний пример того, что никогда не надо сметь судить огулом.)

Сейчас я легко мог бы найти сто и двести честных писателей и отправить им письма. Но они, как правило, не занимали в СП никаких ведущих постов. Выделив их не по признаку служебному, а душевному, я поставил бы их под удар и нисколько не способствовал бы своей цели: гласности сопротивления. Посылать же протесты многолюдным и бездарным всесоюзному и всероссийскому правлениям СП было удручающе-бесплодно. Однако маячил в декабре 1966 писательский съезда, недавно отложенный с июня, — первый съезд при моём состоянии в СП и, может быть, последний. Вот это был случай! В момент съезда старое руководство уже бесправно, новое ещё не выбрано, и я волен различить достойных делегатов по собственному пониманию. Да чем не ленинская тактика — апеллировать к съезду? Это ж он и учил так: ловить момент, пока уже не... и ещё не...

Но не скоро будет съездовский декабрь, а подбивало меня как-то протестовать против того, что делают с моими вещами. И я решил пока обратиться — ещё раз и последний раз — в ЦК. Я не член партии, но в это полубожественное учреждение всякий трудящийся волен обращаться с мольбою. Мне передавали, что там даже ждут моего письма, конечно искреннего, то есть раскаянного, умоляющего дать мне случай охаять всего себя прежнего и доказать, что я — «вполне советский человек».

Сперва я хотел писать письмо в довольно дерзком тоне: что они сами уже не повторят того, что говорили до XX съезда, устыдятся и отрекутся. Э. Генри убедил меня этого не делать: кроме накала отношений такое письмо практически ничего не давало — ни выигрыша времени, ни сосуществования. Я переделал, и упрёк отнёсся к литераторам, а не к руководителям партии. В остальном я постарался объяснить делово, но выразаться при этом с независимостью. Вероятно, это не совсем мне удалось: ещё традиции такого тона нет в нашей стране, нелегко её создать.

Письмо на имя Брежнева было отослано в конце июля 1966. Никакого ответа или отзыва не последовало никогда. Не прекратилась и закрытая читка моих вещей, не ослабела и травля по партийно-инструкторской линии, может призамялась на время. А ещё вдруг разрешено было устроить обсуждение 1-й части «Корпуса» в ЦДЛ (а то лежала она два месяца как под арестом у секретаря московского СП генерал-лейтенанта КГБ В. Н. Ильина).

Обсуждение было объявлено в служебно-рекламной книжечке ЦДЛ — и так впервые, вопреки «Новому миру», было типографски набрано это уже неотменимое название: «Раковый корпус». Однако обнаружилось слишком много желающих попасть на обсуждение, руководство СП испугалось, дату сменили и назначили час дневной, объявили уже не публично, и жестоко проверяли у входа приглашительные билеты прозаиков.

Было это 16 ноября. За три месяца прочли и многие враги, кто не только в журнальных статьях разносил мою убогую философию и убогий художественный метод, но даже (В. Панков) целые главы учебников посвящали этому разному. Однако чудо: из той всей шайки, кроме З. Кедринной («общественной обвинительницы» Синявского и Даниэля) и лагерного ортодокса Асанова, никто не посмел явиться.

Это был двойной знак: силы уже возросшего общественного мнения (когда аргументов нет, так и не поспоришь, а доносов перестали бояться) и силы ещё уверенной в себе бюрократии (зачем им идти сюда гавкаться и позориться, когда они и так втихомолку эту повесть затрут и не пустят?).

И превратилось обсуждение не в бой, как ждалось, а в триумф и провозвешение некой новой литературы — ещё никем не определённой, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой всеми. Она, как заявил Каверин в отличной смелой речи (да уж много лет им можно было смело, чего они ждали!), придёт на смену прежней *рептильной* литературе. Кедринной и говорить не дали: демонстративно повалом, вслед за Виктором Некрасовым, стали выходить вон. (А новомирцам А. Т. *запретил* присутствовать на обсуждении! Ушла корова, так и подоюник обзёмь.)

Не по разумному заранее плану, а по стечению случаев сложился у меня очень бурный ноябрь в том году. Есть такие удивительные периоды в жизни каждого, когда разные внешние неожиданные силы сразу все приходят в движение. И в этом только движении, уже захваченный им, я из него же и понял, как мне надо себя вести: как можно дерзей, отказавшись от всех добровольных ограничений. Прежде я отказывался от публичных выступлений? А теперь — согласен на все приглашения. Я всегда отказывался давать интервью? А теперь — кому угодно.

Потому что — терять ведь нечего. Хуже, чем *они* обо мне думают, — они уже думать не могут.

Не я первый тронул, не я первый сдвинул свой архив из хранения: ЧКГБ скоптило его. Но и ГБ не дано предвидеть тайного смысла вещей, тайной силы событий. В их раскрутке уже стали и ГБ и я только исполнителями.

Моё первое публичное выступление стоворено было внезапно: случайно встретились и спросили меня на ходу, не пойду ли я выступить в каком-то «почтовом ящике». А отчего ж? — пойду. Состроилось всё быстро, не успели опознать охранительные инстанции, и у физиков в институте Курчатова состоялась встреча на 600 человек (правда, больше ста из них пришли со стороны, никому не известные персоны, «по приглашению парткома»). Были, конечно, гебисты в немалом числе, кто-нибудь и из райкома-горкома партии.

На первую встречу я шёл — ничего не нес сказать, а просто почитать, — и три с половиной часа читал, а на вопросы отвечал немногие и скользья. Я прочёл несколько ударных глав из «Корпуса», акт из «Свечи на ветру» (о целях науки, зацепить научную аудиторию), а потом обнаглел и объявил чтение глав (свидания в Лефортове) из «Круга» — того самого «Круга», арестованного Лубянской: если *они* дают его читать номенклатурной шпане — то почему же автор не может читать народу? (Узелок запрета развязывал как будто первый не я, в этом было утешение моему лагерному фатализму.)

Нет, время не прежнее и мы не прежние! Меня не заглушили, не прервали, не скрутили руки назад, даже не вызвали в ГБ для объяснения или внушения. А вот что: министр КГБ Семичастный стал мне *отвечать!* — публично и заочно. На этом посту, зевая одну за другой свои подрывные и шпионские сети в Африке и Европе, все силы он обратил на идеологическую борьбу, особенно против писателей как главной опасности режиму. Он часто выступал на Идеологических совещаниях, на семинарах агитаторов. В том ноябре в своих выступлениях он выразил возмущение моей наглостью: читаю со сцены конфискованный роман. Всего таков был ответ КГБ!

Каждый их шаг показывал мне, что мой предыдущий был недостаточен.

Теперь я искал случая ответить Семичастному. Прошёл слух, что я выступал у курчатовцев, и стали приходиться мне многие приглаше-

ния — одни предположительные, другие точные и настоятельные, я всем подряд давал согласие, если только даты не сталкивались. И в этих учреждениях всё как будто было устроено, разрешено директорами, повешены объявления, напечатаны и розданы пригласительные билеты, — но не тут-то было! не дремали и там. В последние часы, а где и минуты, раздавался звонок из московского горкома партии и говорили: «Устройте встречу с Солженицыным — положите партийный билет!» И хотя учреждения-устроители были не такие уж захлапленные (несмеяновский НИИ, карповский, семёновская Черноголовка, мехмат МГУ, Бауманский институт, ЦАГИ, Большая Энциклопедия), протестовать никто не имел сил, а академики-возглавители — мужества. В карповском отменили так поздно, что успели меня туда и привезти, но уже объявление висело: «Отменено по болезни автора». А директор ФБОН (Фундаментальная библиотека Общественных наук) отменил сам от испуга: ему позвонили, что придёт на встречу инкогнито в штатском генерал КГБ, так место ему приготовить.

Поздно понял я, что у курчатовцев был слишком сдержан, искал теперь, где ответить Семичастному, — но захлопывались все двери: упущено, голубчик! Одно, всего одно выступление мне было нужно, чтоб ответить крепенько разок, — да поздно! За всю жизнь не ощущал я так остро лишения свободы слова!

И вдруг из Лазаревского института Востоковедения, где однажды моё выступление уже запретили (а потом все партийные чины отперлись — мол, не они это запретили), меня пригласили настойчиво: не отменяют! Прямо с рязанского поезда и пошёл я на ту встречу. И действительно — не отменили (30 ноября).

Теперь-то я пришёл говорить! Теперь я пришёл с заготовленной речью, и только повод надо было искать, куда её пристроить. Прочёл две главы из «Корпуса», набралось несколько десятков записок и, сцепив с какой-то из них, я спешил, пока не согнали меня с этого помоста, выкрикнуть и вылепить всё, что мне запретили в девяти местах. Рядом со мной на сцене посадили нескольких мужчин из парткома — не для того ли, чтоб и микрофон и меня выключить, если очень уж косо пойдёт? Но не пришлось им вступить в действие: сидели в зале слушатели острые, и для них достаточно было на хребте говорить, не обязательно перешагивать. Я волны принимал, что сидит здесь кто-то крупный из ГБ и вероятно с портативным магнитофоном. В лепке старинных лазаревских стен я представлял себе выступающий горельеф шефа ГБ, но и он ничего не мог мне сейчас возразить, а я ему — моги! И голосом громким, и чувством торжествующим, просто радостным, я объяснял публике — и *выдавал* Семичастному. Ничтожный зэк в прошлом и, может быть, в будущем, прежде новых одиночек и прежде нового закрытого суда — вот я получил аудиторию в полтысячи человек и свободу слова!

Я должен вам объяснить, почему я отказывался от интервью и от публичных выступлений, — но стал давать интервью, но вот стою перед вами. Как и прежде, я считаю, что дело писателя — писать, а не мельтешить на трибуне, а не давать объяснения газетам. Но мне преподали урок: нет, писатель не должен писать, он должен защищаться. Я принял урок! Я вышел сюда перед вами защищаться! Есть одна *Организация*, которая вовсе не должна руководить художественной литературой, — но она делает это. Эта организация отняла у меня мой роман и мой архив, никогда не предназначавшийся к печати. И ещё в этом случае я — молчал, я продолжал тихо работать. Однако используя односторонние выдержки из моего архива, начали кампанию клеветы против меня, нового вида клеветы, — клеветы с трибуны на закрытых инструктажах. Что остаётся мне? Защищаться! Вот я пришёл! Смотрите: я ещё жив! Смотрите: ещё эта голова на шее! (кручу), — а уже без моего ведома и против моей воли мой роман закрыто издан и распускается среди из-

бренных — таких, как главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов. Так скажите: почему от того же должен отказываться я? Почему же мне, автору, не почитать вам сегодня главы из того же романа? (Крики: «Да!»)

Нужно прожить долгую жизнь раба, пригнаться перед начальством с детского возраста, со всеми вскакивать для фальшивых аплодисментов, кивая заведомой лжи, никогда не иметь права возразить, — и это ещё рабом-гражданином, а потом рабом-эзком, руки назад, не оглядываться, из строя не выходить, — чтоб оценить тот час свободной речи с помоста пятистам человекам, тоже ошалевшим от свободы.

Кажется, первый раз — первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю. Я избрал читать из «Круга» главы о разоблачении стукачей («родина должна знать своих стукачей»), о ничтожестве и дутости таинственных оперуполномоченных. Почти каждая реплика сгорает по залу как порох! Как эти люди истосковались по правде! Боже мой, как им нужна правда! Записки: объясните вашу фразу из прочтенной главы, что «Сталин не допустил Красного Креста к советским военнопленным». Современникам и участникам всеохватной несчастной войны — им не дано ведь даже о ней знать как следует. В какой камере какая тупая голова этого не усвоила? — а вот сидит полтысячи развитейших гуманитариев, и им знать не дано. Извольте, товарищи, охотно, эта история к сожалению малоизвестна. По решению Сталина министр иностранных дел Молотов отказался поставить советскую подпись под женовской конвенцией о военнопленных и делать уплаты в международный Красный Крест. Поэтому наши были единственные в мире военнопленные, покинутые своей родиной, единственные, обреченные погибнуть от голода на немецкой баланде...*

О, я кажется уже начинаю любить это своё новое положение, после провала моего архива! это открытое и гордое противостояние, это признанное право на собственную мысль! Мне, пожалуй, было бы уже и тяжело, уже почти невозможно вернуться к прежней тихости. Теперь-то мне открылся высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать.

Ибо — подошли сроки...

Я начал эти очерки с воспоминания, как становишься из обывателя подпольщиком, — зацепка за зацепочкой, незаметно до какой-то утренней пробудки: э-э, да я уже... И так же, благодаря своему горькому провалу, подведшему меня на грань ареста или самоубийства, и потом стежок за стежком, квант за квантом, от недели к неделе, от месяца к месяцу, осознавая, осознавая, осознавая, — счастлив, кто мог бы быстрее понять небесный шифр, я — медленно, я — долго, — но однажды утром проснулся и я свободным человеком в свободной стране!!!

* * *

Так ударил я в гонг своим вторым выступлением, вызывая на бой, будто теперь только и буду, что выступать, — и в тех же днях без следа, хоть и не сбрив бороды в этот раз, нырнул опять в своё далёкое Укрывище, в глушь — работать! работать! — потому что сроки подошли, да я не готов к ним, я ещё не выполнил своего долга.

Я рассчитывал, что всем переполохом три месяца покоя себе обеспечил, до весны. Так и вышло. За декабрь — февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» — с допиской, переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 81 день — ещё и болея, и печи топя, и готовя сам. Это — не я сделал, это — ведено было моею рукою!

* В очередном «ответе» Семичастный заявит, что я клеветал, будто мы морили с голоду немцев-военнопленных.

Но и рассчитано у меня было, что на Новый 1967 год ещё одна гранатка взорвётся — моё первое интервью японскому корреспонденту Седзе Комото. Он взял его в середине ноября, должен был опубликовать на Новый год, — однако шли дни января, а транзистор в моей занесенной берлоге ни по одной из станций — ни по самой японской, которая на диво была слышна, ни по западным, ни даже по «Свободе» — не откликнулся на это интервью.

В ноябре оно совершилось экспромтом и по официальным меркам — нагло. Существовали какие-то разработанные порядки, обязательные и для иностранных корреспондентов, если они не хотят лишиться московского места, и уж тем более для советских граждан. Писатели должны иметь согласие Иностранной комиссии СП (все «иностранные отделы» всех учреждений — филиалы КГБ). Я этих порядков не узнавал в своё время, а теперь и вовсе знать не хотел. Моя новая роль состояла в экстерриториальности и безнаказанности.

С. Комото обычным образом послал просьбу об интервью — мне, а копию — в Иностранную комиссию. Там и беспокоиться не стали: ведь я же давно от всяких интервью отказался. А я — я того и хотел уже больше года, с самого провала: высказать в интервью, что делается со мной. И вот она была, внезапная помощь: японский корреспондент (вроде и не криминальный западный, а вместе с тем вполне западный) просил меня письменно ответить на пять вопросов, если я не захочу встретиться лично. Он давал свой московский адрес и телефон. Даже только эти пять вопросов меня вполне устраивали: там уже был вопрос о «Раковом корпусе» (значит, слух достаточно разнёсся) и был вопрос о моих «творческих планах». Я подготовил письменный ответ. (См. Приложение 1) Всё же идти на полный взрыв — объявлять всему миру, что у меня арестованы роман и архив, я не решился. Но перечислил несколько своих вещей и написал, что *не могу найти издателя* для них. Если этого автора три года назад рвали из рук и издавали на всех языках, а сейчас он у себя на родине «не может найти издателя», то неужели что-нибудь ещё останется неясно?

Но как передать ответ корреспонденту? Послать по почте? — наверняка перехватят, и я даже знать не буду, что не дошло. Просить кого-нибудь из друзей пойти бросить письмо в его почтовый ящик на лестнице? — наверняка в их особом доме слезка в подъезде и фотографирование (я ещё не знал: милиция, и вообще не пускают к дому). Значит, надо встретиться, а уж если встретиться, так отчего не дать и устного интервью? Но где же встретиться? В Рязань его не пустят, в Москве я не могу ничью частную квартиру поставить под удар. И я избрал самый наглый вариант: в Центральном доме Литератора! В день обсуждения там «Ракового корпуса», достаточно оглядя помещения, я из автомата позвонил японцу и предложил ему интервью завтра в полдень в ЦДЛ. Такое приглашение очень официально звучало, вероятно он думал, что я всё согласовал, где полагается. Он позвонил своей переводчице (проверенной, конечно, в ГБ), та — заказала в АПН фотографа для съёмки интервью в ЦДЛ, это тоже очень официально звучало, не могло и у АПН возникнуть сомнения.

Я пришёл в ЦДЛ на полчаса раньше назначенного. Был будний день, из писателей — никого, вчерашнего оживления и строгостей — ни следа, рабочие носили стулья через распахнутые внешние двери. Вместо чёрного японца вошла беленькая русская девушка и направилась к столику администратора, мне послышалась моя фамилия — я её перехватил и просил звать японцев (их оказалось двое и ждали они в автомобиле). Привратники были те же, которые вчера видели меня в вестибюле в центре внимания, и для них авторитетно прозвучало, когда я сказал: «Это — ко мне». (Потом я узнал, что для входа иностранцев в ЦДЛ требуется всякий раз специальное разрешение администрации.) Я пригласил их в спокойное фойе с коврами и мяг-

кой мебелью и выразил надежду, что скромность обстановки не стеснит нашей деловой встречи. Тут, запыхавшись, прибежал и фотокорреспондент из АПН, притащил здешние ЦДЛовские огромные лампы-вспышки, и пошло наше двадцатиминутное интервью при свете молний. Администрация дома увидела незапланированное мероприятие, но его респектабельность, важность, а значит и разрешённость, не подлежали сомнению.

Комото неплохо говорил по-русски, так что переводчица была лишь для штата, она ничего не переводила. В конце встречи разъяснилось и это обстоятельство: Комото сказал, что три года сам провёл в наших сибирских лагерях! Ну, так если он — зэк, он, может быть, и отлично понял чернуху в нашей встрече! И тем более должен он понять всё недосказанное. Мы сердечно попрощались.

Но вот прошла одна и вторая неделя после Нового года, а транзистор не доносил в моё уединение ни четверть-отклика, ни фразочки на моё интервью! Всё пропало зря? Что же случилось? Помешали самому Комото, угрожали? Или не захотел редактор газеты портить общей обстановки смягчённости японо-советских отношений? (Их радиостанция на русском языке выражалась приторно-угодливо.) Только одного я не допускал: чтоб интервью было напечатано в срок и полностью, в пяти миллионах экземпляров, в четырёх газетах, на четверть страницы, ну пусть в японских иероглифах, — и было бы не замечено на Западе ни единым человеком! В связи с «культурной революцией» в Китае каждый день все радиостанции мира ссылались на японских корреспондентов, значит просматривали же их газеты, — а моего интервью не заметил никто! Была ли это краткость земной славы, и Западу давно уже было начхать на какого-то русского, две недели пощекотавшего их дурно переведенным бестселлером о том, как жилось в сталинских концлагерях? И — это, конечно. Но если бы промелькнуло где-то, хоть в Полинезии или Гвинее, сообщение, что левый греческий деятель не нашёл для одного своего абзаца издателя в Греции, — да тут бы Бертран Рассел, и Жан-Поль Сартр и все левые лейбористы просто криком благим бы изощли, выразили бы недоверие английскому премьеру, послали бы проклятье американскому президенту, тут бы международный конгресс собрали для анафемы греческим палачам. А что русского писателя, недодушенного при Сталине, продолжают душить при коллективном руководстве, и уже при конце скоро, — это не могло оскорбить их левого мирозозерцания: если душат в стране коммунизма, значит это необходимо для прогресса!

В многомесячном и полном уединении — как же хорошо работает и думается! Истинные размеры, веса и соотношения предметов и проблем так хорошо укладываются. В захвате безостановочной работы в ту зиму я обнаружил, что годам к пятидесяти окончу «п—1» свою работу — всё, что я собирался в жизни написать, кроме последней и самой главной — «Р-17». Тот роман уже 30 лет — с первого курса университета, у меня обдумывался, перетряхивался, отлёживался и накоплялся, всегда был главной целью жизни, но ещё практически не начат, всегда что-то мешало и отодвигало. А вот уже не за горами предстояло мне наконец дотянуться до заветной работы, от которой сами ладони у меня начинали пылать, едва я перебирал те книги и те записи.

И вот теперь, в Укрывище, в тишине почти невероятной для нашего века, глядя на ели, по-крещенски отяжелённые неподвижным снегом, предстояло мне сделать один из самых важных жизненных выборов. Один путь был — поверить во внешне нейтральное благополучие (не трогают), и сколько неустойчивых лет мне будет таких отпущено — продолжать сидеть как можно тише и писать, писать свою главную историю, которую никому до сих пор написать не дали, и кто ещё когда напишет? А лет мне нужно на эту работу семь

или десять.* Путь второй: понять, что можно так год протянуть, два, но не семь. Это внешнее обманчивое благополучие самому взрывать и дальше. Страусиную голову вытянуть из-под укрытия. Ведь «железный Шурик» тоже не дремлет, он крадётся там, по закоулкам, к власти, и из первых его будет движений — оторвать мне голову эту. Так вот, накануне самой любимой работы — отложить перо и рискнуть. Рискнуть потерять и перо, и руку, и голос, и голову. Или — так безнадежно и громогласно испортить отношения с властью, чтоб этим и укрепиться? Не туда ли судьба меня и толкает? Не заставлять её повторять предупреждение. Много десятков лет мы все вот так из-за личных расчётов и важнейших собственных дел — все мы берегли свои глотки и не умели крикнуть прежде, чем толкали нас в мешок.

Ещё с осени я знал, что съезд писателей опять отсрочили, теперь на май. Очень кстати! (Был бы в декабре — не отрывался бы я от Укрывица, от «Архипелага», и не было бы письма съезду.) Уж если не помогло интервью — только письмо съезду и оставалось. Только назвать теперь больше и крикнуть смелей.

Бесконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу. Но нет другого пути, если вся материя — уже не твоя, не наша. А всё ж и от крика бывают в горах обвалы.

Ну, пусть меня и потрясёт. Может, только в захвате потрясений я и пойму сотрясённые души 17-го года?

Не рок головы ищет, сама голова на рок идёт.

А ближайший расчёт мой был — ещё утвердиться окончанием и распространением 2-й части «Ракового корпуса». Уезжая на зиму, я оставил её близкой к окончанию. По возврате в шумный мир предостояло её докончить.

Но требовал долг чести ещё и эту 2-ю часть перед роспуском по Самиздату всё же показать Твардовскому, хотя заведомо ясно было, что только трата месяца, а их и так не хватает до съезда. Чтобы выиграть время, я попросил моих близких принести Твардовскому промежуточный, не вполне окончанный вариант месяцем раньше, с таким письмом, якобы из рязанского леса:

«Дорогой Александр Трифонович!

Мне кажется справедливым предложить вам быть первым... читателем 2-й части, если вы этого захотите... Текст ещё подвергнется шифровке, я пока не предлагаю повесть всей редакции... Пользуюсь случаем заверить вас, что несостоявшееся наше сотрудничество по 1-й части никак не повлияло на моё отношение к «Новому миру». Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала...— (Здесь натяжка, конечно.)—...Но обстановка общелитературная слишком крута для меня, чтобы я мог разрешить себе и дальше ту пассивную позицию, которую занимал четыре года...»

То есть я даже не просил рассмотреть вопрос о печатании. После ссоры и полугодового разрыва я только предлагал Твардовскому *почитать*.

По времени сложилось отлично: пока я в марте 67-го вернулся и доработал 2-ю часть — в «Новом мире» её не только А. Т., но все прочли,— и оставалось мне лишь получить их отказ, отказ от всяких дальнейших претензий на повесть. За год я получил из пяти советских журналов отказ напечатать даже самую безобидную главу из 1-й части — «Право лечить» (ташкентский журнал не поместил её даже в благотворительном безгонорарном номере); затем от всей 1-й части отказа

* Неоправданно надеялся я. Нельзя и за двадцать лет. И даже, вообще, целиком — нельзя. (Примеч. 1978)

лись — «Простор» (трусливым оттягиванием) и «Звезда» («в Русанова вложено больше ненависти, чем мастерства», — а ведь этого на страницах советских книг никогда не допускали!; «ретроспекции в прошлое создают ощущение, будто культ личности полностью перечеркнул всё, что было советским народом сделано хорошего», — ведь домны вполне возмещают и гибель миллионов и всеобщее развращение; и хотелось бы «увидеть более ясно отличие авторских позиций от позиций толстовства», — так уж тем более Льва Толстого строчки бы не напечатали!).

Каждый такой отказ был перерубом ещё-ещё-ещё одной стропы, удерживающей на привязи воздушный шар моей повести. Осталось последний переруб получить от Твардовского — и никакая постылая стяга больше не удерживала бы мою повесть, рвущуюся двигаться.

Наша встреча была 16 марта. Я вошёл весёлый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный. Естественно было нам говорить о 2-й части, но за полтора часа с глазу на глаз меньше всего разговору было о ней.

Мой путь уже был втайне определён, я шёл на свой рок, и с поднятым духом. Видя подавленность А. Т., мне хотелось подбодрить и его. За это время он потерпел несколько партийных и служебных поражений: на XXIII съезде его не выбрали больше в ЦК; сейчас не выбирали и в Верховный Совет РСФСР («народ отверг», как объяснил Дёмичев); с потерей этих постов ещё беспомощнее он стал перед наглой цензурой, как хотевшей, так и терзавшей наборные листы его журнала; стягивалась петля и вокруг «Тёркина на том свете» в театре Сатиры: всё реже пьесу давали и готовились совсем снять; а недавно ЦК актом внезапным и непостижимым по замыслу, минуя Твардовского, не предупредив его, снял двух вернейших заместителей — Дементьева и Закса: как когда-то из ГБ не возвращались люди домой, так и эти двое уже не вернулись из ЦК на прежнюю работу*. Административно это было, конечно, плевком в Твардовского и во всю редакцию, но по сути это был такой же переруб строп, высвобождение ко взлёту, ибо снятые и были два вернейших внутренних охранителя, ослаблявшие энергию Твардовского. Однако А. Т. так привык доверяться Дементьеву, так верил в деловые и дипломатические качества Закса, так уже привычно был связан с ними, и ещё форма снятия так груба была даже и для всех сотрудников редакции, — что едва ли не коллективная отставка готовилась в виде протеста, сам же А. Т. никогда не был столь близок к отказу от редакторства. (Значит, не глупо рассчитали враги. Ещё, может быть, вот было соображение: без удерживающих внутренних защёлок сорвётся в «Новом мире» вся стреляющая часть, выпалит через меру — и погубит сама себя.)

Я иначе принял отставку Дементьева и Закса: только очищение журнала. Но бесполезно оказалось убеждать в этом Твардовского, да и сотрудников. Во всём же другом я старался теперь перенастроить А. Т.: что снятие из ЦК и Верховсовета было для него не общественным падением, а высвобождением: вы становитесь душевно независимее. И А. Т. сразу откликнулся: что он ничуть не жалеет о снятии его, даже рад. (Уже это было хорошо, что так говорил. В тех самых днях в Столешниковом переулке, в нетрезвом состоянии, он остановил незнакомого полковника Рыбу и открывался ему, бедняга, как больно задет.)

Я: — Тем лучше! Я рад, что вы так понимаете, что у вас уже есть внутренняя свобода. — (О, если бы!)

Он (без моей наводки): — Или что медали не дали! — (За месяц перед тем дали золотую звезду Шолохову, Федину, Леонову, Тычине,

* Впрочем, Дементьев ещё долго и жалостно навещал редакцию с голосом на слезе. Он и никогда не работал здесь ради зарплаты, он выполнял общественное поручение, а сейчас, наверно, и совсем бесплатно взялся бы.

а ему — первому поэту России — ведь так же было установлено по табели рангов — не дали, нарушили табель из-за смелых общественных шагов.) — Соболев рыдает, а я рад, что не дали. Мне позор бы был. — (Неискренно.)

Я: — Конечно позор, в такой компании!

Итак, хотя восемь месяцев мы не виделись и были как бы в разрыве, и вначале он меня встретил с обиженностью, и была взаимная боязнь новой обиды, боязнь неловко коснуться, — теперь свободно потёк разговор, интересный для него и для меня: моя цель всегда была, чтоб они хоть добровольный-то намордник сняли.

А. Т. подробно стал рассказывать, почему он не подал в отставку из-за Дементьева и Закса; как те сами отговаривали его; как *наверху* ему сказали: ваша отставка была бы поступком антипартийным. И ещё рассказывал благодушно, как он хорошо и умно перестроил редакцию журнала, как одним и тем же (?) выражением «сочту за честь» приняли его предложение войти в редакцию Дорощ, Айтматов и Хитров. А ещё — как накануне прошло обсуждение журнала в секретариате союза (после ругательной статьи в «Правде»): вопреки ожиданиям благопристойно и благополучно.

И после такого огляда не горе изо всего выстроилось, а радость: в который раз журнал проявил свою непотопляемость! А что бы иначе? А иначе сомкнулись бы волны и погас бы светоч.

Но на этом светло-розовом небе вот что беспокоило А. Т.: вчера на секретариате Г. Марков сказал, что «Раковый корпус» уже напечатан на Западе. И грозно посмотрел на меня Главный редактор. (Вырастил бороду... Не сам ли и «Крохотки» отдал за границу?.. Тут напомним мне А. Т. по праву старшего, что *даже* некий (безымянный) буржуазный орган (ближе к моему беспартийному пониманию он давал более понятный авторитет) написал, что конечно Солженицына был бы недостоин образ действий Синявского и Даниэля.

Я ответил: — Сам я не собираюсь посылать за границу ничего. Но от соотечественников скрывать своих книг не буду. Давал им читать, даю и буду давать!

А. Т. вздохнул. Но признал разумно:

— В конце концов, это — право автора.

(В начале начал!!)

А откуда мог пойти слух? Пытался ему объяснить. Одна глава из «Корпуса», отвергнутая многими советскими журналами, действительно напечатана за границей — именно, центральным органом словацкой компартии «Правда». Да, кстати! я же дал на днях интервью словацким корреспондентам, вам рассказать? Да! я ведь в ноябре дал интервью японцу, я вам не рассказывал... («Слышал, — хмуро кивнул Твардовский. — Вы что-то незаконное передали в японское посольство...») Да! Ведь мы же восемь месяцев не виделись, а завтра А. Т. едет в Италию, и надо ему быть осведомлённым о моём новом образе действий: я ведь совсем иначе себя теперь веду! Дайте-ка расскажу!..

Но — всякий интерес потерял А. Т. к нашему разговору. Он стал звонить секретарю, связываться с Сурковым, с Бажаном, со всеми теми, о ком на полчаса раньше выразился, что «на одном поле не сел бы рядом с ними...»: ведь именно с ними ему нужно было завтра ехать спасать КОМЕСКО. Я помнил, как парижским своим интервью осени 1965 А. Т. успокаивал о моей судьбе. Теперь я очень выразительно сказал ему, как ненавижу Вигорелли за то, что тот солгал на Западе, будто недавно беседовал со мною дружески и узнал от меня, что роман и архив мне возвращены. Он помогал меня душить. (Сиречь: да вы же там завтра не помогите!..)

А делаю я теперь вот что: даю рукописи обсуждать в секцию прозы...

А. Т. качает головой: — Не следовало давать.

— ...Потом — публично выступаю...

А. Т. хмурится:— Очень плохо. Зря. Своими резкими выступлениями вы ставите под удар «Новый мир». Нас упрекают: вот, значит, вы кого *воспитали*, вот кого вытащили на свет!

(Да Боже мой, да не только, значит, я, но и вся русская литература должна замолкнуть и самопотопиться — чтобы только не упрекали и не потопили «Новый мир»?..)

— Я защищаю и вас! Я объясню людям громко со сцены, почему на два-три месяца задерживаются ваши номера: цензура!

— Не надо объяснять! — всё гуще хмурился он.— Мне говорили, что вы вообще против меня высказываетесь...

— *Против?* И вы могли — поверить?

— Я ответил: пусть! А я против него — не буду.

(Поверил! сразу поверил бедный Трифоныч! — но сам поступит благороднее!.. В том и дружба.)

И где ж во всём этом разговоре был «Раковый корпус»? Да был всё-таки, переслойкой: по две фразы, по два абзаца.

Второй части «Корпуса» он высказал высшие похвалы; что это в три раза выше первой части. Но вот что...

(Я знаю, *сейчас*, как *раз сейчас* такие условия, такая ситуация... Дорогой Александр Трифоныч! Я знаю! Я и не прошу печатать! Берегите журнал! Я и давал-то вам повесть, только чтоб вы не обижались! Я в редакцию-то — не давал!)

— ...Но вот что: даже если бы печатание зависело целиком от одного меня — я бы не напечатал.

— Вот это мне уже горько слышать, Александр Трифоныч! Почему же?

— Там — неприятие советской власти. Вы ничего не хотите простить советской власти.

— Александр Трифоныч! Этот термин «советская власть» стал не точно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, *свободно* ими избранную и *свободно* ими контролируемую. Я — руками и ногами за такую власть!.. А то вот и секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы... — тоже советская власть?

— Да, — сказал он с печальным достоинством. — В каком-то смысле и они — советская власть, и поэтому надо с ними ладить и поддерживать их... Вы — ничего не хотите забыть! Вы — слишком внимательны!

— Но, А. Т.! Художественная память — основа художественного творчества! Без неё книга развалится, будет — ложь!

— У вас нет подлинной *заботы о народе!* — (Ну да, я же не *гобр к верхам!*) — Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше.

— Да А. Т.! Во всей книге ни слова ни о каком колхозе. — (Впрочем, не я их придумывал, почему я должен о них заботиться?..) — А что действительно нависает над повестью — так это система лагерей. Да! Не может быть здоровой та страна, которая носит в себе такую опухоль! Знаете ли вы, что система эта, едва не рассосавшаяся в 1954-55 годах, — снова укреплена Хрущёвым, и именно в годы XX и XXII съезда? И когда Никита Сергеевич плакал над нашим «Иваном Денисовичем» — он только что утвердил лагеря не мягче сталинских.

Рассказываю.

Слушает внимательно. И всё равно:

— А что вы можете предложить вместо колхозов? — (Да не об этом ли был и «разбор» «Матрёны»?..) — Надо же во что-то верить! У вас нет ничего святого. Надо в чём-то уступить советской власти! В конце концов, это просто неразумно. Плетью обуха не перешибёшь.

— Ну так обух обухом, А. Т.!

— Да нет в стране общественного мнения!
 — Ошибаетесь, А. Т.! Уже есть! уже растёт!
 — Я боюсь, чтобы ваш «Раковый корпус» не конфисковали, как роман.

— Поздно, А. Т.! Уже тью-тью! Уже разлетелся!
 (Ещё нет. Ещё для 2-й части мне два месяца скромно терпеть. Но до писательского съезда столько и осталось.)

— Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству.— (Почему ж 2-я часть вышла «в три раза лучше» той, которую он хотел печатать?) — На что вы рассчитываете? Вас не будет никто печатать.

(Да, при моём поведении «достойней Синявского и Даниэля». Хороша ловушка!..)

— Никуда не денутся, А. Т.! Умру — и каждое словечко примут, как оно есть, никто не поправит!

И вот это — обидело его глубоко:

— Это уже самоуслаждение. Легче всего представить, что «я один — смелый», а все остальные — подлецы, идут на компромисс.

— Зачем же вы так расширяете? Тут и сравнивать нельзя. Я — одиночка, сам себе хозяин, а вы — редактор «Большого журнала»...

Берегите журнал! Берегите журнал... Литература как-нибудь и без вас...

То не последние были слова нашего разговора, и он не вышел ссорой или побранкой. Мы простились сдержанно (он — уже и расseyанно), сожалел о несправимости взглядов и воспитания друг у друга. Такое окончание и было достойнее всего, я рад, что кончилось именно так: не характерами, не личностями мы разошлись. Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы.

На другой день он уехал в Италию и вскоре давал там многолюдное интервью (опять надеясь, что я не узнаю?). Его спрашивали обо мне: правда ли, что часть моих вещей ходит по рукам, но не печатается? правда ли, что и такие есть вещи, которые я из стола не смею вынуть?

«В стол я к нему не лазил, — ответил популярный редактор (в самом деле, в стол лазить — на это есть ГБ). — Но вообще с ним всё в порядке. Я видел его как раз накануне отъезда в Италию (подтверждение нашей близости и достоверности его слов!). Он окончил 1-ю часть новой большой вещи (когда, А. Т.? когда?..), её очень хорошо приняла московские писатели («не следовало давать туда»?..), теперь он работает дальше. (А — 2-ю часть потеряли, А. Т.? А как «излишняя памятьливость»? А — «ничего нет святого»? Почему бы не сказать этому католическому народу: «у Солженицына ничего нет святого»?)

Сам в эти месяцы душимый, — он помогал и меня душить...

Не проходит поэту безнаказанно столько лет состоять в партии.

* * *

Думал в три раза тесней поместиться. Стыд, распёрло.

Я потому только писал, что ещё несколько дней — и разлетится моё письмо съезду [2], и не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шеп напроочь, или петля пополам.

И больно, что это никем потом не распутается, не объяснится.

Не я весь этот путь выдумал и выбрал — за меня выдуманно, за меня выбрано.

Я — обороняюсь.

Охотники знают, что подранок бывает опасен.

ПРИЛОЖЕНИЯ

[1]

15.11.66
Москва

Многоуважаемый С. Комото!

Я очень тронут Вашим любезным предложением обратиться в новогодних номерах к японским читателям. Все три издания «Одного дня Ивана Денисовича» на японском языке у меня есть. Не имея возможности оценить перевод, я восхищён внешним видом изданий.

До сих пор я отказывался давать какие-либо интервью или обращения к читателям газет. Однако, с недавнего времени я пересмотрел это решение. Вы — первый, кому я это интервью даю.

Отвечаю на Ваши вопросы.

1. (Как я расцениваю отзывы читателей и критиков на мои произведения.)

Лавина читательских писем после первого опубликования моих произведений была для меня пока одним из самых трогательных и сильных переживаний всей моей жизни. Много лет я занимался литературной работой, не имея совсем никаких читателей, даже измеряемых одним десятком. Тем более ярким было это живое ощущение читающей страны.

2. (Что бы я мог сказать о «Раковом корпусе».)

«Раковый корпус» — это повесть объёмом в 25 печатных листов, состоит из двух частей. Часть 1-ю я закончил весной 1966, но ещё не сумел найти для неё издателя. Часть 2-ю надеюсь закончить вскоре. Действие повести происходит в 1955 в онкологической клинике крупного южного советского города. Я сам лежал там, будучи при смерти, и использую свои личные впечатления. Впрочем, повесть — не только о больнице, потому что при художественном подходе всякое частное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, «связкой плоскостей»: множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в избранной точке.

3. (Мои творческие планы.)

Отвечать на такой вопрос имеет смысл писателю, который уже напечатал и представил на сцене свои предыдущие произведения. Со мной не так. До сих пор не напечатаны мой большой роман («В круге первом»), некоторые мелкие рассказы, не поставлены мои пьесы («Олень и шалашовка», «Свет, который в тебе»). При таких обстоятельствах как-то нет желания говорить о «творческих планах», они не имеют реального значения.

Наиболее влекущая меня литературная форма — «полифонический» роман (без главного героя, где самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» повествование) и с точными приметам времени и места действия.

4. (Моё отношение к Японии, японскому народу, его культуре.)

Я стремлюсь всегда писать п л о т н о, т. е. вместить густо в малый объём. Как мне со стороны и издали кажется, эта черта является одной из важных в японском национальном характере — само географическое положение воспитало её в японцах. Это даёт мне ощущение «родственности» с японским характером, хотя никаким специальным изучением японской культуры это у меня никогда не сопровождалось. (Исключение представляет философия Ямага Соко, с которой даже поверхностное знакомство произвело на меня неизгладимое впечатление.) Большую часть жизни то лишённый свободы, то занятый математикой и физикой, которые одни давали мне средства к существо-

ванию, я остаток времени отдавал собственному литературному труду и поэтому оказался мало осведомлён о событиях современной мировой культуры, мало знаю современных зарубежных авторов, художников, театр и кино. Это относится и к Японии. Мне удалось побывать только на одном японском спектакле (театра «Кабуки») и повидать только три японских фильма. Из них сильное впечатление оставил «Гольф остров».

Я глубоко уважаю незаурядное трудолюбие и талантливость японского народа, проявляемые им в постоянно нелёгких природных условиях.

5. (Как я смотрю на обязанности писателя в деле защиты мира.)

Я понимаю этот вопрос более широко. Борьба за мир есть только часть из обязанностей писателя перед обществом. Никак не менее важна и борьба за социальную справедливость и упрочение духовных ценностей в своих современниках. Именно с отстаивания нравственных ценностей в душе каждого только и может начинаться плодотворное отстаивание мира.

Воспитанный на традициях русской литературы, я не могу себе представить своего литературного труда без этих целей.

Желаю японским читателям счастливого Нового года!

А. Солженицын.

[2]

ПИСЬМО IV-му ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

(вместо выступления)

В президиум съезда и делегатам

Членам ССП

Редакциям литературных газет и журналов

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд об- судить:

I. то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признаётся права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания,— запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни неведомым.

Отличные рукописи молодых авторов, ещё никому не известных имён, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блеклыми названиями, чтобы толь-

ко увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется в свет в искажённом виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически-вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархистствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратно стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

Они любить умеют только мёртвых!

Но позднее издание книг и «разрешение» имён не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несёт наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности, и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи её идут не в чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого и в начале нынешнего века, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бедней, проще и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если б её не ограничивали и не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми нестеснёнными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом — всё мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем идёт, приобрело бы новую устойчивость, взошло бы даже на новую художественную ступень.

Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист.

II. ...обязанности Союза по отношению к своим членам. Эти обязанности не сформулированы чётко в уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за

треть столетия плачевно выявилось, что ни «Других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Андрей Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключённых из Союза либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чьё преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артём Весёлый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было более *шестисот* — ни в чём не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот ещё длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтётся нашими глазами: в нём записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времён Ягоды — Ежова — Берии — Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять со старыми руководствами ответственность за прошлое.

Я предлагаю чётко сформулировать в пункте 22-м устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, — с тем, чтобы невозможно стало повторение беззаконий.

Если Съезд не пройдёт равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:

1. Мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года, как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его редакционное движение. Напротив, ещё при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Добиться публичного чтения, открытого обсуждения романа, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах. Мой роман показывают литературным чиновникам, от большинства же писателей прячут.

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда, обречённые на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей никто не выступил против репрессий), давно покинутая, эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведётся против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награждённого боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведётся на закрытых инструктажах и собраниях

людьми, занимающими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление ССП РСФСР и в печать: Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Напротив, в последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, использует искажённые материалы конфискованного архива,— я же лишён возможности на неё ответить.

4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Простором» и «Звездой»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», «Как жаль», серия крохотных) не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельной книгой ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, «Библиотека «Огонька») и таким образом недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочсть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав — возьмётся или не возьмётся IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но может быть многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни?

Это ещё ни разу не украсило нашей истории.

А. Солженицын.

16 мая 1967 г.

(Продолжение следует)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В 1991 году читайте в

«Новом мире»:

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

Из неопубликованного

Рассказ. Сценарий. Наброски. Записи

Публикация и составление М. А. Платоновой. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Н. В. Корниенко.

НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА

*

НАДПИСЬ

* * *

Горстка пепла в жестянке, условного пепла. Ведь там,
В преисподней, куда, скрежеща, опускается ящик
С подмороженным телом, в аду, где не место цветам,
Все еще не увядшим и так обреченно дрожащим,
На конвейере смерти, где слезы и страх не в чести,
Может, пепел любимых с каким-то чужим перемешан.
Может быть, очень трудно его отмести, отгрести,
И отчаянный грешник сливается с тем, кто безгрешен.
Все равны в той геенне. Жестянка и надпись на ней.
Вот что нам выдается. И вот что от нас остается.
Ни тропинки, ни лестницы, ни вереницы теней,
Только дым из трубы, будто души бессмертные, вьется.
А твоя где душа? Где блуждать ей теперь суждено?
Над землей или в космосе? Что она видит оттуда,
Где светло и просторно, а может быть, тесно, темно,
Без любви, без печали, без малой надежды на чудо?

Июньской белой ночью

И в ногу шла я и не в ногу шла.
А иногда меня толпа несла,
И подчинялась я ее движенью.
А все, что потеряла на веку,
Я не доверю и черновику,
Так тяжелы потери, пораженья...

Разбитой яхтой в ночь вплаывает день,
Садится солнце, пропадает тень,
В молочном небе облачные стружки —
Строгает мальчик палочку. «Соришь, —
Скажу, — малыш» — и вмиг впитает тишь
Слова, прохладой их прижав друг к дружке.

Грешно ложиться спать, когда светло!
Нам с белыми ночами повезло —
Пиши, читай, не требуя лампы.
Об стенку бейся — не вернешь потерь.
Недвижен тополь, и не скрипнет дверь.
За пораженья не дают награды...

Грешно ложиться спать, когда, как днем,
Все топчет всадник бронзовым конем
Тот камень, что тяжел и неподвижен.
Опережая век, летит рука
Туда, где парусами облака
И где никто не славен, не унижен...

Звездам не уподобиться свечам.
 Удушлив запах флоксов по ночам.
 Вода черна, как души у злодеев.
 И меркнет постепенно алый цвет
 На парусах, которых в мире нет,
 И на подгнивших мачтах, и на реях...

* * *

Молюсь за безродных, которые умерли днесь
 И в моргах лежат с номерком на лодыжках холодных.
 Им хлеба не дать, родниковой воды не поднять.
 Все стало ненужным для душ их бесплотных.

Как дети в трясине, увязли при жизни в грехах.
 Не мне их судить, я грешнее всех грешных на свете.
 Покуда не срок превратиться в туманность и прах,
 Мы все умножаем грехи неизбежные эти.

И где-то осинка звенит на ветру поутру,
 Покуда фанерой под звонкой пилою не стала.
 Фанерную бирку бечевкой, когда я умру,
 Привяжут к ноге у болевшего ночью сустава.

Не вспомнит никто, как носили меня на руках,
 Как юные ноги мои, к ним припав, целовали.
 И тело, и страсти, и смерти мистический страх
 Прикрыты условностями и словами.

Молюсь за безродных последняя в нашем роду.
 И после меня ни отростка, ни корня, ни ветки.
 Как жить, чтобы с совестью — век оставаться в ладу,
 Узреть благодать сквозь прижатые пальцами веки?

В 1991 году журнал возобновляет рубрику

«НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

Читайте в первом номере 1991 года:

КУМРАНСКИЕ ГИМНЫ

Вступительное слово, перевод с древнееврейского и комментарии
 Д. Щедровицкого.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

В реальности нельзя — в романе можно
Вообразить, как Цезарь над Катуллом
Склоняется поправить осторожно
Мохнатый плед, поскрипывая стулом.
Не плед, а плащ, не стулом, а банкеткой,
Скамьей, софой, не важно чем — сиденьем!
— Чем мне помочь, Катулл, тебе, — таблеткой?
— Нет, разговором, Цезарь, утешеньем.

— Так слушай: жизнь страданий наших стоит,
Ты знаешь сам, как Рим прекрасен ночью,
Когда любовник юный под листвою
Крадется сквозь столицу эту волчью,
Как сладок пир с весельями друзьями,
Какие звезды колют сквозь ресницы,
Сияя нам в волшебной этой яме,
Горячей смерти нашей очевидцы.

Не плачь, Валерий! Стоила стараний,
И слез, и жалоб: доводов мне хватит.
Как кроток Тибр в час утренний, в час ранний --
Как высвободившийся из объятий,
Чтоб написать стихи о переходе
К дневным трудам на загородной вилле.
Прочтет их кто-то: даже в переводе
Они его взбудрили и пленили...

* * *

Красные, красные, красные кресла, красные.
Господи, как хорошо, почему — не знаю!
Что-то случится, придут друзья напрасные,
Милые, добрые, к августу, лучше — к маю.

Сами ль уедем и волны увидим синие,
Синие, синие и берега крутые,
Ржавые сосны увидим, а лучше — пинии,
Черные скалы и белые мостовые.

А ничего не случится — и тоже весело.
Как они связаны, зренья и слух! Обставил
Музыку красными кто-то резными креслами,
Зверя — флажками, и радости нам прибавил.

Цвет — это что? — извинившись, спрошу художника.
Цвет — это Бог. А не звук? Не шероховатый
Плюш подлокотника? Ласковость подорожника?
Клевером пахнущий день и душистой мятой?

Купол увидим крутой в обрамленье благостном
 Монастыря и в музее — обломок мачты...
 А ничего не увидим — и тоже радостно,
 Лишь бы вдвоем, здравствуй, серенький день, невзрачный!

* * *

Что такое музыка, не знаю.
 Кто мне объяснит?
 В белый зал войду, устроюсь с краю.
 Жизнь, и Смерть, и Жалоба, и Стыд.

Как поют, как нежат эти звуки!
 Многострунный, райский грех.
 Вот сейчас, сейчас под белы руки
 Буду взят и выведен при всех.

Не меня — его! Лицо руками
 Он закрыл и спасся. Я пропал.
 Прямо в сердце, в сумрачное пламя
 Слуховой ведет канал.

Вот чего стесняться надо — слуха!
 Жизнь на всю раскрыта глубину.
 Миг назад на жизнь смотревший сухо,
 Как слезу, с ресниц ее смахну.

В этом смысле все мы однополы,
 Все глядим сквозь райскую листву.
 Вы мне странны, брюки и подолы.
 Андрогин внимает Божеству.

То любовь совсем, совсем другая,
 Без надрыва и обид!
 Гаснет звук. Изгнание из рая.
 Гасят свет. Прощай. Рояль закрыт.

* * *

Л. Петрушевской.

Положиться на Господа Бога —
 Как бы лечь на морскую волну,
 Отдыхая: сильна и пологая...
 А безверие тянет ко дну?
 Или с ним еще легче: не надо
 Каждый день беспокоить, просить?..
 Ах, и верить душа моя рада,
 И не верить, и весело жить.

Но когда под обрывом натянут
 Синий шелк без морщинки на нем,
 И стеной вертикальной обманут
 Взгляд, как в комнате с ярким ковром,
 И какая-то веточка сбоку,
 Как цыганка в цветах, пристаёт,
 Ах, не в Бога я верю, а Богу
 Верю, дышит Он, блещет, цветет!

Я ЧЕЛОВЕК ИСТОРИЧЕСКИЙ

Повесть

Фрося вытолкала мужа за ворота и разом умолкла — оба в полном мире и согласии пошли домой. Там, дома, Кудачкин небось еще добавил и спать лег как человек: в мягкую постель с женой в обнимку. А вот он так один и уснул под поветью — Кира даже не вышла, не посмотрела, где он и что с ним, как будто дала ему полную волю, чтобы он свою душу отвел. Зато утром устроила ему головомойку, спокойно, без шума поставила ультиматум, мол, выбери одно из двух: или ты прекратишь употреблять, остановишься, или она вернется назад к отцу на Каму, оставит его здесь одного — делай без нее все что хочешь... Так что лучше бросай — все бросай: и пить, и парники разводить. Все работают в совхозе, иди и ты. Что ж, послушался жены, пошел на другой день проситься к Кудачкину, чтобы на работу взял.

И вот тут, при такой нехватке людей и скудости жизни, они с женой сгодились, оказались даже на первом месте. Вспомнили, что она фельдшер, что пора уже снять в Ивановке со здравпункта замок, а он сразу занял на удивление аж две должности — ночного сторожа при ферме и пастуха. Когда им предложили, они без раздумья согласились. Ну пусть до здравпункта далековато, на другом краю деревни, Кире ходить через овраг, а ферма ж вот она рядом, в двух шагах — удобно, с какой стороны ни прикинь.

...Там, на Каме, терять им было нечего, скитались по частным квартирам. С тестем жить он отказался — идти в хоромы, что срубил еще дед Остап, «кулацкие», хотя Кира и не хотела уходить от отца, но он настоял на своем, мол, лучше им жить отдельно, своей семьей, самостоятельно, ни от кого не зависеть. Так там и прожили до поездки на целину без своего угла. Да и работой особо дорожить не приходилось. Кире-то еще можно было сидеть в своем здравпункте, возле теплой батареи, в белом халатике, лечить зеков от гриппа. А как ему-то? Подержи-ка в руках целый день пилу, эту «Дружбу», еще зимой, на колоде, поработай в лесу! И длинных рублей не захочешь. И другое, самое основное: Кире на Каме, конечно, было лучше, а вот ему с его биографией ни там, ни тут, в деревне, не мед, всю жизнь как с клеймом на лбу.

Но все же он так тут оказался при двух должностях, а Кире не повезло: через год ее с фельдшерниц попросили — пришла другая, некурящая, непьющая, с дипломом.

На его заработок и жили, хотя могла бы и она поработать на ферме сезон-другой, корма раздавать телятам, но не захотела, мол, не привыкла с бабами ругаться. Уперлась: не хочу, и все. В медпункте бы еще работала, а раз она им не подходит, лучше домой вернется, на Каму, зеков, мол, буду лечить. Ей-то, конечно, легко все бросить и уехать: там ее родина, туда ее больше тянет, а тут для нее все чужие.

Так ведь и тут тогда жизнь его пошла понемногу на поправку, когда он круто урезал свое хозяйство. Это сразу дало облегчение и жене и ему. Прав Кудачкин: зачем надрываться? Утром угнал коров на луг, вечером пригнал, ночь переспал в сторожке, на другой день

то же самое, это если летом. А зимой знай только одно: с вечера проверишь запоры, кулак под голову и так до утра. Работа не бей лежачего.

Какая уж есть жизнь, такой и надо жить... Кудачкин не дурак, раньше его все понял, при всех властях исхитрился под их лад подстроиться, все что мог брал от жизни. Баньку, бывало, протопит, а после той баньки известно, что в таком случае полагается... Да, частенько и его стал в баньку зазывать по-соседски, пока вот не поссорились... Из баньки, бывало, придут, не то от пара, не то неизвестно отчего поразморит их. Утром Кира с Фросей у ворот сойдутся — жены тоже, по их примеру, дружить стали, — так вот станут у ворот, полдня простоят, как ни гадают, никак понять не могут, с чего их мужья захмелели, пока не подглядели за ними да не застучали на месте. В другой раз им уже так не прошло, стали ухитряться когда после баньки, а когда и просто без всякой причины, тайком от жен где-нибудь в кустах интересно было бутылку раздавить... А что? Много сейчас найдется осуждающих, на серого валить. Надо, скажут, бороться. Да всю жизнь только это и слышит: бороться, бороться! Против чего бороться-то? За что? В газетах — да, каждый день борются с «плохими погодными условиями»... А он вот один раз с директором попробовал — семерым заказал. Уже не надеялся выпарапаться.

Никто и не припомнит хуже той осени, как будто небо прорвалось, все дожди и дожди — никакого просвета. Земля уже превратилась черт знает во что, ни проехать ни пройти. А тут еще пообещали, что скоро заморозки начнутся, не то, гляди, и мороз ударит, схватит землю, надо быстрее всеми силами картошку убрать, больше половины ее еще оставалось в земле. Комбайн запустят, и десяти шагов не пройдет — весь грязью забьется, часть выберет клубней, а часть обратно в землю втопчет. Бывало, гонишь мимо стадо — дождь не дождь, а пасти коров и в непогоду приходится, — поглядишь, как эту картошку гробят, сердце кровью обливается. Есть у вас совесть или ее совсем не осталось? На своих небось усадьбах без всякой техники — руками кто еще до дождей выкопал, а кто не успел, и в дождь докапывал, до единой картошины выбирал.

Вот он об этом и сказал подъехавшему на «Ниве» директору:

— Вы что, не видите? Где ваши глаза?

И что Иванова ему на это ответил? Даже как бы по-дружески признался:

— Да нам и в обкоме сказали, чтобы хоть как-нибудь ее, картошку, убрать, по площадям отчитаться.

Вот эти слова он Иванову и припомнил...

Так уж ведется, зря начальство перестраховалось: не успели картошку убрать, всю перегадали, тут и дожди кончились, никаких заморозков, тем более морозов и не предвиделось. Непогодь на удивление быстро, в один день перешла в настоящее бабье лето, хоть запоздалое, но пробилось через ненастье, поразвесило по большью паутину, посеребрило на лугу лозовые кусты, понесло паутину-путанку по ветру... Неделю, ну две от силы, по всем признакам, такая погода продержится, и опять навалится осенняя холодина, надо было спешить, ловить момент...

И зачем ему была нужна та картошка? Пусть бы пропадала, лучше бы в земле сгнила! Своей, что ли, мало? Да чья душа выдержит? Не успеют, бывало, уборку закончить, глядишь, уже все потянулись с корзинами в поле... — здесь где ни ткни лопатой, в любом месте сразу три-четыре, а то и полдесятка картошин выкопашешь. Кто не ленился, по мешку в день домой таскал. И чего Иванов лишь к нему придрался? Почему-то его одного углядел — никого больше. Углядел из машины, газанул к нему напрямую через все поле, хотя бежать он от директора не собирался.

Тут они с Ивановым и сцепились, стали друг другу свою правоту доказывать. Известно: какие могут быть права у пастуха?

— Не твое — не тронь! — кричал Иванов.

По форме все правильно. А если глубже копнуть?

— А чье это? Ваше? Один распоряжаешься...

— Ты мне это брось! Не знаешь — чье? Ты как к общественному добру относишься? — сразу стал учить его Иванов.

— А вы — как? Вам лишь бы на бумаге отчитаться. Что вам, что им — безразлично.

— Кому это — им?

— Там, выше...

— Нет, ты не вилай, прямо говори: кому это — им?

— Обкому.

— Что-о? Что ты сказал? — аж побагровел Иванов.

— То, что слышали!

— Смотри, какой храбрый! С нетрудовыми доходами тебя преценили, так ты из совхоза стал тащить. — Иванов шагнул к корзине. — А ну высыпай!

Иванов собрался поддеть корзину с картошкой сапогом, но натолкнулся на преграду — выставленную перед ним грудь.

— Не трожь!

И то ли Иванов сам споткнулся, то ли еще как получилось, драться с директором он, конечно, и не думал...

— А-а, драться? На меня руку поднимать?..

Сел в «Ниву» и укатил.

А на другой день приехал милиционер на мотоцикле с коляской, не тот, который в прошлый раз у него был, туха-матюха, а какой-то новенький, хотя тож молодой, но не такой разговорчивый, усадил его в свою коляску и увез на виду у всей деревни в район, осталась жена одна стоять у ворот, горевать. Ну, думал, это все, посадят. Так, видно, ему на роду написано: из тюрьмы не вылезать.

Что было дальше — дело темное, затянулось на несколько дней. Привезли его в милицию, затолкали в КПЗ и начали из него все кишки выматывать. Кто знает, может, и сострипали бы дело, нашли бы состав преступления, это им что два пальца...

Но отпустили. Изрядно ему крови попортили, однако оставили на свободе. Просто не верилось, что совсем домой отпустили, значит, чего-то побоялись трогать. Он сразу догадался — чего, не дурак, смекнул, почему следователь, как только он сказал про обком, перестал его больше допрашивать, заносить показания в протокол. «Уведите!» — сказал.

Три дня еще после этого держали в камере одного, морили голодом, пока следователь, наверно, с кем-то советовался, наверняка переговорил с Ивановым, точно не знает, но догадывается.

Вот тут-то он уж отвел душу, когда вернулся домой заросший, грязный из милиции, — все выложил перед женой.

— И как еще тебя оттуда выпустили? — удивилась жена.

— Если бы не выпустили, я и на суде бы это сказал, как они в землю народное добро зарывают, всех бы вывел на чистую воду.

— Ой, гляди! Доболтаешься...

— Иванов первый испугался, что ему в обкоме хвоста накрутят, чтобы знал, где и что говорить. И следователю попало бы, если бы он стал обком в это дело впутывать... Так что не я испугался, а они испугались!

— Гляди, так тебя и испугались! Куда ни толкнут, туда ты и катишься, да все под горку.

Вот так он тогда поговорил с женой, лишь еще больше себе душу растравил.

А с чего он, если вот так, по-честному, пить-то больше стал? Совсем во всем разочаровался? Нет, была все ж и у него надежда,

что эта вот, плохая, жизнь скоро кончится, а та, обещанная, хорошая, придет, еще год-два, ну от силы десять... Но вот сколько уже живет, так конца и края такой жизни не видать. Теперь даже и не верилось, его ли то была жизнь или кого-то другого, которую он обязался запомнить и держать в голове, насильно, как невольник, прожить чужие и не самые лучшие годы. О, если бы можно было сейчас отказаться от своей жизни, выдать ее за чужую.

А может, это сон? Может, это только снится ему? Или он свихнулся, шарики за ролики у него зашли? Нет, не сон это — если бы сон! — а сам он пока что при своем уме. Оттого-то и вся мука, что жизнь его всамделишная, не бред, он свою жизнь знает, какая она от начала до конца, — ничего хорошего в ней не было и уже не будет: снова вот суши сухари...

Теперь-то что скажет Данька? Сестра-то ладно, еще, может, покалает, передачу принесет... А Данька — нет, этот без жалости — все припомнит ему. Как тогда сказал, что и ноги его больше здесь не будет, так за все время глаз к старшему брату не показал. Сестра приезжала однажды, а он нет, всерьез обиделся. Как-то случайно встретились на рынке, а может, не случайно, — Данька его выследил, еще и посмеялся над ним, увидев его среди торговавших зеленью.

А он Даньку и не заметил, как тот подошел, даже вздрогнул, когда неожиданно услышал знакомый голос:

— Почему огурчики?

На него, раздвинув плечом покупателей, глядел его младший брат. Вот и Данька уже стареть начал, как ни молодился в пижонскую одежку — в нейлоновую курточку на молнии и вельветовые брюки, но годы выдавали, никакой одеждой их не прикроешь. Уж хотя бы не прищуривался, меньше бы морщин было, да волосы укоротил бы, пора бы уж подстричься, не мальчик, усы уж ладно, нынче усытых развелось по городам...

Вот пока он разглядывал Даньку, считал у него морщины под глазами, тот схватил с чашки весов огурец, играясь, подкинул на ладони, надумав, видно, почудить над ним поехиднее:

— Так почему огурчики, хозяин?

— Тебе даром отдаю! — ответил он под лад Даньке; пусть не думает о нем дурное, рад его видеть, братья все же... Чего скомошиничать?

Данька положил огурец на место, где взял.

— Даром мне твоего ничего не надо!

Нет, не просто так, не ради шутки-прибаутки над ним Данька изгалялся, — не изжил еще в себе обиду, не переборол ее до конца. Сколько же человеческая душа способна зло на людей держать, если даже от обиды брат на брата так долго освободиться не может?

— Держи! — Данька, изловчившись, так быстро сунул ему в нагрудный карман пиджака червонец, что он потерял сразу ум, стоял как болван. — Все твой!

— Ты что? Что? — пришел он в себя, поспешил вытащить застрявший в кармане этот червонец. — Думаешь, я нищий?

— Может, мало? — Данька моментом прикинул вес, перебрав на весах гири. — Да тут еще с наваром! Там вон по полтора рубля, а я тебе по три, в два раза дороже плачу!

— Да иди ты знаешь куда...

— Нет, ты трудился, и я трудился, ты там, а я тут, ты мне свое, а я тебе свое... Хорошие огурчики! Классные! В магазине такие не купишь! — Данька в мгновение ока ссыпал огурцы с чашки весов себе в сумку и отступил от прилавка.

— Постой! Ты куда? Возьми свои деньги! — Но как ни совал он десятку обратно Даньке, не мог через прилавок достать до него. — Если уж так, то плати как все, так и ты. Чужого мне не надо!

— Говори! Знаю я вас, куркулей!

— Каких «куркулей»?

— А таких... Каких ты себе там, на Каме, родственничков нашел! Известно, с кем поведешься...

С Данькой уж они наговорились вволю при второй встрече лет через... Сколько? Точно сразу-то и не подсчитаешь сейчас, но долго что-то они не виделись после той встречи на рынке... Данька сам к нему заявился в деревню, но так получилось, что опять поссорились, теперь уж, наверно, на всю жизнь.

Он увидел Даньку с бугорка, на который незадолго перед этим присел отдохнуть, пока коровы дружно держались травы, не разбредлись куда попало. Далеко еще заметил, но сначала не опознал, только когда взгляделся, подпустил поближе, вот тогда-то — что за диво? — угадал, кто это шел сюда такой не по здешним меркам одетый. Видно, что-то стряслось у него, раз примчался сюда — не усидел в городе.

Данька молча присел рядом на бугорок, брату даже «здравствуй» не сказал, будто каждый день с ним по двадцать раз виделся, а не раз в пять лет и то по заказу. Цепким взглядом обвел коров, зная, сохранилась старая привычка, усвоенная в детстве, отвернулся. Посидел молчком, поглотал власть свежий воздух — дорвался как до бесплатного! Потом завалился навзничь, раскинул в стороны руки, ноги, полежал, поглядел с насмешливым прищуром в небо.

— Понятно, — начал Данька. — Теперь мне все понятно!

Что ему было понятно? Не ожидал увидеть брата опять в пастухах?

— Ладно, давай сначала вот... — Данька выкинул из сумки на траву «Пшеничную» щедрым заученным жестом. — Что, мы плохо живем или мало кому должны?

Что умел, то умел Данька, — сделать красивый жест. Вслед за «Пшеничной» из сумки на траву вывалился килограммовый кусок колбасы в целлофане, полетела банка шпрот, упал длинный зеленый огурец...

— Почему сейчас?

— Дешевка — по два рубля, — небрежно обронил Данька. — Ты б небось дороже заломил?

— Да, хорошо, что напомнил... На вот твои... — Он суетливо полез рукой за пазуху, вытащил мятую-перемятую, потерявшую свой цвет десятку. — От Киры уже какой год прячу...

— Так я тебе и поверю! — засмеялся Данька. — Скажи уж честно: не успел к Нюре отгнестись...

Думает, старший брат алкашом стал... Откуда Даньке было знать, если он годами тут не появлялся? Небось уж Кира пожаловалась... Теперь что же, и Данька за него возьмется? Чего же он тогда к нему с бутылкой пришел? Не нужна ему его выпивка, если так. И десять рублей пусть свои забирает...

— Ну вот... Пока я не пропию — возьми...

Не успел он это проговорить, как Данька нацелился на деньги, цап их — и в свой карман.

— А давай, пригодятся! Все одно что на книжке пролежали! — чему-то даже обрадовался он.

Вот тут и взяла на Даньку обида — никак от него такого не ожидал. Изменился за это время и Данька. Куда и гонор девался! Скорей всего сам небось там, в городе, алкашом стал, а на других говорит. Жена в торговле работает, на продуктах каждый день хоть что-то, да выгадает, меньше на питание денег уходит. А Данька что из завода вынесет — кусок железа? Какая с железа польза? Грызть будешь? Но зарабатывать Данька прилично — две с половиной, а когда и три сотни выгонял, как он хвастался. Вот и шикует: некуда деньги девать. А тут на эти десять рублей позарился... Пусть тогда

один пьет и закусывает, раз так, посмотрим, кто из них алкаш, а кто...

Конечно, от первой рюмки отказываться не было смысла (у Даньки в сумке и стаканчик нашелся), одну пропустить можно было за встречу, положено. Ну и от второй греха большого не будет... Но после третьей поставил себя твердо, как Данька ни старался — бесполезно его уговаривать, больше ни грамма. Однако из головы не вышло: так чего Данька приехал? Мириться или просто пображничать тут, на природе, чтобы жена не знала? Нет, что-то с Данькой и впрямь происходит, но вот что, без пол-литра тут действительно не разберешься.

— Ты думаешь, чьих коров пасешь? — вдруг спросил Данька.

Ну не своих же, это и дураку ясно. Но Данька долбил ему одно и то же:

— Ты скажи точно: чьих ты коров пасешь?

— Не знаешь — чьих? Совхозных.

— А вот подумай! — Данька весь загорелся, наострил уши, глаза. — Не бойся. Ответь мне, только честно, без этих самых...

— Ну, чьих?.. Ничьих, если ты этого хочешь.

— Нет, ты моих коров пасешь! — торжествовал Данька. — Моих ты коров пасешь! — заладил он, показывая рукой на стадо. — Это мои коровы! Понял, нет? Еще не понял? Доказать? Нет, кроме шуток, хочешь, докажу?

— Ну, докажи.

— Ты молоко пьешь? — тут же спросил Данька.

— Где я его возьму, молоко-то? У меня же давно коровы нет.

— Знаю, что нет. Думаешь, я ничего про тебя не знаю? Знаю! Но я сейчас про другое... Ты вот этих коров пасешь, сам-то молоко от них пьешь? Скажи, пьешь или нет?

Хотел было сказать ему: «Я же не собираюсь их доить втихаря, как ты когда-то...» — но хорошо, что сдержался.

— Чего молчишь? Трудно ответить? Так пьешь ты это молоко или нет? — напирал на него Данька, кивая на коров. — Ответь коротко: да или нет?

— Ну, нет.

— А я пью! Соображаешь?

Данька рад был, как дурачок: решил, что больше объяснять не надо, умный человек и сам дальше поймет.

— Я в любой день пойду в магазин и куплю! — хвастался он. — Теперь понял, нет? А ты что тут, в деревне, видишь? Молоко, творог, сметану? Масло, сливки ты видишь? Фигу ты тут видишь! А мне в магазин, будь добр, доставь каждый день да все свеженькое! Молочные продукты в первую очередь! А не доставишь — неизвестно что еще будет, понял? Выйду я на работу или нет.

— Хочешь сказать, что я для тебя тут коров пасти нанялся? Так, что ли?

— Ну дошло! Наконец-то дошло! — хохотнул Данька. — Только сейчас... Кто умный, тот это уже давно понял!

— А я, по-твоему, значит, дурной?

— Гляди, обиделся! Вот на таких дураках и едут! Коров вон сколько пасешь, а что ты от этого имеешь?

— То, что я коров пасу, за это я деньги получаю.

— Какие деньги? У нас на заводе уборщице больше платят!

— А куда мне эти деньги девать, солить, что ли?

— Что я слышу? — вытаращился на него Данька. — С каких это пор тебе стали деньги не нужны? Это что-то новое!

— А зачем стараться? Работать на чужого дядю? Сам сказал, что я для таких, как ты, коров пасу.

Дальше — больше. Он Даньке слово, Данька ему — два, он Даньке — два, а Данька ему — десять. Из-за чего, спрашивается? Да не

из-за чего, казалось бы. Вроде бы во всем водка виновата, но на проверку вышло, что Данька сам стал прикладываться не меньше его, а вот отчего — это вопрос. От хорошей жизни загулял, так выходит?

Хорошо, что в бутылке осталось, — Данька не успел допить: психанул и ушел со своей музыкой на автобус. Не выливать же водку на землю — она деньги стоит... Как только Данька скрылся с глаз, схватил бутылку да и выпил остатки прямо из горла. А пустую посуду забросил в кусты: тут, в деревне, и сдавать ее некуда...

Если судить по солнцу, пригонять стадо на ферму было еще рано, однако он остервенело стал хлестать кнутом, заворачивая коров назад — все, на сегодня хватит! Хоть обижайся на Даньку, хоть нет, а в словах его была доля правды: только на таких, как он, дураках, еще и едут. А далеко ли уедут? Вот и он, как видно, приехал, кончилась его дорога, уже виден край...

После той встречи с Данькой изменилось ли что-нибудь в его жизни к лучшему? А с чего тут оно должно было меняться, если ничего кругом не менялось? Поглядеть, так ферма все та же, коровы все те же и Нюрин магазин все такой же, полный одной водки да «червивки». И вот умер Брежнев, вместо него стал Черненко... Нет, Андропов. Но тут и он умер, поставили Черненко. Так все быстро пошло, что Иванов не успевал в своем кабинете портреты один вместо другого вешать. Ну, а в остальном что изменилось? Только у Нюры в магазине крутые перемены произошли — по одной водке и можно судить: не успела при Андропове дешевая до них дойти, как сразу при Горбачеве опять все цены перекрутили, да еще как! Кому-то, может, действительно на пользу, а ему и тут вот во вред...

Неужели кто-то там, наверху, всерьез думает, что он сразу пить совсем бросит? Или, может, решили уже списать? Одним махом от таких избавиться? Чтобы долго с ними не возиться? Дешевле государству обойдется? Никому они уже не нужны? Что же им остается делать — на самогонку переходить полностью? На преступление идти? Пропадать от разной отравы? А что, может, и правда? Все алкаши перемрут в одночасье, а на замену другие народятся, непьющие? И маковой росинки в рот не возьмут? Одна на молодяк опора? А они, кто сейчас еще живет, порченный народ. Не только водкой — всем, что ни возьми? Кудачкин сколько дохлых телок в магазин сбавил? За всю свою деятельность... Бывало, телка еле дышит, а то и совсем уже копыта откинула, но он приходит и говорит:

— Прирежь. Кто знать будет? Тихо.

Прошлой зимой телку и двух бычков таким макаром оприходовал, весной еще трех околевших сбыл. А раньше? Да не было такого года, чтобы Кудачкин чего-нибудь не схимичил, одно отпишет, другое припишет, — все норовил как ему выгоднее. До этого с Кешей что хотел, то и творил, пока Кеша с перепоя не повесился в саду на проволоке. Так только говорят: с перепоя, а там кто ж его знает, с чего. Мертвые молчат, а Кудачкин теперь разве ж признается? Тут и без слов ясно: что-то не так. Не из-за чего человек не станет вешаться — была, значит, серьезная причина. Скорее всего что-нибудь грозило, не меньше как тюрьма. Не может быть, чтобы такого, как Кеша, совесть заела. Кудачкин весь с головой в грехах завяз, и черт его не взял — живет и здравствует, вешаться не собирается. Была у таких совесть, как же! Ну может, когда-то и была, почему ж нет? У всех когда-то была совесть при рождении. Или сейчас еще в материнском чреве совесть терять стали? Была и у Кудачкина совесть, когда он пацаном по деревне бегал без штанов, кричал на длинного Семена Перепечкина:

— Дяденька, достань воробышка!

Бегал следом до тех пор, пока Семен Перепечкин (первый тракторист в Ивановке, убит был под Гомелем при отступлении немцев), — вот до тех пор бегал за ним, дразнился, пока Семен Перепечкин не пой-

мал его да не посадил голой попой в лужу. Вот был рев на всю деревню! Дома отец-то, Иван Прокопьевич, тоже погибший потом в партизанах, ему еще ремнем всыпал так, что тот три дня не мог сесть, чтобы на всю жизнь запомнил, как к старшим приставать. После этого Семен Перепечкин на самом деле поймал ему воробышка, дал подержать в руках, затем попросил выпустить его на волю. Так они стали даже большими друзьями, несмотря на разницу в десять лет. Кудачкин больше так не дразнился, перенял от Семена Перепечкина манеру говорить «тихо», приучился под его присмотром к технике, стал вникать в секреты взрослых.

После войны при мужском малолюбье Кудачкин быстро набрал силу, под начальством сына Доброва выдвинулся в бригады, а при Иванове поднялся еще выше — взял в свои руки весь Ивановский куст, до самой пенсии тут и провело. Где была совесть, там хрен вырос. Если бы мог встать из могилы Кеша, он бы еще не то про Кудачкина сказал. Небось вернувшись с того света, уже не побоялся бы — все рассказал...

Что стоило Кудачкину с его опытом и его в это дело втравить? В первую же зиму, как он начал сторожить на ферме, не прошло и недели, приказал:

— Иди там... Шкуруними, тихо.

Стал было отнекиваться с первого раза:

— Да я не мастер...

Но Кудачкин отставил:

— Освоишь, тихо... Заболела чем-то, пришлось прирезать в срочном порядке. Не пропадать же мясу. . Потом заактируем, тихо. Приедет зоотехник...

— Ну, может, кто бы другой? А то я пока того... это...

— Больше никому. Давай поживей! Остынет, труднее лупить будет.

Тогда, первый раз, без сноровки, он изрядно помучился, пока освежевал телку, которая да, уже так окоченела, что не отодрать кожу, видно, подохла еще с ночи, никто ее не прирезал. Испробовал на ней свой самодельный нож из нержавейки, что сохранился у него еще с лагерной поры, и на целине — везде с ним побывал. А Кудачкин на это время куда-то скрылся, появился уже под конец с оттопыренным карманом полупальто из бобрика — до того пообношенного, с мятыми полами, будто их телята пожевали, — будет тебе Кудачкин на такую работу ненадеванное носить! А этого не жалко. И вместибельное...

— Ну вот, а говорил: не умею! — похвалил он, оглядев тушу. — Мой руки, идем вот... Тихо. Пока зоотехник не приехал.

Придерживая оттопыренный карман, Кудачкин завел его в укромный уголок фермы — тесную каморку, где хранились под замком ветеринарные причиндалы: грязные пробирки, разные банки-склянки, резиновые трубочки — всякое отжившее барахло в паутине. Слышал он, для чего еще служила Кудачкину и его окружению эта каморка, но заглядывать сюда пока не подворачивалось случая. И вот теперь Кудачкин сам посвящал его в эти тайны, значит, доверял. Тут и стаканы сразу нашлись под столом, спрятанные от посторонних глаз: могло сюда и повыше начальство заглянуть.

Кудачкин только дунул в них ртом и поставил на стол — где же их тут помоешь? Да и не звери же какие-нибудь, а люди из них пили — зараза к заразе не пристанет! Продезинфицируется...

Вот так они с Кудачкиным и прокумались с глазу на глаз в этой каморке, захлавленной по самые уши, но с каким-то своим диковинным уютом, который после стакана водки вообще показался совсем родным. Он и придремнул тут, возле стола: не столько водка взяла, сколько сразу усталость свалила — ночь не спал, сторожил, да пока с этой телкой разделался, последние силы израсходовал. Чушек он освежевал за свою жизнь не пересчитать, а вот телок... Всего-то и при-

шлось пару раз, и то уже давненько. Сейчас-то, конечно, напрактиковался у Кудачкина за эти годы, что на ферме сторожит, с любой животины шкуру содрать — это ему что раз плюнуть, потроха выпустить... Ну, а тогда первый раз после такого дела сразу с ног свалился. Лишь на минуту, казалось, и свел-то глаза прямо тут, в каморке, и вот снится ему сон, будто эта телка, дохляя, ожила натурально. Стоит, вся дрожит, как новорожденная, но без шкуры, совсем голенькая, кровь с нее так и течет ручьями и все ему на руки... Да, уже все руки у него по самые локти в крови, а ей, телке, хоть бы что, только смотрит на него большущими голубыми глазами, вокруг этих глаз кровавое мясо. И тут она как боданет его под дых рогами, что он тут же проснулся, но ничего еще не понял.

— Родя! — Такое укоренилось за ним с детства имя, от фамилии Родин, кто-то первый брякнул, и пошло, будто у него своего имени не было, один дед Евсей и звал его Тимкой, из чужих. — Родя, проснись! — все толкал его Кудачкин. — Да проснись ты, тихо!

Еле он разомкнул глаза, очулся. Чего это он, действительно, тут спать устроился?

— Скажешь: ты ее сам зарезал еще живую, — громко, над самым ухом, точно он глухой, проговорил Кудачкин. — Еще живая была, понял? Тихо! Мол, заметил утром, доложил мне... Тихо, тихо! Так и скажешь, если, конечно, спросят. Понял? Молчи, тихо!

Он и так молчал: не до этого было — спать хотелось, глаза сами закрывались. Только бы добраться сейчас до дома да взгромоздиться на печь.

— Так ты понял, нет? — повторил Кудачкин. — Чтоб только тихо, ни гугу!

Он и на это ничего не ответил, поднялся, кое-как переставляя ноги, поплелся из каморки.

В тот день он, конечно, больше не понадобился Кудачкину. Первый раз ему, что ли, отчитываться перед зоотехником за падеж скота? Ставить штамп на дохлятину?

— Люди — не свиньи, все поедят! — говорил он посмеиваясь, когда удавалось сбить мясо в магазин. — Только тихо!

Редко когда выбрасывали в овраг — это уж с каким-нибудь сильным отравлением, так случится, что Кудачкин прозеваает, когда уже ни в магазин, никуда. Другой на его месте уже давно бы в тюрьме сидел, а он вот всю жизнь ловчил, и еще с почетом на пенсию проводили, подарок преподнесли — электрический самовар где-то достали. Тут их, таких самоваров, сроду не было ни в одном магазине, но вот для него постарались — раздобыли по блату. Известно, чем выше кто сидит, тем больше у того связей — все могут достать. Самовар для них — это мелочь, просто нынче мода такая пошла — самовары пенсионерам дарить, чтобы поменьше в бутылку заглядывали: пора, мол, на чаек переходить... Так это тебе Кудачкин и перейдет на один чай, жди!

— Народ найдет выход, — не унывал Кудачкин. — Наш народ немец не боялся, а то родной милиции побоится? — подбадривал мужиков Кудачкин. — Только тихо!

Сам-то он и раньше старался без магазина обойтись — нет-нет да и приладит в баньке таганок...

Что теперь на Кудачкина сваливать? Ему-то сейчас что? Он на пенсии, живет и в ус себе не дует. До ста лет еще проживет: такую шею откормил! Жрать ему, что ли, нечего? Хозяйство вон какое, корову держит... А на него говорил! И выпить, если захочет, всегда найдет, верно: всю милицию вокруг пальца обведет.

А как вот ему из положения выйти — где Макар телят не пас, там уже и помирать, оттуда не выбратся.

Он уже часа три, до полуночи, протоптался на месте в полном одиночестве, без собаки, высматривая ее по сторонам среди ночных теней, резко поворачиваясь на малейший шорох, не похожий на возню

коров за кирпичными стенами, и, потеряв всякую надежду, сторбясь, потащился в обход фермы к красному уголку в расчете на то, что еще может где-нибудь показаться Волкодав.

И так подошел к двери, последний раз наудачу оглядел все кругом фермы, вытащил из скобы дужку замка, который набрасывали просто так: куда-то дели ключ уже давно, и кто — концов не найдешь, а новый замок кому это надо было за свой счет покупать... Да и что тут было запирать? Одни голые стены да разбитый телефон на столе. В любое время кому вздумается шли сюда, сами открывали, звонили — делали все, что хотели.

Теперь, сняв с дверей замок, он приоткрыл ее и ощупью добрался рукой по холодной, шершавой штукатурке до выключателя, но неоновая трубка на потолке не загорелась. Он пощелкал выключателем, да хоть бы что. Странно, у коров свет горит, такие же трубки подвешены, а тут, в красном уголке, нет, темно, хоть глаз коли. Целый год эта трубка светила безотказно, а вот сегодня, когда ему никак нельзя без света, — отказала.

Он осторожно, чтобы не наткнуться в темноте на что-нибудь, прошел к столу, наугад протянул руку, где должен был стоять телефон, попал прямо на трубку, снял ее, поднес к уху — занято: частые короткие гудки. Попробовал несколько раз подряд нажать на рычаг — то же самое. Набрал в темноте по памяти номер диспетчерской совхоза, но и после этого гудки не исчезли. Что ни делал с телефоном: и тряс его, и стучал по нему — пищит как комар, и больше ничего. Нет, что-то тут подозрительно: не может такого быть, чтобы сразу, в одну ночь и свет, и телефон — все само по себе испортилось. Хотя, правда, телефон отказывал тут по пять раз на дню, в совхоз редко когда сразу попадешь, а до района вообще ни в жизнь не дозвонишься... Скоро уже утро, но неизвестно, что еще может случиться без света, без телефона... К одному горю прибавится другое — беда в одиночку не ходит. Ну, с телефоном могло само стать, а вот свет сам не мог отключиться — сделано на вред, тут и сомневаться не надо.

Он крадучись, по-кошачьи, неслышно вышел опять во двор и ахнул: от него в трех шагах сидел Волкодав — вернулся! Он тут же хотел броситься к собаке, но подумал: не спугнуть бы? И стал потихоньку подбираться к ней, с ласковым заискиванием: «Ну, не бойся, не бойся... Ну, иди сюда! Иди, дурачок ты мой... Я же тебя жалею. Ну, что смотришь? Не веришь? Ну, здравствуй! Где пропадал?»

Уже дотянулся рукой до крутого загровка, запустил пальцы в жесткую, плотную шерсть, посмелее потрепал уши. И пес не отскочил от него, как в тот раз, а тоже отозвался на ласку лаской, прижался к его ногам, сдержанно повилявая хвостом.

И он, не зная как, вдруг заплакал, становясь прямо в грязь перед собакой на колени и тычась лицом в вонючую шерсть. «Ну будет, будет тебе лизаться, — проговорил он, быстро справившись с вновь подступившими слезами. — Хватит, хватит, — повторял он, еще крепче обхватывая пса за шею. — Ну, хватит! Хорошего понемножку!»

Он легонько оттолкнул от себя собаку и резко, сразу посерьезнев, выпрямился. И тогда пес тут же прыгнул ему на грудь и лизнул в лицо, еще раз, другой и третий, пока тот уворачивался, стараясь сбросить с груди его лапы. «Ну, все, все! Не лезь! Отстань! — говорил он с напущенной грубостью. — Ну, кому сказано? Замри!»

Приказав собаке, он и сам тотчас умолк, к чему-то прислушиваясь. Как же все-таки бывает тихо в деревне, так тихо, ну просто до жути, если бы не шорох мелкого дождя, волосы встали бы на голове дыбом, не от страха, нет, он, без похвальбы, не боялся нигде ходить ночью, распознавал любой звук, не дрогнув, тут же шел прямо на него. А вот сегодня тишина впервые насторожила его.

И от этой жуткой тишины, от всех темных углов с шевелящимися теньями, от медленно тянувшихся ночных часов — от всего неясного,

умышленного, что могло произойти в эту ночь, у него напряглись мышцы, по телу вместе с кровью прошла горячая дрожь.

— Жди, сейчас вот-вот кто-то придет,— произнес он шепотом, наклоняясь к собаке.— Свет нам отключил, связь оборвал, думает: мы ничего не понимаем, спокойно спать будем. Мы тоже кое-что соображаем...

Он заранее просунул руку в карман, нащупал старенький перочинный ножик, которым вскрывал консервные банки, резал сало, хлеб — все, что придется, когда садился наскоро перекусить в поле или на ферме. Жаль, что не прихватил с собой сегодня тот, побольше, из нержавеющей стали. Вот тем бы если уж пырнул... «Ладно, и этим... Пусть только кто сунется!»

Подцепив ногтем сточенное узкое лезвие, он выставил его перед собой и так, с ножом наготове, двинулся вдоль коровника. «Ишь чего — мяса захотели! — приглушая голос, говорил он собаке, которая теперь не отставала от него ни на шаг.— Я вам покажу мяса! Я вам дам говядинки, подавитесь!» Он угрожающе скрипнул зубами, придавая себе смелости, чтобы не упасть в глазах единственного его свидетеля — собаки.

Обошел с собакой вокруг фермы, не обнаружив нигде ничего подозрительного, остановился, спрятался в тень, приказав сидеть у его ног и Волкодаву — не высовываться на свет, падавший от фонаря. С этой точки можно было незаметно наблюдать за всеми подступами к ферме, пока не затекут от долгой стоячки ноги, не промокнет спина...

Чтобы совсем не задеревенеть, он переступал с ноги на ногу: с час, наверно, уже простоял без движения, да и спину холодило — дождь брызгал и брызгал с темного неба, брезентовая куртка тяжелела и тяжелела на плечах, еще пождешь столько — и весь насквозь промокнешь.

И что только не придет в башку! Как постоишь ночь в карауле, всему критику наведешь, до самых верхов доберешься... А вот как ему наказания избежать за капусту, так и не придумал. Хотя бы пожар случился или началось наводнение — любому стихийному бедствию он только был бы рад, как своему спасению, не раздумывая кинулся бы в огонь и в воду, пусть бы даже погиб смертью храбрых или остался жив, это лучше бы, конечно, чем погибнуть, так и не узнать ничего... Но то-то и оно, что так бывает только в сказках. Не поджигать же ему самому ферму — устраивать для себя пожар! И с чего бы быть наводнению — с этого дождика? А если и вор не залезет сегодня ночью?..

Нет, у него только и осталась надежда на вора.

Вор — это верняк, кто-нибудь да, глядишь, решится на воровское дело... Костик или Аверьян — что тот, что другой на все способны. С Аверьяном уже было дело: украл телку, когда еще Кеша здесь сторожил, хорошо, сразу хватились — одной утром недосчитались, быстро милицию вызвали, дозвонились с фермы; Аверьян не успел телку до другой деревни довести на веревке, как его милиция перехватила на подороге. И что ему? Судили? Нет. Даже не стали в суд подавать — простили на первый раз. Ну а что, если бы посадили за решетку, а у него детей куча? Пришли, глянули, кто не знал, подумали: детский сад — одни по полу ползают голышом, сопля пораспукали под носом, другие на печке сидят, кто ноги свесил, кто из-за трубы выглядывает. Встал вопрос: кто такую ораву кормить будет? Что выгоднее для колхоза? А тогда тут еще колхоз был, это при Хрущеве еще. Ну, думали-гадали, решили отступить — дешевле колхозу обойдется.

Таких семей, как у Аверьяна, нынче разве что только там у этих... Как их, киргизов, развелось. И еще у этих... таджиков тоже, говорят, семьи большие в деревне, вообще в наших азиатских республиках с ростом населения туда-сюда, не отстают друг от друга. А тут у нас на всю округу уже ни у кого столько детей не найдешь. У Аверьяна дети давно все повзростали и поразъезжались по горо-

дам. Теперь Аверьян долеживает на печи свои последние преклонные годы в пустой избе, в которую страшно войти — не перелезть через порог от грязи, сползает с печи, когда уже становится невозможно терпеть голодное бурчание в животе, а голова начинает просветляться после глубокого похмелья. Спрашивается, чего только старался, детей наживал? Чтобы одному в старости на печке помирать с голодухи? Аверьян все, чем ни разживется, пропивал. Такой-то всеми брошенный человек опаснее всего: пойдет на все. И от Костика все можно ожидать, хотя он и под присмотром дочери, которая вернулась после смерти матери в деревню, нагуляв в городе ребенка... Да почему только Аверьян и Костик? Любой может на ферму залезть, и не углядишь.

Вор сегодня просто не имеет права не прийти, нужно только быть еще внимательнее, не спускать глаз, притаиться в укромном месте — подпустить поближе, схватить покрепче за шиворот, связать по рукам и ногам, притащить на себе прямо директору в контору и отдать живьем в руки правосудия — сполна искупил бы свою вину. Глядишь, и директор подошел бы к нему по-другому — списал бы капусту, да и все тут. Мало чего у нас списывают?

Так тянулся час, другой. Наверное, опытный вор, не он вора выследил, а вор — его. Нужно уйти в красный уголок, лечь, притвориться спящим. Раньше он все время так и делал — запирался в красном уголке и не выходил без особой нужды до утра. Он спрятал ножик в карман, когда затянувшуюся ночь стал одолевать мутноватый рассвет; неоновые фонари на столбах вокруг фермы постепенно потускнели, и без них все уже было видно за версту. Пес давно дремал возле входных ворот на привезенной для подстилки соломе; коровы с наступлением дня задвигались по рядам, тыкаясь в пустые кормушки, самые нетерпеливые замычали — подходило время кормления.

Чтобы ни с кем не встретиться, он пораньше, сразу после дойки выгнал коров на луг; при хорошей-то погоде не выгонял так сразу, а в такую отвратительную мог бы совсем не выгонять — простояли бы день на фуражке. Сам остался голодный, не пошел завтракать: только сунься домой — жена опять начнет прорабатывать, хватит без нее воспитателей; поскорее бы смыться от начальства: теперь будут полоскать мозги, только попадись на глаза.

Да и что для него завтрак? Голод он за свою жизнь привык переносить, не впервой ему голодать с утра до вечера, как побегаешь день за коровами — собаку съешь. Голодовка ему сегодня, может быть, и на пользу. А вот от чего он действительно страдал, вынужден был мучиться — так она, эта боль, сама по себе уже и прошла бы, если бы не бессонная ночь...

Он скрипнул зубами, нет, пусть голова хоть расколется — не возьмет в рот больше ни грамма. Он свой ум еще не пропил совсем, голова его хоть и болит со вчерашнего, но соображает — ей, голове, нельзя сейчас позволять себя одурманивать, когда ему грозит такое будущее, какое было у него прошлое...

Он наклонился к собаке, она жалась от холода к его ногам, погладил по мокрой шерсти. «Я, может, совсем бы пить бросил, — проговорил он, как бы принимая выстраданное за сутки решение. — А что? И бросил бы! Не веришь? Водка, вишь вот, еще никого до добра не довела. Если б же мы ее пить умели, а то никакой себе меры не знаем. Никто нам силой в рот не льет, не хочешь, не пей вообще, а если так уж хочется, не жадничай, свою норму выпил — и хватит. А то ж сколько ни есть, всю надо до дна выжрать, хоть и не лезет уже. Кто культурно до этого пил, тот и сейчас потихоньку употребляет, беды нет, хотя вопрос как стоит? Всех прижать. И культурно пить запрещается».

— Что смотришь?— спросил он собаку, морщась от головной боли.— Удивляешься, что и культурно пить нельзя? А жить некультурно можно? Не знают, что ли, как мы с тобой живем? Ты вот весь день со мной коров пасешь, засохший кусок хлеба проглотить тебе, собаке, ничего. А мне каждый день всухомятку знаешь, как оно — в горле кусок застревает, не протолкнуть. Чем это может кончиться? Не знаешь? Еще хорошо, если только язвой, а как раком? Это тебе сразу конец, месяц-два, ну, от силы год, если вовремя хватишься — и все, вечная тебе память. А вот ежели к этой сухомятке вина там или еще чего покрепче, глядишь, оно и не во вред, нормальное пищеварение, по всему желудку одна благодать, как от тарелки горяченького...

Он выпрямился: долго не мог стоять нагнувшись, ломило шею — откуда быть здоровью?— посмотрел сверху на собаку, как будто разговор с ней помогал лучше оценить свое положение, отделить свою вину от чужой, когда начинало казаться, что не такой уж ты и плохой, что много в тебе и положительного, не сразу это положительное в себе найдешь; но стоит покопаться глубже... И достаточно будет на первый раз простить — в лепешку разобьется, а постарается оправдать оказанное доверие. «А что? Думаешь, не оправдаю?— снова обратился он к собаке, сам начиная верить, что, если директор отнесется к нему по-божески, он точно пить бросит, завяжет совсем.— И думать нечего! — заявил он решительно.— Если скажет директор: выбирай тюрьму или...»

От этой мысли у него даже лицо загорелось: действительно, чтобы из-за этой проклятой водки опять садиться в тюрьму? Да пусть она лучше стогит синим пламенем! Хоть ее не будет совсем! Закроют все спиртные заводы, повесят замки на все винные магазины, объявят везде по стране сухой закон! Бросить курить действительно очень трудно, а для многих и невозможно. Попробуй вон Киру отучи от курения! Кашляет как в бочку, а не бросает. Он тоже пробовал бросать курить хотя на время, когда заболел в лагере бронхитом, но не хватало силы воли...

Вспомнив про курево, он тут же полез под брезентовую куртку, где прятал от дождя пачку «Примы» про запас, — одну уже выкурил за ночь... Да, вот от этой заразы труднее всего отвыкнуть. А чтобы от водки нельзя — в это он не поверит, можно найти в себе силу воли, если, конечно, ты совсем не того... не допился до лечебки. Вон Каплун уж на что был любитель, а как врачи сказали, что у него рак, так и пить сразу перестал, хотя это уже не помогло ему... Человек до последнего дня надеялся, что выживет, даже перед смертью в рот не взял, когда ему предлагали приехавшие по телеграмме сыновья, зная, что их отцу уже все, конец. Чудак, хоть бы напоследок пожил в свое удовольствие!

Опять он отвлекся в сторону... Каплуну уже ничего не надо — лежит спокойно под ракетками, куда после него уже не одного такого отнесли. Пополняется деревенское кладбище, растет безостановочно. И все засчет вот таких, не старше сорока — пятидесяти лет, реже за пятьдесят. Как за полсотню перевалило, так еще протянет десяток-другой, кто здоровьем покрепче оказался. И в то же время возьми старшее поколение — почти половина стариков кому восемьдесят, кому девяносто, а кое-кому и сотня без малого наберется. А молодые мужики мрут как мухи. С виду вроде здоров был, щеки красные, огнем горели, кажется, сносу такому мужику не будет, а он раз — и готов, нет его. Чуть лишнего выпил — и все, поминай как звали. Гнилой пошел нынче народ, хилый. А у этих стариков ни сердце не болит, ни давление — ни на что не жалуются. И память у них крепкая — все помнят, кто сколько войн прошел, о коллективизации тебе все подробно расскажут — о чем ни спроси, на все у них найдется ответ. Эти старики всех в деревне попереживали, хотя через

все прошли, и по рюмке сейчас выпьют, и ничего им. Скоро они отомрут до одного, кто тут останется?

Дождь к утру хотя и перестал, но не надолго. Это уж не быть погоде ни сегодня, ни завтра, всю неделю такой мелкий и будет сыпать, превращать все в грязь. Солнце только на какие-то секунды прорвалось сквозь тучи, хоть и вернуло людям день, но не в силах сделать больше: слишком велик из туч заслон для его лучей на пути к земле, потому-то и получается день серенький, похожий на осенний; холодеют и мокнут в сплошном тумане поля, луга и леса; затаялись, примолкли деревеньки; притихли, не поют птицы, попрятались в подворотнях собаки, не гуляют по улицам куры, гуси, не пасется, стоит понуро скотина.

Стараясь расшевелить коров, он щелкал кнутом по делу и без дела, лишь бы подвернулась какая-нибудь зазевавшаяся телка, не замечая, по привычке матерился, сгоняя стадо в овраг на траву, уводя подальше от деревни, с виду, чтобы никто не набрел на него незная, если даже кто искать будет, то поищет,— только бы как-нибудь протянуть день да вечер, когда он уже никому будет не нужен, кроме как коровам, с ними опять пойдет в ночь,— все отложится до завтра...

А что может произойти? Чего еще ждать? Зачем он вообще погнался сегодня пасти коров? Хотел скрыться? Надо будет — из-под земли достанут! Не этот бы дождь, уж давно бы директор прикатил на «Ниве», да дождь за одну ночь так расквасил дорогу, что и на «Ниве», видно, не рискнул. Хуже всего неизвестность. Сколько же эта пытка протянется, пока не кончится дождь? Когда был нужен, все ждали его, видя, как прямо на глазах вяла картошка, засыхали грядки, совхозная рожь раньше времени начинала желтеть, чахла на корню кукуруза, выгорала свекла — вот тогда дождь не шел, одна капля упадет с неба, на лету высохнет, и ничего нет. В июне разок как побрызгал, так больше и не видели, жара стояла невыносимая. А теперь, к уборке, спохватился. Для чего старался, нешто просили его? Где-то же хранилась эта вода, за один раз вылилось ее столько, что на все лето хватило бы, придерживайся там, в небесной канцелярии, нормы поразумнее, вовремя отпускаяй земле свои накопления. Вот и в природе нет порядка — есть нарушения: то пусто, то густо. А что уж о человеческой жизни говорить!

Ладно, хватит рассуждать, надо гнать коров назад, не мокнуть на дожде. Чего унижаться, прятаться от всех? Что по его вине случилось, за это он ответит. Но и другим не поздоровится, на суде он выскажет все — молчать теперь не будет...

И он с матерным криком стал выгонять коров из оврага на горку, направляя к ферме.

При самом выходе из оврага, куда поднялся с собакой за стадом, неожиданно натолкнулся на соседа. Кудачкин, видно, тоже только что преодолел овраг и решил отдохнуть тут, на горке, любуясь с ее вершины красивым видом на речку, прежде чем пойти дальше по грязной улице. Почему бы и не полюбоваться природой, когда самый трудный путь уже пройден, не вздохнуть, сняв с плеч сумку с хлебом? Видать, и Кудачкина прижали корма — набрал буханок на всю неделю из такого расчета: пока привезут свежий, этот хлеб зачерствеет и пойдет скоту.

Так уж, знать, велось: на кого глаза бы его не глядели, с тем и встретился носом к носу.

— Пасешь? — не здороваясь спросил сосед, точно они сегодня уже виделись, но стараясь показать свою отзывчивость.

— Пасу, — ответил он, как и Кудачкин, обойдясь без приветствия и сразу поглубже прятая свою досаду.

Тут скрывать было нечего, скрывай не скрывай — разговоров не избежать,— вот у соседа все сейчас и выяснит, чтобы долго не ходить

вокруг да около, людей не заставляя переступать через себя и самому не томиться.

— Ты, значит, это... откуда хлеб несешь? — однако зашел он издалека.— Из совхоза?

— Да вот пришлось... Тихо. К нам-то сюда только в среду привезут, а дома ни куска, еще вчера весь вышел.

— И ты в такую погоду?..

— Я бы согласен на печке сидеть, да ты ж знаешь мою Фросю, тихо,— признался Кудачкин, как бы стараясь войти в прежнее доверие. — Сходи, говорит, хоть проветрись, все равно тебе в дождь дома делать нечего.

— Да, сейчас бабы пообнаглели, со скотом лучше обращаются,— с нарочитой грубостью проговорил он, вспомнив самую вредную, какие только могут быть на свете, жену соседа Фросю, продолжавшую уже лет пять работать после пенсии на ферме скотницей: все хочет больше денег заработать.— Скоро и тебя заставит опять на работу пойти.

— А вот пусть выкусит! — еще более грубо отозвался Кудачкин в порыве единодушия.— Тихо, всех денег не заработаешь!

— В контору не заходил?

— Что я там забыл?

— Ну, мало ли чего! Раз за хлебом ходил, мог заодно и в контору наведаться. Или ты уже к ним не ходишь, дружба врозь?

— Заглядывал, когда надо было, а теперь... Зачем они мне? — хитрил Кудачкин, доверчиво подмаргивая.— Я рад, что от них избавился, тихо! Пусть теперь другой на моем месте столько поработает, сколько я поработал, тихо. А я хоть на пенсии по-человечески поживу.

— Говори! Небось не таскал бы сейчас на себе эти буханки! — подзадорил он Кудачкина.— Раньше ты печеным хлебом кабана не кормил — комбикорма уж себе-то всегда выпишешь. А то и так на ферме возьмешь...

— Много ли там возьмешь? Тихо,— с лукавой улыбкой приbedнялся Кудачкин.— Отбросы!

Как он ни зол был на соседа, но если по справедливости, таких, как он, уже было мало, пожалуй, один на всю деревню, кого еще можно было уважать за хозяйственную жилку; с выходом на пенсию не убавил, а прибавил живости. Все чаще стали наведываться к нему на выходные из города старшие дети — два сына и дочь: Руслан, Олег и Ольга, забегали в сарай гуртом с тазиками и ведрами, копошились в огороде, а уезжая назад в субботу вечером к понедельнику на работу, тащили на себе раздутые рюкзаки и сумки. Кудачкин, зарумянившийся от прощального ужина, под хмельком, как и сыновья, каждый раз провожал Руслана, Олега и Ольгу до автобуса, помогая нести поклажу. Вскоре возвращался уже один, прогулявшийся и довольный своей свободой,— известно, что за житуха на пенсии, видать, еще не вкусила ее сполна — лишь входил во вкус. Вот и баньку стал почаще протапливать к приезду сыновей, париться втроем и все прочее.

— Директор-то где, в кабинете сидит?

— Не знаю, может, и сидит,— вгляделся в него Кудачкин.

— Сюда не собирался?

— А куда ему спешить? Раз в месяц тут побудет, и хватит. Нужна ему наша ферма! Лишь бы тихо.

— Это не мне — ему надо.— Что-то Кудачкин никак не хочет его понять или прикидывается...— Телефон на ферме не работает.

— Тихо! Почему не работает? Работает! Я в обед звонил на почту, чего мне пенсию задержали, было все слышно.

— И свет в красном уголке кто-то отключил. Я вчера в потемках всю ночь просидел!

— Не знаю. На ферме свет хороший. Это вот в деревне беда...

— Где ж, говоришь, хороший? Сколько я трубку вчера ни включал... Кто-то, может, нарочно...

— Не знаю, как ты включал. Тихо. Я вот утром приходил звонить, включил — горит! Каждый тут хозяйничает, кому как вздумается. Тихо.

— Да, хватает тут всяких, а настоящего хозяина нет. И руководство...

— Не в руководстве дело, тихо.

Сейчас Кудачкин начнет защищать начальство — ворон ворону глаз не выклюет.

— Тогда Добровы всем тут воротили, а сейчас Иванов грозитя...

— Он всем грозитя, не одному тебе.

— Другим-то что! А мне вот... Ждет небось, когда дорога подсохнет, тогда и приедет на месте разбираться.

— С чем, со светом?

— С каким тебе светом? С этой... с капустой!

Сосед бросил недокуренную папиросу в лужу.

— Тихо, про какую капусту ты говоришь? Что-то я тебя не пойму.

— Вот я и толкую... Положение хуже некуда. Чьи эти коровы, вот ответь мне?

— Ясно — чьи...

— Знаю, что ты скажешь: общественные.

— Ну а чьи же еще?

— Но и не мои и не твои тоже! Я и на суде это скажу: капуста ваша, коровы ваши...

— Так. Тихо. А коровы-то в чем провинились?

— Хватит тебе прикидываться, будто не знаешь, чего они натворили — в капусту залезли!

— Так за это тебя судить собираются? — Кудачкин закатил глаза. — По-твоему: чья капуста, чьи коровы, тот пусть и отвечает? Тихо! Вот поэтому у тебя и нет никакой ответственности, раз так рассуждаешь.

Гляди, каким Кудачкин сразу стал!

— Я рассуждаю нормально, — проговорил он, вдруг возненавидев Кудачкина. — А ты только на словах такой... Патриот! Меня не проведешь! Сказать, кто ты? Ты... ты прислужник!

— Кто-кто, тихо!

— Прихвостень, вот ты кто!

И не желая больше с ним разговаривать, устремился вслед за коровами, которые начинали разбредаться, чем ближе подходили к ферме.

— Нет, постой! — Кудачкин успел ухватить его за руку. — Какой я прихвостень? Тихо!

— Не хватай! — Он резко отдернул руку, остановился. — Много вас найдется таких — хватать! О себе только заботитесь, больше ни о ком! Лишь бы свое брюхо набить!..

— Тихо, тихо! Я свое честно отработал.

— Честно! В этой грязи, как все, копался? На пуп брал? Хоть маленькое, да начальство! Доброву задницу лизал. Теперь Иванову, — сказал он вслух то, что думал. — Все вы хороши! Что ты, что Добров, что Иванов... Мне терять нечего. Виноват — наказывайте. За капусту я отвечу, а за все остальное... Какую они мне жизнь устроили. Я, может, тоже не хуже тебя мог бы... Думаешь, нет? Стал бы таким, как ты, двуличным?

— Ты мне чего не надо не приписывай! — Кудачкин, по всему виду, уже и сам не рад, что встрял в разговор на виду всей деревни. — За это, знаешь... Тихо, тихо! За оскорбление личности...

— Ты мне грозишься?

— Тихо, тихо! Думаешь, я тебя боюсь, что ты в тюрьме сидел? Он чуть было не бросился на Кудачкина, да Волкодав, стоило ему двинуться, зарычал, готовый тоже кинуться на обидчика.

— Ты мне тюрьмой не тычь! Не имей такой привычки! Ты знаешь, за что я сидел. Сейчас больше воруют — и им ничего!

— Кто это ворует? — как бы сразу остепенился Кудачкин. — Тихо, тихо!

— Да все кому не лень! Что я — не видел? Как стемнеет, так и тащат отовсюду — шур-шур! Целыми охалками!

— Что же ты ни разу не задержал, если видел? Чего молчал?

Нащупал Кудачкин у него слабое место — совесть.

— Теперь-то я молчать не буду! Как ко мне, так и я... Теперь я все скажу, все! Думаешь, я не знаю, кто директору звонил? Перед Ивановым выслужиться захотел? Христопродавец!

— Тихо, тихо! Ты что, сбесился? Кому я звонил? Я и на ферме-то уже сто лет не был! И знать ничего не знал про эту капусту! От тебя первого слышу!

— Боишься, всем станет известно, что ты на ферме творил? Нет, теперь я все на суде расскажу! Все! Как ты дохлых телок...

— Напугал! Да говори, что хочешь! — на удивление спокойно отнесся к этому Кудачкин. — Это еще надо доказать!

— И докажу! Еще как докажу!

— Кто тебе поверит? — так же спокойно продолжал Кудачкин.

— Поверят! Еще как поверят!

— Твоим словам поверят? Тихо! Все сделано честь по чести: составлены акты, подписаны дирекцией — все как положено по закону. Тихо, тихо! А телок тех да бычков уже давно люди съели и в туалет сходили. Тихо, тихо! Иди теперь докажи, какие они, отщипы на них штамп, дурак!

— А-а! — от рухнувшей последней надежды завопил он на всю горку, подаваясь с собакой к Кудачкину под ее рычание. — Думаешь, уже нельзя ничего доказать? Можно! Все можно! Не то еще доказывали, а это... Там люди не такие, как мы с тобой, сидят — все раскопают, установят, как было. Не то сейчас время...

— Жрать поменьше надо, — оборвал угрюмо Кудачкин, отодвигаясь не столько от него, сколько от собаки. — Тихо! Не спасет тебя время, не надейся! Поздно хватился! Хватит, завязывай! — Кудачкин пнул ногой Волкодава, и тот еще злее залаял на него, хватая за резиновые сапоги. — Выкормил теленка!.. Пошел вон, пес паршивый!.. — отступая с сумкой к улице, кричал Кудачкин издали в сторону фермы.

Когда он уже загнал коров на место — вот и Фрося, жена Кудачкина, тут как тут. Подбоченясь, стала на свету в воротах как вкопанная, вперила в него бесстыжие глаза. Ну, сейчас она возьмется за него — заступница нашлась! Как откроет свой рот — затыкай уши и уходи! Никто еще в деревне не мог переспорить Фросю. У него был один выход — выйти из фермы через противоположные ворота. Но тогда что же получается? Что он испугался ее?

И он смело пошел прямо на Фросю. И когда, нагнув голову, молча уже собрался обойти ее, Фрося решительно заступила ему дорогу.

— Ты чего, Родя, такой невеселый? — прикинулась Фрося лисой, только своими хитрыми глазками зырк из-под надвинутого на лоб цветастого платка. А это-то страшнее всего: жди от нее пакости.

Он обходительно промолчал, отворачиваясь, но она так и норвила заглянуть ему в лицо — до чего-то страсть хотела как доглядеться.

— Что молчишь, а? — пока ничем особым не выдала себя Фрося. — Не говоришь ничего, а, Родя?

— Какой я тебе Родя? — огрызнулся он.

— А чего ж ты зажурился? Глаз на людей не поднимаешь? Коров своих опять проглядел?

— Знаешь, так не спрашивай,— буркнул он, норовя обернуть ее, нечего тут с ней дебаты разводить.

— Спрашиваю, потому что жену твою жалко,— однако, не давала ему прохода Фрося.— Это вы, мужики, своих жен не жалуете: сами себя этой водкой губите и нас мучите, жизни никакой от вас нет.

— Это тебе-то жизни нет? — переспросил он, но тут же спохватился, что зря ее зацепил, сейчас только держись! И все же не вытерпел, прибавил: — Твой ведь праведник! Во всем всегда правый, а остальные...

— Слышала,— даже это миролюбиво восприняла Фрося.— Все слышала, что ты на моего там, на горке, говорил. Так ему и надо! Пусть умнее в другой раз будет! За это я сама бы на него всех собак натравила, чтобы совсем без штанов домой пришел!

Уж это она заливает — за своего Степана любому глотку перерызет.

— Хотя ты ему всю правду сказал,— продолжала лукавить Фрося с большим искусством.— А то он тоже скоро допился бы...

— Как? — с такой же, как и она, хитрецей удивился он.— Он ведь у тебя, считай, не пил!

— А как на пенсию вышел, всякую совесть потерял, никому не подчиняется. Что ни скажу — на все у него один ответ: дай мне хоть на пенсию человеком пожить! Гляди, говорю, будет тебе то, что Родьке... — учила Фрося.— Не обижайся, но это же правда! Утром зашла к твоей Кире, она мне и говорит: а мой сегодня и завтракать не пришел — голодный коров погнал, так испереживался, поверил, значит. Пусть попереживает, это ему на пользу.

Тут Фрося умолкла, готовая прыснуть от смеха.

— Кому я в чем поверил?

— Ну кому ж еще? Ей.

— А в чем? В чем я ей поверил?

— Ну, что коровы капусту съели,— Фрося и тут удержалась от смеха на самой грани.— Увидишь, говорит, там, на ферме, скажи ему, пусть уже домой идет: я пошутила.

— Пошутила?

— Ага, это она все нарочно...

Так он ей, такой стерве, и поверит! По глазам видит: врет. Стала бы жена так зло с ним шутить? Нет, его жена до такого никогда не додумалась бы! Он в своей жене уверен! Больше, чем в себе... Просто Фрося захотела их поссорить. Эта змея подкодная способна на все — подмаслится, без мыла в душу залезет, подобьет на что угодно, а сама останется в стороне. Хитрее не могла придумать, как отомстить за своего мужа Степку...

— Глянь, не верит! — сильно изумилась Фрося.— Неужели опять охота под суд идти?

— Уж лучше под суд, чем это... Всякую веру потерять.

— Какая же, когда вы нажретесь, прости господи, еще может быть вам вера?

— Ну, хватит на мозги капать! — грубо одернул он Фросю.— Говоришь, Кира пошутила?

— Вот Фома неверующий!

— Да я сам ходил ночью смотрел! Одни кочерыжки пооставались... Я еще не совсем ослеп! Вижу...

— И ты уже решил... Ой, умора! — громкоголосо засмеялась Фрося.— Так капусту-то не коровы съели!

— А кто же?

— Ее для столовой срезали!

— Для столовой?! Нет, ты правду говоришь? Для столовой? Ты что, видела? Можешь подтвердить?

— Да я сама помогала весь день срезать, пока дождь не помешал...

— Ну, если так... — проговорил он, медленно, с тугим скрипом начиная оживать, но тут вдруг снова помрачнел. — Тогда как же это?.. А моя благоверная? Как она-то?.. А я-то... А я-то, дурак...

Нет, не может этого быть! Неужели Кира сама на такой маневр решилась?

— Это ты ее... Это ты ее с пути сбила! Ты, змея подколодная! — проговорил он, задыхаясь от подступившей злости. — Сама она не могла до такого додуматься... Это ты ее надоумила! Ты подбила!..

Он попал взглядом на кнут, который оставил в углу у входа в коровник, что не ускользнуло от остроглазой Фроси, и она заблаговременно начала отступать, от греха подальше, отбиваясь языком:

— Я не подстрекала ее! Не подстрекала! Я уже неделю к ней не ходила. Как в ту субботу побыва, когда мои хлопцы приезжали... Соли одолжила и больше не видела.

— Не видела?

— Ей-богу, Тимох, не видела! Вот тебе крест, если не веришь!

Он уже дотянулся рукой до кнута, и Фросю как ветром сдуло — бежала через огород к своей избе и кричала на всю деревню, хотя он и пальцем бы ее не тронул: тронь только — беды не оберешься.

— Смотрите! Смотрите, люди добрые! — обращала она свой крик на сторону, хотя в такую погоду нигде не было ни души. — Смотрите на этого душегуба! Совсем сбесился, черт одноглазый! Я покажу... Я покажу тебе, как с кнутом на людей кидаться! Собаками травить... За все ответишь! Ишь вздумал чего! Вспомнил про что — телят дохлых... Сам резал, а на кого-то... Посадить в тюрьму хочешь? Сам в нее скорее опять сядешь!..

Этот несуразный, мстительный крик Фроси подстегнул его злость, нет, не на Фросю — что с бабы-дуры взять? — на жену. Он еще крепче сжал в руке кнут и, убыстря шаг, двинулся прямо от фермы к своему дому. «Ну стер...лядь! Ну держись!»

С ходу, стегнув пару раз в воздухе кнутом, точно проверяя силу своей руки, он дернул на себя дверь сеней, толкнул ногой другую дверь — в избу и, оставив ее открытой, встал на пороге перед полутьмой, спертой сырым, нетопленным духом. Но еще не успев ступить дальше, тут же не то чтобы понял, а скорее уловил непостижимым, почти собачьим чутьем, что дом его пуст. Брошен.

Потом, уже для верности, он обошел все углы и остановился с кнутом посреди комнаты. Постоял, отшвырнул кнут подальше от себя — к порогу и опустился на табурет. Другие хоть записки оставляют, как в кино, а его жена и записки не оставила.

Еле волоча ноги, он вышел на крыльцо, долго оглядывал пустой двор, словно еще не до конца убедившись, что это все не всерьез, а всего лишь очередная глупая бабья выходка. Да нет же ее и тут, во дворе, нигде нет, сидел возле крыльца один Волкодав, как всегда, сторожко выжидая момент, когда его рука кинет ему кусок хлеба или голую кость. И вот тут-то он вдруг сам страшно захотел есть — невыносимый голод стал выворачивать ему все кишки. Однако он сначала вынес псу первое, что попало на столе, — засохшую корку хлеба. Волкодав проглотил ее на лету, как муху, и снова жадно уставился в него. Тогда он сходил в чулан, достал из ящика кусок сала и бросил собаке: «Ладно, ты сегодня заслужил!» Только после этого, вернувшись в избу, отыскал для себя в печке чугунок с остывшими щами, присел боком к столу и принялся хлебать прямо из чугунка ложку за ложкой. А подчистив весь чугунок до дна, он крепко захотел спать, так крепко, что просто не мог встать из-за стола — еле

поднялся, дополз до полатей и не раздеваясь завалился в запечную темень на удушливое старое тряпье.

Проснулся среди ночи от собачьего воя — опять Волкодав, видно, на беду, выл на погребе, да так жалобно, с таким тоскливым привыванием, что он не выдержал, сполз с полатей, вышел во двор и пригрозил ему палкой. Но не успел вернуться на место, как пес снова завыл. Под самое утро, когда он ненадолго забылся, в сенную дверь громко постучали раз; другой. «Кого там еще черт несет?» — проговорил он, выгребаясь из-за печи. «Открывай! — узнал он голос Кудачкина, который еще раз нетерпеливо дернул за ручку двери. — Открывай! Спишь до обеда!»

За окнами действительно было уже очень светло: погода разъяснилась, да и время подходило уже почти обеденное, Кудачкин прав. А показалось, что совсем мало проспал. Где ж мало? Все на свете проспал! И коров... Как же так случилось, что ему напрочь отрезало память? И пока шел открывать Кудачкину, нарочно затягивая, с громом цепляясь на ходу то за одно, то за другое, сердито ворча, чтобы успеть подумать, как же ему быть с таким делом: не выгнал сегодня коров на пастбище, заспал, что было непростительно для пастуха, обязанного каждый день вставать в пять утра...

Откинув крючок, он приоткрыл дверь и увидел за спиной Кудачкина молодого милиционера с усиками, но опять нового, не похожего ни на одного из первых двух, что приходили к нему раньше. Рука его машинально было захлопнула перед незваными гостями дверь, но Кудачкин тут же резко отбросил плечом дверь в сторону, стал сбоку, пропуская милиционера в сени.

— Что, не ждал? — проговорил Кудачкин, тоже входя в сени вслед за милиционером. — Ты где это сегодня ночевал, а? Тихо!

— А твое какое дело, где я ночевал? Может, по чужим женам ходил.

Кудачкин ухмыльнулся:

— Своя сбежала... Тихо.

— И это не твое собачье дело! Гляди лучше, чтоб твоя не сбежала! Говорите, зачем пришли?

— А затем и пришли, чтобы узнать, где ты эту ночь пропадал. — И Кудачкин подморгнув милиционеру, который только слушал да ко всему присматривался. — Почему ты вчера не вышел сторожить?

— А почему я перед тобой должен отчитываться? Ты кто такой, завфермой?

— Сейчас придет и Зенкин, тихо.

— Вот когда придет... А с тобой я и разговаривать не хочу. Ты получаешь пенсию, вот и получай! За собаку пришел арестовывать? Вот и арестовывай, только не забудь моих кур покормить, пока я вернусь.

— Боюсь, ты оттуда не скоро вернешься, — проговорил Кудачкин, опять подморгнув милиционеру. — Тихо, тихо!.. За такое дело...

— Какое ты тут дело нашел? — Что-то Кудачкин на него явно лишнего собирается наклепать. — Я законы знаю! Тут и на пятнадцать суток не потянет.

— Стал бы я с тобой из-за этого мараться!

— А я об тебя не хочу руки марать! На хрен бы ты мне сдался!

— Ты мне не груби! — Кудачкин глянул на милиционера, привлекая его внимание, но тот по-прежнему никак не реагировал. — Выбрай выражения! Тихо, тихо! Ты что, не знаешь, корову украли?

— Кто украл?

— Об этом у тебя надо спросить — кто. — Кудачкин снова взглянул на милиционера, словно давая понять, что настала его очередь, но милиционер помалкивал. — Такой ты сторож, корову из-под самого носа ували!

Только тут стало доходить до него, чем грозила ему эта кража коровы, если не найдут вора. Он чувствовал, еще вчера чувствовал, что добром ему эта ночь не пройдет. Но в первую ночь благодаря его бдительности все обошлось — вор не полез, а вот на другую... Кто-то давно следил за ним, только из своих, местных, мог так все знать: когда пришел, когда ушел... И вот выследил, гад! Кто же этот гад? Кто?

От внезапной догадки он даже вскрикнул и кинулся на Кудачкина:

— Это ты... ты украл!

Такой упитанный, тяжеловесный Кудачкин мог бы одним пальцем ткнуть и любого завалить, но тут попятился от него.

— Тихо, тихо! Тихо ты! Налетел!

— Я покажу тебе «тихо». Сам украл корову, еще и «тихо!»

— Кто украл, я? — опомнился Кудачкин и пошел на него с кулаками. — Ты что, совсем после вчерашнего...

— А кто же еще? Аверьян уже с печки слезть не может... Вчера тебе не удалось, так сегодня...

— Ты говори, да не заговаривайся! Еще не проснулся с похмелья?.. Тихо! Тихо! Совсем мозги высохли? Допился! Городишь, сам не соображаешь что! — накинулся Кудачкин; значит, точно: он украл. Глотка луженая, привык всю жизнь горлом брать, думает, и тут пройдет. Не выйдет!

— А кто вчера мне свет отключил? Телефон испортил? Ты! Это твоих рук дело, больше тут некому!

— Смотреть надо! Тихо! Понял? Следить, кто чего... А ты нажрешься и спишь, хоть за ноги уноси!

— За тобой уследишь! Ты, когда завфермой был, мог не одну корову увести.

— Ты всякую ерунду не выдумывай... Тихо, тихо!

— Чего же ты тогда ко мне с милицией пришел? Выходит, я корову украл?

— Я же не говорю: ты. Это вот ты на меня говоришь без всяких оснований... Тихо, тихо! За такие слова, знаешь... — Кудачкин обратил строгий взгляд к милиционеру. — Гляди, ты мне за клевету ответишь... Тихо, тихо! За вчерашнее и за сегодняшнее — за все вместе ответишь!

Во дворе зарычал на кого-то Волкодав, послышались два мужских голоса.

— Здесь, здесь они, — сказал Зенкин, подходя к крыльцу.

Иванову этой двери, похожей на лазейку в заборе, было мало, он пролез в нее боком вслед за Зенкиным, более шустрим, старавшимся опередить во всем директора как бы ему в угоду.

— Ну, что? — войдя в сени и остановив взгляд на милиционере, и тут опередил Зенкин директора. — Выяснили?

— Сам вот поговори с ним, так он тебе и скажет! — ответил за милиционера Кудачкин. — Ясно, где он всю ночь был, — дома спал как убитый. Был бы там, где надо, корову бы не украли.

Зенкин тут же повернулся к директору:

— Я так и знал! Загулял опять...

Образовалась пауза, будто его вина уже была доказана и по нынешним временам так велика, что не находилось слов ни у кого из них — слово теперь за директором.

— Ну что нам с тобой, Роди, делать? — как бы в изнеможении нарушил молчание Иванов, уж и не зная, какую меру наказания применить к нему: все уже было испробовано. — Выбирай сам, чтобы потом не жаловался... Не говори, что я всем тут распоряжаюсь.

Ясно, на что он намекал, — на тот случай с картошкой, не забыл! Жена была права: за все теперь на нем отыграется...

— Ну, я жду, что ты скажешь, — гнул свою линию Иванов. — Как

нам с тобой быть? Совсем докатился... И сторожить не вышел! Утром одной коровы недосчитались — украли! Вот к чему приводит твое такое отношение!

— Не нужны мне ваши коровы... Сами теперь их и сторожите и пасите...

Иванову то ли еще не все до конца дошло, то ли, наоборот, очень даже дошло, что это значило — самим и сторожить, и пасти коров, и он стал в тупик: кому это «самим», самому директору, что ли?

— А ты чем будешь заниматься? — не набросился на него, как бывало, а даже убавил тон Иванов.

— Найду — чем.

— Этим? — Иванов усмехнулся. — Прикладываться к бутылке?

— А это уж я у вас не спрошусь!

Иванов с той же усмешкой обвел взглядом всех, кто с ним пришел, как бы заостряя их внимание на такой строптивости пастуха.

— Ты что же, уезжать собрался? — сделал вывод Иванов.

— Жену догонять! — хихикнул Кудачкин, все это время обходительно помалкивавший за спиной директора.

— А как же с коровами? — встревожился Зенкин. — Ну, сторожа я найду... А кто пасти будет?

— Вот он и куражится над нами: знает, что некому, — как бы подсказал Кудачкин из-за спины директора... — Хочет, чтобы его попросили, в ножки ему поклонялись! Тихо, тихо! А то чего? Сейчас везде такой народ пошел: лишь бы выпить было, а об остальном пусть начальство заботится... Только жалуетесь, что ему свободы не дадут, а дай ему эту свободу — он не будет знать, что с ней делать. Сразу все развалит. Нам еще далеко до демократии... Тихо, тихо! Таким только дай демократию — вот к чему эта демократия приводит!

— Ладно, там поговорим, — выслушав Кудачкина, поспешил закруглиться Иванов. Глянул на милиционера: — Не будем товарища задерживать...

— А что я такого сказал? — отработывал назад Кудачкин. — У нас сейчас гласность... Тихо, тихо! Могу говорить что хочу.

— Ты на пенсии, а у нас еще на сегодня дел много. — Иванов подчеркнул это многозначительной паузой. — Еще надо с коровой, вот с ним разобраться.

— Этот друг, — не унимался Кудачкин, — вчера что зря на меня нес... Тихо. И сегодня, вы бы послушали... Вроде я корову увел. Тихо, тихо! Вот свидетели, они все слышали, подтвердят. Это как, тоже гласность? Тихо, тихо! Всем можно теперь на кого хочешь напраслину возводить?

— Я не возвожу... Я правду говорю. На дохлятину не ты штампы ставил?

— А ты видал? Тихо, тихо! Нет, ты мне ответь, ты видел, что бы я ставил, тихо?

— Ну, не ты... А этот... ветеринар.

— Ну вот! Но не я ж... Не я же ставил, так? Скажи, так?

— Но ты знал...

— А ты не знал? Только сейчас узнал? А тогда — нет, не знал, тихо?

— Ну, знал... Все знали...

— Кто — все? Тихо, тихо! — кричал Кудачкин, поглядывая на директора. — Кто это — все? Ну-ка скажи, тихо, тихо!

— Да все... Все руководство.

— Вы слышали, Петр Александрович? Он и на вас поклеп возводит!

— Не возвожу! — И тут его понесло: — Не возвожу! Все вы знали: и ты, и директор! Все знали, что тут творилось, только вида не показывали... И директор! Что он, не видел, с какой животины шкуру сняли? Все видел!

— Вы слышите? Слышите, что он говорит? — чуть ли не с кулаками прыгал перед ним Кудачкин.— Еще что-нибудь выдумай!

— Я не выдумываю — правду говорю! Правду! Кто мне приказал шкуру снимать? Просил молчать? И я молчал, дурак! Если нужно, я за это отвечу. Лучше опять на Каме лес валить, чем тут с вами... А вот если вас туда — погляжу, как вы сразу слиняете! Жир с вас сразу сойдет!

— Что ты плетешь? Рот свой раззявил...— пытался задавить его Кудачкин.— Зачем ты сюда приехал? Чего тебя черти принесли? Без тебя бы тут обошлись!

— Я в свою деревню вернулся — на родину... Ты мне не запретишь.

— Подумаешь — на родину! — передразнил Кудачкин. — Это у меня есть родина, а у тебя ее нету. Я тут жил и живу, а ты свою родину проездил... Тихо, тихо! По лагерям растерял!

— Да что ты понимаешь про родину? — метнулся он из одного угла сеней в другой.— Ты всю жизнь тут живешь и всю жизнь пакоштишь. Я уже сказал, какой ты патриот родины. И директору сейчас в глаза скажу, пусть слышит... Ему наша деревня нужна как прошлогодний снег. Дом там построит — и на сторону! Дальше и выше...

— Тихо, тихо ты! Думай, кому что говоришь!

— Может, Родин, действительно хватит тебе тут,— сдержанно проговорил Иванов, бросив взгляд на милиционера.— Там продолжишь, если понадобится.

— Я в своем доме — не в чужом! Нечего тут распоряжаться, указывать мне...

— Довольно, Родин! Некогда нам с тобой дискутировать,— повысил голос Иванов.— Не хочешь работать — мы не держим. Но пока не выяснится, куда девалась корова, расчета ты не получишь. Выходи на работу, нельзя же так коров оставлять. Когда на твое место найдем, тогда и решим, что с тобой делать.

— И не подумаю. Тут не лагерь, вы не гражданин начальник, а я вам не заключенный еще.

— Не пожалеешь?

— Такого, как тут, добра я везде найду.

— Ну что ж, я долго убеждать не буду.— Иванов глянул на его босые ноги.— Тогда обувайся.

Под общее молчание он ушел в избу, через минуту вышел опять в сени наскоро обутый в старые кирзовые сапоги, в которых всегда пас коров. Кудачкин и Зенкин первыми направились из сеней, тут же за ними шагнул Иванов. Милиционер же немного подождал, когда хозяин дома сделает шаг вперед, к двери, и молча, со знанием дела, беря его под охрану, двинулся следом. Как только все вышли во двор, Волкодав зарычал, Кудачкин топнул на собаку ногой, но от этого она лишь еще громче и злее залаяла на него.

И так, в сопровождении собачьего лая, они дошли до фермы, обходя грязь где по траве, где как, пробрались через раскисшие, унавоженные подъезды к стоявшей на чистом пригорке «Ниве». Кудачкин и Зенкин еще за несколько шагов до машины начали отставать, о чем-то договариваясь. И вот, оставив Кудачкина одного в стороне, вперед как бы с дружеским советом вышел Зенкин — директора не послушал, а его, завфермой, такого же, считай, бедолагу, может, послушает. Это было сразу видно по Зенкину.

— Не будь дураком,— шепнул он по-свойски, тайком от Иванова,— попаси хоть эти дни коров, я тебя прошу.

— Кто все это подстроил, пусть тот и пасет теперь.

— Подумай...

— Нечего и думать. Пока я его самого не посажу за телок тех... И корову эту найду! Без милиции найду! Это он мне подстроил, гад!

Зенкин не нашелся больше что сказать, с безнадежным выражением лица оглянулся на Кудачкина: может, и правда дело его рук? Кудачкин в последний раз прицкнул на собаку,* и она отскочила к машине, попав Иванову под ноги.

Милиционер и тут терпеливо подождал, пока его подопечный сядет в машину, словно он мог сбежать у всех на глазах, только после этого сам забрался на заднее сиденье, сел рядом с ним. Иванов стал выруливать на дорогу, и пес в последней отчаянной попытке защитить своего хозяина бросился прямо под колеса машины и только чудом выскочил из-под них нераздавленным. Белая, заляпанная до половины грязью «Нива», чуть ли не опрокидываясь, стала спускаться по размытому склону в овраг, и пес снова с утроенной ненавистью в несколько прыжков догнал машину и кинулся под колеса...

Он не попросил остановить машину, когда услышал короткий собачий взвизг, а лишь весь сжался, стараясь не глядеть на своих моторизованных конвойных, оказавшихся еще и душегубами его собаки. А может, это и лучше, что так получилось, чем пес пропал бы голодной смертью один без хозяина или превратился бы в дикое, хищное животное неизвестной породы, не способное больше любить человека.

До Рассухи больше часа пешего хода в один конец, особенно если еще груженный хлебом да сахаром, когда у Нюры подходили два выходных дня, или выпадали перебои с подвозкой продуктов из-за ее собственного ротозейства, или начальство забывало выделить транспорт. Тогда, если приспичит, дуй пешака туда и обратно,— туда нелегко, оттуда с нужным тебе до резру, но непосильным грузом. А на машине хоть и по грязи, но проскочили эту дорогу в два счета — и подумать не успел, куда его повезут: сразу в район или закинут для начала в контору? Перед поворотом на Рассуху Иванов резко тормознул, так что чуть не сползли юзом по жидкой глине в кювет: замечтался или передумал везти в район, куда вроде бы уже направился, набрав скорость. Директор высадил его с милиционером возле конторы, а сам, ничего не сказав, развернулся и уехал.

И до чего любопытный у нас народ, будто никогда в жизни милиционера не видели! Остановятся и стоят, рот разинувши, плят свои шары.

Милиционер завел его в диспетчерскую, взял с него подписку о невыезде и — отпустил с миром.

Он вышел из конторы один на улицу, вроде бы радоваться надо, что один, без личной охраны, но радости не было ему никакой. Обманчивая это свобода. Лучше бы сразу посадили, да и конец всему. И зачем было его сюда привозить? Написать две бумажки? Нельзя было на месте написать? Обязательно в конторе, за канцелярским столом? Завезли и бросили. Добирайся теперь назад как хочешь по такой грязи. Ну да хоть раз на директорской машине прокатился! А так никогда бы и не пришлось на «Ниве» проехать... Бывало, и попадетсЯ когда на дороге — проедет мимо, хоть бы что, вроде бы тебе на роду написано пешком ходить, а ему, директору, на машине ездить. Еще и посторонишься — уступишь дорогу.

Со сжавшимся от боли сердцем вышел уже к оврагу, где ожидал увидеть на дороге раздавленный труп Волкодава, но ни издали, ни подойдя ближе, чего ожидал, того не увидел ни на самой дороге, ни на обочине,— нигде даже следов крови не нашел. Не может быть, чтобы уже убрали: бывало, задавит машина собаку или кошку, так и валяется, продолжают колесить по трупу, расплющивать в лепешку...

Он поспешил домой и, войдя во двор, с радостью бросился к псу, зализывавшему под забором отдавленную лапу. «Жив! Жив, мой псик! — говорил он, чуть не плача.— Ну тогда мы с тобой еще поживем, поживем! Покажи, что тут у тебя, лапу отдавило? Ну, лапа это ниче-

го, это ерунда! Лапу я тебе в три дня вылечу!» Он отыскал за печкой лоскут тряпки от старой рубашки, смочил в керосине. «Сейчас, сейчас... Потерпи немного! Слушай! Я ж тебе обещал... дом построить! Обещал или нет? Обещал! А раз обещал, можешь не сомневаться — сделаю! Сейчас возьмусь и сделаю! Ты теперь у меня кто? Инвалид! Раненый! В мирное время... Тебе надо жилье первого класса! Лежать под крышей, никуда не бегать, пока твоя нога не заживет».

Он скоренько, старательной трусцой сходил в чулан за молотком, отыскал в ящике для инструмента несколько ржавых кривых гвоздей, выпрямил их на колодке, натащил чего попало — заваливавшихся кусков фанеры, дощечек, разных обрезков и стал пристраивать к стене сарая конуру.

«Вот тебе и хата! Живи в ней на здоровье! — сказал он, забив последний гвоздь.— Ну, залезай! Ложись там и лежи, поправляйся! Сейчас еще соломки подстелю...»

Но пес отказался лезть в конуру, как его ни подталкивал, даже когда напихал туда побольше соломы,— видно, привык спать под открытым небом,— и слюпанная на скорую руку с темной соломой конура пугала его. «Ничего, привыкнешь к своим хоромам,— успокоил он собаку.— Как холодно станет, найдешь куда прятаться — сам залезешь! Оттуда тебя и не выгонишь! Будешь лежать и помалкивать — на людей лаять разучишься! На глазах воровать будут, ни разу и не твкнешь!»

Но Волкодав упирался, прыгая на трех лапах, лез не в будку, а к хозяину целоваться, норовя лизнуть его прямо в лицо — тоже был безмерно рад благополучному, по его собачьему разумению, возвращению хозяина домой.

Когда собака успокоилась, отлегло от сердца и у него, он стал посреди двора и прислушался: от фермы доносилось голодное мычание коров. «Ишь разревелись,— проговорил он, сразу помрачнев.— Небось так и не ели и не пили с утра... Он бесцельно потоптался по двору, все так же хмурясь и сердито бормоча себе под нос: «Нет, ишь как ревут! Есть хотят... А я не хочу есть? Я тоже хочу... Я тоже сегодня еще ничего в рот не брал. И собака не кормлена... И курам хоть бы чего сыпнуть...»

Ну, курам горсть пшена сыпнуть недолго. И собаке мосол какой-нибудь заваливающий выкинуть труда большого не составляет. Повезло, что в Рассухе магазин был открыт, хоть черствого, но купил пару буханок, донес под мышкой. Он отрезал четвертинку хлеба, приложил к ней залежалый кусочек сала, завернул в старую газету и сунул в карман брезентовой куртки. Потом подобрал брошенный вчера возле порога кнут и направился через огород к ферме.

Пропавшую телку он отыскал на другой день, когда, отстояв ночь в карауле, снова выгнал коров на пастбище к старым торфяным карьерам на отаву. Он сразу почувствовал неладное, когда Волкодав, зарывав, бросился через кусты к черневшей за ними торфяной трясине, остановился у ее края и протяжно завыл. Торопливо пробравшись к собаке, он увидел торчащие из торфяной хляби коровьи рога, а на кончике уха казенную бирку с номером.

Телку потом вытащили из болота трактором «Беларусь» в присутствии собравшегося колхозного начальства во главе с Ивановым, и, конечно, в присутствии милиции. Заключение было вынесено такое: телка под номером 231 погибла по недосмотру пастуха, и предписано ему возместить совхозу убытки в размере 672 рубля и почему-то еще 50 копеек — с такой вот точностью подсчитали в бухгалтерии.

А вот точно ли, что она, телка, сама попала туда, в ту прорву? Что она, дура такая, чтобы лезть в яму с торфяной жижей на верную гибель? Жить ей надоело? Да скотина еще умнее человека бывает, куда зря, чтобы утопиться, сама не полезет, разве что силой затолкают... Когда и как Кудачкин телку увел, утопил в торфяном карьере?..

Теперь за телку что ни заработаешь — все высчитают. Когда за эту телку расквитаешься...

И тут ему в голову стукнуло: а не написать ли Кире письмо? Попробовать послать на старый адрес — на Каму. Куда же еще она могла поехать? Не на родину своих предков — на Украину, откуда выслали ее отца и деда, а на Каму, ставшую ей родной. Не зря она тосковала по своей тайге, а про Украину ни разу и не вспомнила, хоть тут до нее рукой подать. Да и тесть его такой — не уговоришь сюда назад, на Украину, вернуться, хотя ему никто сейчас не запрещает. Вот тебе и сосланные — прижились, выходит, на чужбине...

Вечером, пригнав коров, он заскочил домой, прихватил листок бумаги, ручку с собой в ночь на ферму и там, устроившись в красном уголке за столом возле разбитого телефона, принялся сочинять под сытые вздохи коров Кире письмо.

И тут, как только сел, взял ручку, поднес ее к бумаге, сразу заклинило. Теперь не то что его голова не соображала, с чего письмо жене начать, но даже ручку пальцы разучились держать — вываливалась, а буквы получались как у первоклассника — пьяные, одна больше другой.

Написал первую строчку: «Здравствуй (без запятой, конечно) дорогая жена!» Поставил восклицательный знак, подумал и добавил еще два, но тут же все зачеркнул: а дорогая ли она ему? Наверно, все-таки дорогой оставалась, несмотря на ее фокус, хотя, если вспомнить, который год они порознь спят, вернее теперь — спали: он на печке, вверху, под самым потолком, а она — внизу одна на кровати, когда он дома и когда его нет — все ночи подряд кантуется на ферме. Это разве жизнь для нормальной женщины? Но чего теперь об этом горевать? Лучше Кире в письме не напоминать. Для него сейчас важнее не то, что прошло, а то, что есть сегодня, что будет с ним завтра...

Он так и не написал ей в тот вечер письмо: с какого края ни подходил, каким боком ни вертел — все неладно. Написать ей всю правду про новую беду, — еще подумает, что он жалуется, а жаловаться на судьбу он не привык. Лишь через неделю тяжелого раздумья во время очередного ночного караула все-таки вымучил несколько строчек, но уже совсем другого содержания: мол, живу хорошо, в полном здравии, бодр духом и телом, все без изменений, — пусть не думает, что он один затужил, пропадает без нее. Если она умная, то поймет, как ему на самом деле живется, глядишь, может, одумается, туда к себе его позовет или воротится назад, скажет, что и тут с ним пошутила... Он ей поверит и все простит.

Отнес утром это письмо на почту в Рассуху, отдал прямо в руки почтальонше, чтобы не залежалось в ящике, пошло в тот же день, и стал ждать ответа. Неделю, другую прождал еще спокойно, а на третью заволновался. Но когда и через месяц не дождался от Кире ни ответа ни приветов, вот тут он и сник.

Было бы это на весну, впереди ждало тепло — теплу всегда душа радуется, а тут последние дни лета как ни сопротивлялись холодам — сдались, сразу жажнула осень, да такая дождливая, что из хаты не вылезти. За дождями без перехода на снег навалились морозы, где какая ни была грязь, закаменела, — когда идешь, голая земля прямо гудит под ногами. Холодная погода закрепилась и собиралась перейти в зиму, не думая отступать: уже пробовал идти первый снег с ветром, но еще слабый, похожий на крупу, редко посыпав черную землю, где больше, где меньше, как куда подуло ветром.

И тут к нему пришли с известием: Ивановскую ферму отдают под семейный подряд. Хоть и с затыжкой, но и у них зашевелились. Приехал Иванов на «Ниве», еще начальство из района, походили, посмотрели и согласились отдать. И кому? Кудачкину. Теперь вот под старость взял на себя работу потяжелее — вздумал совхозных бычков

откармливать, понадеялся, как другие, зарабатывать в месяц по тысяче. Не сам, конечно, решил и не один брался, а всем семейным советом решали, всем скопом брались — один такое дело, будь хоть двухжильный, не потянешь. Съехались двое сыновей, младшая дочка, побросали в городе работу, квартиры пока за собой оставили — все Кудачкины хитрые, вперед глядят, но и назад оглядываются. Вот они-то, молодые, и стали застрельщиками, составили главную рабочую силу, а сам Кудачкин становился по старшинству снова как бы начальником над ними...

Да черт с ними, пускай бы зарабатывали себе на здоровье свои тысячи, раз им так хочется, сейчас к этому призывают, — если бы его положение не подрывали. А то вот ему теперь куда? Теперь он на ферме лишний, им не нужен, без него обойдутся. И директору он больше не нужен — никому не нужен, как бы в безработных оказался. За телку скоро расплатится, можно отправляться на все четыре стороны... Вот когда Иванов порадуется: все-таки его наказал, не впрямую, не сам, а будто бы жизнь его наказала.

С Кудачкиным он сразился наедине, когда тот носил из колонки воду на коромысле в баню.

— А где ж твои сыны, что ты сам ведра таскаешь? — зацепил он удачливого соседа, который, похоже, сразу перестал звать, как только ферма перешла в его руки.

— Сынам сейчас и там работы хватает, — кивнув в сторону фермы, однако миролюбиво ответил Кудачкин. — В порядок все приводят, тихо.

— А ты для них баню топишь?

— Придут с фермы, помыться надо...

— Что для них баня? От бани они уже небось отвыкли, ты им душ с ванной сделай, как в городе... И водопровод в хату проведи, чтобы ведрами на себе не носить.

— И водопровод... А что? Тихо! Все со временем сделаем. Вот работаем... Тихо. — Кудачкин снял коромысло с ведрами с плеча, вовлекаясь в разговор, видно, все еще не наговорился на эту тему с сыновьями. — Мы так и планируем: что ни заработаем — все сначала на благоустройство. Надо учиться деньги считать хотя б свои...

— И много уже насчитали?

— Сколько ни есть, все наши!

— Так тебе начальство и даст больше их получать! Запретит, да и все.

— Не запретит!

— Что им стоит? Приедут и прикроют все.

— Что — все? — переспросил Кудачкин. — Тихо!

— Этот твой подряд. Думаешь, ты уже тут хозяин?

— А кто же? Хозяин. Тихо!

— Хозяин рот раззявил! — передразнил он. — Кто был хозяин, тот хозяином и остался. Сегодня скажут подряд, завтра еще что-нибудь придумают. Так что не надейся. Немного дадут заработать сначала, а потом опять прижмут.

— Не прижмут! Все, кто взялся, вон побольше любого директора зарабатывают, и ничего, привыкли. Только тихо!

— А меня тогда за какие-то огурцы...

— Время было другое... Тихо, тихо!

— Другое? А кто меня... А теперь время виновато? Быстро же ты перестроился!

— Нечего на других валить! Сам виноват, поменьше надо было вот сюда закладывать! — Кудачкин щелкнул пальцем по кадыку и снова взялся за ведра.

— Нет, ты стой! Ты, что ль, мимо рта проносишь? Или сейчас от- казался?

— А я что? Как все, так и я, тихо. Но я своего не проглядел. Ждал...

— Чего ждал?

— Чего все ждали, тихо.

— Не примазывайся! Ты тогда выгадывал и теперь глядишь, что повыгоднее. Отхватишь свои тысячи...

— И отхвачу! — крикнул уже от бани Кудачкин. — Отхвачу, я за свой труд отхвачу! Своими руками заработаю.

— А я что, чужими хотел? На дармовщинку? Как ты тут хреном груши околачивал, ни за что деньги получал?

— Ты для себя только хотел... Тихо, тихо!

— А ты сейчас не для себя всей семьей ферму это самое... К своим рукам прибрал?

— А я и не скрываю, чего я хочу: самому заработать и людям пользу дать. Тихо, тихо!

— А я разве не давал людям пользу? Я тоже и себе и людям — всем бы польза была!

— Так ты в своем хозяйстве... А я в общественном, тихо! И ферма не моя, и бычки не мои...

— А мне, может, свое хозяйство дороже!

— Ну вот! Был куркулем, куркулем и остался!

— Кто куркуль? Я куркуль? Да ты... Не всем же по силам такое — совхозных бычков выращивать. Тут хотя бы со своим хозяйством справиться! Мне одному больше не надо.

— Вот и занимайся своим хозяйством один, раз семью не сберег! Тихо, тихо! Сейчас никому не запрещается... — сказал Кудачкин и, чтобы прекратить разговор, ушел с ведрами в баню.

А тут еще приехал Данька, не вовремя его нелегкая принесла. На Даньку страшно было глянуть: вроде бы все та же пижонская курточка на нем, но теперь потертая со всех боков до неузнаваемости — видно, давно не снимал с плеч, как у мелкого жулика, отиравшегося по вокзалам, коротавшего ночи на городских скамейках, и все в тех же вельветовых брюках, тоже до того затертых, что и не узнать уже, вельвет это или что. И, конечно, еще больше зарос, не с прежними щегольскими усиками, подбритыми аккуратненько каждый день, рыжеватые кончики зализаны языком, — а с какой-то срамотой под синюшным носом, разросшейся как ей вздумалось. Словом, Данька не только сразил его своим видом, но и подлил еще масла в огонь.

— Ну, показывай свое хозяйство, — воровским взглядом повел он по сторонам, лишь переступив порог родного дома. — Какое ты тут свинство развел?

Он заглянул в сарай, пошарил по пустым углам, спугнул с гнезда курицу — все, что осталось от бывшей живности, пригрозил Волкодаву, было зарывавшему на него из конуры — не узнал Даньку, и, вернувшись в избу, к печке, на которой застал старшего брата, сделал безобидный вывод из своего осмотра: «Негусто, — и с шутовской ухваткой прибавил: — А я собирался тут у тебя недельку-другую перекантоваться, но тебе самому, видать, жрать нечего».

Данька посинел в дороге от холода в своей — на все случаи жизни — одежонке и, встряхнувшись от неунимавшейся дрожи в теле, не то спросил, не то, зная заранее, что бесполезно даже об этом спрашивать, просто сказал: «У тебя и согреться-то поди нечем. Сам небось соображаешь, где бы хоть какой-нибудь бормотухи...»

Данька сел посреди родной избы и тут же по-настоящему, не прикидываясь, сказал то, что думал: «Как же это так, брат? Откуда такая напасть на нас, Родиных?» Посидел с минуту, тараща глаза на печку, как на давнюю спасительницу, которой он когда-то изменил, за что теперь и был наказан. Встал, оцупал ее холодные кирпичи и, тряхнув волосами, в каком-то отчаянии проговорил: «Ну найди хоть пять капель! — Порыскал по углам под молчание брата, словно еще не веря

ему.— Сделали очереди по километру!.. Сегодня стоял-стоял, и надо же, бляха-муха, на мне кончилось! А на водку уже бумажек не хватило. Где наберешь каждый раз по червонцу? Вообще я уж заметил: за чем бы ни стал в очередь, всегда на мне кончается.— Озадаченно помолчал.— Так правда, у тебя нет? Ну найди, говорю, хоть пять капель! Не можешь для родного брата постараться? Ну может, знаешь, у кого есть? Ладно, раз ты такой, я сам найду». И выскользнул в дверь. Через час, а может, через два — он не помнит, сколько пролежал на печке,— Данька вернулся уже навеселе и вот тут развязал свой язык.

— Это из-за тебя уже,— выдал он теперь без экивоков.— Что, скажешь, нет? Как ты приехал, все у нас сикось-накось пошло!

— Что пошло? Что ты в городе таким стал?

— Каким?

— Погляди на себя, на кого ты похож!

— А ты?

— Что я?

— В кого превратился?

— Ты меня с собой не равняй! Я в город не бежал из деревни, как ты, за легкой жизнью.

— За легкой! — передразнил Данька.— Я в городе жил, но мать не забывал, все время к ней ездил. А как мать умерла, ты сюда приехал, так все и пошло... Сразу отвалил нас от родного дома.

— Теперь родного!

— А то нет? Думаешь, одному тебе этот дом дорог? Я ведь тоже на него право имею!

— Какое право?

— Какое и ты! И моя тут доля есть... По закону.

— Это по какому такому закону, интересно?

— Не один я... И сестра имеет,— уклонился от прямого ответа Данька.— Ее доля тут тоже есть.

— Сестра-то не приехала, а ты вот приехал за своей долей. Что ж, бери свою долю, если она твоя! — Тут он прямо-таки с печки слетел, забегал босиком по избе.— Бери! Бери, если ты такой! Как мы с тобой разделим? По этот угол тебе, по этот мне? Так? Не так? Ну давай тогда так: ты занимай эту половину, если тебе жить негде, а я эту... И так тебя не устраивает? А как? Скажи, как?

— Продай,— спокойно сказал Данька.— Сейчас купят. Нарасхват. Ты за прессой следишь? Читал, что уже разрешили в деревне дома горожанам покупать? Сейчас все ринутся...

— А я где буду жить?

— Тогда отдай мою часть деньгами.

— Где ж я тебе столько денег возьму?

— Сколько пастухом в совхозе проработал — и денег у тебя нет? Куда ж ты их подевал? Все пропил?

— Я пропил, так я свои пропил,— обиделся он.— И за телку вон... А тебе мало стало своей зарплаты, так ты решил теперь до своей доли добраться? И ее пропить?

— Это уж не твое дело, куда я ее дену! — еще и огрызнулся Данька.

— Нет, мое! — закричал тут он на Даньку.— Вот шиш тебе! Ничего не получишь! Ни копейки! Понял? Подай на меня в суд!

— А что ты думаешь? И подам! Присудят — выплатишь, никуда не денешься! Денег не найдешь — придется тебе все равно эту халупу продавать.

— Нет. Плохо ты меня знаешь! Я еще...

— Да ничего ты уже не сможешь, не петушишься! — оборвал его Данька.— Раз уж от тебя жена сбежала...

— Сбежала, так вернется! Я ей письмо написал...

— Плевала она на тебя и на твое письмо! Вот увидишь, даже не

ответит. Все они...— Данька еще крепче выругался.— Что твоя, что моя — одинаковы!

— Нет, Кира... Она с капустой пошутила, может, и тут...

— Нашел кому верить! Моя Зинка на что уж была, и то теперь... А-а,— в отчаянии махнул рукой Данька.— Если бы не ты, я бы, может, тоже в деревню вернулся... Взялся бы, как Кудачкин, бычков откармливать...

— Ну и давай! Давай хоть сегодня...

— Хватился!

— А что? Еще не поздно, пожалуйста, возвращайся! Занимай вот всю хату,— сказал он вполне искренне, вдруг увидев в этом и для себя выход: тогда он может со спокойной совестью уехать отсюда. Вот только дождется от Киры ответа...— Уступаю! Все твое, бери, пожалуйста, пользуйся! Хватит тебе это самое...

— Что — это самое? — сразу оцетинился Данька.

— Ну я же вижу... Живешь неизвестно где, неизвестно чем занимаешься... Оборвался с ног до головы. А говорил... Такая квартира, работа хорошая, жена, дети.

— А у тебя что, лучше?

— Мне простительно.

— Тебе все простительно, а мне нет? Бухаришь тут... А что ты про мою жизнь знаешь? Мне, может, тоже... Давно все в печенках сидит! Перестройка! Перестройка! А где она тут у нас, эта перестройка? Болтовня одна! Дай мне червонец на дорогу,— вдруг попросил Данька.— Не бойся, отдам.

— Нет у меня...

— Думаешь, не отдам? Ну, дай тогда хоть рубль, если уж червонца для родного брата жалко.

— Ну нет у меня самого ни рубля!

— Ух ты! — Данька от отчаяния даже кулаком себя в грудь ударил.— Была у меня одна надежда на брата, а ты сам тут лапу сосешь! Счастливо оставаться!

Данька так хлопнул дверью, что стены задрожали. Как потом рассказывали мужики, он еще до позднего вечера кружил по деревне, выпрашивая у кого рюмку, у кого две самогонки — о водке и вине в Ивановке и речи быть не могло. И к вечеру Данька так напобирался, что забрел на кладбище и там, отыскав могилу матери, ползал по заросшему крапивою холмику, жалуясь безответно на свою загубленную жизнь. Когда и чем Данька добрался до города, этого уже никто не знал...

Он уснул на трезвую голову, а проснувшись утром, опять же на трезвую голову подумал: и хорошо, что вчера не напился, вообще с этого дня в рот не возьмет, пока не дождется письма от жены. Пусть не думает, что он без нее совсем опустился, еще больше стал пить,— совесть его перед ней будет чиста...

Но когда и после октябрьских праздников, которые он отлежал на печке, прожив неделю на одном картофельном супчике без капли спиртного, отрешившись от всего, даже на улицу не вышел,— вот когда и после этого Кира не отозвалась на его письмо, он слез с печки и написал ей второе письмо: а может, первое она просто не получила — затерялось в дороге или на почте? Все сейчас у нас может быть: не к лучшему, а к худшему все идет, во всяком случае лично для него... Опять какая-то нескладуха получается, черт бы ее побрал!

Об этом он с Кудачкиным снова даже поспорил, когда наконец выбрался из избы, чтобы отнести на почту Кире второе письмо, да тут и наткнулся на соседа, спешившего через огороды на ферму к своим бычкам. Все сейчас только и говорят о перестройке, вот и Кудачкин — не успел поздороваться, как заговорил об этой перестройке,— в свою пользу, конечно, иначе ж как?

— Тебе-то что,— с первого же слова оборвал он Кудачкина.— Ты и тогда не бедствовал, и сейчас сразу ухватился, что повыгоднее. А мне что эта твоя перестройка дала?

Вышло, что Кира передовее его оказалась: раньше не бросила, а вот сейчас бросила. Почувствовала, что ветер подул в ее сторону — и хвост подняла, тоже, значит, за перестройку, так получается?

— А ты что, против перестройки? — наскочил на него Кудачкин.— Тихо, тихо!

— Да я бы не против, если б мне от нее хоть какая-нибудь польза была. А то вот одни несчастья еще больше пошли...

— Ты, значит, противник перестройки? — добивался от него точного ответа Кудачкин.— Говори прямо!

— Не я противник, а она противник меня.

— Нет, раз она тебе не в жилу, хочешь не хочешь, а станешь противником, тихо, тихо! Ты уже сейчас на меня зуб имеешь, а за что? Тихо, тихо! Завидуешь?

— Да не завидую... Кому бы другому ферму отдали, еще ладно, а то...

— Хочешь сказать: почему мне, а не тебе?

— Да мне что? Была бы у меня семья... Другого человека не нашли?

— Вот ты и проговорился! Завидуешь! Еще как завидуешь! Завидки берут, что у тебя ни семьи нет, никакого лешего... Тихо, тихо! Совсем без ничего остался.

— А что, разве не так? Мне и тогда жить не давали, и сейчас... И я еще противник?

— А кто же ты тогда, тихо?

— Я противник, но я не такой противник, как некоторые... Каких по телевизору показывают...

— А какой? Тихо! Чем ты недоволен?

— Всем...

— Ну вот! А говоришь: не противник! Тихо! Ты самый и есть стопроцентный противник перестройки, раз ты всем недоволен... Тихо, тихо! — И Кудачкин, словно выведя его на чистую воду, повернул от него.

— Пстой! Что — тихо? Подожди! Кто стопроцентный!

Но Кудачкин уже скрылся в баньке. И тогда он закричал, надеясь, что его слышат и там, за стенами:

— Это ты... Ты противник! Стопроцентный этот самый... Думаешь, если бычков взялся отрачивать, то ты уже и герой? Высоко взлетел? За перестройку? Можешь ни во что других ставить... — Он задохнулся, закончил фразу на крике: — Хочешь, чтоб одних вернули, а других на место их туда отправили? Душегуб! — Подумал и прибавил: — А ты тут будешь карман себе набивать? — Еще немного подумал и сказал: — Меня уже не обманешь: было не раз...

Но тут выглянул из бани Кудачкин и подлил масла в огонь:

— Что было, тихо? — Значит, все слышал, раз не усидел в бане.

— Да все было... Кого туда, куда меня отправляли, а кого сразу на тот свет... Ты этого опять хочешь?

— Была бы моя власть, я бы вас всех, пьяниц, в одно место согнал, колючей бы проволокой огородил — заставил бы день и ночь работать! — отрезал Кудачкин и снова скрылся в бане.

— А-а, вот ты как заговорил! — крикнул он в пустой след. — Таким только дай власть... Привыкли душить да давить, лишь бы самим хорошо было! И сейчас еще руки чешутся! Все б душили да давили, — продолжал он обкладывая не столько Кудачкина, а какого-то обобщенного притеснителя, который находился где-то в другом, недоступном для него месте, докуда он не мог ни раньше, ни теперь дотянуться — мог только в тщетном негодовании грозить как в пустоту из своей деревни.

— Ишь моду взяли! — выкрикнул он через паузу уже не в сторону бани, а именно туда, вдаль от своей избы, где во все времена находились эти самые недосыгаемые для него, рядового человека, притеснители всех мастей.— Людей губить...

Помолчал, подыскивая слова, и еще громче, опять в ту сторону, выкрикнул:

— Не жалко свой народ изводить? Чего ради? Чтобы одни сели на место других? А чем они лучше? Довели...

Споткнулся на этих словах: чего понапрасну кричать, душу свою надирать? Кто его слышит? Один Кудачкин. Мелкая сошка. А до кого надо — кричи не кричи — не докричишься, кричи, хоть лопни. Хотел было замолчать, но так уж русский человек устроен: пока не выскажется до конца, не ответит свою душу — не замолчит.

— Погодите! Погодите! — перешел он на угрозы.— Еще придет время... Припомните мои слова! Еще пожалеете...— Но снова сорвал голос и хрипло, не зная, что уже и сказать такого, выругался: — А пошли вы все к чертовой матери!

Но и тут показалось ему мало, уже отступая под защиту своего крова, с оглядкой теперь исключительно на баню, проворчал:

— Сиди, сиди там! Думаешь, в бане спрячешься? Небось все слышал... Можешь идти доложить на меня... Я не боюсь! Я сейчас ничего не боюсь! — Остановился на полдороге и оттуда еще сказал, опять же не столько Кудачкину, сидевшему в бане, а тому невидимому притеснителю всех времен и народов: — Пускай сажают, пускай! Тогда я полагаю, изменилось что или все по-старому осталось...

На секунду прервался и, сбавив тон, подверстал:

— Верить мне тогда им или нет.

Зачем ему было опять связываться с Кудачкиным? Прав Данька: что изменилось? Пускай вверху что ни делают, как правильно ни говорят, но как в низах отнесутся, так и будет. На каждый приказ сверху — тут свой приказ, своя команда, свой у каждого интерес, свои давнишние друзья и недруги... А он, зная, ни тем ни другим не угодил, раз кругом остался на бобах...

Из-за перепалки с Кудачкиным так опять набрал себе в голову, что куда и шел, забыл — на почту с письмом за пазухой. Почти уже вернулся к дому, как вспомнил, но не пошел через огороды, мимо Кудачкиной бани, а обошел теперь ее стороной. Отнес письмо на почту, сдал его опять почтальонше прямо в руки для надежности, хотя та сначала не хотела брать — грубо ответила, чтобы опустил в ящик, соблюдал порядок, как все, не совал ей под нос. Потом все-таки взяла письмо, но бросила его на стол, на ворох бумаг, где оно действительно могло затеряться до завтрашнего дня, пока опять придет к одиннадцати часам почта.

Все же он с облегчением вернулся домой по холоду, забрался на печку и с этих суток начал считать дни.

Но и второе письмо, видно, не подействовало на Киру. А он прождал целый месяц, но опять ни ответа ни привета. А что, если и второе письмо затерялось?..

На третье письмо он ждал ответа почти до самого Нового года, после чего как-то сразу ослаб душой, на удивление покорно смирился с этим как с заслуженной карой за все свои врожденные и нажитые грехи. И все пошло дальше уже само собой под уклон — дожить бы безрадостный остаток жизни и на этом поставить точку. Но вот с выпивкой с каждым разом дело усложнялось — приходилось сильно ломать голову, где ее добыть. О купленной он уже и не мечтал: хоть бы она тут и стояла, так денег на нее по нынешней цене не напасешься, а у него и на хлеб-то порой копейки по карманам не найдешь: который уже месяц сидит без заработка. И работать идти куда-нибудь интереса такого уже не имел. Пробовал подрабатывать, если что подвораживалось спорое, на час-другой, от силы на день работы, притом

чтобы не на пупок брать, а что полегче, не надрывать, как половчее отделаться, деньгу схватить — и на пропой. Сунулся раз-другой в райцентр под очередной завод «белой головки», наслушался в очереди всяких разговоров, настоялся часами когда под наблюдением милиции, когда как, часто с драками и без драк, — нагяделся на все это безобразие и решил больше туда не ездить, перейти на самообслуживание, ни от кого не зависеть — заделать бражку, пусть с риском, зато вдоволь, раз из десяти попадешься, штраф хоть по самой большой мерке заплатишь, и то выгода есть. Но хорошо, если из десяти раз, а если с первого раза застукают, штраф наложат? Так оно и получилось: не успела бражка как следует погулять, набрать свои градусы, и вот на тебе — милиционер с усиками...

Обошлась ему эта бражка дороже ящика водки, а где он столько денег найдет? Пришли описывать имущество. Описывайте, если что найдете описать, глядите: одни голые стены. Но власти всегда найдут выход — на то они власти, тут же свои права качать: если в ближайшее время не устроишься на работу, отправим принудительно за тунеядство. Вот так, стал опять тунеядцем... А куда денешься? Волей-неволей пойдешь работать, пока хоть штраф выплатить, чтоб отвязались. Как тут ни плохо, но лучше умереть на свободе, чем в неволе — загнуться где-то на принудилровке... Идти работать, но куда? Опять на ферму к Кудачкину? Но Кудачкин всю ферму себе загреб, только своей семьей трудится, никого больше не допускает, чтобы ни с кем чужим заработанные тысячи не делить. Со стоящими людьми не захотел делить, а то с ним делить станет?

Но вот чем объяснить, что Кудачкин вдруг к нему изменился, как узнал о штрафе? В тот же день пришел на вырубку, предложил навоз вычищать. Может, он и милицию на след навел?

— Только гляди это самое... Загуляешь, даром работать у меня будешь, убытки за твой счет, тихо, — предупредил Кудачкин строго. — Сейчас время такое.

— Я не собираюсь пожизненно на тебя батрачить.

— Почему на меня, тихо? Сейчас, я говорю, не то время, каждый на себя работает... Тихо, тихо! Сообща.

— Сообща! Если бы не эта невыкрутка, так бы я к тебе и пошел бы за твоими бычками г... убирать.

— Тихо, тихо! Во-первых, эти бычки, как ты знаешь, не мои, а тоже общественные. Во-вторых, каждый получает свою долю и все, никакой обдираловки. Все честно: что заработал, то и получай. По справедливости... Тихо, тихо!

— Ты-то сам навоз на себе таскать не хочешь! И сыновья чтоб поменьше таскали... Вот тебе и по справедливости!

— Тихо, тихо! — тут же открыл свое луженое горло Кудачкин. — Кто на что способен, тот то пусть и делает, столько и получает! А то попривыкли: ничего не делать, а получать наравне со всеми!.. Тихо, тихо! А тебя и навоз не каждый возьмет из-под бычков вычищать. Соглашайся, пока я добрый!

И согласился. Что было делать? Его взяла. Только поторговался для видимости:

— И сколько же ты мне отвалишь? Сколько тебе для меня не жалко?

— По конечному результату... — не очень твердо ответил Кудачкин. — Как все сейчас получают... Сначала сделают, доведут дело до конца, тогда получай, сколько сумел заработать. Устраивает? Тихо!

— Нет, не устраивает. Плати помесачно, нет, даже подекадно. Десять дней отработаю — деньги на лапу. Ждать, когда твои бычки вырастут, ты их сдашь по весу — это долгая песня: мне каждый день рубли нужны.

— Тихо, тихо!

— Почему тихо? Так мне и плати, раз ты теперь полный хозяин, а я у тебя временный работник.

— Временный! Пропьешься, опять ко мне прибежишь.

— Нет, лучше с голоду пропадать, чем опять к тебе идти!

— Тихо, тихо!.. Без дела ты действительно пропадешь. Так что приходи завтра с утра пораньше, пока я не раздумал. Не придешь, я другого позову. Ко мне уже приходили...

— Кто?

— Аверьян.

— Нашел кого... Аверьян тебе наработает: день выддет, * три пропьянствует.

— А кому вы такие нужны? Тихо, тихо, кому?

— А ты не такой?

— Да и я такой... Тихо, тихо! Все мы уже пропацие, отжили свое. Надолго ли меня хватит? Ну, этих бычков откормлю, а там... Тихо, тихо! Может, эту лавочку прикроют.

— Потому-то ты и спешишь?

— А что? Надо спешить... Тихо, тихо! Пока дают.

— Что ж мы должны теперь тянуть друг другу, одни — себе, другие — себе, кто кого перетянет?

— А ты как хотел? — снова жестко произнес Кудачкин.— Тихо, тихо! Кто сильнее окажется, тот и перетянет, тихо!

— Что же тогда получится?

— Что — будет видно. А пока хватайся за что можно... Тихо, тихо! Пока еще что-нибудь не разрешат.

— Все равно не так.

— Ну а как иначе? — никак не мог понять Кудачкин.— Иначе нельзя.

— Нельзя, что ли, по-хорошему? Совесть у них есть?

— Э-э, долго ж тебе придется ждать! — усмехнулся Кудачкин.— Гляди, сосед, опять у тебя мимо рта пройдет! Всю жизнь тебя как ни учили, ничему ты не научился!

Неделю до Нового года и еще две после Нового походил к Кудачкину на ферму, потаскал вилами вылупивши глаза навоз и больше зарекался ходить. Кудачкин хочет много зарабатывать, пускай сам по себе таскает навоз этот, надрывает жилы. Может, на свои доходы вместо вил что-нибудь другое приобретет,— робота, облегчит труд, пустит деньги в оборот, раз интерес к этому есть. А ему много денег не надо, упираться никакого интереса нет — был, да весь вышел. Кудачкин на его отказ махнул рукой — не ты, так другой найдется. Найдется, конечно, может, такой дурак, поверит, как он когда-то поверил, когда на целину ехал...

Зиму можно было как-нибудь перекантоваться и без кудачкинской подачки: все же картошки он накопал со своего огорода хоть и неважной, но на одного — вот так, засыпал треть места, что раньше засыпал с Кирой в подполье... Яблоками завалил весь угол в избе, капуста бочонок заквасил, помидоров, правда, зеленых, не вызревших за лето... Это дело немудреное, любой мужик, если прищрет, справится.

В эту зиму и милиция стала меньше по деревням шастать самогонщиков вынохивать: снегом завалило всех по самые крыши, по дорогам на машине не проехать — как с асфальта свернул к деревне, так с головой в снег; только на санях кто и проскочит навывлет из села или в село из местных, у кого лошадь своя, что давно стало редкостью у сельчан — до сих пор действовал неизвестно когда и кем писанный запрет на лошадь, если кто-кто и держал лошадь, то тайком. Но нынче и Кудачкин завел кобылу, чтобы обходиться без совхозного трактора: все экономии наводит на ферме. Небось когда тут в начальниках ходил, руки в брюки, на всем государственном, — не экономил ни на тракторах, ни на каких машинах — пусть палят :о-

рючку, ломаются — отремонтируют. А нет — новые государство даст: все равно всю жизнь в убытке, спишут, из казны подкинут, чего переживать? И о бычках разве так думал день и ночь, как сейчас? Сдохнет, ну и черт с ним, не удастся сбегать — спишут по акту, и дело с концом. А как коснулось своего, кровного, так и на лошади готов возить, не дай бог, чтобы бычок какой чем заболел, — в убытке не оказаться. Так кто теперь куркуль? Ну и что, что бычки не его, а совхозные? Загрести-то он больше себе старается — не кому-нибудь; наоборот, другого обжать: его на навозе, кого на чем, нашел дармовую силу!

Он ведь три недели всего-то у Кудачкина и отработал, не потому, конечно, что ему деньги не нужны — еще как нужны! Не выдержал больше унижения: вроде бы ему в жизни только и осталось, как за Кудачкина навоз таскать. Первые дни он выходил с утра на ферму еще с настроением — может, вправду лучше делом заняться, пусть сначала не ахти каким. Навоз тоже кому-то убирать надо, он не белоручка, было бы только к тебе человеческое отношение. Принюхивался к нему Кудачкин каждый день как собака: сильный от него запах или нет. Стояла у него бражечка в укромном месте — теперь милиция и с собаками бы не нашла, говорят, что уже есть у нее такие собаки, запросто где у кого что стоит находят по запаху — обучили! Ну, так стаканчик перед тем, как идти с вилами на ферму, почему бы и не употребить? Тогда и навоз вроде бы не таким вонючим кажется, свой аромат ему придает, без шуток! После, как нанюхаться этого аромата, жилы понадрываешь, таскавши вилами навоз, домой еле притащишься, руки едва отмоешь — тут уж не стаканчик какой-то бормотухи, а чистой водочки бы, да где ее теперь взять? Довольствуйся тем, что есть, собственной выработки...

В первые дни еще хватало терпения, пока Кудачкин не стал к нему принюхиваться. Мало того, еще и покрикивать, как на свою собственность, подгонять: давай, давай! Сейчас бы как ему дал, чтобы и ногами накрылся! А что? И заехал бы... Теперь Кудачкин всем говорит, что он его выгнал, такой, мол, ему не нужен, надеялся, что исправится, да, видно, горбатого могила исправит.

И вот остался в зиму совсем один, в буквальном смысле без гроша. Получилось так, что и Волкодав его предал... Может, и не предал по-настоящему, как люди друг друга предадут, он просто так говорит. Как иначе скажешь, когда и собака — друг человека сбежала из дому... Ну, может, действительно не сбежала, а как-то пропала, гадай теперь, но после того случая сразу исчезла. Думал: вернется, утром вышел во двор, звал, звал, так и не дозволялся. Ночью такая метель бушевала, может быть, где-нибудь в снегу околел...

О жене он так не переживал, как о собаке. И вот не поверишь, а предала собака человека, в самую трудную минуту предала! Подорвала его последние силы, хоть сам теперь вместо нее полезай в конуру, нет, на погреб, садись там и от тоски, как собака, всю ночь вой, задравши морду к небу... Все эти дни он и в самом деле нет-нет да и как-то взывал по-звериному, один мечась по избе из угла в угол, но тут же давил в себе этот нечеловеческий звук, выглядывая во двор — не вернулся ли Волкодав? Нет, не вернулся ни на другой, ни на третий день, ни через неделю. Значит, измена настоящая. Что же толкнуло Волкодава на эту измену?

По-всякому бывало, когда под большим градусом, когда под малым возвращался домой... Но это всегда была желанная встреча с собакой, вроде ежедневная исповедь. Ну пусть пьяное душеизлияние с запахом сивухи и дешевой закуски. Не всякому из людей нравятся чужой запах нюхать — нос воротят. А тут собака... Собаке, если у нее не испорченный нюх, тем более этот запах не очень по вкусу. Это он понимает, делает скидку, прощал Волкодава, когда тот на-

чинал выкобениваться, не поддаваться на его заигрывания, не подчиняться строгим требованиям. Но чтобы укусить хозяина...

— Я хотел тебя обнять, а ты меня укусил! — чуть не плача от обиды, размазывая кровь по руке, проговорил он, когда почувствовал боль от острых клыков Волкодава. Пока разглядывал укушенное место, приходил в себя, Волкодава и след простыл — понял, значит, что попадет... И попало бы, если бы вовремя не смылся. Ну погоди, придешь домой! Когда-никогда, а вернешься!

Но когда и через неделю Волкодав не сыскался, пришлось другому взглянуть на это дело. Если бы вернулся сейчас, не наказывать собаку надо, а просить у нее прощения, становиться перед ней на колени. Но полного предательства простить нельзя: мыслимо ли, чтобы собака человеку изменяла! Не ей его судить, каким ему домой приходиться — пьяным или тверезым...

И вот наконец приехала сестра. Сколько лет подряд глаз не показывала, а тут вдруг явилась. Что раньше забывала о брате — не важно. Важно, что сейчас вспомнила, когда он нуждается в помощи. Сама за ним приехала, мол, собирайся, она забирает его к себе: дети ее уже повзросли, получали квартиры, пока поживешь в городе, полечишься...

— Нет.

— Нет — сказать легче всего. А если серьезно подумать? Кто не по принуждению, а по доброй воле, того быстрее и вылечивают.. Ты что, тут пропадать собрался? — вела сестра обработку.

— А там — нет, не пропаду? Затолкаете, как в тюрьму, больше не вылезть.

— Почему? Полечишься, обратно заберем. Кто тебя там держать лишнего будет? Как всех, так и тебя.

— Все, хватит! Прекратили этот разговор! Что, ты меня за алкаша принимаешь? Ну и хороша у меня сестра, нечего сказать!

— Хотела как лучше, а ты вот как сестру встретил!

— А как еще тебя встречать... Может, ты тоже за своей долей приехала?

— За какой долей?

— За какой Данька приезжал... Даньке не удалось, так теперь ты собралась? Не быть по-вашему!

— Господи, да о чем ты?

— Будто не знаешь!.. Чтобы эту вот... Несчастную халупу продать, а деньги меж собой поделить...

— Да вы с Данькой что, рехнулись? Мне эта хата нужна? Совсем уже... Мозги свои пропили.

И она заплакала.

— Это ж надо, — качала она головой, распустив слезы. — Надо ж такое сказать: за своей долей приехала... Из-за рюмки водки готовы родную сестру грязью облить! И повернулся язык! Да у меня всего хватает: мой муж не пропивает, как ты. И Данька тоже от тебя не отстает... — Сестра вдруг перестала плакать, подобралась вся, сейчас жди. — Ну раз так, — проговорила она уже совсем без слез, — больше я ни минуты здесь не останусь. Был у меня один хороший брат, и тот стал... Пропадаешь — и пропадай! Уговаривать не буду! Думала: жена тебя из-за чего другого бросила... Выходит, заслужил!

Стянула на себе поплотнее синтетическую шубу, которую и не скидала, как вошла в холодную избу, глянула на нетопленную печь, так в шубе и вертелась перед ним. Теперь вот как была одета, лишь застегнула пуговицы, и тут же мотанула туда, откуда приехала. Вот таким манером на него посмотрела и себя показала. Через минуту вернулась — неужто что-то забыла? Нет — не доругались, значит.

— И Даньке это передай, если тут появится, — добавила она, открыв дверь и напуская с улицы еще больше холода. — Ко мне пускай

и глаз не показывает: повыцарапаю ему бесстыжие! — Захлопнула дверь, но тут же снова открыла. — Не захочешь лечиться, с милицией придут, все равно заставят! — выкрикнула и скрылась.

Он подождал, прислушиваясь к улице и не спуская глаз с двери: вот-вот откроется, покажется в ней голова сестры под шапкой из темно-серого песка. Но если бы хотела, то уже вернулась бы. Значит, разговаривать на другом языке ее, видимо, там, в городе, не научили, а раз так, то и он чихать хотел на ее угрозы.

Он слез с печки и присел к окну. Время было еще не позднее, послеобеденное, день с утра держался солнечный, с морозом, такой пока и стоял без изменений. Небо даже становилось чище, а мороз не убавлялся, а прибавлялся, к ночи обещал перейти в еще больший, набирал градусы, гляди — в полночь затрещит, не улежишь на печке, если не протопишь с вечера... Сестра вовремя убралась в город, если, конечно, села на автобус, а то мог и не пойти по второму разу, не придерживался графика, иногда шофер вообще отказывался ехать из-за малой выручки, нечего было положить себе в карман. Надо было все же проводить сестру хотя бы до горки. Нехорошо все-таки получилось, как-никак родная кровь, а вот не нашли общего языка...

Сколько он просидел у окна, надутый, как сыч, подперев кулаком седую голову, глядя, как угасал холодный зимний день за плохо пропускавшими свет, неизвестно когда мытыми стеклами в почерневшей от гнили раме, уже ни о чем не размышляя, а просто так проводя время, чтобы скорее оно прошло. Но от этого время не то чтобы еще дольше тянулось, а как бы совсем для него остановилось, уперлось во что-то — не сдвинуть, не столкнуть его с места, не завести, как часы, не запустить опять в ход, чтобы пошло дальше безостановочно, подчиняясь закону вечного движения... Двигалось, менялось, — казалось, — только все, что за окном, снаружи, по другую от него сторону: опускалось все ниже солнце, слабели его лучи, тяжелел, уплотняясь, морозный воздух, удлинились, густели на снегу тени. Днем еще подававшая признаки жизни деревня — то резким мужским окриком, то одиноким женским голосом, то несколькими голосами, похожими на перебранку, то мычанием коровы, отдаленным стуком топора на чьем-то дворе, — теперь постепенно успокаивалась, укладывалась спать намного раньше, чем по летнему времени. А он все сидел у окна, как бы полностью выключенный из общего течения жизни.

И тут он заметил мальчика со стареньким портфелем, болтавшимся за плечами на узком ремешке от брюк. Шел мальчик не дорогой, где все ходили и ездили, а сторонкой, проваливаясь по колена в снег, будто ему нравилось лезть по сугробам, там, где побольше намело, увязая то одной, то другой ногой, иногда спотыкаясь, зарываясь лицом в снег. Неужели этот мальчишка шел домой из школы, один, зимой, в такую даль: из Рассухи назад в Ивановку? Взрослому зимой этот путь нелегким был: пока дойдешь, бывало, через поле по занесенной снегом дороге, да если еще мороз сорокаградусный с ветром, всех святых помянешь. Ведь это только считается, что идешь по дороге. А какая это дорога? Проедет кто-нибудь по первопутку напрямки, примнет первый снежок, за ним пошли пешие, натапывая тропку, возобновляя ее после каждой заметы, отвоеывая у зимы, закрепляя ее до весны. А с весной, с первыми оттепелями эта дорожка из твердой, найденной превращается в снежную кашу, то подмерзнет, то опять подтаивает, крошится под ногами, становится все уже, истончается, пока не растает совсем и не обнажится под ней голая земля. Оттаяв, дорога уже не держит ни конного, ни пешего до тех пор, пока солнце, с каждым днем набирая силу, не высушит всю грязь до дна, — не возьмется она трещинноватой серой коркой в палец толщиной. Тогда пойдут, выбивая

колею в колено, совхозные машины на поля, развозя навоз и из буртов картошку под посев.

Но до весны еще помрешь, сидя у окна, со скуки, а этому пацану еще надоест лазить по сугробам, еще не раз небось отморозит себе нос или уши, а то, не дай бог, и поплутает один в снежном поле, пока дойдет от Рассухи, случись добираться в темноте, когда день совсем укоротится, начнет рано темнеть. А то еще и оставят после уроков, если плохо учится... Почему-то так и подумалось, что мальчишка должен учиться неважно, тянуть на одни тройки с двойками пополам, раз он ходит один из всей деревни туда, в Рассуху, лазит по сугробам, так небрежно носит портфель за спиной на худом ремешке от брюк. И одет неважнецки, как зря; видать, донашивал чьи-то обноски, не по размеру и пальто и штаны, со взрослой головы — шапка, не то что сейчас городские, да уже и многие деревенские дети ходят в школу — во всем новом, модном. Нет, этот сильно отличался от них, кому выпала другая судьба.

Чей же это мальчик, откуда он взялся? Раньше вроде же тут не ходил. Или, может, просто не замечал его? Только сейчас разул глаза... Не Митюры ли сын? Да где ж Митюры, когда у Митюры дети все уже взрослые, старший когда еще умотал, разве что самый младший... Но и тот поди уже не малолетка, куда выше ростом будет... Может, уже Митюры внук? Так чего внуку оставаться тут в школу ходить, не по месту родителей — в Брянске? Отказались от него, что ли? В деревню к деду с бабкой сплавили? Хоть и так, почему не одели как следует, если уж решили от него избавиться? Нет, это не Митюрин внук, не может быть, чтобы старшая дочь на это пошла, от родного сына отреклась. У Митюры все дочери порядочные. И зятя тоже. Может, Маланьин сын? У той дети все ходили оборванные. Но это опять же когда было? У Маланьи тоже уже все повзросли. Самому младшему небось в армию скоро... Время идет, сколько уже прошло, не углядишь, как сменится весь народ кругом...

Так он и не отгадал, чей же это мальчик, каких таких родителей?..

Нет, как ни отказывают силы, надо подняться, оторваться от окна, все равно смотреть там теперь не на что: мальчик уже скрылся, солнце тихо угасло, окрасив край земли перед последним вздохом, ушло на покой на всю ночь — длинную зимнюю ночь с трескучим морозом и такой тишиной, что мертвые из могил встанут. А тут ты, живой, глаза среди ночи пролупишь и лежишь, маешься до утра, никакой сон тебя не берет.

Все же чей это парень? Скорее всего каких-нибудь забитых, простых работяг, не иначе. Были бы не забитые — добились бы, чтобы и одного в школу возили, не обеднел бы совхоз. Кто же тут такие? Кого ни возьми, все уже старые, чтобы малых детей иметь, однако факт налицо. Не померещился же ему мальчишка — своими глазами видел! А может, чем черт не шутит, ему все причудилось, может, действительно он дошел? Сестра права: пора ему в лечебку!

Ну нет, только начни думать так, тут тебе и крышка! Не дошел еще — так быстро дойдешь, ускоренным темпом. Не привиделся он ему, завтра снова сядет у окна, встанет пораньше, когда тому в школу, и — удостоверится. И после обеда еще раз, когда будет возвращаться, как сегодня, домой. Главное: выдержать эту ночь, не свихнуться до утра... А сейчас, как ни устал, надо протопить печь да пожарче, чтобы за ночь не выстудилась, завтра на это дело не отрываться.

Он живо поднялся — откуда и силы взялись? — направился во двор в одной рубашке. Прежде чем нырнуть в дровяник, остановился возле конуры, прислушался: не шевельнется ли там живое? Даже наклонился к конуре, заглянул в ее темное нутро — нет, пустая, весь уже собачий дух из нее выветрился, выморозило насквозь, соломен-

ная подстилка подернулась инеем, заледенела по краям, куда с осени затекла вода. Он передернул плечами от холода — выскочил раздетый! Да что он опять... За чем он шел, за дровами? Вот и набирай дров, неси в избу, затапливай печку — побольше делай, поменьше рассуждай, лучше будет. Живешь, ну и живи, радуйся, пока живется. За ночью наступит день, будь рад этому дню, надейся, что пройдет и вторая ночь, наступит другой день, и ему будь рад — всем дням, что еще наступят, до самого последнего... Где-то же должен быть край? Ну и тогда что ж, поминай чем звали, не он первый, не он последний.

Вот уж и все дрова прогорели, пора было уже и трубу закрывать — небо не нагреешь, а он все сидел у печки, пока не поубавилось тепла, угли не подернулись пеплом. Пошел снова за дровами в одной рубашке, подкинул несколько полешек, раздул пламя, так и дотянул до рассвета, не сомкнул глаз: сомкнешь на минуту — да и заснешь, перепутавши, где день, где ночь. А этого он боялся больше всего.

И вот уже густо зарумянилось в окне: быть и сегодня солнечно-му морозному дню без ветра. А в безветрие мороз переносится легче намного, чем в ветреную погоду, не заметишь, бывало, как и обморозишься, — взрослому не уберечься, а пацану каково? Но сегодня, слава богу, ничего особо не грозит... Скоро он уже должен показаться... Да вот же он, вот!

В оттаявшее на стекле пятно, в его радужных при восходе солнца разводах он действительно увидел мальчика со стареньким портфелем, болтавшимся на узком ремешке от брюк, — того самого, которого видел вчера. Значит, ему не привиделось — мальчик настоящий, не чертовщина какая! Значит, с головой еще все в порядке, нечего про лечебку...

Он прямо-таки воткнулся носом в холодное стекло. Вздернутый, широковатый в ноздрах нос, скошенные скулы, все время приоткрытый, с вывернутой верхней губой рот... Парень, как хошь, а некрасивый, неудавшийся. То ли родители сами такие, то ли что-то приешалось, получился, наверное, больной, не их породы. Но больше всего не удались глаза: крупные, навывкате, хотя и его любимого голубого цвета...

Мальчик проскочил мимо окна так быстро, что он ничего и сообразить не успел, может, чем-то надо было б помочь... Хотя чем поможешь? Не побежишь же за него в школу бегом. Если бы мог, и побежал бы, только какая мальчику с этого польза? Вот был бы у него свой транспорт... О машине, да еще о «Жигулях», как у некоторых, он уж молчит. Даже мотоцикла и того себе не нажил! Был бы хоть старенький, лишь бы колеса крутились! Посадил бы он сейчас на него мальчика — и как газанул... Хотя нет, на мотоцикле, даже на «Жигулях» зимой по такому снегу и за деревню не выберешься. Может, он голодный в школу побежал, не успел даже картошину схватить? Может, надо было его окликнуть, яблочко ему дать в карман на дорожку? Да сколько захотел бы, столько и взял бы! У него этих яблочек еще полный угол! С осени лежат гниют на полу.

Теперь он весь день не отходил от окна, пока опять не свечерело, уже решил, что проворонил мальчика, как тот возвращался из школы. И когда еще раз глянул в окно — так вдруг обрадовался: мальчик устало плелся по дороге, волоча портфель по снегу за ремешок, точно салазки. От радости ум за разум зашел, лишь таращился на мальчика, пропуская его мимо окна. Но тут опомнился, начал тукать по стеклу и кричать — все одновременно: «Эй! Постой! Подожди!..» И мальчик услышал стук в окно, а может, и крик, оглянулся испуганно, хотел побежать от окна, да запутался в ремешке, упал и, как собачка, пополз на четвереньках, подгребая к

себе портфель, чтобы с ним под мышкой вскочить и побежать дальше еще быстрее.

— Куда же ты? погоди! Не бойся...

Он схватил с пола пару яблок и выскочил на улицу.

— На! Бери, ешь! — И он протянул мальчику сразу эти два яблока. — Чего испугался?

Но мальчик не решался подойти ближе.

— Ну чего ты? — проговорил он, не меньше мальчика придя в замешательство. — Возьми... Возьми, скушай! Я ж просто так.

Но мальчик стоял, прижав к себе портфель, лишь водил взглядом, как звереныш перед приманкой, осторожничая.

— Ну чего ты такой? Угощайся!

Он шагнул к мальчику, уверенный теперь, что тот не драпанет от него, ткнул ему два яблока за пазуху, под оттопыренный борт худого пальтишка и, как бы облегчив сразу душу, приказал:

— Держи, чтобы не вывалились!

— Спасибо, — сказал мальчик еле слышно, отступая от него.

— Хочешь, еще дам? У меня этих яблок... насыплю сколько донесешь — полный портфель!

Но мальчик отступил от него еще на несколько шагов.

— Ну ладно, приходи завтра, — угрюмо смирился он. — Прямо после школы ко мне! Гляди не загуливай.

Мальчик побежал себе домой, неизвестно, согласился или нет, но хоть чуток повеселевший. А ему теперь что было делать? Сам не свой вернулся в избу, стал рыскать по углам, подчиняясь стойкой привычке, когда его охватывал душевный разлад. Вот когда он напился бы!

А если он все же придет за яблоками? Надо бы пожарче растопить печку, чтобы даже мухи от тепла проснулись. Главное, чтобы ему у него понравилось. И сам ему понравился, не совсем же он урод, хоть и без глаза, чтобы дети его пугались. Если его глаз смущает, он может и стекляшку вставить, съездить для этого дела хоть в Москву, хоть за Москву — все для него сделает! Он сходил в одной рубашке наскоро за дровами, разжег бумагой. Когда они стали прогорать, сходил еще раз, раскочегарил так, что пришлось отодвинуться от печки. Но и этого тепла показалось ему мало — пошел за дровами в третий раз...

Так провел он и эту ночь, борясь со сном, пока не дождался рассвета. За ночь погода испортилась, к утру запуржило, сначала было взялось не на шутку, но с рассветом поослабло, затем и совсем успокоилось. С минуты на минуту жди мальчика... Надо заранее, не дожидаясь, когда он пройдет мимо окна, перехватить его, дать с собой в школу яблок, а не гнаться, как вчера, за ним по улице... Да привести себя в порядок успеть — побриться, переодеться в чистое, может, даже отыскать галстук, где-то же у него был раньше, если не запропал совсем.

Но сколько он ни выжидал мальчика у калитки с кулечком яблок под полой старенькой куртки — все, что осталось у него самого лучшего из верхней одежды, — сколько ни стоял, поправляя свободной рукой галстук, мешавший ему нормально дышать, начинал уже мерзнуть — в одной рубашке не мерз, а тут озяб, — все напрасно. Вернулись уже с фермы Кудачкины, раздав бычкам корма, день уже набрал свой зимний колер, устоялся, готовясь перевалить на вторую половину. За такой срок мальчик успел бы сходить в школу туда и обратно, но нет, почему-то не пошел сегодня... И на другой день, несмотря на снежную погоду, он понапрасну прождал все утро мальчика возле калитки с кульком яблок. И на третий день. И, чего уж совсем не ожидал, вся неделя прошла так, — вот тогда-то он и решил не ждать у моря погоды, а самому сходить в школу — узнать, может, мальчик заболел, может, еще что: если он не здешний, могли

родители забрать к себе в город или еще куда там, где они, кто их знает, живут и чем занимаются, но, видно, непутевые...

Так, уже не зная, что и думать, прошел он всю дорогу от Ивановки до Рассухи, даже не заметил, как отшагал, занятый этими невеселыми мыслями. Встрепенулся, когда уже вышел к новой школе из белого кирпича. Строили новую школу в Рассухе, видно, как когда-то в Ивановке, из расчета на пополнение, заманивая в совхоз молодые семьи квартирами на новой, оторванной от старой деревни улице, где собирали по трехэтажному дому в год из бетонных плит. Новая улица была как мозоль на глазу среди чистого поля, на взгорке. Посажённые возле домов деревца и кустики плохо приживались, росли медленно, выглядывая летом из сорняков одними макушками. Первые дома уже были заселены, предпоследний еще только собирались заселять, а последний затянули со сборкой до зимы, так он и ушел под снег недостроенный, оставленный до весны. Под снег ушла и вся та грязь, что развели вокруг стройки, и не подумал бы, что с весны тут люди опять начнут лазить по колена в серо-бурой жиже, пробираясь к подъездам по доскам, что набросали как попало новоселы, кому как когда пришлось вселяться, в дождь или в засуху.

Школу все же додумались, а может, само так получилось, оставить на старом месте, возле лесочка на речном берегу, в низинке, куда меньше задувает ветер, тоняет по классам сквозняки, а на дворе детям приволье, есть где побегать и на что посмотреть — на природу. О чем бы ему сейчас ни думать, лишь бы не о мальчишке, что его там, в школе, ждет. Тут-то и осталось всего пройти новую улицу и выйти к старой, откуда откроется перед ним вся школа с широким школьным двором и волейбольной площадкой посреди двора, теперь, зимой, без сетки, с двумя голыми столбами. В конце двора — туалет. Школа теперь новая, а туалет старый, на том же самом месте, ничего не изменилось, только кое-какие тесины сгнившие на новые заменили.

И вот еще что сохранилось, просто удивился, самое главное не тронули — старую школу, то ли средств пожалели снести, людям лишний рубль заплатить, то ли чья-то умная голова решила отличиться — школьный музей в ней устроить. Ну, не совсем музей, но что-то такое ему в глаза бросилось, когда он заглянул в открытую дверь... Все-таки хоть год, но и он просидел в ней за партой, когда из начальной, что сейчас в Ивановке закрыли, перешел в эту, тогда семилетнюю...

Он остановился на пороге своего бывшего класса, робко, словно первоклассник, прокрался к последней парте, сел на то самое место, где когда-то сидел. Все же он устал, пока дошел до Рассухи по зимней дороге, видать, сдал за последнее время, подкосил сам себя. То, бывало, и зимой когда три раза на дню сходишь сюда в контору — погоняют тебя взад-вперед за какой-нибудь бумажкой, и ничего, не болят ноги. А почему? Потому что как с утра до вечера побегаешь все лето, так натренируешься, что иному спортсмену за тобой не уняться. Сейчас какая у него тренировка? Откуда быть силам? Что и были — все вышли. Да и не в тренировке, видно, уже дело: стареть стал... Вспомнить детство — самую лучшую пору жизни... А чем уж так у него — самая лучшая? Только вроде и запомнилось хорошего — дорога в школу, как бегал сюда босиком, закинув ботинки на плечи. За несколько метров до школы садился на пригорок, обувался и вбегал в класс.

Да, вот в этом классе он и учился, сидел на последней парточке, как вот сейчас сидит... Конечно, это не та самая, за это время уже не одна парта сменилась — трудно класс узнать. Но вот доска, кажется, осталась старая...

Он поднялся и скорее, хоть и ломило ноги, подошел к доске, заглянул на обратную сторону. Сейчас он точно определит, та ли доска,

что была еще при нем, или другая: есть на ее обратной стороне одна отметинка, которую он оставил на память, когда по милости Доброва ему пришлось расстаться со школой... Сейчас, сейчас он ее найдет! Где-то вот в этом углу была, если ее не закрасили... Наверно, закрасили, хотя и под краской наверняка можно будет прочесть: он что надо, на совесть процарапал тут одно слово гвоздем... Нет, уже ничего не разобрать: если и закрасили, то постарались, не пожалели краски. А может, и доску за это время не одну заменили, напрасно он старается хоть за что-то зацепиться...

— Вам что здесь нужно? — отвлек его строгий мужской голос.

Эта учительская строгость, наработанная на учениках, для него ровно ничего не значила теперь, когда он мог и сам таким голосом на кой-кого прикрикнуть даже, иначе на голову сядут и не слезут, дай только с первого дня потачку... Вот пусть с учениками так и разговаривает, серьезность на себя напускает. А на него нечего голос повышать, зелен еще. Два года походил тут с бородой, кое-как уговорили на третий остаться, поучительствовать, и думает, всем великое одолжение сделал, проходит — ни с кем не здоровается...

— А что? Нельзя поглядеть уже? — однако сдержался он. — Запрещается?

— Нет, не запрещается, — ответил молодой учитель в том же тоне, приглядываясь к нему, но, видать, никак не признавая его. Да и откуда ему признать? Загадочно повторил: — Никому не запрещается...

— Ну так чего же ты?

— Не «ты», а «вы», — тут же поправил учитель.

— У меня сын мог бы такой быть... И не один... Старше тебя.

— Я бы не позавидовал вашим сыновьям! — быстро и находчиво ответил учитель с бородой.

— Это почему же не позавидовал бы?

— Нарожаете дебилов... А нам потом возись с ними!

— Так-так, значит.

— Да, вот так! Живете в свое удовольствие, совсем не думаете, на что обрекаете своих детей и во что это обходится государству, — уж больно быстро разгорячился учитель. — Как я догадываюсь, вы отец Тимки?

— Какого Тимки? — поразился он, услышав свое имя, как его звали в детстве. — Какого? — переспросил он. — Того... Из Ивановки?

Лицо молодого учителя снова напряглось от высокомерия:

— Вы что, уже не можете сообразить, ваш это сын или нет? У нас в школе один такой из Ивановки... Его надо было в спецшколу отпирать, а вы нам сплавили! Вы хоть отдаете себе отчет?

— Отдаю... Неужели же не отдаю? Еще раньше тебя... Ты-то тогда знаешь где еще был? А и сейчас много ты понимаешь? Молод еще меня учить, хоть ты и учитель. И сына моего нечего ни во что ставить.

— Почему он в школу не ходит?

— А я знаю — почему?

— Что? — удивился учитель.

— Не хочет.

— Почему не хочет?

— Не знаю... Может, учителя не нравятся — плохие...

— Да что вы говорите! — горделиво задрал голову учитель. — Сплавили, извините, своего недоросля и на этом успокоились. Не знаете, кто его учитель.

— Чего ж я успокоился? Пришел вот... — проговорил он, наконец-то поняв — перед ним и есть Тимкин учитель. — Приду домой, я ему дам плохих учителей! Сам хорошим будь, и учителя будут хорошие. Как ты к ним, так и они к тебе. Еще и ремнем всыплю! Ничего, перебьется! Завтра он у меня сам побежит в школу как ми-

ленький! Пешком пойдет, по сугробам! Учиться не хочет, а его еще возить. В спецшколу? Я покажу ему спецшколу! Ишь дурачка нашли! Какой он дурачок?

Он еще много говорил такого сам себе на диво, отступая от учителя с бородой. А когда отошел подальше, быстрее развернулся и — ходу. Всю обратную дорогу гадал, что же ему теперь делать? Может, сразу сходить к Кирюшиной Насте? Передать ей свой разговор с учителем, как пришлось брать на себя ее грех? Не совсем ее, а ее мужа, который почти не жил с ней — появлялся на неделю-другую, отсыпался на топчани за печкой, подкреплялся на деревенских харчах, выклянчивал из ее скудных совхозных заработков на обратный билет и отправлялся опять куда-то за легкой жизнью неизвестно на какой срок.

Настя поселилась в Ивановке ну, может, лет десять назад. А муж ее — какой он ей муж, хоть она и говорила, что законный, — тоже никто не знает откуда. Мало кого интересовало в деревне, где у каждого в семье и пьянки, и разводы, и драки, бросали детей на произвол судьбы — ни у одного нормальной жизни он не видел что-то. И Настя Кирюшина не интересовала его, если что и знал о ней, то со слов других. Даже и не заметил, когда у нее сын такой вырос...

Вот уже и Ивановка выглянула из оврага. Зимой так и ничего, чистая, вся в снегу по самые крыши, — все грязное, неприглядное спряталось под снегом до весны. Разве что на Кудачкину ферму и зимой долго глядеть не захочешь. Но куда от навозных куч денешься? Зимой они только еще больше растут, оттесняют от фермы снег. Старые кучи снег чуть присыплет, за ними новые вырастают — старается Кудачкин...

Он заторопился к дому, насовал сколько влезло яблок в карманы куртки. Запихнул еще по яблоку в брюки — выбрал, какие побольше, все карманы оттопырились, и такой вот, кособокий, поспешил опять из дома. День уже клонился к вечеру, а ему еще надо было топтать на другой край Ивановки, где жила Настя Кирюшина со своим... Он было разогнулся по улице, но тут увидел Кудачкина и повернул назад к дому, вроде бы что-то забыл, забежал за калитку, постоял, пока Кудачкин пройдет на ферму, и уже с оглядкой взял в обход на проселочную дорогу по санному следу... Это было и дальше немного, чем улицей, и идти труднее: санный след не держал — местами проваливался тем глубже, чем было больше снега в поле, где даже в тихую погоду поигрывала поземка. Возле жилья, в низине, стояло затишье, а тут, на загорках, пошаливал ветер, где какой ни был слабый снежок, весь сдувался, переметал дорогу. Налязавшись по сугробам, он наконец выбрался снова к улице, не дойдя до Насти без малого дворов десять. Тут ему уже нечего было остерегаться встречных: на другом краю деревни его уже мало кто знал, не все здоровались с ним, не со всеми здоровался он, бывало, и раньше. На его счастье, никто ему на этой улице не попался.

Много уже в Ивановке страховидных изб, да, вымирает деревня, старится, но такой, как у Насти, во всей деревне не найдешь. Сарай хуже избы, совсем покосился, подкиннет побольше снега на крышу — и провалится, корову придавит... Какую еще там Настя живность держит? И от забора местами остались одни колья, из снега торчат... За сколько же она такое хозяйство купила? Или за десять лет без мужика — какой он хозяин, если всю жизнь где-то скитается? — одна до такого состояния довела? И за водой ей ходить дальше всех — через всю улицу. И на коромыслах небось, пока донесет, спина переломится. Себе на вареве, на стирку, корову напоить... Ладно, когда погода, а когда заметет, что носа из дверей не высунешь?

И тут он увидел Тимку — выскочил из сеней без шапки, накинув пальто на голову, и скорее за сарай. Сделал что надо и так же

бегом — назад. И как же он рот раззявил, не окликнул его? Теперь жди, когда Тимка опять чего захочет — за сарай побежит. Или набраться, как говорят, нахальства, самому напроситься в гости? Час назад, казалось, это ему ничего не стоило — передать просьбу учителя, чтобы шел в школу, не пропускал уроки. А то совсем отстанет и до весны не нагонит. Чего было проще и Настю приструнить, чтобы не запускала парня. Была бы причина уважительная — и вправду заболел, а то вот, слава богу, здоров, раз без шапки зимой на двор бегает...

Сколько он так простоял в надежде на случай? Где простоял-проторчал как пень под окнами... Уже темнеть стало по чуть-чуть: сначала под лесом, что был тут недалеко, через малое поле, может, когда Настя дров хоть наскорою притащит на себе при большой нужде, если не уговорит тракториста за пол-литра... Потом потемнело в овраге, и вот уже почти кругом завечерело, помутилось, только в чистом снежном поле да на пригорках держался еще зимний свет, да и тот начал потихоньку таять, когда солнце совсем ушло за лес, лишь в том месте светился узкий край земли, но это тоже временно... Вот в сених и засов лязгнул, уже заперлась на ночь, значит, и Тимка на сегодня отгулялся, спать на печку загнала — от телевизора оторвала. Чего он к ней сейчас попрется? Турнет с крыльца — и весь разговор! А если еще этот муж дома, на зиму прибился? Об этом он и не подумал!

А как же быть с яблоками? Они ему уже все карманы пообрывали, не нести же эти яблоки назад домой. Он осторожно, стараясь не скрипнуть снегом теперь, когда к ночи опять подморозило, подкрался к крыльцу, выложил по одному яблоки из карманов на ступеньку рядом перед дверью и так же тихо поскорее отошел.

На другой день он снова настроился на удачу — вышел пораньше с яблоками за калитку. Час пролетел как одна минута. Тимки не было видно. Если минут через пять — десять не появится, то уже не жди. Вот и думай после этого: серьезная Настя женщина или что-то и с ней случилось. Он постоял еще немного и пошел, сегодня уже прямо по улице, опять туда, куда вчера ходил, за тем же самым... С утра сподручнее всего и сходить к Насте, никого не сторонясь — пусть все видят. Если что, можно безо всяких яких и в избу войти, не особо днем церемонясь.

И только вышел к изгибу улицы, где всего-то и стояло с полдесяток изб, в том числе и Настина изба, — вот тут он еще издали увидел Тимку, лазившего по сугробам, только с пустыми руками, без портфеля. Тимка взбирался на сугроб, садился на попу и скатывался вниз, зарываясь в снег и тут же вскакивая на ноги. Не отряхиваясь, влезал снова на вершину сугроба, ребенок как ребенок, ничем ото всех детей не отличался. Чего в нем ненормального учитель с бородой нашел? Во что был одет, в том и катался со снежных горок, уже весь вывалялся в снегу — дорывал чьи-то обноски; не так, как раньше, — после войны они с Данькой каждой тряпкой дорожили. Только на городских ребятишек посмотришь, они и одежды хорошо, редко на ком старенькую одежку увидишь. И для игр всем снаряжены: у них и салазки, и коньки, и клюшки... А у Тимки вот даже саночек не было.

Он подошел ближе. Мальчик заметил его и, скатившись с сугроба, готов был побежать от него как от сумасшедшего, как они в детстве от настоящего сумасшедшего бегали — в один миг скрывались за калитками, влезали на заборы и оттуда смотрели, куда сумасшедший дядька побежал. Никто не знал, кто это такой, откуда-то приблудился, с неделю наводил тут страх на людей, пока мужики не осмелились, не поймали его и не отвезли в больницу.

Конечно, не зря он сравнивал себя с тем сумасшедшим дядькой: уж больно Тимка насторожился, готов был стрекануть домой без оглядки. И, пока взвешивал, что ему делать, тут-то и пригодилось

яблочко — приманил Тимку к себе. Разве взял бы Тимка от него это яблоко, если бы он был похож на сумасшедшего? Ясно, что нет. Стоило показать Тимке яблоко, как оно его заворожило, знать, соскучился по яблочку, запомнил его вкус.

- Ну бери, бери! Ешь!
- Не-е...
- Что «не»?
- Мамка будет ругаться.
- За что, за яблоки?
- Не-е...
- А за что?

Тимка молчал.

— Не, не! — безобидно пересмеял он. — Ты не некай, а точно скажи! Она тебя спрашивала, у кого ты яблоки взял?

— Ыгы.

— И что ты ей ответил?

— Я не-е... Все мамка... Больше, говорит, у него не бери.

— А чего? Что я, страшный такой?

— Не-е...

— Ну так чего ж ты? На, бери, ешь! — Он опять протянул мальчику яблоко, и оно опять заворожило его. — Ну бери! Бери! У меня их вот видишь, сколько? — похлопал он по карманам. — Все твои! Ну что ты такой упрямый? Да не будет твоя мамка ругаться!

— Будет.

— А папка твой где? Дома или нет?

— Мамка его выгнала.

— Вон твоя мамка какая! — проговорил он, стараясь не показать внешне, что глубоко в душе обрадовался такому факту. — А почему ты в школу не ходишь? — резко переменял он разговор. — Ну, чего молчишь?

— Мамка не пускает.

— Как это не пускает? Все учатся, один ты вот гуляешь... — Он смолк, поняв, что забежал вперед — не дал мальчику ответить на свой вопрос. — Может, ты чем болеешь?

— Не-е...

— А ты сам-то хочешь в школу? — спросил он напрямую, но опять не дал ему ответить: — Будешь ходить в школу, я салазки тебе куплю... На салазках бы, знаешь...

— Мамка ругаться будет.

— Да что она, твоя мамка? Хочет, чтобы ты неграмотный остался? Коров пас... — Он тут же осекся и быстро поправился: — Ну, сейчас и пастухом кого зря не поставишь. И пастух много чего знать должен... Быть грамотным. Неграмотного сейчас даже в пастухи не возьмут. А ты и пяти классов не кончил, школу бросил.

— Не-е, в шестой перешел, — с некоторой гордостью сказал Тимка.

— В шестой? — удивился он. — Ты уже в шестом классе, значит? А я думал, ты во втором или третьем только...

— Тимка! Домой! — услышал он строгий Настин голос, и как стоял к ней спиной, так и остался стоять.

— Иди домой! — крикнула она еще строже. — Я кому сказала?

Тимка с неохотой стал отступать к дому задом, как бы еще надеясь, что мать покричит-покричит да и смягчится, отпустит его погулять.

— Ступай домой сейчас же! — Однако не видно было, чтобы мать когда-нибудь давала сыну поблажку. — Хочешь, чтобы я тебя ремнем отпорол, как вчера?

Стоило мальчику подойти к матери, как она втолкнула его в сени и захлопнула дверь.

Как бы там ни было, но на другой день Тимка промелькнул перед его окном с утра пораньше со своим старым портфелем на ремешке. Хорошо хоть малого в школу вытолкала... Стой, а что если и вправду Тимке салазки купить? Вот только где найти денег? Свезти часть яблок на рынок? Сейчас, в зимнее время, подороже можно взять — по полтиннику за яблоко. Если прямо сейчас, с утра, не мешкая отправиться в город, к обеду успеет вернуться последним автобусом уже с саночками, вручит их Тимке. Вот радости-то будет!

...По полтиннику никто не брал — все воротили от его яблок носы: заморыши, вялые, червивые... Сбили цену в два счета. Когда он сплавил последнее яблоко, бегло прикинул выручку, — в основном мелочь кидали, редко кто рваный рубль сунет, всего-то у него и набралось на пятерку. По нынешним ценам так и бутылку на эти деньги не купишь. Один модный парень так прямо и сказал с пакостной улыбкой:

— Что, отец, не хватает? Добавить?

Сегодня он и не мечтал ни о чем, кроме санок. Не больше пяти рублей, наверно, они стоят, детские санки-то... Неужели уже и детские санки подорожали? Хотя, говорят, теперь и на детские товары потихоньку набрасывать стали.

Может, на санки-то хватит, даже еще и на кружку пива останется... Да хоть и две кружки может выпить, у них не спросит, если, конечно, где попадется. А то сейчас и пиво везде сократили, где раньше, бывало, продавали на розлив, позакрыли. Была тут одна закусочная, так и в ней сначала запретили, потом все-таки снова разрешили пивом торговать, но стали уже реже привозить — когда есть пиво, когда нет, как еще кому повезет.

Но на этот раз и ему повезло: не успел он отойти от базара, сунуться к закусочной просто так узнать, интересно все же, что с этой перестройкой изменилось, — и вот тебе машина с пивом. Да, хоть раз подфартило, сейчас выпьет кружечку свежего, редко так бывает... Он скорей встал в очередь — откуда только мужики набежали? Точно им по радио объявляли, в пять минут за ним уже целый хвост образовался, шумят, толкаются, договариваются между собой, по сколько кружек брать, быстро поразбились на компании, один он как сирота... А тут чего-то буфетчица все тянула, хотя пиво, похоже, уже слили, пора было начинать, а она то покажется, то снова уйдет за перегородку. Вот уж кому лафа за этими перегородками, что там творят, никто не знает, кроме своих да наших. Наконец машина отъехала, буфетчица подошла прямо к пивной стойке, подняла глаза на мужиков, которых раньше просто не замечала, ну, кто первый?

Он был четвертым или пятым, но пока добрался до желанной цели, впереди человек десять пролезли без очереди — один пролезет, а семерых дружков за собой тянет. Пришлось уступить, чтобы самого из очереди не выкинули. Но главная беда не эта: когда дошло дело до кружки пива, пришлось терять не только время, но и понести непредвиденные расходы — кружка пива обошлась ему не тридцать четыре копейки, а больше рубля: буфетчица разорила его еще на семьдесят шесть копеек дополнительно к пиву, взяла с него за закуску — три кусочка разлезшейся селедки и ломтик какого-то сыра, который он даром в рот бы не взял. А зачем ему была эта закуска? Что он, с кружки пива опьянеет? У него сейчас каждая копейка на счету... Он поскорей выпил одну кружку, тут же попросил через головы добавки — еще кружку, а выпив и ее, полез за третьей... Подобрал все кусочки селедки и сыра — деньги платил, так есть надо! — даже, может, и хорошо, что буфетчица ему всучила этот малосъедобный товар в нагрузку: от трех кружек пива на голодный желудок не сильно, но сразу дало в голову. Он повеселел, откуда и силы прибавилось — из ничего.

Подбодрясь, как бы став наравне со всеми, кто уже пил пиво, а кто еще стоял в очереди, он вышел, уже не зависимый ни от кого, из закуской и направился к центру. Почти дошел уже до магазина «Культтовары», в котором надеялся найти санки, как ему опять повезло — такой, видно, выпал везучий день. Сначала он даже не поверил, что такое сейчас могло быть, может, у него опять что с головой стало после пива, померещилось ему, обознался магазином, другой за винный принял, когда увидел совсем небольшую по нынешним временам очередь за вином — всего человек пять-шесть в дверях прямо с улицы, где ходил народ. Тут под вывеской «Булочная» торговали вином — перенесли сюда винный, да забыли вывеску снять, или кто из начальства распорядился временно открыть здесь торговую точку... Только-только, видно, открыли, еще мало кто об этом знал, потому-то и такая малая была очередь. Разве можно было упустить такой момент — без всяких хлопот купить бутылку-две вина по сходной цене? Кто ж пройдет мимо? Да это надо не человеком быть!

Он быстро порылся в кармане, выгреб все, что осталось от выручки, и без всякого сожаления протянул деньги прямо в руки продавщицы, едва она освободилась от покупателя.

— Две.

Две он тут же и получил, по две только и давали на руки. Были бы у него деньги, он встал бы второй раз, пока очередь не выросла на глазах и не началось знакомое столпотворение.

Он не помнил, как добрался до Ивановки, — пришел или на чем приехал, на автобусе или на попутной машине, кажется, на автобусе, кое-как влез возле закуской, проехал без билета — не передал шоферу: уже нечего было передавать, не осталось в кармане ни копейки. Как он припоминает, затерся среди пассажиров — много, как всегда, ехало под выходной, кто знает, с билетом он или без билета. Вылез из автобуса и — пошел, поздно с него за билет спрашивать. Чего это он теперь будет деньги шоферу давать? Шофер и так не в убытке — каждый день за билеты недодает — все деньги прикарманивает, что ни кинут ему на капот кто в дороге подсаживается.

Он почти уже оправдался перед собой, вспомнив теперь здесь, на свежем воздухе — вкусив после теплого автобуса чувствительного мороза, — всю свою поездку в город, вот только никак не мог припомнить, откуда у него взялись эти санки, точно такие, как он хотел купить, со скользкой, натертой руками белой веревочкой, не из льна или пеньки, а из какой-то химии, такой крепкой, считай, что вечной, хоть уже не новой, загрязнившейся от чужих рук, за которую он сам сейчас держался мертвой хваткой, таща санки за собой. Как он пролез с ними в автобус, сберег их возле себя до конца поездки, не бросил в дороге — вот этого он не мог никак вспомнить. Кое-что, хоть и смутно, он припоминал, как и где освободился от бутылок с вином, а вот где подобрал эти санки, украл или купил... Купить он не мог: за что? И украсть... Как он мог украсть? Не мог он никак украсть, нет. Нашел на помойке? Не на помойке — просто нашел. Кто-то выбросил, а он на них наткнулся, еще хорошие санки... Вот это скорее всего. Так и было, больше никак. Ничего в этом зазорного нет, бывает, что выбрасывают в городе совсем хорошие вещи за ненужностью. Да и санки — не одежда, не обувь... Тимка в чем ходит? То-то же! А санки? Обязательно ему новые? И этим будет рад.

Он еще издали выглядел Настину избу, вернее, одну только крышу, засыпанную снегом, стен и окон не видно было из-за соседнего забора, да и весь край улицы еще прятался за сбегавшим к оврагу леском, надо было еще идти да идти. Как раз за это время голова его посвежеет, в общем он и сейчас уже ничего, чуть-чуть если и покруживается в голове, так это не каждый даже догадается по нему. Да и так, если подумать, смелее будешь, он ведь еще не забыл Настин крик с крыльца через всю улицу на Тимку, а на самом деле крик этот од-

ис прикрытие, не Тимку домой загонять вышла, а на него посмотреть...

Он уже вышел к началу поворота улицы, стараясь тащить саночки за собой так, чтобы, если Тимка окажется на улице, не сразу видел, какой ему подарок приготовил — пообещал саночки купить, пожалуйста, вот тебе саночки, он бросать слова на ветер не привык...

Выглянув из-за угла и попав взглядом на пустое место, где ожидал увидеть Тимку, он придержал саночки, не решаясь пройти по открытому месту дальше, к избе Насти, точно это место простреливалось со всех сторон: смелость его, которую он копил в себе всю дорогу, тут же вся из него и вышла. В голове хоть и меньше сейчас покруживало, ис трезвой ее назвать нельзя. Если он и казался сам себе трезвым на морозе (часть хмеля в нем уходила на защиту от холода), то неизвестно еще, каким он покажется перед Настей и ее сыном в тепле. Насте стоит будет лишь на него глянуть, и всё. А что всё? Все не все, но лучше он потихоньку саночки возле крыльца поставит, и на этом будет все сегодня. Ну, все так все.

В эту ночь он впервые за эти дни крепко уснул, а когда проснулся, вышел на улицу уже в предобеденный час, то увидел приставленные к воротам знакомые саночки. Сначала не поверил своим глазам: может, с долгого просонья показалось, так нет же, все в натуре. Чтобы убедиться, подошел; покрутил санки в руках — те самые, что вчера привез из города. Но как они оказались здесь, если он вчера оставил их там, у Насти? А может, он только подумал оставить, а сам притащил сюда? Может, у него заскок в мозгу вчера... Может, он уже того?..

Он огляделся по сторонам больше по привычке, взял санки за веревочку и потащил по улице, не встречая никого до самого поворота. И только тут, за поворотом, вдруг увидел Тимку, который стоял возле сугроба понуриив голову, — не катался, а только ковырял снег носком валенка.

— Тимка!

Мальчик повернул к нему голову, секунду помедлил, нерешительно подался ему навстречу.

— Сынок! — проговорил он, задыхаясь, в спешке, боясь потерять драгоценные секунды, сильно дернул санки за веревку, кинулся к мальчику. Тот остановился, точно испугался его голоса, и последние несколько шагов до мальчика он одолел как бы на исходе сил, сбив свой порыв, запутавшись в веревке от санок, споткнувшись через них.

— Это тебе... — проговорил он, кое-как совладав с собой, подобрал санки, отлетевшие от его ног. — Бери, катайся... — Мальчик готов был протянуть руку к веревочке, но не решался, и он сунул веревочку прямо ему в руку: — На! Бери, не бойся... Чего ты?

— Мамка будет...

— Сейчас поговорим с твоей мамкой... Она поймет... Больше не будет на тебя ругаться... За что ей ругаться — за санки? Я тебе их дарю, катайся на здоровье, только гляди учишься хорошо, слушайся мамку... Ей одной с тобой не легко — и растить тебя и учить. А будешь ее слушаться, хорошо учиться, и ей легче будет, не за что ей будет тебя ругать, а только хвалить будет...

Он перевел дух и спросил:

— Дома твоя мамка?

— Дома.

— Ну, ты катайся, катайся! А я пойду... Пойду скажу ей, чтоб она тебя не ругала.

Он дошел уже до крыльца, оглянулся на Тимку: тот стоял с саночками, глядя ему вслед. Скажи он на таком расстоянии: «Чего не катаешься? Катайся!» — Настя могла преждевременно услышать его голос с улицы, и, притихнув, прошел в сени, осторожно постучал. Долго ждать под дверью не стал, самое лучшее было самому войти, пока хозяйка не опомнилась, не приняла против него меры. Получилось

так, что он открыл сам дверь и Настя, вот она, направлялась ему навстречу, не успела дойти до двери — и гость на порог. Стояла, решая, пропустить его дальше — отступить, пусть проходит, или тут, в пороге, и пусть стоит? Быстрее уйдет.

Но — отступила, не сразу, без желания, однако отошла к печке, точно под какую-то защиту, чтобы никто не мог зайти к ней сзади, и стала ждать, не хотела начинать говорить первой ни плохо, ни хорошо, посмотрит, что он скажет. А ему язык связало против его желания сказать хозяйке для начала хотя бы «здравствуй» там или еще как. А если без «здравствуй», то все равно надо бы сказать что-нибудь посмелей. А что он мог сказать ей смелого — как она постарела против того, какой он видел ее раньше, еще год назад? Какой женщине это понравится? Как бы ей ни сказал, хоть жалеючи, хоть как, по-человечески. Но и сколько можно было глядеть на нее молча ему, мужику? Как ни вел бы он себя просто, по-деревенски, но выглядело это по-другому: прийти вот так, о чем еще одинокая женщина может подумать?

— Ну, ты это... Не ругай его,— сказал он самое, казалось, для нее понятное.

Но Настя не поняла:

— Кого — его?

— Ну, сына своего.

— За что?

— Ну, за яблоки там... И теперь за это... За эти санки.

— А я и не ругаю,— ответила, не отходя от печки, Настя.— Он-то при чем?

— Вот-вот. И за школу малый не виноватый.

— Не виноватый...— Настя двинулась от печки на него.— Не виноватый, конечно. Чего ж ему быть виноватым за вас, мужиков? Когда вы не думаете ни о чем, лишь бы свою глотку залить. А дитя потом из-за вас всю жизнь мучайся!

— Так что теперь? Не калечить его совсем. Надо, чтобы и он ходил в школу, а не сидел дома.

— А зачем ему школа? — Настя снова встала задом к печке. — Что ему школа теперь даст, больше ума вложит?

— А что ж, и вложит.

— Вложит! Эта школа вложит, надейся на нее! Пусть хоть голову ему не забивают. Учеба ему уже не поможет. Вырастет — на его долю еще хватит всякой работы. А нет, прокормлю как-нибудь, так не оставлю, еще руки-ноги целы.

— Да он хороший парень. Если его воспитать...— Он поднял взгляд, прицелился одним глазом от порога на замершую Настю в глубине узкой, с низкими потолками избы, с перегораживавшей ее надвое русской печкой. Решение пришло к нему неожиданно, как бы к слову, сказанному им самим, по которому уже и Настя догадалась, к чему он все говорил, и тоже в упор глядела на него, насторожив с морщинками от летнего загара глаза.— Не нужен он тебе — отдай его мне,— сказал он так, словно она не прошла проверку под его взглядом.— Чего молчишь? Ты не молчи, говори.

— А что мне говорить?

— Не знаешь, что говорить? Не нужен парень, так и скажи, не надо молчать, я к себе его возьму.

— Мне самой нужен,— не двигаясь, словно заколдованная, ответила Настя.

— Вот и хорошо, что нужен. Если нужен, так давай воспитывай, может, и я чем помогу...

— Не надо.

— Чего не надо? Может, надо? Может, вместе оно лучше получится, чем порознь, у тебя одной... Чего молчишь? Опять не знаешь, что сказать? Одно в поле и дерево сохнет...

- Я уже привыкла одна.
- Отвыкать не привыкать. Если хочешь сына воспитать..
- Не-не! Не...
- Это ты говоришь — не, а если Тимка скажет — да?
- У Тимки я и спрашивать не буду.
- Так я и без спроса знаю, что он скажет.
- Не-не... У меня уже был один такой воспитатель!

Настя сначала сказала, потом только, наверно, до нее дошло, что так надо было и сказать сразу, а она еще затрундялась, что ему ответить. Можно было еще не так, а похлестче, чтобы знали эти мужики, как свою жизнь и чужую губить.

— Сама воспитаю, без вас! — резко перешла она на негодующий тон, как бы стараясь поправить свою оплошность, отделяясь от печки в наступательном порыве.— Хватит, с одним намучилась, буду знать! Теперь другой пришел непрощеный... Ишь нашел кого обдурять — ребенка! Я как чувствовала... Неспроста подмасливается... Своя-то где? Съехала от такого... Чего глаз вылупил? — нагнетала слова Настя.— Чего еще стоишь? Ну-ка уматывай отсюда! Иди туда, откуда пришел! Чтобы больше я тебя здесь не видела! Марш!..

Под этот крик Насти он задом отступил за порог, потом вдоль уткнувшейся одним концом в снег жердины, оставшейся от забора, проскочил на улицу и, не оглядываясь, быстрым шагом пошел дальше. Было приостановился, увидев съехавшего на санках со снежной горки Тимку, мальчик тоже заметил его, выпрямился, опираясь на санки, стал ждать, не спуская с него глаз, казалось, отсчитывая каждый его шаг; но дойдя до Тимки, он лишь поглядел на него и пошел прочь еще быстрее. Когда зашел за поворот, тогда только оглянулся, но мальчика с санками на том месте уже не было.

Утром, когда он, помаявшись в избе, все же вышел на улицу, надеясь хоть издали посмотреть на мальчика, спешащего с портфелем на ремешке в школу, возле ворот опять наткнулся на саночки с белой, захватанной чужими руками веревочкой...

Он как стоял, так повернулся и пошел от дома все дальше, дальше, не сознавая, куда идет. А когда очнулся, перед ним маячили столбы вдоль асфальтовой дороги, резанувшей глаз очень черным среди белой русской равнины цветом. Навстречу, громыхая, пронесся по ней грузовик, следом — другой. Он проголосовал и вот, как в сказке, сразу очутился в теплой кабине.

Дальнейший план сам по себе созрел к концу дороги. При полном здравомыслии, не думайте. Попросил шофера выпустить его из кабины в самом центре города, стал крутиться по улице, высматривая, теперь вполне осознанно, среди простых лиц — милиционера. И вдруг увидел.

Милиционер попался ему очень молодой — везет ему на молодых! — и поглядел на него как на ненормального, когда услышал от него такую просьбу:

- Забери меня...
- Куда тебя забрать? — улыбнулся милиционер, решив, что это просто шутка.
- Не знаешь — куда? В милицию.
- А за что?
- За что хочешь. Мне все равно.
- Ты что, пьян?
- Вчера был, сегодня нет.
- Ну и шутки у тебя! — уже посерьезнел милиционер, засомневавшись в его здравом уме.— Может, ты еще не проспался, так иди проспись!

— Я серьезно... Слушай. Я тебя как друга прошу: забери меня. По-настоящему! Пусть меня теперь сажают, за все припишут... Может, меня опять на Каму пошлют...

— Погоди с Камой... Говори толком... Ты что, в самом деле с чистосердечным признанием пришел? — Насторожился милиционер. — Убил кого, магазин ограбил?

— Ты что, друг?

— Тогда какое же ты преступление совершил? — уже сердился милиционер. Что ты мне мозги компасируешь? — Милиционер, видать, был из тех еще парней. — За что же я тебя тогда заберу? Какое у имею основание?

— Там придумаешь... основание. Не знаешь — как? Первый раз вам?

— Кому это — вам? Мне, что ли? Ты что, дядя, ко мне имеешь?

— А то, тетя! Видна птица по полету...

— Нет, ты чего?

— А ты чего?

— Ну ты и обнаглел!

— А ты нет?

— Я — нет, а ты — да!

— Нет, это ты — да, а я — нет.

— Так, понятно! Тогда пошли!

Какое милиционер принял решение — такое, о чем он просил, или другое, до него доходило не совсем. Но его уже удовлетворяло то, что милиционер вполне с серьезным видом повел его по улице, нет, просто шел нормальным шагом по тротуару, не встречая никаких препятствий на своем пути: прохожие заранее, лишь заметив, расступались перед его формой. А вот ему приходилось все время лавировать между встречными и поперечными, чтобы хоть как-то пристроиться к милиционеру сбоку, не отстать и не потерять его в толпе — не начинать все сначала. Долго, казалось, так шли, и что интересно: ему совсем не было от этого, как бывало раньше, стыдно.

Но вот и отделение милиции. Наконец-то пришли. Молодой милиционер подошел к дежурному запросто, как свой к своему. Только показал какой-то знак. Тот молча с ним в чем-то согласился, и молодой милиционер провел его мимо дежурного в боковушку, бросив на ходу: «Сам напросился...» — и здесь, в полутемной безлюдной комнате, вдруг размахнулся, но не ударил, а лишь задел его по шапке: успел пригнуться. В доли секунды со всей изворотливостью, на какую был только способен, не потеряв чутья, он отскочил в угол, сразу обезопасив себя сзади и с боков, приготовился к звероподобному прыжку. И — прыгнул как кошка милиционеру на шею, вцепился пальцами в горло. Пусть теперь сажают, пусть!.. Сильный удар отбросил его. Подбежал на помощь дежурный. Да он больше и не сопротивлялся — пусть бьют сколько хотят, пусть хоть совсем убьют: ему все равно теперь уж не жить. А хорошо как: не надо самому думать о себе — во всем за него распорядятся: и поесть принесут, и на ночлег сегодня здесь уложат.

Обезоруженный милицейским приемом, от которого адская боль в суставах сделала его беспомощным и послушным, он старался сам идти туда, куда его толкали перед собой, — по коридору на выход, что его озадачило — почему не сразу в камеру? — пока не вывели во двор, что его еще больше озадачило. И уж совсем он ничего не понял, когда подвели его к «Люське» — дежурной машине, которую знали все в округе, почему ее и прозвали «Люськой» — по имени продавщицы винного магазина, что — особенно в дни полочки — притягивал мужское население города своим ходовым товаром, а для милиции подбрасывал прибыльную работенку. Мужиков хватало с налета прямо еще возле магазина, заталкивали в «Люську» и везли в вытрезвитель. Теперь вот и его, совсем трезвого, ждала, наверное, та же участь, в корне не то, на что он рассчитывал. Железная дверь «Люськи» за ним закрылась, лязгнув засов, молодой милиционер сел в кабину рядом с шофером, и фургон на бешеной скорости, носясь по выбоинам, не ина-

че чтобы он поискал в металлической утробе «Люськи» пятый угол, понесся в неизвестном направлении.

Он понял, куда его привезли, только тогда, когда «Люська» наконец остановилась, милиционер сходил по малому под заднее колесо и лишь после этого открыл дверь. Город остался далеко позади, где-то у него за спиной. Перед ним все такой же режущей глаз черной полосой среди белой русской равнины уходила от города асфальтовая дорога, только теперь в обратную сторону от Ивановки.

— Вылезай! — сказал милиционер.

Но он медлил, глядя на верх милицейской шапки, маячившей внизу возле дверцы.

— Поживее! — подогнал его милиционер, отступив в сторону, все же понятливый оказался.

Тогда он не спеша слез по металлической лесенке на дорогу, тут же стал, выпрямился.

— Топай! — как бы даже скомандовал милиционер довольным голосом.— Вали туда, откуда пришел! Ну!

Он осторожно ступил раз, другой по черному асфальту, не оглядываясь, зная это и каждую секунду ожидая сзади коварного удара — последнего напутственного пинка коленом в то место, в какое принято в таких случаях давать, докуда оно, колено, может достать — не выше зада.

Он не понял, отчего упал прямо лицом на асфальтовую дорогу, то ли от резанувшей боли в теле — вот когда побои дали знать! — то ли еще от чего.

— Не будешь на людей кидаться! — услышал он над собой.— Пьянь!

Шаги милиционера быстро удалялись от него по асфальту к машине, хлопнула дверца, мотор завелся, набрал обороты, и «Люська» повернула к городу.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

*

СЕГОДНЯ

* * *

— Согласен вновь на черствый Несладкий чай пустой, Нескладный швейный ширпотреб, Грошовый и простой, На латаные башмаки Системы «Скороход»,	хлеб, Что служат нормам вопреки Чуть не десятый год, На двор заплеванной в окне, На жесткую кровать, Лишь только б.. — Червь! Еще ты мне Условия диктовать!
--	--

ДВА СОНЕТА

I. Военный госпиталь в 1986 году

Казенный крой халатов и рубаш.
Когда жуют — еще афганской пыли
Услышишь скрип на молодых зубах.
Протезы. Костыли. Они там были.

Других оттуда вывезли в гробах,
А эти — живы, этих — не убили.
«В атаку шли, тут мина вдруг — бабах!..»
Всё помнят, ничего не позабыли:

Жестокий зной, огонь и смерть вокруг,
И то, как друга прикрывает друг,
И долгий курс лечений и мучений.

А всё — ребята, мальчишки почти.
«Что почитать вам, парни, принести?»
«Тащите что-нибудь из приключений!»

II. Старший лейтенант запаса

Не тронутый ни славой, ни позором,
Лежит он, офицерский мой билет.
Ау, палатки перед Красным Бором,
Военный лагерь наших юных лет!

Ау, винтовка Мосина с затвором,
Похожим на оконный шпингалет,
Протертый трижды щелочным раствором
Стрелковый наш, стрелецкий арбалет!

«Что говорить, нам повезло, пожалуй,—
Сказал мой сверстник, совестливый малый.
Нас только в детстве обожгла война.

Берлин — отцам, «афган» достался детям,
Мы проскочили между тем и этим.
И нет вины и как бы есть вина».

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ШУБКИН

*

ГРУСТНАЯ ПРАВДА

В конце 40-х годов на экономическом факультете Московского университета появился благообразный, средних лет мужчина с бухаринской бородкой и потертым раздувшимся портфелем в руках. Он сновал между ректоратом и деканатом, присутствовал на ученых советах, перепечатывал какие-то бумаги.

— Кто это? — поинтересовался я у тогдашнего декана профессора И. Д. Удальцова.

— Это Правдин. Понимаете ли, голубчик, — всплеснул руками Иван Дмитриевич, — ко мне его из ректората прислали. Просят, чтобы дал заключение на его труд.

— Какой труд?

— Да вот этот, — декан приподнял увесистую папку, — называется «Проект перехода к коммунизму в течение пяти лет». Адресован он: «Товарищу Сталину, членам Политбюро, академику Вавилову, академику Несмеянову». Начал я читать с введения. Вот послушайте: «Товарищ Сталин учит, что многие открытия в нашей стране совершаются простыми людьми, гениальными самородками. В результате пятнадцатилетних исследований я пришел к выводу, что коммунизм может быть построен за пять лет. Но враги народа, назвав мою болезнь по-иностранному *idée fixe*, заточили меня в больницу, где я провел длительное время в непрерывной борьбе. Теперь правда восторжествовала: я вновь на свободе и могу внедрять свои идеи в практику коммунистического строительства»... Ну как? — Иван Дмитриевич оторвался от текста.

— Любопытно. Что же вы ему сказали?

— Трудный был разговор. «Да, говорю, интересные мысли. Напоминает несколько Сен-Симона, Фурье, Оуэна». А сам посматриваю на его реакцию. Ведь всего можно ожидать: хватит пресс-папье по моей лысине. И все: был декан — и нет декана.

— А он?

— Возражает. «Я, говорит, не фурьерист, а марксист-ленинец. Вы сами плохо читали Маркса, почитайте еще. А я пока буду развивать свою концепцию».

— В чем же ее суть?

— Вы знаете, — Удальцов оглянулся на дверь и, убедившись, что мы одни, хмыкнул, — его концепция не лишена привлекательности. Он предлагает в целях ускорения мировой революции и для пробуждения мирового пролетариата, который, естественно, нуждается в положительном образце, идеале, перейти в течение пяти лет в Москве и Ленинграде к распределению по потребностям. Сюда к нам будут приезжать представители международного коммунистического движения и своими глазами видеть зримые черты. Это будет стимулировать их на решительную борьбу против старого мира. Понимаете, как завернул? Согласитесь, при внешней абсурдности он все-таки вышел на обобщения...

— А как же остальная страна?

— А страна, считает Правдин, пусть хоть с голодудохнет. Главное, чтоб в Москве и Ленинграде — по потребностям. Чтоб пример был для мирового пролетариата.

Не скажу, что этот рассказ декана сыграл решающую роль в моем идейном созревании. Но запомнился. Что-то хрустнуло в моей туго набитой политэкономическими премудростями голове. Словно приоткрылось окно в лабораторию странных концепций и идей, которые постоянно требуют жертв...

2×2=4

Стремление понять истоки наших бед породило целое направление в современной публицистике. Выявились и мировоззренческие пределы авторов. Одни все еще толкуют о личных качествах Сталина, на которые указывал в «Завещании» Ленин и которые, как им представляется, привели к этой невиданной в истории человечества катастрофе. Ведутся и бои местного значения — хронологические стычки между литературными партиями, которые без усталы спорят, когда вождь совершил «контрреволюционный переворот» — в 30-е годы или раньше, в конце 20-х.

Ряд критиков, продираясь сквозь миражи, идет дальше и начинает рассматривать первые послереволюционные годы, с удивлением обнаруживая, что военный коммунизм вводился совсем не как временная мера, а являлся воплощением того интеллектуального багажа, того социального идеала, с которым пришли к революции лидеры партии.

Как из небытия возникают на страницах газет и журналов запрещенные еще недавно персонажи нашей драмы: Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сокольников, — начинаются споры об альтернативах. Пока еще, правда, не собрались с духом реабилитировать Троцкого, но можно предполагать, что после его реабилитации опять начнутся ритуальные танцы вокруг его книг и статей, которые вероятнее всего завершатся признанием, что он и Сталин — одного поля ягоды.

При такой диспозиции публицистических сил появление «Истоков» В. Селюнина и серии статей «Истоки сталинизма» А. Ципко помогли по-новому взглянуть на ряд публикаций, авторы которых продолжают переливать из пустого в порожнее. Решительно осуждая чудовищные преступления Сталина и К°, А. Ципко сказал простые слова о том, что мышление Сталина, его представления о социализме, его действия были типичны для марксистов того времени. Отдавая себе отчет, как трудно многим примириться с тем, что причины неудачи движения, с которым связана вся их жизнь, лежат в нем самом, в его просчетах и ошибках, А. Ципко поставил вопрос так: хватит разглагольствовать о том, что дом пошел трещинами. Нужна экспертиза самого проекта задания. Автор начинает такую экспертизу, попутно отбрасывая ложные версии: о мелкобуржуазности крестьянства, которая порождена верой в нетоварный, безрыночный социализм («Когда мы говорим о сталинизме как левацкой нетерпимости, левацком экстремизме, то вообще не имеем права кивать в сторону бородатого мужика. Он тут ни при чем»), о необходимости борьбы между «чистыми» пролетариями и «нечистым» большинством населения, об обострении классовой борьбы...

Созрела ли Россия в 1917 году для социализма? История поделила социал-демократов на тех, кто говорил нет, и тех, кто говорил да. «Социалистический строй, — писал Г. В. Плеханов, — предполагает по крайней мере два неперемennых условия: 1) высокую степень развития производительных сил (так называемой техники); 2) весьма высокий уровень сознательности в трудящемся населении страны». Поскольку в России нет ни одной из этих предпосылок, то Плеханов считал, что «толковать об организации социалистического общества в нынешней России значит впадать в несомненную и притом крайне вредную утопию».

Иной позиции, изложенной, в частности, в статье «О нашей революции», придерживался Ленин. Он решительно отвергал все контраргументы, требовал брать власть немедленно, а с ее помощью достичь всего: компенсировать недостаток цивилизованности, культуры, догнать высокоразвитые страны. Власть в его представлении — архимедов рычаг. С ее помощью можно решить любые проблемы. Однако взятие власти привело к гигантскому противоречию между тем, к чему стремилась правящая верхушка, и тем, чего хотело большинство населения. Насилие — неизбежный продукт противоречия между стремлениями народа и догмами, мифами захватившей власть группы, которая с помощью принуждения стремилась навязать народу свои представления об экономике, политике, культуре, об образе и смысле жизни.

Впрочем, многие из этих споров современных публицистов как бы изначально обесценены, ибо авторы никак не могут преодолеть «фигуру умолчания». Вроде бы не было в нашей истории человека, который и публицистически и художественно давно уже сказал, что 2×2=4. Читатель, наверно, догадывается: речь идет об Александре Исаевиче Солженицыне. А мы все еще подбираемся мелкими шажками к честному ответу. Один прогрессист считает необходимым объявить, что дважды два совсем не девять, как считалось до сих пор, а семь. Есть смельчаки, которые утверждают, что 2×2=5. Как

сказал поэт: «Годы потрачены на постижение того, что должно быть известно с рождения». Но если мозги в массовом масштабе сдвинуты набекрень, то, может быть, и труд наших публицистов, их словесные дуэли все-таки имеют смысла?

Откуда взялся пахан?

«В государстве, рожденном великой революцией, вдохновлявшейся самыми передовыми идеями,— пишет О. Лацис,— сумел захватить власть человек с психологией пахана бандитской шайки».

Хлестко сказано, но, если вдуматься, без вопросов не обойтись. Что это за передовые идеи, что это за политическая конструкция, созданная на их основе, при которой пахан может захватить власть? Если это революция великая, то чем? Количеством жертв и разрушений? Или тем, что создала монстра — государство, которое начало войну против собственного народа? Нет. Прилагательные «самый передовой», «великий» проблемы не проясняют.

Что же касается «психологии пахана бандитской шайки», то не вредно было бы задуматься — откуда она взялась? Что, она была свойственна лишь Сталину, а другие от нее были свободны? Каким богам они молились? Перед какими идеалами преклонялись? Почему уже после развенчания Сталина на XX съезде партии давалась такая официальная оценка: с одной стороны, Сталин был выдающимся марксистом-ленинцем, с другой — ответствен за массовые репрессии, убийства и другие преступления; короче, с одной стороны, выдающийся марксист-ленинец, с другой — бандит? Со Сталина ли началось это дьявольское раздвоение, совмещение марксизма-ленинизма, революционаризма и бандитизма? Здесь нас уже должна интересовать не столько частность — сталинизм, сколько тоталитаризм, его происхождение. Чтобы разобраться в этом, без исторических экскурсов не обойтись.

Г. Водолазов говорит, например, о двух течениях в русском революционном движении: «...эти две тенденции,— уточняет он,— издавна и постоянно существовали в российском революционном движении. Это — «казарменно-коммунистическая», авторитарная (Заичневский, Нечаев, Ткачев...) и демократическая, прославляющая историческую самостоятельность народа (Радищев, Герцен, Лавров, Добролюбов, Чернышевский...)» («Октябрь», 1989, № 6, стр. 19). По поводу такой классификации возникает ряд вопросов. Как далеки были друг от друга эти два направления в русском революционном движении, в реальной жизни, взаимодействовали ли они, влияли ли друг на друга? Достаточно ли корректно называть первое направление казарменно-коммунистическим, поскольку суть его — в применении насилия, террора, убийств? Не точнее ли определить его как радикально-террористическое?

Так или иначе в XIX веке в российском революционном движении начинает проявляться все отчетливее именно это крыло. Еще до нечаевской «Народной расправы» была создана «Организация» Ишутина — Худякова. Ее основатели предусмотрели в недрах «Организации» создание тщательно законспирированного кружка «Ад». Д. А. Юрасов, один из членов «Ада», показал об этом кружке на следствии: «Общество это должно стоять не только отдельно от организации и не быть ей известно, но его члены обязаны сделаться пьяницами, развратниками, чтобы отвлечь всякое подозрение, что они держатся каких-либо политических убеждений. Члены его должны находиться во всех губерниях и должны знать о настроении крестьян и лиц, которыми крестьяне недовольны, убивать или отравлять таких лиц, а потом печатать прокламации с объяснением, за что убито лицо... Кроме того, другие члены «Ада» должны были следить за действиями организации, и в случае ее отклонения от пути, который «Ад» считает лучшим, издаются прокламации или <«Ад»> тайным образом предостерегает организацию и предлагает исправиться; если же члены организации не изменяют образа действия, то «Ад» наказывает смертью. Если член, следивший за организацией, будет узнан и арестован, то его место должен занять новый, а арестованный должен отравиться, чтобы не выдать тайны». Каких только современных ассоциаций не пробуждают эти свидетельские показания, которые я привел из книги П. Косенко «Жизнь для жизни» (1986).

«Катехизис революционера» заслуживает особого внимания. Он написан Сергеем Нечаевым, организатором коллективного убийства студента Иванова в парке Петровской (ныне Тимирязевской) академии. Известно, что знакомся с газетными отчетами о судебном процессе над сообщниками Нечаева, Ф. М. Достоевский и решил написать свой знаменитый роман «Бесы». «Катехизис революционера» так рисует отношения революционера к обществу:

«§ 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий: первая категория неотлагая осужденных на смерть. Да будет составлен товарищеским списком таких осужденных, по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.

§ 16. При составлении таких списков и для установления вышереченного порядка, должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти и полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерой пользы, которая должна произойти от смерти известного человека для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, а также внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергичных деятелей, потрясти его силу.

§ 17. Вторая категория должна состоять из таких людей, которым даруют только временно жизнь для того, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неоправданного бунта»¹...

«Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение», — провозглашали нечаевцы.

Дискуссия об «эксах»

Идеология «Катехизиса революционера» оказалась поразительно живучей, а сам Нецаев — и после суда, и после публикации «Бесов» Ф. М. Достоевского — оставался героическим образцом для новых и новых поколений левых радикалов, в том числе и тех, которые сняли из своих программных документов пункт о терроре. Всякое насилие привлекает к себе морально неполноценных. «Пристать же к революционерам, — писал Л. Толстой в 1906 году в «Обращении к русским людям», — значит делать то же самое: убивать людей, взрывать, жечь, грабить, воевать с солдатами, казнить, вешать». Как пацаны нередко заискивают перед блатным с финкой за голенищем, так радикалы до сих пор с нескрываемым восхищением смотрят на террориста с бомбой за пазухой. Это позволяет лучше понять отношение большевиков к так называемым эксам — террористическим актам, экспроприациям, конфискациям и другим «партизанским действиям», замешанным на убийстве ни в чем не повинных людей для пополнения партийной кассы и самообеспечения. Как известно, на этом поприще на Кавказе особо отличился Сталин.

Большевики на IV съезде РСДРП призывали признать экспроприации целесообразными. Однако съезд постановил: а) бороться против выступлений отдельных лиц или групп с целью захвата денег под именем или с девизом социал-демократической партии; б) избегать нарушения личной безопасности или частной собственности мирных граждан за исключением тех случаев, когда это является непроизвольным результатом борьбы с правительством или, как, например, при постройке баррикад, вызывается потребностями непосредственной борьбы. Съезд отверг экспроприацию денежных капиталов в частных банках и все формы принудительных взносов для целей революции. «Принятая в комиссии меньшевистская резолюция, — комментирует этот документ Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, — крайне суживала поле деятельности для экспроприации казны, требуя в каждом отдельном случае санкции новых органов революционной власти, образовавшихся в той или иной местности. После длительного обсуждения вопроса съезд вынес в виде дополнения к резолюции о вооруженном восстании половинчатое решение, высказавшись против партизанских выступлений и, в частности, против экспроприации казны, сделав исключение для складов оружия и боевых припасов»².

¹ Цитируя «Катехизис революционера», П. Косенко делает примечание: «Бросается в глаза поразительное сходство со стратегией современных левых экстремистов на Западе, видящих достоинство террора в том, что он заставляет буржуазное государство усиливать репрессивную политику, а это, в свою очередь, толкает массы к бунту против него. Небезызвестный лидер западногерманских левых террористов Андреас Баадер говорил: „Свиньи“ будут метаться в темноте, пока не окажутся вынужденными превратить политическую ситуацию в военную» («свиньи» на жаргоне левых — «люди в униформе», обслуживающие государство на любом уровне — от министра до уборщицы в здании министерства) Для создания «темноты» и должны служить поджоги универмагов и гостиниц, взрывы на вокзалах, в поездах, в метро».

² «Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы». М., 1959, стр. 636.

К этому вопросу вновь вынужден обращаться Пятый (Лондонский) съезд РСДРП в 1907 году. На съезде отмечалось, что во многих организациях являлись люди, занимавшиеся экспроприациями, и не было средств бороться с ними. О распространении экспроприаций можно судить по обмену репликами при обсуждении этого вопроса. Азис (Ро-зинь): «Если принять этот пункт, то пришлось бы исключить целую массу лучших людей, среди них и весь ЦК,— в том предположении, конечно, что этот пункт будет иметь обратную силу... (Зиновьев требует занести в протокол слова Азиса, что в случае принятия пункта об исключении из партии за экспроприации пришлось бы исключить весь Центральный Комитет)»³.

На тридцать пятом заседании съезда этот вопрос продолжает обсуждаться. Мартов отмечает, что лица, исключенные за экспроприацию из одной организации, затем принимались в другую, соседнюю. Мы знаем, продолжает он, что многие специально выходили на время из организации, для того чтобы, совершив то или иное партизанское действие, быть принятыми обратно в ту же организацию, которая, таким образом, являлась попустительницей анархистских действий. Этого не должно быть впрямь. Кто желает действовать как анархист, тому не должно быть места в партии, которая отвергает по принципиальным соображениям как вредные, развращающие пролетариат и создающие почву для реакционной агитации все приемы партизанского террора и все виды так называемой экспроприации. Поэтому желательно оставить в силе пункт резолюции, запрещающий организациям принимать в свою среду лиц, избалованных в участии в партизанском терроре и экспроприаторских нападениях.

Голосует резолюция о партизанских выступлениях. В ней, принимая все изложенное выше во внимание, съезд постановляет: 1) партийные организации должны вести энергичную борьбу против партизанских выступлений и экспроприаций, разъясняя рабочим массам всю несостоятельность этих средств в борьбе за политические и экономические интересы рабочего класса и весь их вред для дела революции; 2) какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им воспрещается членам партии. Голосование по этой резолюции было поименным. Его результаты: за — 170, против — 35, воздержались — 52.

Ленин голосовал против. Это не было сюрпризом. Еще в 1906 году в статье «Партизанская война» он писал: «Вооруженная борьба преследует две различные цели, которые необходимо строго отличать одну от другой; — именно, борьба эта направлена, во-первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных военно-полицейской службы; — во-вторых, на конфискацию денежных средств как у правительства, так и частных лиц. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью специально на вооружение и подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризующую нами борьбу. Крупные экспроприации (кавказская в 200 с лишним тысяч рублей, московская 875 тысяч рублей) шли именно на революционные партии в первую голову,— мелкие экспроприации идут прежде всего, а иногда и всецело на содержание „экспроприаторов“»⁴.

Продолжение следует

Радикально-террористическое направление уже несло в себе зародыши тоталитаризма. Еще в 1884 году Г. В. Плеханов категорически выступал против преждевременного захвата власти кучкой революционеров, с тем чтобы декретировать социализм. Такая «революция,— писал он,— может привести к политическому уродству, вроде древнекитайской или перувианской империи, т. е. к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке». Создавая безропотно и безгранично подчиняющуюся вождю тайную организацию или орден меченосцев, экстремисты лишь ждали захвата власти, чтобы и от всего населения страны потребовать жертвенного служения себе. В этом одно из отличий данного направления от обычных общественных движений.

Здесь надо бы уточнить и вопрос об истоках этого ожесточенного революционаризма. Начиная с Т. Мора и Кампанеллы, образцы его были созданы европейскими террористическими и заговорщическими группами. Их ценности вполне проявились в период Великой французской революции — это жестокость, насилие, беспощадность не только к чужим, но и к своим. Русские революционеры, разыгрывая свои роли, все время подражали им, воображая себя Робеспьерами, Маратами, Дантонами.

³ «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы». М. 1963, стр. 578

⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 4.

Было поэтому в высшей степени наивно изображать большевиков в 1917 году в виде простодушных либералов. Большинство из них прошли уже суровую школу воспитания. Не случайно октябрьский переворот завершается созданием Чрезвычайной комиссии, сотрудники которой получили право по собственному разумению, «руководствуясь революционным правосознанием», казнить людей. «Завершился,— вспоминал в 1926 году М. Лацис,— первый период работы ВЧК... жизнь сама узаконивает право ВЧК на непосредственную расправу».

Особое значение имел расстрел царской семьи. Сегодня, кажется, отброшена старая версия, согласно которой это массовое убийство по своей инициативе осуществляли екатеринбургские большевики. Все это сказки для детей преклонного возраста. То была продуманная и спланированная сверху акция. В результате практически одновременно были уничтожены члены царской семьи не только в Екатеринбурге, но и в Алапаевске, в том числе женщины и дети.

«Я прибыл в Москву с фронта после падения Екатеринбурга,— вспоминал Троцкий.— Разговаривая со Свердловым, я спросил: „Где теперь царь?“ — „С ним все покончено“— „А где семья?“ — „Семью постигло то же“. „Всех их?“ — спросил я удивленно. „Всех“,— ответил Свердлов. „Кто принял решение?“ — „Мы решили это здесь... Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени, особенно в наших трудных условиях“.

Дело тут не в революционной целесообразности. Дело в принципе. Как далеко ты можешь пойти? Определенную роль сыграла, видимо, и нечаевская идея: повязать всех кровью. После принятия на высшем уровне решения убить царскую семью дороги назад для всех, кто принимал в этом участие, не было. После этого уже не страшно расстреливать кого угодно хоть штуками, хоть пачками.

Широкую практику получил террор на основе классовой принадлежности. Тот же М. Лацис писал в «Красном терроре» в 1918 году: «Мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысле и сущность красного террора». При таком «классовом подходе» под террор попадало большинство населения и все мерилось здесь крайностью: если ты считаешь, что этот «контра» заслужил тюрьму, то всегда находился тот, кто был «принципиальнее» и требовал «к стенке!». И бойся быть «беспринципным»: следующая очередь твоя.

«Известно,— пишет в «Комсомольской правде» С. Заворотный (9.05.89),— с какой жестокостью Троцкий подавал восстание эсеров в Рыбинске — «для примера». Об этом он и сам говорит. Неоправданны и те репрессии, которые учинил он и Тухачевский при разгроме Кронштадтского мятежа. Сейчас в печати широко обсуждается резолюция ЦК РКП(б) за подписью Я. М. Свердлова о поголовном уничтожении донского казачества. Инициатором ее был Троцкий. Он и его сторонники в Донбуро Ходоровский и Сырцов непосредственно на местах проводили ее в жизнь. С ведома Троцкого был уничтожен (застрелен на прогулке в Бутырке) Миронов — один из крупнейших военачальников периода гражданской войны».

В исторических исследованиях отмечается, что 1922 год — это год окончания гражданской войны. Страна начинает зализывать свои раны. Уже год как действует новая экономическая политика. В то же время это, по существу, последний год активной работы Ленина. Перечитываешь его сочинения — и кажется, что он целиком посвятил себя мирному строительству. И вдруг — строго секретное письмо Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года:

«Нам во что бы то ни стало, необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отставание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно немыслимы. Взять в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало...»

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в

особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»⁵.

А через несколько недель — «Дополнения к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР» и письма Д. И. Курскому:

«т. Курский!

По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу). См. с. 1 в н и з у ко всем видам деятельности меньшевиков, с. р. и т. п.;

найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.). Прошу спешно вернуть с Вашим отзывом.

19/IV.

Ленин»⁶.

«...расширить применение расстрела...», «ко всем видам деятельности меньшевиков, с. р. и т. п.» — вот, оказывается, что тревожит Ленина. Вот что он спешит совершить. И это в 1922 году...

С одной стороны, линия на ослабление ограничений в экономике, новая экономическая политика. С другой — несмотря на окончание гражданской войны, усиление репрессий, расширение применения расстрела ко всем инакомыслящим.

Издатели Полного собрания сочинений В. И. Ленина указывают, что этот текст, написанный 15 мая 1922 года, печатается полностью впервые, по рукописи, но делают многозначительное примечание: «Впервые напечатано не полностью в 1937 г. в журнале «Большевик» № 2». Значит, вот в чем тут дело: этот текст понадобился Сталину для подкрепления своих репрессий в 1937 году. Во-первых, ясно, что к бывшим соратникам нужно применять расстрел «ко всем видам деятельности». Во-вторых, надо все связывать с международной буржуазией и ее борьбой против нас (подкуп, шпионаж, подготовка войны). А теперь прочтите стенограммы московских процессов 30-х годов и подумайте: чей ученик товарищ Сталин?

К этой теме не раз возвращался Г. В. Плеханов. И в одной из своих последних статей, опубликованной в 1918 году в книге «Год на родине», Плеханов, анализируя деятельность Ленина, вновь называет его нечаевцем. Впрочем, Ленина и других большевиков это мало тревожило. Возможно, они принимали это за комплимент. А самому Г. В. Плеханову просто повезло: обыск у него в 1918 году перед смертью успели провести, но не дожидаясь 1922 года, когда, конечно, должен был бы попасть под расстрел, который применялся «ко всем видам деятельности меньшевиков».

В 1925 году старые революционеры, не принадлежавшие к правящей партии, обратились в Президиум ЦИК СССР с заявлением: «Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и страшные, возможны в исключительные моменты государственной жизни, когда открытая война, внешняя или внутренняя, уничтожает границы между нормальным государственным строем и полем битвы, то разве такое время мы теперь переживаем?» И продолжали: «Дело в том, что смертная казнь и административная форма ее применения вошли в нравы управляющих. Дело в том, что этот упрощенный и легкий способ управления сделался своего рода нормой, пропитал сверху донизу наш новый бюрократический аппарат и обесценил человеческую жизнь как в представлении управляющих, так и в сознании управляемых».

Разумеется, на это заявление никто из вождей не обратил внимания. На XIV съезде партии стоило одному из делегатов сказать, что не гоже коммунистам заниматься доносами, как на него тотчас же набросились с обвинениями: дескать, нельзя забывать указания Ленина о том, что каждый член партии является агентом ЧК. И занимались, как говорится, постоянно и в массовом масштабе. И дозанимались до того, что вынуждены были констатировать: партия оказалась в подчинении у органов госбезопасности. Впрочем, это вполне следует из ишутинско-худяковской схемы подчинения «Организации» «Аду».

Сохранилось и почтение к основателям радикально-криминального движения. Приведу ссылку на предисловие к однотомному (!) изданию сочинений Ф. М. Достоевского

⁵ «Известия ЦК КПСС», 1990, № 4, стр. 191, 192—193.

⁶ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 189.

1931 года. Автор этой статьи А. В. Луначарский не только отождествляет писателя с героями его произведений (это было широко распространено в те годы), но и называет его конкистадором и садистом. Уточняя, что Достоевский все-таки клеймил «вот этих самых, презираемых им, уже готовых или растущих буржуев», автор сожалеет, что Достоевский не пришел туда, куда ему следовало бы прийти, — к утопическому социализму. «Но, — отмечает А. В. Луначарский, — если даже Чернышевский порой с горечью говорил, что на этом пути в эту эпоху людей ждет поражение, и в конце своей жизни, после каторги, рассказывал мрачную сказку о баране, который хотел сделаться козлом, намекая на трагическую несвоевременность революционеров того времени, то Достоевский не оказался вовсе в состоянии защитить эти передовые позиции от озверелой атаки черных сил с тем беспримерным достоинством, какое мы видим на примере Чернышевского или Нечаева»⁷. Да, да, как недепо это ни звучит — ставить Достоевскому в пример Нечаева, Луначарский это делает, ибо разделяя вместе с другими даже в 30-е годы восхищение деятельностью Нечаева⁸.

Такие отбирались и воспевались эталоны нравственности.

Это находило свое выражение и в оценке насилия. Бухарин писал: «С более широкой точки зрения, т. е. с точки зрения большого по своей величине исторического масштаба, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи»⁹. Вот так представляли себе большевики проблему формирования коммунистического человечества. «Формовщики», как видно, замахивались на приведение «к единому знаменателю» всего человечества. И опять — «начиная от расстрелов». Вот вам и решение проблем коммунистического воспитания в планетарном масштабе¹⁰.

Поражает в этих высказываниях обилие спасительных эпитетов — пролетарский, революционный и т. п. Принуждение нехорошо, а вот пролетарское принуждение — прекрасно, хотя, разумеется, ни автор, ни читатели не могут отличить одно от другого. Смысл же очевиден: если принуждение — от расстрела до трудовой повинности — по моей команде — значит, оно пролетарское. Прием нехитрый, демагогический, но широко используемый до сих пор.

Что же касается отсталой России, где абсолютное большинство населения оказывалось под подозрением, ибо это были крестьяне, то есть мелкие буржуа, то здесь нечего церемониться. Похоже, Сталин лучше помнил теоретические изыскания Бухарина, чем сам автор. Во всяком случае, он не Арогноу, начав выработку «коммунистического человечества» из человеческого материала русской деревни. Итог известен — разрушение сельского хозяйства, миллионы погибших... А сотни тысяч людей, принимавших участие в расстрелах, создании концлагерей, раскулачивании крестьян, представляли собой кадры, готовые на все.

Им не пришлось долго ждать. Массовые репрессии 30-х годов завершила процесс формирования тоталитарного государства. Он сопровождался и перепроверкой кадров: каждый из окружения Сталина должен был лично продемонстрировать свою преданность вождю, готовность пойти на любое, в том числе мокрое, дело. Отсюда соревнование в грубости резолюций членов Политбюро на многотысячных списках приговоренных к расстрелу, участие в допросах, обработке репрессированных, даже в подготовке легенд судебных процессов, направленных против них самих.

Умер Сталин. Уже Хрущев произнес свой закрытый доклад на XX съезде партии. Но и в нем жила закваска, полученная в годы молодости. Крепко держало его в своих

⁷ Луначарский А. В. Русская литература. Избранные статьи. М. 1947, стр. 243—244.

⁸ Характеризуя взгляды Нечаева, Ф. Энгельс писал, что они представляют собой апологию политического убийства. Аналогично оценивая деятельность Нечаева, К. Маркс указывал, что «упомянутый Нечаев злоупотреблял присвоенным им именем Международного Товарищества Рабочих для того, чтобы обманывать людей в России и принорсить их в жертву».

⁹ Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. М. 1989, стр. 168.

¹⁰ Рецидивы этого сильны и сейчас. Видный американский ученый, сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) Эрнест Приг в 1989 году писал: «В одном из ведущих научно-исследовательских институтов Москвы мой советский собеседник объяснил мне, что настоящая цель перестройки состоит в изменении сути русского характера» («Известия», 16.8.89). Изменить русский характер — и дело с концом!

руках прошлое. И когда истек двадцатилетний срок заключения в мексиканской тюрьме Рамона Меркадера — того самого, что по приказу Сталина зарубил Троцкого, — ему вручили звезду Героя Советского Союза...

Отрицание отрицания

Претензия быть одновременно кесарем и Богом, обеспечить полное господство над человеком могла реализоваться лишь через утверждение тоталитарного государства. Для этого надо было уничтожить религию, Бога. «Религия людей, не признающих религии, — писал Л. Толстой, — есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти». Без этого нельзя было сохранить власть. Это было нужно и для «формирования нового человека», который признавал бы эту власть не только законной, но и своей. Как тут не вспомнить оруэлловское Министерство Любви, задача которого не просто заставить покаяться в ошибочности своих политических взглядов, но полюбить всем сердцем систему и Большого Брата.

Из террора, насилия, массовых репрессий и выросло такое государство. Оно начало с конструирования системы, основанной на страхе и мифах. Те, кто их признавал, подлежали уничтожению. Его идеология — мировая революция. Сто пятьдесят лет назад Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» бросили призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» С тех пор идея мировой революции увлекла тысячи людей, нравственно неразборчивых и склонных поверить, что одним махом можно решить все проклятые вопросы человеческого бытия.

Если Энгельс в «Принципах коммунизма» отвергал возможность победы революции в одной стране, то Ленин в 1915 году в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы» писал: «...возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприровав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств»¹¹. То есть уже тогда теоретически обосновался тезис о возможности военного вмешательства в дела других стран. Он был в арсенале главных идей, которые находили и практическое применение. Достаточно вспомнить 1920 год, когда наступление на Варшаву предполагало вторжение в Германию. «Даешь Варшаву! Дай Берлин!..» — как пелось в популярной песне. На этом основывался и план помощи революционерам Востока путем переброски через Афганистан специального корпуса в Индию. И конечно, по сути, ничего не меняется от замены слов «экспорт революции» на «доктрину Брежнева» об ограниченном суверенитете социалистических стран или на «интернациональный долг». Все это лишь вариации на тему мировой революции.

«...мы и начали наше дело, — говорил Ленин в 1920 году, — исключительно в расчете на мировую революцию»¹². Теоретики не для того разрабатывают идеи мировой революции, чтобы их осуществляли потомки. Нетерпение, желание немедленного результата деформируют мысль и зрение, порождают стремление «нагнать историю», использовать любые средства для достижения эффекта, захвата власти, установления диктатуры.

Революционные лидеры изображали, что они делают какой-то анализ объективных предпосылок революции, вроде расчета доли крупных предприятий в промышленности той или иной страны. Нас, например, учили, что в России уровень концентрации промышленности был выше всех развитых стран и поэтому она, дескать, вполне созрела для начала революции. Но ничего не говорилось о том, что вожди готовы были совершить революцию хоть в Индии, хоть в России, хоть в Швейцарии. «В качестве цели революционной массовой борьбы, признанной уже на партийном съезде 1915 г. в Аарау, — писал Ленин в «Тезисах об отношении Швейцарской социал-демократической партии к войне» в декабре 1916 года, — партия выдвигает социалистический переворот в Швейцарии»¹³. Им мешали «побаловаться» местные эсдеки. Но ситуация изменилась. Большевистские лидеры прибыли в Питер. И уже на Финляндском вокзале: «Да здравствует социалистическая мировая революция!»

¹¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 354—355.

¹² Там же, т. 42, стр. 1.

¹³ Там же, т. 30, стр. 211.

Прошло семьдесят лет. И вот недавно рассказывали мне об одном весьма известном теоретике революционного процесса, который любил в спорах восклицать: «Дайте мне любую страну — и я совершу в ней социалистическую революцию!» Этим революционным напором он повергал в смущение многих своих именитых оппонентов. Неудивительно, что практика до самых последних лет шла в ногу с этой теорией: в Африке, Азии, Латинской Америке, Афганистане... Арсенал же методов остался неизменным со времен Коминтерна. Это и засылка агентов для создания партий и вооруженных групп для партизанской войны. Это и прямое вооруженное вмешательство, чтобы поддержать кучку людей, объявивших себя революционной партией. Это террор и использование террористических организаций, которые и ныне, в термоядерную эпоху, пользуются симпатией среди левых радикалов. В общем, весь набор методов, которые осуждены цивилизованным человечеством как антигуманные и подрывные. Неясно только, почему мы до сих пор публично не покаались в этих смертельно опасных для всего мира «играх» и не отмежевались от них.

В осуществлении мировой социалистической революции особая роль принадлежит пролетариату. Так утверждает Наша Теория. Именно он, эксплуатируемый и угнетенный, возглавит борьбу всех прогрессивных сил, утвердит свою диктатуру и приведет человечество к коммунизму. В этом и состоит всемирно-историческая миссия пролетариата. Об этом написаны тысячи книг, статей, пьес и песен. Тем не менее не утасуют споры о двойственности образа рабочего класса. Первый — эмпирический рабочий класс, тот, о котором мы знаем не понаслышке, из которого все мы выходили, во всяком случае общаемся, наблюдаем. Второй — теоретический рабочий класс, которому принадлежит всемирно-историческая роль стать во главе человечества и повести его к светлому будущему. Если эмпирический пролетариат нам хорошо знаком, с ним можно потолковать о том о сем, выяснить его заботы, стремления, потребности, то второй как бы непознаваем — поддается только абстрактному осмыслению. Если за эмпирическим рабочим классом никому не хочется идти, да он вроде никого и не зовет за собой, а поглощен своими каждодневными заботами, то за абстрактным пролетариатом, который осуществляет к тому же всемирно-историческую миссию, не хочешь, да пойдешь.

То же самое и с диктатурой. Совсем не хочется подчиняться диктатуре эмпирического рабочего класса. Почему, собственно, он должен властвовать надо мной? Что он такое знает, чего я не знаю? Что он там увидел, в туманном далеке, что я не разглядел? Но как только дело доходит до абстрактного пролетариата — все сомнения прочь! Ведь ему принадлежит всемирно-историческая миссия, он призван если не Богом, то, во всяком случае, Карлом Марксом, утвердить свою диктатуру. Какие здесь могут быть сомнения, раз такая у него миссия! Поэтому: да здравствует диктатура пролетариата!

Как уже догадывается читатель, начало этому чудесному раздвоению пролетариата, этим спорам и различиям было положено еще в середине прошлого века. Откуда же оно взялось? Одни говорят, что эта идея возникла из анализа капитализма, хотя «Капитал», как известно, был написан много позже. Есть и другие версии. Одну из них как-то предложил Н. Бердяев. «...активным субъектом, который освободит человека от рабства и создаст лучшую жизнь,— писал, анализируя марксизм, философ,— является пролетариат. Ему приписываются мессианские свойства, на него переносят свойства избранного народа Божьего, он новый Израиль. Это есть секуляризация древнееврейского, мессианского сознания. Рычаг, которым можно будет перевернуть мир, найден. И тут материализм Маркса оборачивается крайним идеализмом...»¹⁴

К. Маркс пересадил этот древний миф с национальной почвы на социальную. В результате пролетариат и приобрел как бы мессианские черты: он стал не только эксплуатируемым, но и избранным. Всемирно-историческая миссия пролетариата, как оказалось, и состоит в том, что он должен пойти во главе всего человечества, утвердить в ходе революции свою диктатуру и построить на нашей планете коммунизм. Отсюда и эта непреодолимая двойственность.

Здесь мы должны возразить Александру Ципко, который утверждает, что «христиане представляли грядущий рай как царство божье на земле» и что «нашему русскому рабочему движению не удалось избежать христианизации марксизма». Христианство, в отличие от иудаизма, представляет царство Божие неосуществимым в земной истории. «В многочисленных произведениях еврейской письменности этой эпохи (носящих

¹⁴ Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, М. 1990, стр. 81.

общее наименование «апокалипсисов») выражалось то убеждение, — писал о времени перед пришествием Христа в книге «Христианство и социализм» С. Булгаков, — что приближается наступление земного царства мессии. Оно надвигается совершенно закономерно, так что эта закономерность может быть «научно» (по тогдашнему пониманию) познана и установлена. Оно, это царство, должно подготавливаться революцией, но осуществлено будет чудесным явлением мессии (ему соответствует в современном социализме представление о социальной катастрофе, возникающей на известной ступени развития капитализма, при которой уже «лопается его оболочка»). В этом смысле современный социализм представляет собой возрождение древнеиудейских мессианских учений, и К. Маркс, вместе с Лассалем, суть новейшего покроя апокалиптики, провозвещающие мессианское царство»¹⁵. То есть в революционном движении (и не только в русском) марксизм выступал и выступает как светская форма религиозного сознания, а его официальные интерпретаторы — как своеобразные жрецы. Этим была пронизана вся наша идеология. Да и сейчас еще...

Пойди туда — не знаю куда

Официальная история нашего развития в послереволюционные годы — это целая серия легенд. Как учили нас, Ленин разработал план строительства социализма в СССР. Он якобы предусматривал создание материально-технической базы (индустриализацию страны), кооперирование крестьян (коллективизацию), культурную революцию и прочее и прочее. Ленин, опираясь на Маркса, разработал план, а наша задача — выполнять его.

В действительности дело обстояло иначе. Узкое, догматическое применение Марксом классового подхода к анализу общества помешало ему увидеть те создаваемые капиталистическим производством институты, которые имеют непреходящую общецивилизационную ценность: рынок, механизмы перераспределения капиталов, средств производства и труда, банки, фондовые биржи, акционерные компании и т. п. Эта предвзятость, самоангажированность привели к мышлению по принципу: раз сейчас так, то потом должно быть все наоборот. И Маркс стал требовать уничтожения тех механизмов и институтов, без которых нормальное воспроизводство вообще невозможно. Эти ошибочные позиции начетнически восприняли и усугубили большевики и в теории и на практике.

Аналогичный подход был и к проблемам государства. Маркс и Энгельс догадывались об опасностях, которые таит в себе существование государства в период перехода от капитализма к коммунизму. К тому же они были вынуждены отражать яростные атаки Михаила Бакунина, который клеймил их как государственников, сам отставлял необходимость разрушения государства. Маркс и Энгельс предлагают в конце концов концепцию отмирания государства.

Тем не менее уже в «Критике Готской программы» основоположники выдвинули тезис о необходимости диктатуры пролетариата в переходный период. Этот тезис был подхвачен леворадикальным крылом и превратился в ленинизме в своеобразный оселок для оценки революционности: революционер не тот, кто признает классовую борьбу, а тот, кто доводит ее до признания диктатуры пролетариата.

Коготок увяз — всей птичке пропасть. Государство немедленно явилось во всем своем грозном величии, со всеми своими атрибутами. Как оказалось, насильственное перераспределение средств производства от буржуа к пролетариату возможно лишь через посредника — государство. При этом государство создает новый гигантский и все растущий класс — бюрократию. Она немедленно начинает работать не на рабочий класс, а на себя. Цена, которую при этом приходится платить, включает в себя, с одной стороны, ликвидацию стимулов к труду, замедление всего процесса воспроизводства, с другой — фактическую передачу средств производства отнюдь не пролетариату, а бюрократии. То есть, по сути дела, был взят курс на великую бюрократическую революцию.

Западные историки задолго до нашей перестройки указывали на эти обстоятельства. Так, например, Джон Лоуренс, автор «Истории России», предпосылает разделу «Советская эпоха» библейский эпиграф: «И сказали они: построим город и башню, высоту до небес; и сделаем себе имя». Первые шаги новых правителей он описывает так: «Ранняя победа большевиков скорее отражала слабость их противников,

¹⁵ Проф. С. Н. Булгаков. Христианство и социализм. М. 1917, стр. 16—17.

чем их собственную силу. Коммунисты не имели ясной идеи о том, как они должны будут править или как новое общество будет работать. Марксистская мысль концентрировалась на анализе путей разрушения капиталистического общества. Поэтому когда большевики пришли к власти, они должны были импровизировать новую организацию общества, чтобы продолжить движение, и их первые идеи управления были туманными. Троцкий требовал — никаких офицеров типа министерства иностранных дел и отмены тайных договоров. Народный комиссар финансов требовал отмены фондов государственного банка и был равнодушен к процедурам финансовой администрации. Упор был сделан на тотальное насилие в управлении, милитаризацию труда, подавление демократических свобод в стране, а затем и в партии.

Вот как представлял себе организацию труда Ф. Дзержинский: «Кроме приговоров по суду, необходимо оставить административные приговоры, а именно концентрационный лагерь... Я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т. п.»

Сейчас новые идеологи начинают мелкими шажками отходить от навязанной нашему обществоведению точки зрения, согласно которой Лениным был разработан план строительства социализма, а партии нужно было лишь его строго выполнять. «Представляется доказуемым, — пишет О. Лацис, — что Ленин не имел детально разработанного кооперативного плана. Плана не было, была концепция. Ленин ушел из жизни на пороге создания новой парадигмы». По этой же схеме О. Лацис описывает и продолжение попыток выработать новую парадигму соратниками Ленина. «Ее нет в работах Бухарина, но он был «на пороге» и мог бы ее выработать, будь он не в одиночестве (или в числе немногих соратников), а в составе подлинно демократического руководства».

Ленин «на пороге», Бухарин «на пороге». Что он сделал бы «в составе подлинно демократического руководства» — все эти гадания немногого стоят, поскольку даже фантазировать на тему «демократического руководства» в стране, где были реализованы принципы тоталитаризма, просто нелегко. Ясно одно: не было плана у Ленина, не было и у Бухарина. В дальнейшем так называемый ленинский план построения социализма все более заменялся сталинским: сталинская коллективизация, сталинская индустриализация и т. д. Их подлинный смысл начинает нам раскрываться лишь сегодня. Но и раньше наиболее провидательные исследователи улавливали его. «Сталинизм — в такой же мере метод индустриализации, — заметил как-то Роберт Конквест, — как каннибализм — метод перехода на улучшенное питание».

Бедная наша демократия

Люди постоянно создавали для решения возникающих перед ними задач различные организации и институты. Но вряд ли можно найти другой пример, когда бы политическая партия приобретала такую мистическую роль, как в нашей стране. Созданная в отличие от западноевропейских социал-демократических партий на строго иерархических принципах, безусловном подчинении Центральному Комитету, который, как отмечал еще в 1904 году в «Искре» Плеханов, практически поглотил всю партию, эта организация была хорошо подготовлена для нелегальной деятельности.

После захвата власти эти ее особенности становятся опасными. А она не только не стремится преодолеть их, но, напротив, продолжает их укреплять и развивать. Оправданием служило то, что Россия в результате октябрьского переворота стала базой мировой революции, что не столь почетно, сколь трагично для страны, которую приносят в жертву. Это вело к идолопоклонничеству ее членов, в том числе и руководства. Могут ошибаться отдельные коммунисты, но партия — никогда. Партия всегда права.

Отсюда мистическая вера в то, что партия все может. Конечно, рассуждали организаторы строительства нового общества, в России практически нет развитой промышленности, пролетариата, которые, по Марксу, должны предшествовать социализму. Но силой своей политической организацией партия создаст их и вернется в лоно марксизма. Эта логика продолжала действовать и в период массового террора против крестьянства, рабочего класса, интеллигенции в 20 — 30-е годы. Опять та же

схема: да, конечно, мы проводим жестокие антидемократические мероприятия. Но после их завершения партия вновь вернется к демократии и гуманизму.

Со временем эта вера трансформировалась в перманентную презумпцию невиновности партии. В немалой степени этому способствовала и двойная власть на местах: райкомы — райисполкомы, обкомы — облисполкомы, Политбюро — Совмин. Что бы ни происходило, какие бы фортели ни выкидывали лидеры партии, какие бы решения ни принимали съезды, конференции, пленумы, какие бы приказы ни давались в ведомствам, исполкомам, судам, прокурорам, директорам заводов, председателям колхозов, к каким бы плачевным результатам это ни приводило — с партии все как с гуся вода. Политбюро, ЦК, секретари обкомов, райкомов реально ответственности не несли и не несут. За семьдесят с лишним лет мы неоднократно имели возможность убедиться, что попытки правящей партии контролировать себя без оппозиции обречены на провал: диктатура партии ведет к диктатуре правящей группы, диктатура правящей группы — к диктатуре одного. И никакие РКИ, ревизионные комиссии, комиссии партийного контроля ничего не могут изменить, ибо они находятся в рамках одной организации и не могут противостоять ее всесильной верхушке. И нечего сеять иллюзии, что если, дескать, ввести в контрольные органы побольше рабочих от станка, то все будет прекрасно.

Так же опасно пропагандировать идею, что все зависит от личных качеств руководителя. Вот Борис Васильев в серии интересных статей «Люби Россию в непогоду...» в «Известиях», дав убедительную картину уничтожения народной нравственности, функционирования машины ликвидации миллионов, вдруг патетически заключает: «Убежден: всего этого не случилось бы, если бы партия сохранила ленинскую гвардию, если бы не была она подменена преданными функционерами под названием «выдвиженцев» («Известия», 17.01.89). Вот тебе и на! Значит, все дело в том, что не тех выдвинули? И не приходит автору в голову мысль, что иначе эта политическая система работать не может, что других она не выдвигала и не выдвинет, что контроль без оппозиции — это мнимый контроль, что только переход к реальным формам контроля может обезопасить нас от повторения трагедий.

Демократия действительно определяется не числом партий. Только вот при одной партии, как показал наш собственный опыт, купленный ценой миллионов жизней, народ действительной политической роли в обществе играть не может. Напротив, при таком «абстрактном построении», как многопартийность, народ имеет возможность контролировать власть имущих и демократическими способами сбрасывать с постов и пьедесталов не мертвых, а живых.

Другой опорой нашей политической системы является миф о преимуществах Советов перед парламентом. Он имеет давнее происхождение. Советы рабочих депутатов возникли в ходе революции 1905 — 1907 годов. После Октябрьской революции Ленин объявил Советы орудием диктатуры пролетариата и высшей формой демократии. В полемике с Каутским Ленин писал: «Советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики»¹⁶. Однако никаких серьезных доказательств в пользу этой точки зрения не приводил. На самом деле Советы не выдержали проверку временем. Их демократический потенциал оказался митинговым и ограниченным. Они не смогли стать реальным инструментом народо-властия, они без труда были подмяты партией, органами госбезопасности, стали очередным приводным ремнем. Напротив, парламентская форма правления при всех своих недостатках (частично проистекающих из недостатков самих людей) оказалась довольно жизнеспособной.

Легкомысленное отношение к демократическим принципам, непонимание их абсолютного значения — болезнь не только большевиков. «...успех революции — высший закон, — утверждал даже Плеханов в 1903 году. — И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права... Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода *chambre introuvable*, то нам

¹⁶ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 257.

следовало бы стараться сделать его *долгим парламентом*, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели»¹⁷.

Известно, что Совнарком, созданный Лениным по решению II съезда Советов, являлся временным правительством. Он мог оставаться у власти лишь при согласии Всероссийского парламента.

В ноябре 1917 года состоялись выборы в Учредительное собрание, в которых приняли участие 44,4 миллиона избирателей. Вот так выглядели итоги выборов:

Социалистические партии:		68,3%
социалисты-революционеры	17 943 тыс. чел.	40,5%
большевики	10 661 »	24,0%
меньшевики	1 145 »	2,6%
другие социалистические партии	506 »	1,2%
Либеральные и консервативные партии:		7,5%
конституционная демократия	2 088 »	4,7%
другие партии	1 261 »	2,8%
Партии национальных меньшинств:		17,1%
национальные и другие украинские партии	около 5 млн. чел.	11,3%
мусульманские партии	943 тыс. чел.	2,1%
другие партии национальных меньшинств	1 678 »	3,7%
Воз политической принадлежности		7,3%

В итоге большевики получили 175 мест в Учредительном собрании из 715. Вместе с левыми эсерами у них оказалось около 30 процентов общего числа мандатов. Это рассматривалось как поражение.

Учредительное собрание собралось 5(18) января 1918 года. В зале присутствовали 463 делегата. После того как подготовленная большевиками резолюция «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых масс» была забаллотирована (237 против 136), большевики заявили, что Учредительное собрание в руках контрреволюционеров, и ушли. Затем Дыбенко приказал матросу Анатолию Железнякову закрыть Собрание.

А 8 января 1918 года на III съезде Советов, где большевики с левыми эсерами имели 94 процента мандатов, были одобрены Совнарком, декларация и принципы всеобщей трудовой повинности. К лету 1918 года однопартийная диктатура была создана. Ее утверждение означало ликвидацию демократии в стране, тем более что при выборах в Советы не обеспечивалась свобода выбора (перевыборы Советов на основе тайного голосования — одно из требований воставших кронштадтских моряков). Казалось бы, в таких условиях следовало обеспечивать хотя бы полную демократию в правящей партии. Но, видимо, нельзя создать остров демократии в море диктатуры. Те же методы, которые применялись по отношению к представителям других партий, в том числе социалистических, теперь стали применяться и по отношению к коммунистам.

В партии и раньше была теория, согласно которой свободное обсуждение допускалось лишь до принятия решений. После того как решение принято, не может быть никаких дискуссий и все члены партии должны действовать как один человек. Теперь же на X съезде партии было решено, что даже до принятия решения не должно быть никаких фракций и блоков на той или иной точке зрения.

Так, по сути, группа лидеров обеспечивала себе полный контроль над партией. Благодаря этому создавалась возможность следить за любым зародышем оппозиции, немедленно ликвидировать ее, исключать из партии, переправлять коммунистов из одного района страны в другой, сосредоточивать там, где нужно (прежде всего в центре), своих сторонников. Став генеральным секретарем, Сталин сразу же использовал эту возможность, насаждая всюду, и особенно в аппарате ЦК, своих людей. Собственно, уже тогда вопрос о тотальном господстве одного был предreshен. Остальное было, как говорят, делом техники.

Поле боя — сердца людей

Как видно, суть дела не столько в критике сталинизма, сколько в преодолении тоталитаризма. А это не только особая политическая, экономическая и идеологическая, но и нравственная болезнь. Для лечения ее надо видеть не только крону, но и корни, не только светские, но и духовные причины.

¹⁷ «Второй съезд РСДРП. Протоколы». М. 1959, стр. 182.

Экстремисты претендовали с самого начала — и это было отмечено их наиболее пронзительными критиками еще в XIX веке — на господство не только над телами, умами, но и над душами людей. Поэтому преодоление тоталитаризма, конечно, предполагает не одно разделение исполнительной, судебной, законодательной власти, но и прежде всего реализацию принципа кесарю — кесарево, а Богу — богово. То есть демистификацию власти и государства, освобождение человека от всех светских форм религиозного сознания, которое представляет собой лишь шарж на истинную веру. Пресечение всех попыток государства вторгаться в духовную сферу. Реализация полной свободы совести — необходимая предпосылка возрождения народа.

«Конечно, — справедливо пишет Валентин Распутин, — это произошло не вдруг, не так, что взял и отказался человек от авторитета веры и пошел искать авторитет силы; вместо того, чтобы вести борьбу за себя, кинулся в борьбу за переустройство мира; не справившись с собственной свободой, не став братом ближнему, потребовал всемирного братства и освобождения всех». Это массовое умупомрачение, эта система мифов, эти соблазны насилия — лишь симптом духовной болезни, которая поразила человечество. Имя ей — гордыня.

Здесь никак не обойтись без упоминания века Просвещения, когда казалось, вся проблема в том, чтобы отбросить подальше всякие религиозные тенета и освободить Разум, который выше Бога и который решит все проклятые проблемы человеческого духа и бытия. М. Горький, например, «как это ни странно сказать, — вспоминает Н. Берберова, — принимая во внимание его отрицание всякой мистики, считал, что если верить иллюзиям изо всех сил, они перестанут быть иллюзиями и станут каким-то коловским образом действительностью уже хотя бы потому, что человек есть Бог и все может, если захочет, потому что у него есть разум. А разум, он в этом был абсолютно непоколебим, разум всеислен, надо только развивать его, понимать его, питать его. Но как сочетать этот обоготворенный разум, этот коллективный и потому бессмертный разум с фактом разгона Учредительного собрания? С расстрелами в Петропавловской крепости? С бессудной ликвидацией тысяч заложников после убийства Урицкого?». Наивная самонадеянная вера в разум, фетишизация науки, рассудка, рационального привели к торжеству вседозволенности.

Обвальные процессы, начавшиеся в XVIII веке в Европе, затем получили развитие в идеях классовой борьбы, разрушения гражданского согласия. Ввоз в Россию этих идей трансформировал политическую борьбу. Этому способствовало и то, что носителями их часто становились полуинтеллигенты, разночинцы, склонные к отрицанию и нетерпению. Они демонстративно отрекались и противопоставляли себя великим традициям русской культуры.

Историю болезни, которую мы отважились здесь упомянуть, было бы ошибочно ограничивать пределами нашего государства и сводить ее только к российской леворадикальной интеллигенции XIX века. «Не думаю, однако, что автор стоит на истинном пути, — пишет Л. Карпинский о статьях А. Ципко, — инкриминируя пороки леворадикального сознания исключительно интеллигенции и в особенности русской интеллигенции. Мне не кажутся основательными его аргументы об особой инфантильности русских интеллигентов, исходом неумелых, не прошедших выучки западного капитализма и поэтому очертя голову бросающихся в революцию в надежде сковать в ней свое счастье. Ведь, с другой стороны, в русской духовной культуре с ее высочайшим нравственным накалом было достаточно предпосылок как раз для того, чтобы противостоять всяческой революционной фанаберии. К тому же, например, идеологи хунвейбинов или вдохновители красных кхмеров определенно не русского происхождения. «Бесы» — тип, увы, интернациональный, и решающее значение здесь имеют конкретные социально-психологические качества тех лиц, которые пополняют их ряды. И тут выясняется, что суть вовсе не в интеллигенции как таковой».

Соображения Л. Карпинского заслуживают внимания. Действительно, «бесы» — тип интернациональный. Верно отмечена и роль русской духовной культуры с ее высоким нравственным накалом. Но достаточно ли было созданных ею предпосылок, чтобы «противостоять всяческой революционной фанаберии»? Не уверен, что можно положительно ответить на этот вопрос. Так же как вряд ли можно сказать, что огромных завоеваний немецкой философии и поэзии оказалось достаточно, чтобы противостоять фашистскому угару.

Все-таки, видимо, нельзя исходить из того, что люди, очертя голову бросающиеся в те или иные политические или национальные авантюры, перед этим осваивают вершины культуры человечества. Сила «бесов» и террористов именно в том, что они, как говорится, с порога отвергают духовные завоевания человечества, не просто игнорируют их, а стараются всеми силами их разрушить, вычеркнуть из истории и из памяти людей.

«В основе революционного догматизма, сверхреволюционности,— пишет А. Ципко,— лежит самый опасный из известных человеческой истории видов эгоизма, проявления звериного начала в человеке, а именно интеллигентский, иезуитский эгоизм, то есть «стремление навязать миру свои пристрастия», свои представления о человеческих ценностях». Духовная свихнутость радикальной интеллигенции — это тот риф, на который напоролся российский державный корабль во второй половине XIX века. Вот откуда течь. Вот откуда «бесы». Хотя надо оговориться: они составляли лишь малую часть нашей интеллигенции. Ее основные силы проектировали и строили заводы, железные дороги, улучшали сельское хозяйство, лечили, воспитывали, учили детей, писали книги. Эта интеллигенция знала: ее труд жизненно необходим народу. В этом она видела свое призвание. Эта самостоятельно стоявшая на ногах российская интеллигенция наряду с крестьянством первой попала под секиру красного террора.

Исследуя социальные причины свихнутого радикального интеллигентского сознания, проявления звериного начала в человеке, мы как бы включаемся в дискуссию, которая шла со второй половины XIX века в связи с анализом творчества Ф. М. Достоевского. Его слова нынче звучат как пророчество. «Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство — бредни и что будущее человечество устроится на основаниях научных. Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество, на основаниях научных, чистая фантазия, что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа; что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы; что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности; что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и непрерывный контроль самой деспотической власти»¹⁸.

Пролетарские «коноводы» отвечают им, продолжал Достоевский, характеризуя ситуацию в Европе, «что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе: „Братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества“».

«Всего тяжелее для нас, русских,— утверждал Ф. М. Достоевский, размышляя об «Анне Карениной»,— то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества,— есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немислима, хотя и там, рано ли, поздно ли, после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход»¹⁹. Да, все сбылось: и реки крови и цифру — 100 миллионов человек — почти точно угадал Достоевский, только не в Европе, которая успела остановиться на краю бездны, а в России, куда были занесены вирусы и где социальный иммунитет не сработал...

Были, однако, и более глубокие причины этой пандемии, которые раскрыты им прежде всего в «Бесах». Эта тема, касающаяся всех глубин души человеческой, плодотворно разрабатывалась русскими философами, в том числе С. Булгаковым.

Исходный пункт анализа Булгаковым «Бесов» в статье «Русская трагедия» — мысль о том, что существенна не политическая или социальная доктрина, «но религиозный диагноз той интеллигенции, которой принадлежит духовно руководящая роль в русской революции». Федор Достоевский последовательно проводит свою основополагающую идею: политика в «Бесах» есть нечто производное, а потому и второстепенное. Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над

¹⁸ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах, т. 25, стр. 60.

¹⁹ Там же, стр. 60—61.

ним приговор. «Здесь иное, высшее судьбище, здесь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсеры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь „Бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца людей“», — повторяет С. Булгаков вслед за Достоевским. Это русская трагедия, точнее трагедия русской интеллигенции, трагедия религиозная: веры и неверия. Он намечает два подхода к ее пониманию.

Первый — дьявольский. «Сатана не совместим с свободным миром, он может хотеть мира лишь как вещь, как игрушку, а человечество — как рабов, которыми можно помыкать. Он есть всегда притязание и претензия... он весь — усилие, зависть, соревнование. Ему всегда нужно уверять себя и доказывать себе эту призрачную и ложную свою божественность».

Гитлер, конструируя своего «сверхчеловека», просто декларировал: «Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью!» В леворадикальных движениях механизм тоньше, хотя цель та же — разрушение нравственности. Леворадикальные мифы эксплуатируют потребность человека к справедливости и состраданию. Как это ни парадоксально, эти чувства укрепляли экстремистов в их бесчеловечности и жестокости: ради такой великой цели не жаль и человечество ополовинить. А может быть, и всех погубить. Ведь пелось же:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это.

А если уж мы «как один», то вы — враги наши — тем более погибнете все. Вот самоубийственная логика этих песен-призывов. Людей обучали любить абстракции — «Всемирную республику Советов», «всемирный пролетариат», «государство», «партию», «жертв капитала», обеспечивая своеобразную нравственную индульгенцию. Так легче было проходить мимо страданий ближних — родных, рабочих, крестьян, интеллигентов, эзков, с которыми тебя каждый день сталкивала жизнь.

Теоретические абстракции и спекуляции на естественных человеческих чувствах в сочетании с использованием инстинкта самосохранения, системы страха способствовали формированию «железного человека». Он уже в первые месяцы после переворота как бы вошел в роль Господа Бога, которому ведомы судьбы людские и который волен казнить или миловать. Эта гордыня, человекобожие, — одна из главных причин духовной свихнутости экстремистов.

Второй подход — божественный. «Ибо и Бог хочет в сынах своих иметь не пасынков, не рабов и не манекенов, — пишет С. Булгаков. — Ему нужна не наша пассивность и лень, а наша активность, свобода и мощь. Но когда мы их в себе утверждаем, то находимся на острие ножа, подвергаемся величайшей опасности подменов, в которых в качестве свободы появляется своеволие, в качестве дерзновения — дерзость, вместо мощи — разрушительный вандализм». И персонажи «Бесов» в соответствии с таким подходом обретают более глубокий смысл, становятся как бы типичнейшими фигурами, которые жили в XIX веке и продолжают жить среди нас.

Петр Верховенский — это провокатор политический. «Над всем царит у него одна холодная, насмешливая презрительная воля. Но при этом и трезвый, расчетливый в злодействе Верховенский в действительности есть маниак и одержимый... Он готов разрешить для человеческого стада демократию, его ослаславить, он позволяет ему устраиваться в своем муравейнике, при условии повиновения его диктатуре. Образ Великого Инквизитора просвечивает в Верховенском».

Ставрогиним владеет дух небытия. От него останется лишь психологический скелет — железная воля, темперамент, бесстрашие и даже авантурные искания опасности как острого впечатления, но дух его связан цепями и узами, в нем живет «легион».

Глубоко анализируется и Шатов — этот неверующий проповедник идеи народа-богоносца. «Отсюда понятна столь жгучая его потребность опереться на Ставрогина, оттого Бог у него, действительно, становится атрибутом национальности. Делая столь чрезмерное ударение на идее особенности, национальности религии, Шатов впадает в явный конфликт с христианством, проповедь которого обращена ко всем „языкам“». Поясняя эту мысль, С. Булгаков указывает, что Шатов — предшественник того болезненного течения в русской жизни, в котором национализм становится выше религии, а православие нередко оказывается средством политики.

Весь вопрос о религиозном смысле русской революции в «Бесах» поставлен, как считает автор, так: «...является ли в ней духовно определяющим человекобожие, ко-

торое силою вещей становится демоническим, переходит в одержимость? Ставрогин и Верховенский, орудие и жертва духовной провокации, есть ли для нее существенный симптом или только случайное явление, накипь?» Десятилетия, прошедшие с 1914 года, дали ответ на этот вопрос. Да, здесь Достоевским был угадан симптом, точнее говоря, сущность русской революции как трагедии веры и неверия, как торжество «бесов». Об этом стоит сказать сегодня, когда в связи с расширением демократии, гласности старые болезни радикальной интеллигенции вновь проявляют себя.

Человек и власть

От этой печальной предыстории никуда не денешься. Она в наших судьбах, привычках, образе мышления и жизни. Она уже содержит в себе ответ на вопрос: возможно ли подштопать, подлатать, усовершенствовать нашу политическую, правовую, экономическую системы, опирающиеся на кровотокащие мифы? Об этом свидетельствуют и обвалынные процессы от Берлина до Пекина.

Импульс к радикальным переменам в нашей стране мог дать только человек, обладавший огромной властью. Провозглашенная Михаилом Горбачевым перестройка означала конец эпохи мировой революции, военной конфронтации, подрывной деятельности, сползания к глобальной термоядерной войне, начало демократизации, переход от тоталитарно-бюрократической системы к многопартийной системе и рыночной экономике... Горбачев вошел в историю. Тут ни убавить, ни прибавить. Это непреложный факт. Факт удивительный.

Много лет назад прочел я коротенький рассказ. Герой его, человек, озабоченный бедами нашего общества, после многочисленных безуспешных попыток сделать что-то полезное приходит к выводу, что все рычаги управления этой системой сосредоточены на самом верху пирамиды власти. Лишь добравшись до них, можно что-нибудь изменить. И он начинает делать карьеру, карабкаться с одной ступеньки на другую. Однако пирамида власти, оказывается, устроена так, что за продвижение на очередную ступеньку всегда нужно платить, отрекаясь от тех или иных своих идеалов, от самого себя. Наш герой не был исключением: на каждой ступеньке он оставлял кусочек своего «я». И когда наконец достиг вершины, он был пуст: от него прежнего ничего не осталось. Он держал в руках рычаги, которые позволяли изменить данную систему, но система уже сама переделала его. И теперь, когда он оглядывался с высоты, система казалась ему очень разумной, целесообразной, не подлежащей никаким перестройкам, реконструкциям или заменам. Интересный и очень невеселый рассказ написал Даниил Гранин. Многие годы питал он наш пессимизм: ничего сделать нельзя...

И вот вдруг вопреки этой, казалось бы, безупречной социологической схеме оказывается вершителем нашей жизни Никита Хрущев. Тот самый, что на коллективных попойках Политбюро на даче Сталина по команде вождя отплясывал под гармошку трепака. Кто сам участвовал в «тройках». И этот человек на XX съезде, опережая свое время, свое окружение на целые десятилетия, рискуя головой, говорит такие вещи, о которых никто из иерархов и подумать не смел.

Удивительная все-таки страна Россия! Вслед за Хрущевым из ближайшего окружения Брежнева вырывается Михаил Горбачев, который прошел все этапы карьеры, все ступеньки пирамиды власти в позорную, застойную эпоху. И вдруг он начинает творить такое, что никому в самом фантастическом сне не приснилось бы. Выходит, все-таки можно, поднимаясь по ступенькам пирамиды власти, что-то сберечь в себе, сохранить стремление изменить нашу жизнь к лучшему? Значит, не все так безнадежно?

Впрочем, это все-таки скорее исключение, чем правило. Надо быть незаурядным человеком, чтобы, делая карьеру, сберечь себя. Тем не менее время от времени появляются такие удивительные фигуры.

Кто же он? Отечественные и зарубежные кремниологи и политологи сбились с ног, пытаются дать ответ на этот вопрос. Тем более что политика Горбачева, особенно внутри страны, оказалась крайне противоречивой и половинчатой. Каждый может привести немало примеров тому: ускорение, ставшее замедлением; демократия, начавшаяся с выборов директоров и разболтавшая вконец трудовую дисциплину; кооперация, которая широко шагала еще в дореволюционной России, а теперь вдруг возбудила против себя народ; хозрасчет, которого не было и быть не могло при наших кривых ценах; борьба с пьянством на авось; разбалансированность рынка, дефицит; разгул преступности, межэтнические коллизии... А эти вечные опоздания с принятием решений, в

результате чего противоречия постоянно оборачиваются острейшими конфликтами. Такое впечатление, что лидер совсем оторвался от земли и все норовит поставить телегу впереди лошади.

Чем это объяснить? То ли не понимает Горбачев (ведь у каждого в данный момент свой потолок), то ли ближайшее его окружение мешает сделать необходимые шаги. Последнее было весьма вероятным, пока вся власть сосредоточивалась в Политбюро и Дюжина соратников могла сместить его, как это уже случилось в нашей истории в 1964 году. Теперь ситуация другая. Сейчас легитимация расширилась: без решений съезда народных депутатов Горбачева лишить власти нельзя. Но в политике по-прежнему то накаты, то откаты. Словно из глубин подсознания прорывается застарелая магма, и опять делаются попытки уцепиться за мифы и догмы. «Да что вы все за Ленина цепляетесь, как пьяные за забор!» — сказал мне один зарубежный политолог. Пока мы не распрощаемся с мифами, нам не миновать рифов.

Тут начинаются невеселые разговоры аналитиков. Дескать, в Китае создана рыночная экономика, ошестившаяся штыками. В Польше, Венгрии демократизация при разваливающейся экономике. А СССР взял худшее и оттуда и отсюда. И, дескать, цель Горбачева — такая перестройка, которая позволит сохранить аппарат. В жертву ей приносится страна. Тогда получается, что Горбачев не «невольник чести», а «невольник аппарата». Может быть, Горбачев уже исчерпал свой идеальный и интеллектуальный ресурс и на него уже уповать нельзя? А может, и нет: ведь сколько раз он предпринимал такие неожиданные ходы, что в результате мир стал неузнаваемым. Да и нельзя «валить» не задумываясь: кто же реально может его заменить?

Один из тех вопросов, которые то открыто, то скрыто подрывают устои этой власти в глазах народа, это коррупция. Деньги порождают власть, утверждают марксисты. Но ведь и власть порождает богатство. Это не в последнюю очередь достигается через коррупцию. Там, где власть, особенно неконтролируемая власть, она неистребима. На одном из международных семинаров по политологии приводились данные о том, что почти все находившиеся у власти в Италии партии оказались коррумпированы. Лишь ИКП не была затронута, но, как объяснил докладчик, лишь потому, что не была у власти. За что же платить ее функционерам? Связь власти и коррупции при однопартийной системе особенно крепка. Представим себе пирамиду власти. В ней каждый функционер берет и каждый дает. Даже появляется такой разбитной тип, которого в народе окрестили «даешь-берешь». Если ты не даешь и не берешь, система тут же вычислит и выкинет тебя. Поэтому почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что все элементы пирамиды власти были в застойные времена коррумпированы в той или иной мере: одни брали бриллиантами, другие — борзыми щенками, третьи — устройством родственника в престижный вуз или на «конвертируемую» должность.

Правилom в неконтролируемой политической системе не может не быть массовая коррупция аппарата. Этот вывод почти безупречен. Но из того, что он установлен теоретически, вовсе не следует, что он корректен юридически. Во-первых, бывают исключения. Во-вторых, в правовом государстве, к которому мы вроде стремимся, вину надо доказать. Нет, не правы те, кто без доказательств обвиняет кого попало в чем попало. Впрочем, как и те, кто прячет информацию. В правовом государстве суду, следствию, прокуратуре должны быть доступны все имеющиеся материалы. И тогда, когда речь идет о бывших олигархах. Поэтому КГБ, партийные органы, прокуратура должны открыть свои архивы. Чтобы ни один из начальников не надеялся уйти от возмездия на персональную пенсию. Никакой «жалостливости» по отношению к выскопоставленным преступникам. Общество должно от них освободиться, а не мумифицировать их на подмосковных дачах. Тем не менее, установив связь власти и коррупции, не нужно устраивать шахсей-вахсей: такова природа этих институтов. Но нужно обязательно учитывать это при социально-политических проектировках, создавать эффективные методы контроля и минимизировать коррумпированность аппарата. Особенно в таком больном обществе, как наше, где власть и подданные десятилетиями примирялись с такими правилами жизни, где иммунитет против коррупции в значительной мере разрушен.

Основной «социальной структуры» нашего общества было, несколько упрощая, деление на два класса: палачей и жертв. Последний в результате массовых отстрелов, голода, нечеловеческого труда и лишений все более сокращался, превращаясь в «лагерную пыль». Первый, обрастая имуществом, обарахляясь, размножался, рос. О какой справедливости можно говорить, когда эти люди просто занимали дома, квартиры

тех, кого ликвидировали, а потом получали персональные пенсии и поместья. Все, что было им «пожаловано», должно быть передано подлинным владельцам или поступить в общественные фонды. Иначе неистребим соблазн написать донос на соседа, чтобы завладеть его жильем, имуществом, прорваться к власти, там нахватать всего сверх меры и «тихо смыться». Это не призыв к мести. Проведение такой линии сыграло бы важную очищающую роль для всего нашего общества, для поколений сегодняшних и грядущих. И это не призыв к новым чисткам. Должен же кто-нибудь прервать эстафету крови, расстрелов, насилия! Мне кажется, что историческая задача нашего народа сегодня не повторять ошибок прошлого и, восстанавливая в полном объеме правду о прошлом, о репрессиях, крови, человеконенавистничестве, отмежеваться от насилия. Иначе все пойдет по кругу.

Кто заполнит вакуум?

Есть еще один аспект, связанный с демонтажом тоталитаризма. О нем вспоминаешь, когда перечитываешь разговор бюрократа с Ф. М. Достоевским, который он приводит в «Дневнике писателя».

Их беседа началась с вечно юного вопроса, возможно ли сократить число чиновников в десять раз. Считая, что любое сокращение вредно, собеседник Ф. М. Достоевского, бюрократ, отстаивая необходимость своего сословия и тогда, когда «после крестьянской реформы действительно потянуло было чем-то новым: являлось самоуправление, ну там земство и прочее», утверждал, что, как стало ясно теперь, «все это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик, нашу же душу и тело, в нас перевоплощаться». Иначе и быть не может, ибо «мы-то сами, как установление, а затем и вся наша деятельность,— все это составляет, если прибегнуть к сравнению, как бы, так сказать, скелет в живом организме». Объясняя писателю, что без этого скелета все рассыплется, бюрократ решительно заявляет, что если даже дать срочное предписание: «„Отседе-де быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлем“... сейчас ничего не народится, кроме нам же подобных»²⁰. Ф. М. Достоевский не согласился с бюроkrатом, полагая его фигурой уходящей, но все же неожиданно признал, что была в его словах «какая-то грустная правда».

Подход парадоксальный, но поучительный. При государственном строительстве нельзя полагаться на тех пророков, кто все в одночасье хочет разрушить, лишь бы самим проскочить в дамки. Те, кто жил и будет жить в этой стране, кто не видит своего будущего без ее возрождения, не могут утешать себя тем, что все само собой образуется. Они всегда будут против анархии бессмысленной и беспощадной.

Вот скрепы, скелет нашего общества, созданные после 1917 года: КПСС, КГБ, армия, МВД, «приводные ремни». Еще в 1920 году Ленин, довольно откровенно объясняя смысл диктатуры пролетариата, писал, что ее осуществляет не рабочий класс, а «авангард» — партия, которой руководит ЦК. «Партией, собирающей ежегодные съезды (последний: 1 делегат от 1000 членов), руководит выбранный на съезде Центральный Комитет из 19 человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще более узким коллегием, именно так называемым «Оргбюро» (Организационному бюро) и «Политбюро» (Политическому бюро), которые избираются на пленарных заседаниях Цека в составе пяти членов Цека в каждое бюро. Выходит, следовательно, самая настоящая «олигархия». Ни один важный политический или организационный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний Цека партии»²¹.

Так и было. Политбюро руководило всем, в том числе государством. Этот десяток человек на самом верху в ходе непрерывной борьбы в свою очередь дробился на «тройки», «семерки», а в конечном счете выделял одного, в чьих руках сосредоточивалась власть. Время, конечно, вносило коррективы в эту схему. Вторая по значению реально властная организация ЧК — ГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ играла исключительную роль и пользовалась чрезвычайными полномочиями. Понимая это, Сталин пришел к выводу, что целесообразно обойтись без всяких коллегий, соратников, а подчинить партию КГБ. Благодаря этому тотальному контролю (особые подразделения КГБ не только прослушивали все разговоры, перлюстрировали письма, записи членов Политбюро, ЦК, военачальников и других, но и ежедневно докладывали Сталину обо

²⁰ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах, т. 27, стр. 29, 30, 31.

²¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 30—31.

всем и по его указанию принимали соответствующие меры — аресты, ликвидацию и т. п.), благодаря деталям, внесенным Сталиным в сложившуюся ранее структуру «диктатуры пролетариата», вся партия, начиная от первичных ячеек до самого верха, стала, по сути, органом органов. Ишутинско-худяковская идея о подчинении «Организации» «Аду» была с поразительным размахом воплощена в жизнь во всей стране. Нет, не только в России, но и во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Тем не менее после смерти Сталина, расстрела Берии и ряда видных генералов КГБ партия вернула себе власть. Иерархические структуры, гигантский аппарат, огромные материальные ресурсы сделали ее структурой номер один. Неудивительно, что на партию возлагается и главная ответственность за все провалы, ошибки, преступления. С развитием демократии эта критика в народе нарастала. Когда же ослаб пресс насилия внутри партии, она заговорила сама. Тут обнаружилось, что, собственно, никакой партии нет. Есть правящая верхушка — олигархия — и есть подводная часть этого айсберга, которая объединяет отнюдь не единомышленников, а людей противоположных идеологических, политических взглядов и мировоззрений. Большинство из них отнюдь не склонны отождествлять себя с верхушкой, нести ответственность за ее дела, бороться за руководящую роль и прочее и прочее. Вот тогда вождям пришлось начать отступление. Это не был смелый маневр, связанный с решительным отмежеванием от проклятого прошлого, от мифов и догм, с откровенным покаянием перед всем миром. Нет, это был жалкий, вынужденный, попятный ход с причитаниями, закланьями, с неожиданными признаниями в верности тому, от чего нужно было бы как можно скорее отмежеваться. Промежуточный финиш известен: отмена 6-й статьи конституции и признание многопартийной системы.

КПСС не могла отряхнуться и удержаться на своем руководящем месте. Лучшее, что ждет ее, это судьба Венгерской социалистической партии, да и то если она порвет со своим прошлым, самораспустится и попытается из пепла возродиться вновь как нормальная социал-демократическая или социалистическая партия. Как бы то ни было, КПСС, главная структура нашего общества, сходит со сцены. Кто ее заменит? Опыт показывает, что в этом случае на место номер один приходит номер два или номер три, то есть в наших условиях КГБ или армия. Эти варианты мы не имеем права игнорировать.

Верхний эшелон, похоже, осознает опасность вакуума. Поэтому так срочно был введен пост Президента. Но по-прежнему одним из главных политических вопросов остается срочное формирование структур реальной власти в центре и на местах.

Появились неформальные структуры: национальные движения, партии, стачкомы, рабочие комитеты и т. п. Их развитие, как почти все, что создавалось за последние годы, было неорганично, искорежено несвободой и решениями высших эшелонов власти. Последние сражались до последнего патрона против многопартийности, за однопартийную систему, за свою монополию. Поскольку создание новых общесоюзных политических организаций было запрещено, в республиках стали создаваться народные фронты, которые, по сути, являлись слегка закамуфлированными национальными партиями. Их образование резко усилило деструктивные, центробежные силы, стимулировало межнациональную рознь и межнациональные конфликты. В ходе их национальные фронты окрепли, создали свои структуры, а кое-где и боевые дружины, взяли на вооружение десятилетиями насаждавшуюся, привычную идеологию «кто не с нами — тот против нас». Сейчас, когда многопартийность легализована, трудно рассчитывать, что такие партии, как социал-демократическая, социалистическая, демократическая и прочие и прочие, станут действительно общесоюзными партиями: национальные фронты просто не пустят их в свои епархии.

А ведь создание партий, охватывающих все регионы, все республики страны, играет консолидирующую роль. Если бы не упорное длительное сопротивление руководства КПСС развитию многопартийности, если бы возникновение таких партий в стране опережало создание республиканских фронтов, то, надо полагать, межнациональные конфликты и тенденции к обособлению были бы значительно менее острыми, чем сейчас. Ярko окрашенная националистическая идеология фронтов, как правило, ограничена и деструктивна. Это плата за непродуманность, за «хвостизм» руководства в развитии и становлении демократических институтов нашего общества. Пока, видимо, преждевременно анализировать политические партии, которые после разрешения многопартийности начинают расти как грибы. Они не заявили еще о себе как массовые ответственные политические организации, имеющие шансы бороться за власть.

В крупных индустриальных районах, особенно после массовых забастовок шахтеров в 1989 году, активизировалось рабочее движение, появились стачечные комитеты, рабочие комитеты. Создаваемые рабочими органы власти стали контролировать ситуацию в целых регионах, прежде всего во время трудовых конфликтов. Официальная власть, ведомства были вынуждены не только заигрывать, но и считаться с ними. Эти движения добились решения целого ряда важных для трудящихся вопросов. Во многих случаях борьба за экономические права стала перерастать в борьбу политическую, вплоть до требований отставки союзного правительства.

Лидеры этих движений пользуются властью достаточной, чтобы парализовать работу целого региона и даже отрасли. Это так. Но способны ли они вести не только борьбу за улучшение материального положения рабочих, но и конструктивную систематическую управленческую работу? Одно дело призыв-команда «завтра бросаем работу!», другое — добиваться повышения производительности труда, развития рынка, учитывать интересы партнеров, необходимость инвестиций для внедрения новых технологий, развития социальной сферы, то есть всего комплекса вопросов, которые призван решать специалист, менеджер, политик. Здесь есть основания для серьезных сомнений. Не говоря о том, что мировой опыт указывает на необходимость различать тред-юнионистскую и политическую борьбу, не выходить за пределы собственной компетенции.

Игнорирование этих вопросов характерно для выступлений ряда лидеров, которые не хотят понять, что создание социальных структур для разрушения куда проще, чем для созидания, что первые совсем не обязательно становятся вторыми, что один из самых горьких опытов нашего прошлого состоит в том, что организация, ориентированная на разрушение, оказалась не способной к конструктивной деятельности и смогла породить лишь такого монстра, как тоталитарное государство.

Пока еще не сложилось таких реальных структур, которые могли бы заполнить вакуум, образующийся в результате распада КПСС. Во всяком случае, еще не появились такие ответственные, конструктивные силы, которые в состоянии были бы взять на себя бремя власти. Их необходимо создавать. Наиболее реальные институты, которые могут решить эту проблему, это все-таки муниципальные, так называемые советские органы власти.

Наши митинги пестрят лозунгами «Вся власть Советам!». Можно ли полагать, что Советы, в центре и на местах всегда бывшие «на подхвате», всегда глядевшие в рот первому секретарю партии, увидев призыв времен 1917 года, воспрянут духом и тут же начнут править в полную силу? Даже приход новых людей в результате выборов в местные Советы, многие из которых полны решимости построить новый мир, хотя и не знают, как это делается, или попросту не имеют профессиональных знаний (а они в сфере управления нужны не меньше, чем в любой другой), не может решить этой проблемы. Ведь выбирали за слова, а не за дела.

Местные органы власти нуждаются в серьезной реконструкции. С одной стороны, в освобождении от людей безынициативных, пораженных привычками тоталитарно-бюрократического строя. С другой — в привлечении новых активных работников, проявивших себя в годы перестройки. Без этого даже новые возможности, созданные законодателями для местного самоуправления, не будут реализованы.

Глас народа — глас Божий?

Да, голос народа теперь стал слышней. На местах во многих случаях благодаря развитию демократии органы власти начинают создаваться при участии народа. Означает ли это начало народовластия?

В принципе ни диктатуры пролетариата, ни диктатуры крестьянства, ни народовластия быть не может. Там, где власть масс, по сути, нет власти. Такие лозунги — призыв к анархии или демагогия. Не говоря уж о том, что не бывает так, чтобы в тяжелом больном обществе был отменно здоровый народ. Вот и в нашем случае, когда была подорвана нравственность, когда люди потеряли все ориентиры, по сути дела, наступила духовная смерть миллионов людей. И если огромное число их вынуждено вести чисто биологическое существование, то можно ли уповать на них и с пафосом провозглашать: глас народа — глас Божий?

Задолго до перестройки А. Т. Гвардовский в одной из первых редакций своей апрещенной почти десять лет поэмы «Василий Теркин на том свете» предвосхитил парадоксальность нашей ситуации:

Пусть мне скажут: «Что ж ты, Теркин,
 Рассудил бы, голова:
 Большинство на свете мертвых.
 Что ж ты против большинства?»

Он прав: задача сегодня не в том, чтобы петь дифирамбы народу. Надо воскрешать народ. Почти по Федорову — воскрешение мертвых: духовно, социально, физически, генетически.

Болгарский профессор Петр Эмиль Митев как-то сказал мне: «Я исхожу из неистребимости русской интеллигенции. И знаешь почему? Потому что у вас в России в XIX веке была создана великая русская литература. И какие бы ни сменялись режимы, идеологии, измы, на ней воспитываются новые и новые поколения российской интеллигенции, впитывая ее честность, глубину, нравственный максимализм». Очень обнадеживающие слова. Вспоминая их теперь, я спрашиваю себя: только ли из великой российской литературы черпают для себя образцы наши современные интеллигенты? Не идет ли воспроизводство всего спектра идеологических, политических, духовных течений, характерных для предреволюционного периода? Не идет ли параллельно воспроизводство разрушительного радикализма, из которого выросли те опасные тенденции в российской социал-демократии, о которых говорилось выше? Вслушиваясь в речи современных политиков, как правящих, так и оппозиционных, испытываешь тревогу. Наши социально-психологические переживания в чем-то схожи с переживаниями народов восточноевропейских стран, где активно идет смена общественно-политических режимов. Один из ведущих венгерских социальных психологов, профессор Патоки, недавно примерно так охарактеризовал современную ситуацию в своей стране. Общество живет в состоянии неопределенности, в постоянном напряжении, стрессе. Всеобщий страх, тревога, вызванная экономической нестабильностью обстановки. Боязнь маргинальных слоев. Смена элит. Антисемитизм. «Веймарский эффект»: пусть будет сильная власть. Расгущая возможность политических истерий (а известно, что германская политическая истерия привела к фашизму). Взрыв национальной истерии — мы нищий, обиженный народ. Антикommунистическая истерия, которую активно использовали в предвыборной борьбе многие партии. Антисоветская истерия: опять обиженное сознание, стремящееся если не мстить, то хотя бы подрастить великую державу. Распространение самооценки — мы одинокий народ, заслуживающий помощи Запада. Демократический иллюзионизм и надежды, что историю можно начать заново. В индивидуальном сознании прежде всего вопрос: как я могу теперь продолжать свою жизнь? При этом основная масса народа не размышляет, а просто адаптируется к новым ситуациям.

Разумеется, полного совпадения с нашим положением нет и быть не может. Но сходного много. На наших же митингах звучат бог знает какие лозунги, вплоть до призыва штурмовать Кремль и Смольный и таким способом решить сразу все проблемы. Слово мы неминуемо движемся от февраля к октябрю 1917 года. Беда даже не в том, что молотят популисты и националисты. Самое печальное, что народ верит им. Увы, такова самоаттестация митинговой массы. Не дай бог, чтобы эта характеристика оказалась аналогичной для всей, как говорят статистики, генеральной совокупности.

Может быть, я что-то не понимаю, но когда я слышу, как уравновешенный, неглупый человек в предвыборной или митинговой горячке начинает чеканить: «В нашей стране развернулась национально-освободительная революция! Каждый прогрессист, каждый демократ должен способствовать ее развитию. Во всем виноват русский народ с его имперским сознанием!» — мне становится не по себе. Рубить живой организм на куски в расчете, что эти обрубки скорее приползут к светлому будущему? Нет. И не тянет становиться под эти знамена, считать благом любое обособление и отделение. Не потому, что страшно хочется принадлежать к огромной, неустроенной, полуголодной стране. И не для того, чтобы силком держать тех, кто не хочет жить в одной федерации или конфедерации.

Ломать — не строить. На дворе конец XX века, речь идет об огромной державе, напичканной термоядерным оружием. Что будет, если это ядерное оружие попадет в руки экстремистов-националистов, многие из которых не очень задумаются, перед тем как нажать на кнопку по принципу «сам погибну, но врагу отомщу»?

Кажется, эконометрики ввели понятие целевой функции. То есть надо ясно осознать, какую цель вы ставите перед собой, строя ту или иную модель, призывая к тем или иным действиям. Такой подход очень важен и для политиков: отчетливо

осознавать цель и последствия принимаемых решений. Для себя я это формулирую так: минимизация страданий и крови народа при переходе от тоталитаризма к нормальному демократическому обществу и рыночной экономике. Такой подход необходим и при решении сложнейших, деликатнейших проблем нашей федерации. Прежде чем обвинять в имперском мышлении оппонентов, не вредно гипотетически представить себе такую картину. Вот собрались Верховные Советы республик, приняли декларацию о выходе из СССР. При этом, как уже было (и такое обстоятельство не вправе игнорировать при анализе), так называемые коренные народы начинают прижимать — где сильнее, где слабее — живущие вместе с ними «некоренные». 70 или 60 миллионов человек, живущих вне своих национальных республик, приходят в движение. Растущий национализм, став государственным, подталкивает их к бегству, к миграции. Куда им деваться? На какие шиши? Кто, где приготовил для них жилье, рабочие места, школы, больницы, магазины и прочее и прочее? В кого они превратятся в результате этих мытарств? И кем станут так называемые коренные народы, обрекающие на страдания и дискриминацию других?

Идея развала страны не обошла и Российскую Федерацию. Первый раз, когда я услышал: «Для РСФСР остается одно — выйти из СССР» — это была шутка. Но вот уже политики с высоким, как говорят нынче, рейтингом начинают говорить об этом всерьез. А на встречный вопрос — как быть с теми соплеменниками, которые живут в других республиках? — твердо отвечают: у нас столько неосвоенных, заброшенных земель, вот пусть они возвращаются в Россию и осваивают их. Как будто врачи, учителя, инженеры, научные работники тут же возьмут в руки пилы и топоры и начнут рубить себе избы в сибирской тайге, корчевать деревья и т. п.

Массовая миграция в условиях обособления, раздела, разгула корысти, националистических страстей может привести лишь к голоду, бунтам, росту преступности, национальным столкновениям и гражданской войне. К реальному апокалипсису на одной шестой земного шара, начиненной термоядерным оружием. Вот об этом и надо говорить открыто тем нашим прогрессистам и националистам, которые так подталкивают страну к развалу. Мне не кажется, что это путь, обеспечивающий минимизацию страданий и крови наших народов.

Ликвидация тоталитарного строя — тяжелое и длительное дело. Но этот крестный путь нам не миновать. Надо изменить социальную, экономическую и политическую структуры общества. Срочно создать новые структуры власти. Важно, чтобы они кардинально отличались от старых и в целях и в методах. Они должны избежать соблазна разрушения и насилия, быть оочеловеченными и конструктивными, высокопрофессиональными. Этого можно достичь, лишь порвав со старой идеологией — системой мифов и догм, которая десятилетиями вколачивалась в сознание населения нашей страны. Впрочем, здесь мало что можно добавить к тому, что уже не раз говорилось.

Не сотвори себе кумира

Духовная сфера испытала на себе самые разрушительные удары за последние семь десятилетий. Тоталитаризм — это прежде всего духовная болезнь. И избавление от него требует нравственного возрождения общества.

А в наших душах путаница и смятение. Утрачено само понятие духовности. Его стали понимать как образованность: «У него же высшее образование. Как можно говорить, что он бездуховный человек?» Как будто знание таблицы умножения, бинома Ньютона, дифференциального исчисления обеспечивает духовность. Отсюда нелепые утверждения о расцвете духовности после 1917 года.

Воскресные нравственные проповеди по телевидению. Здесь в качестве духовных пастырей нередко выступают люди, элементарно незнакомые с проблемой, совсем неподходящие для такой роли. С потрясающим легкомыслием одни привлекают в эту передачу кого попало, другие выходят за пределы собственной компетенции. Вот весьма уважаемый в своей области человек решительно утверждает: есть два мотива человеческого поведения — рациональное и эмоциональное. Последнее и есть нравственное. Раньше, по мнению проповедника, нравственность была высокой, потому что это было выгодно. Теперь падает, потому что невыгодно... И так почти каждое воскресенье. Неужели организаторы этих передач не понимают, что массовое вторжение в такую тонкую область случайных, не подготовленных людей оборачивается лишь дальнейшей деморализацией общества?

Из самых важных нравственных идей, выдвинутых в период перестройки,— приоритет общечеловеческих ценностей. Правда, как и многие другие полезные идеи, она появилась на свет во внешнеполитическом наряде. Лишь через какое-то время спустилась она на нашу грешную советскую землю. Но главные слова сказаны. За ними — целый шлейф жизненно необходимых и для мира и для нашего народа следствий: отказ от развития классовой ненависти и борьбы, от насилия и ожесточения, призыв к гражданскому и национальному примирению и многое другое. Только эта, может быть, самая продуктивная идея, рожденная перестройкой, вскоре начала как-то тускнеть. Вроде бы очевидно, что приоритет общечеловеческих ценностей несомним с противопоставлением классового подхода, с утверждениями, что «всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем... Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата».

На этих постулатах из ленинской речи о задачах союзов молодежи строилось и строится все воспитание подрастающего поколения. Этот так называемый классовый подход был связан у нас не с научным анализом общества, дифференциацию в котором надо изучать и учитывать, а с разжиганием классовой борьбы и классовой ненависти. Этими идеями и этим подходом питаются нравственный релятивизм наших философов, кровавая борьба с религией, бессовестное манипулирование сознанием миллионов людей, разрыв с прошлым России и современной цивилизацией.

Казалось бы, опираясь на приоритет общечеловеческих ценностей, необходимо срочно перестроить всю эту вредную, никуда не годную систему воспитания, особенно молодежи, изъять учебники, где пропагандируются подобные разжигающие ненависть взгляды. Ничего подобного. Выступает сам автор тезиса о приоритете общечеловеческих ценностей М. С. Горбачев перед делегатами последнего комсомольского съезда и начинает их призывать к изучению — чего бы, вы думали? — речи о задачах союзов молодежи. В чем тут дело? Или стратегический поворот? Или просто оратор не понимает значения идей, выдвинутых им самим? Или случайный прорыв потока старых догм из глубин подсознания? Во всяком случае, как говорится, ни в какие ворота. Ведь нельзя же призывать изучать речь, которая противоречит концепции общечеловеческих ценностей, если так можно сказать, направлена против нравственной программы перестройки. А без этой программы все экономические, политические, законодательные затеи просто завядают в воздухе. На какой же нравственной основе будет развиваться перестройка в этих условиях? Попытки заменить ее потоком прилагательных — гуманистический, демократический, социалистический — делу не помогут. Это лишь деформирует все отношения, создает, может быть, главное препятствие для проведения радикальной экономической реформы.

В духовный вакуум вторгаются перестроечные импровизации. О рынке весьма уважаемые экономисты и публицисты начинают говорить с придыханием. Словно открыли новый духовный идеал. Помилуйте, когда тысячи лет назад появился рынок, он был просто одной из естественных, органичных необходимыхостей, окружавших человека. Таким он остался и поныне. Нам он нужен, поскольку без него не работает вся система воспроизводства материальных, да и не только материальных благ. А без нее человеку не обойтись. Любое ответственное правительство прежде всего обязано позаботиться, чтобы подданные имели хлеб, одежду, крышу над головой. Достичь же этого можно, лишь используя личный интерес, стремление к выгоде. Другого механизма, как это ясно почти всем, человечество не придумало.

Однако если рынок многие десятилетия в данной стране сознательно корежили и ликвидировали, его развитие теперь становится непростой задачей. Вот это отметила, по свидетельству И. Круглянской, на семинаре в Москве специалист из Италии Лаура Пинакки: «Все, что я знаю о рынке и его типах, говорит о том, что без этической, психологической подготовки общества рынок работать не сможет. Как для нового сада нужна предварительная обработка почвы, так и для новых производственных отношений должны быть созданы необходимые условия. Понимаете? Могут быть прекрасные семена, хорошие удобрения и отличная техника. Но если климат плохой, сад не вырастет». Откуда же берется этот климат? В каких условиях развивался рынок на Западе? В каких он развивается у нас? Не был ли разрушен этот климат с разрушением нравственности, искоренением религии, воспитанием классовой ненависти и вседозволенности? Думаю, большинство здравомыслящих людей дадут на эти вопросы однозначный ответ.

Рынок необходим. Только не надо творить из него кумира. Есть много вещей, нуж-

ных для жизни человека и общества. Ну, скажем, пищеварение. Однако никто же не предлагает объявить пищеварение духовной ценностью. Так и с рынком. Когда он развивался на Западе, там сохранялись иные цели и образцы. Развитие рынка шло там не на коррумпированном аппарате, не на мафиях, кланах, спекулянтах, жуликах, а на основе христианской этики. И не зря требовал Христос изгнать торгашей из храма.

Жадность. Эгоизм. Рвачество. Безжалостность. Обособление. Все эти вещи (уву!) сопутствуют развитию рынка. И мы, развивая рыночные отношения в такой духовно искореженной стране, как наша, забывать об этом не имеем права. Каждый шаг, связанный с экономической реформой, должен подкрепляться системой мер по социальной защите обездоленных и духовному возрождению народа. Ибо рынок сам по себе, хотя он эффективен и необходим, слеп и жесток. Теперь, когда многие публицисты и ученые погуляли по Швециям, Франциям и Америкам, их не может не тревожить вопрос: как бы нам случайно не построить такую же рыночную экономику, как в Перу или в Колумбии. А судя по тому, как в долгий ящик откладываются заботы о нашем будущем, молодежи, образовании, культуре, духовных ценностях, подобный вариант пока не исключен.

Такой же подход и при решении политических задач. Предлагают создать без промедлений правительство национального доверия. Кто может против этого возразить? В Польше, говорят, такое создали. Давайте и мы соорудим. Тем более что ему предназначается провести целую серию непопулярных мер. При этом не учитывают, что ситуация у нас совсем иная. Когда мы говорим о правительстве национального доверия, мы переходим из области экономических, социальных, политических, технических материй в тонкую, хрупкую сферу нравственных, духовных явлений. Она по приказу не создается, да и на материальном интересе ее не укоренишь.

Мы, безбожники, до сих пор не можем понять, что в Польше практически никогда не было тоталитарного беспредела. Там всегда существовала мощная католическая церковь, за которой шло абсолютное большинство населения и которая не только давала образцы нравственного поведения, но и одним своим моральным авторитетом существенно ограничивала светскую власть. Церковь там не была скомпрометирована ни сотрудничеством с фашистами, ни покорностью перед коммунистами. Помните, как корреспондент «Литературной газеты» Леонид Почивалов в беседе с кардиналом Глемпом заметил: «Я читал, что ни один польский католический священник не пошел на сотрудничество с гитлеровцами». И кардинал ответил: «Я тоже не слышал о таких случаях». Что же касается периода послевоенного, то и при кардинале Вышинском и при кардинале Глемпе церковь всегда противостояла властям и полностью сохранила национальное и даже мировое признание, которое и выразилось затем в избрании кардинала Войтылы главой римско-католической церкви — папой римским.

Совсем не понимают наши прогрессисты особенности становления и развития польской «Солидарности». Им тоже кажется: стоит собраться в большом зале, предать анафеме нынешнее руководство, избрать по альтернативному списку президиум или исполком — вот, дескать, «Солидарность» и готова. Нет, не получится! «Солидарность» в Польше — это не просто профсоюз или партия. Это народное движение, получившее поддержку церкви и благодаря этому сразу поднявшееся на такую моральную высоту, до которой обычным политическим партиям, погрязшим в мелком тщеславии, склоках, интригах, не подняться. Эта нравственная, духовная особенность «Солидарности» тотчас была угадана польским народом, который поверил ей всерьез и надолго. И когда «Солидарность» сформировала свое правительство, эту веру народ перенес и на него. Так возникло правительство национального доверия в Польше. Это не так часто происходит. Один из венгерских священнослужителей недавно сказал мне: «У нас в Венгрии ситуация, отличная от Польши. Политические лидеры часто игнорируют церковь и этим очень ослабляют себя».

Для крупных социальных перемен, для доверия к лидеру мало, чтобы он умел обаятельно улыбаться и играть роль своего парня. Нужно, чтобы в основе движения лежали серьезные духовные, нравственные ценности. Тогда и гражданские идеалы такого лидера будут иного качества. Ведь настоящий гражданский идеал исходит всегда из нравственного, в нем находят опору и силу. Это то, чего не понимали ни отцы — основатели нашего государства, ни их последователи. Беда в том, что это вытравлено из сознания нашей интеллектуальной элиты, теперешних «властителей дум» или, во всяком случае, властителей телевизионного времени и газетных полос. Хоть им и кажется, что они отреклись от всего, чему поклонялись, но как только доходит до дела,

тут же выныривают железобетонные схемы: экономика (базис) определяет надстройку, в том числе нравственные взгляды общества. И невдомек им, что дело обстоит как раз наоборот: нравственность — это основа и экономики и политики.

«Мы все привыкли думать,— писал в статье «Так что же нам делать?» Л. Толстой,— что нравственное учение есть самая пошлая и скучная вещь, в которой не может быть ничего нового и интересного; а между тем вся жизнь человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности, деятельностями — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет другой цели, как большее и большее уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины»²².

«За что б мы ни взялись,— пишет А. И. Солженицын в статье «Как нам обустроить Россию», — над чем бы ни задумались в современной политической жизни — никому из нас не ждать добра, пока наша жестокая воля гонится лишь за нашими интересами, упуская не то что Божью справедливость, но самую умеренную нравственность».

В этом пункте оказываются в согласии такие, казалось бы, разные люди, как Федор Достоевский, Лев Толстой, Александр Солженицын. Это не так часто у них бывает. Но когда это случается, нам грех к ним не прислушаться.

²² «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть одиннадцатая». М. 1903, стр. 283.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Читайте в 1991 году:

ПОЛЮСА ЕВРАЗИЙСТВА

А. П. Карсавин. Государство и кризис демократии. **Георгий Флоровский.** Евразийский соблазн.

Вступительная статья **А. В. Соболева.** Составление **А. В. Соболева** и **И. А. Савкина.** Перевод с литовского **Г. Мажейкиса.** Комментарии **А. В. Соболева,** **И. А. Савкина,** **Г. Мажейкиса.**

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Ф. А. СТЕПУН

(1884—1965)

*

МЫСЛИ О РОССИИ

Полтора года назад, предваряя на страницах «Нового мира» публикацию статей Г. П. Федотова (1989, № 4), я писал, что имя его «мало известно отечественному читателю». И если сейчас о Федотове этого, слава Богу, уже не повторить — его статьи и книги за минувшее время необратимо стали частью нашего обновленного культурного обихода, — то к имени его ближайшего соратника по «Новому граду», писателя, философа, социолога, историка культуры, публициста Федора Августовича Степуна эти слова все еще приложимы в полной мере. А между тем в откликах на смерть этого «малоизвестного» соотечественника (зарубежных, конечно) утверждалось, что «универсальное значение его личности представляло собой совершенно исключительное явление» и что «Федору Августовичу Степуну удалось и в жизни и в творчестве дать синтез русской глубокой религиозности, человеческой свободы и социальной правды. И этот синтез прокладывает путь духовному обновлению нашего времени» (*Stuttgarter Nachrichten*, 25.2.65; цит. по: Струве Н. Памяти Ф. А. Степуна. — *Вестник РСХД*, 1965, № 77, стр. 52—53).

Ф. А. Степун родился 6 февраля (по старому стилю) 1884 года в Москве, в доме «Человеколюбивого общества», и много позднее усматривал в этом месторождении знак, под которым прошла вся его жизненная борьба за утверждение абсолютного достоинства человеческой личности и против любых покушений на нее, каким бы флагом они ни прикрывались. В его жилах смешалась литовская (сама фамилия Степун — литовского происхождения), немецкая, французская, шведская, финская кровь, но это этническое богатство, по ощущению самого Степуна, ни в малейшей степени не мешало его субъективной «русскости», основы которой были заложены глительной жизнью в деревне Калужской губернии, где у его отца, директора писчебумажной фабрики, было небольшое имение.

Окончив в 1903 году московское реальное училище, он отправился продолжать образование в Германию, в знаменитый Гейдельбергский университет, где в течение семи лет изучал философию (по руководством Виндельбанда), историю, политическую экономию, государственное право, историю искусств и литературы. Здесь он имел возможность близко наблюдать жизнь революционно настроенной русской студенческой среды, но не сошелся с ней ни психологически, ни мировоззренчески. В 1910 году, защитив докторскую диссертацию по философии о Владимире Соловьеве, он вернулся в Москву, где со своим университетским товарищем С. И. Гессеном прежде всего принялся хлопотать о русском издании международного философского журнала «Логос» (выходил с 1910 по 1914 год). Им обоим, прошедшим суровый методологический искус неокантианства, современная русская философия как в ее религиозно-интуитивном, так и в марксистско-догматическом изводах представлялась научно малоозабоченной, и задачей русского «Логоса» им виделось подведение под нее строгого методологического фундамента. В «Логосе» были опубликованы программные статьи Ф. Степуна («Трагедия творчества», 1910, кн. 1; «Жизнь и творчество», 1913, кн. 3—4), впоследствии вошедшие в сборник его основных философских работ «Жизнь и творчество» (Берлин, 1923). Уже в этих статьях с большой силой зазвучала тема божественной первоосновы жизни,

достаточно неожиданная для вчерашнего строгого неокантианца, и влияние немецких романтиков (прежде всего Ф. Шлегеля, статью о котором Ф. Степун поместил в № 1 «Логоса» за 1910 год) в них ощущалось сильнее, чем уроки его университетских наставников в философии. В эти годы Ф. Степун сближается с кругом русских символистов, принимает близкое участие в редактировании журнала «Труды и дни», ведет секцию по эстетике при московском издательстве «Мусaget», созданном в 1909 году с целью теоретического осмысления художественной практики русского символизма. До начала войны 1914 года в качестве члена «Бюро провинциальных лекторов» Ф. Степун, облававший, по отзывам современников, почти магическим ораторским даром, успевал объездить всю Россию, читая лекции и курсы на самые разнообразные темы. «Как свободно и легко дышала в то время Россия, наслаждаясь своей медленно крепнущей свободой, как быстро росла и хорошела», — свидетельствовал он позднее об опыте этих разъездов (Степун Ф. А. Автобиографический очерк. В сб. «Старые — молодым», б. м., 1961, стр. 91).

В начале октября 1914 года прапорщиком 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Ф. А. Степун ушел на галицийский фронт. В 1915 году, уже на рижском фронте, он получил тяжелое ранение, спасшее его через несколько лет от участия в братоубийственной гражданской войне. Февральская революция, заставившая Ф. Степуна снова на галицийском фронте, неожиданно для него самого вынесла его на короткое время на авансцену русской политической жизни. Приехав в начале революции в Петроград во главе армейской делегации Юго-Западного фронта, он был избран армейским представителем во Всероссийский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а затем назначен начальником политического управления в военном министерстве Б. Савинкова. В дни Октября он был на короткое время арестован, но освобожден военной комиссией Кексгольмского полка и вернулся в Москву.

Пока в стране еще теплилась остаточная свобода печати, Ф. А. Степун много писал для газет («Возрождение», «Воля России» и др.), альманахов, сборников. В 1919 году по протекции А. В. Луначарского он был назначен заведующим репертуаром и помощником режиссера «Показательного театра Революции» (в 1923 году в Берлине вышла его монография «Основные проблемы театра»), но удержался на этих постах недолго; после постановок «Царя Эдипа» Софокла и «Меры за меру» Шекспира он был уволен за явное непонимание сущности пролетарской культуры, с чем, впрочем, сам был совершенно согласен, так как полагал, что таковой быть не может: «...культура требует языка, а у пролетариата, как у каждого класса, есть только своя терминология» (там же, стр. 94). В страшные годы голода и террора, когда, по словам Ф. Степуна, «сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого чекиста» («Бывшее и несбывшееся». Нью-Йорк, 1956, т. II, стр. 203), он вместе со многими свидетелями этих лет пережил внешне необъяснимое, но на всю жизнь запомнившееся чувство духовного взлета.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

— писала Ахматова в 1921 году, в год расстрела Н. С. Гумилева. А вот свидетельство Ф. Степуна: «...Не только верующим, но и неверующим становилась понятной молитва о хлебе насущном, так как вся Россия, за исключением большевистской головки, ела свой ломоть черного хлеба, как вынутую просфору, боясь обронить хоть крошку на пол. Тепло, простор, уют исчезли из наших квартир, но в новых, часто убогих убежищах, глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головой. Маленькие железные печурки, по прозвищу «буржуйки», вокруг которых постоянно торчали холол и голод, благогарно и первобытно ощущались почти что священными очагами жизни. По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось и тем преображало нашу жизнь <...> всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего <...> Жизнь на «вершинах» становилась биологической необходимостью <...> Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою

судьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на допросе и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его. Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельной серьезностью и первоначальным значением» (там же, стр. 204—206).

После увольнения из театра Ф. Степун еще некоторое время читал лекции в разных художественных студиях, но так как «вся эта деятельность висела в воздухе», они с женой решили перебраться в деревню, где в бывшем имении его тестя, которому местный исполком оставил несколько десятин земли, уже работала их «семейная коммуна».

По-видимому, роковым в дальнейшей судьбе Ф. Степуна оказался выход в 1922 году в московском издательстве «Берег» сборника «Освальд Шпенглер и Закат Европы», открывавшего его одноименной статьей, в которой систематически излагалось содержание шумевшей книги Шпенглера (в сборнике приняли участие также Н. А. Бердяев, С. А. Франк, Я. М. Букишан). Книжка эта попала на глаза В. И. Ленину, усмотревшему в ней «литературное прикрытие белогвардейской организации» (Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 198). Так или иначе, но бывший член Всероссийского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов оказался в числе тех представителей интеллигенции, кого Ленин требовал «изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу» (там же, стр. 256—266).

Осенью 1922 года Ф. А. Степун был выслан из Советской России и обосновался в Берлине, бывшем тогда одним из главных культурных центров русского Зарубежья. Вскоре по приезде он был привлечен к участию в самом крупном эмигрантском журнале «Современные записки», основанном в 1920 году в Париже группой правых эсеров, и стал фактическим редактором его литературного отдела. Благодаря широте культурной позиции и мировоззренческой терпимости его редакторов (прежде всего И. И. Бунакова-Фонгаминского, В. В. Руднева и самого Ф. А. Степуна), журнал быстро утратил свою «направленческую» окраску и объединил вокруг себя все лучшие литературные и научные силы русской эмиграции. «Очередная задача России,— писал Ф. Степун в одной из своих программных статей,— заключается сейчас в создании такой общественно-политической психологии, при которой всем центристскими силами была бы гарантирована победа над силами центробежными. Если мы не сократим до минимума расхищение творческих сил России двуединой красно-черной реакцией, мы не выйдем из того тупика, в котором гибнем» («Современные записки», XXVIII, 1926, стр. 376). И. Букин, А. Белый, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Ремизов, И. Шмелев, Б. Зайцев, М. Цветаева, В. Ходасевич, М. Осоргин, Л. Шестов, Вяч. Иванов, Н. Бердяев, о. С. Булгаков и многие другие — все они печатались на страницах «Современных записок» (до 1940 года вышло 70 журнальных книжек), и большая заслуга в этом принадлежит Ф. А. Степуну. В «Современных записках» (с 1923 года) первоначально печатался автобиографический философский роман в письмах Ф. Степуна «Николай Переслегин» (отдельное издание — Париж, 1929).

Однако потребность в более детальном и свободном обсуждении религиозно-философских и общественно-политических вопросов не находила достаточного пространства в «Современных записках». Поэтому в 1931 году Ф. А. Степун вместе со своими единомышленниками И. И. Фонгаминским и Г. П. Федотовым начал выпускать в Париже небольшой журнал «Новый град». «Особенность новоградского духа,— писал позднее Ф. Степун,— определялась прежде всего тем, что его основатели и главные сотрудники встретились друг с другом на путях покаяния как за свои личные ошибки, так и за прегрешения тех партий, групп и течений, к которым они принадлежали. <...> На искания кающихся социалистов-революционеров и социал-демократов прежде всего отзывались те религиозные мыслители и ученые, кто в начале века весьма неудачно именовался неоправославными. <...> Право, уже пора понять, что строить общеевропейское объединение и всемирное замирение человечества на основе борющихся друг с другом национальных, экономических и социально-политических эгоизмов есть верх беспредметного утопизма, что успех возможен,— если он вообще возможен,— только на почве преодоления всяческой, если можно так выразиться, «ячности», личной, классовой, национальной, расовой, вероисповеднической, на устремлении всякого «я» к противостоящему ему «ты». Единственно возможным лозунгом творческого жизнеустремления является евангельское «ты еси». На голом же и властном «я», все

время твердящем,— а ты переродись, сгинь, умри,— никогда ничего не построить и не создать» («Автобиографический очерк», стр. 99). До самой смерти Ф. А. Степун, выступавший почти в каждом номере журнала, ощущал себя носителем этого «новоградского» духа и верил, что когда-нибудь найдутся в России люди, которые пойдут по намеченным в «Новом граде» путям.

Вторая линия эмигрантской жизни Ф. А. Степуна была связана с академическим преподаванием в университетах Германии. (Немецким он владел с такой же артистической легкостью и изяществом, как и родным русским.) В 1926 году он занял кафедру социологии в Дрездене, откуда был в 1937 году уволен нацистами «за русский национализм, практикующее христианство и жигопослушность» («Бывшее и несбывшееся», т. I, стр. 52) с запрещением устных и печатных выступлений.

В 1947 году специально для Ф. А. Степуна в Мюнхенском университете была создана кафедра истории русской культуры, которую он занимал до конца жизни. Послевоенные годы для него стали временем подведения жизненных итогов. В 1956 году в Нью-Йорке вышли его воспоминания «Бывшее и несбывшееся», на мой взгляд, по богатству и глубине содержания одни из лучших во всей русской мемуарной литературе XX столетия (первоначально они появились в трехтомном немецком издании под заглавием «Vergangenes und Unvergängliches» — «Прошедшее и непреходящее», Мюнхен, 1947—1950), книга прежних литературных статей, озаглавленная «Встречи» (Мюнхен, 1962). На немецком языке вышли и его книги о Толстом и Достоевском (1961) и большой труд о русском символизме (1964), последняя крупная работа Ф. А. Степуна.

Цикл из десяти статей под общим заглавием «Мысли о России» печатался в «Современных записках» в течение пяти лет (1923, XIV, XV, XVII; 1924, XIX, XXI; 1925, XXIII; 1926, XXVIII; 1927, XXXII, XXXIII; 1928, XXXV) и никогда не был издан по-русски отдельной книгой. Ниже публикуются (с сокращениями ввиду жестких требований журнального объема) четыре очерка из этого цикла (1923, XVII, стр. 361—375; 1924, XIX, стр. 296—333; 1927, XXXII, стр. 279—310; 1927, XXXIII, стр. 337—361), занимающих, пожалуй, центральное место в размышлениях Ф. Степуна о русской революции. С его анализом и характеристиками можно не соглашаться (как не согласен со многими его утверждениями, между прочим, и пишущий эти строки), но спор с его страстной мыслью несомненно имеет свое значение и смысл. Читая и не соглашаясь, будем помнить, что «последний смысл всякого историоведения не в невозможном по существу академически-бесстрастном восстановлении картины прошлого, а в покаянном отыскании творческих путей в будущее» («Бывшее и несбывшееся», т. I, стр. 40).

⟨...⟩ В самые страшные годы советского режима, когда окончательно обезумевшая доска марксистски-большевистских выкладок надгробной плитой лежала на всех полях и пахотах России, единственно пробивающемся из-под нее травкой виднелась, как это ни зазорно и на первый взгляд ни странно сказать,— спекуляция. Спекулянты, и прежде всего спекулянты хлебом — крупные организаторы и эксплуататоры замечательного российского явления — «мешочничества», были совершенно особыми людьми. Среди них редко встречались наши степенные купцы, бойкие лавочники, деревенские мужики, но было среди них очень много беглых матросов, бывалых солдат, гимназистов, воспитанных на борьбе с полицией, лапсердачных евреев, цыган-конокрадов и самых разнообразных женщин. Все это жило в различных частях Москвы: в Замоскворечье, на Балчуге, у Немецкого рынка, около Павелецкого вокзала и во многих других местах. Жили, как это ни странно, не враспылку, а целыми таборами, целыми лагерями, постоянно откупаясь от большевистских агентов и милиционеров громадными суммами, но одновременно никогда не снимая дозорных постов. И не странно ли, что в эти спекулянтские квартиры интеллигентная молодежь пробиралась с мешками под пальто за хлебом, пшеном и сахаром совершенно в таком же виде и в таких же ощущениях, как в 1905, 1906 годах пробиралась на конспиративные квартиры

с революционной литературой под полой. А дома совершенно так же, как в 1905 году, ждали старики родители, ежеминутно поглядывая на часы и волнуясь; не перехватили бы милиционеры, не окружили бы квартиры, не заарестовали бы...

Действительно, революции нужно было окончательно сойти с ума, чтобы превратить спекулянта в революционера и пшено в динамит.

Помню, как, нагруженные пшеном, возвращались мы с санитарных поездов. Уже пробраться к ним было часто очень нелегко. Санитарные поезда всегда останавливались очень далеко от вокзалов. Бесконечное количество путей, бесконечное количество поездов. Спросить никого нельзя. Рассказ, на основании которого идешь, — темень.

«Выйдете в тупик, там забор. В заборе выбиты две доски, в эту дыру не ходите, там раньше ходили, теперь сторожат. За эту дыру идите саженной сто, там щупайте: доска отшита, только прислонена. Вы прямо в эту доску, тут же недалеко тропочка вниз, вы ступайте прямо на красный фонарь и на 5-х или 6-х путях он и стоит, если не перевели. Там сами увидите, вагоны такие облезлые... Только не ошибитесь, с одного вчера прямо на Лубянку отправили...»

Как ни трудно, но туда все же не страшно, идешь с пустыми руками. Назад — дело другое. В руках по пуду, на спине третий. С полотна к обшитой доске надо подыматься очень круто по откосу. Кругом милиционеры, правда подкупленные, но все-таки кто их знает. «Порожняков» они всегда подпускают, ну а с грузом иной раз перехватывают, правильно считая, что с одного вола можно иной раз и две шкуры содрать... Сейчас смешно вспоминать, а тогда действительно чувствовалось, будто в чемоданах динамит несешь...

В одной из подмосковных дачных местностей дело было поставлено на совсем широкую ногу. У самого полотна железной дороги была реквизирована роскошная дача под какое-то советское учреждение. Нужные поезда останавливались прямо против ее ворот (паровозы до станции не дотягивали!). Позади дачи в гараже свалено невероятное по тем временам количество муки, крупы и масла. Тайная торговля буйствовала три дня. Цены скакали ужасно, потому что нервничал местный Совет, ежеминутно ставя новые условия и беспрестанно грозя «донести и расстрелять». Торговал раненый офицер и два матроса. Изумительная была никем не предписанная дисциплинированность покупателей. У ворот никогда не толпились по несколько человек. Никто ничего не спрашивал, ни как пройти, ни какая цена... Входили молча со стороны полотна, уносили и увозили со двора прямо в лес... То немногое, что надо было сказать, произносилось шепотом. Надо всем тяготело то тревожное настроение, в котором солдаты сторожевого охранения разбирали ужин ввиду постреливающего неприятеля.

Так упорно воевало боевое спекулянтское сословие за элементарное право человека и гражданина не умирать с голоду. Так вело оно около двух лет свою тревожную, бездомную жизнь, изо дня в день теряя большое количество ранеными и убитыми, арестованными и расстрелянными, но не сдаваясь и твердо веря в конечную победу человека над цифрой и пахоты над шахматной доской.

Победа этой спекуляция, к сожалению, не одержала. Совершенно неожиданным маневром своего врага она была внезапно опрокинута и разбита. То, что было не под силу никакому террору, оказалось пустяшным делом для обходного движения «изпа».

Героическому сословию спекулянтов, рожденному безумием коммунистического творчества, нэп нанес решительный удар. Из героев и защитников прав свободного человека, чем-то связанных со своими живописными романтическими предками: пиратами, разбойниками, конокрадами, охотниками, он превратил их в отвратительных самоуверенных нэпманов, покойно и солидно сидящих, словно клопы в матрацах, в социальных гнездилищах своих банков, трестов и внешторгов...

Когда по приезде в Берлин я вышел на Tauentzienstrasse и попал — было часов 6 вечера — в самый разлив русской спекулянтской стихии, в широком русле которой неслись: котиковые манто, сине оштукатуренные лица, набегающие волны духов, бриллианты целыми гнездами, жадные, блудливые глаза в темных кругах; в заложенных за спину красных руках толстые, желтые палки-хвосты, сигары в брезгливых губах, играющие обтянутые бедра, золотые фасады зубов, кроваво квадратные рты, телесно-шелковые чулки, серая замша в черном лаке, и над всем отдельные слова и фразы единой во всех устах валютно-биржевой речи, — я с нежностью вспомнил героически московских спекулянтов 19 и 20 годов, говоривших по телефону только

зэоповским языком, прятавших в случае опасности бриллианты за скулу, при знакомстве никогда не называвших своих фамилий, постоянно дрожавших по ночам при звуке приближающегося автомобиля, и услышала где-то глубоко в душе совершенно неожиданную для себя фразу — эх, нету на вас коммунистов!

В целом ряде своих встреч с эмигрантами меня бесконечно поражала одна, для очень многих эмигрантов глубоко характерная, черта. Они встречали меня, как только что приехавшего из России, с явную, не только ко мне, но прежде всего к России, относящейся приятно и даже любовью. Я непосредственно чувствовал, что я для них тот «дым отечества», который для не смеющих вернуться домой, быть может, еще «сладостнее и приятнее», чем для возвратившихся после долгих странствий.

Но такое отношение ко мне часто как-то внезапно нарушалось при первых же, моих словах о России. Достаточно было, рассказывая о том, как жилось и что творилось кругом, отметить то или другое положительное явление новой жизни, все равно, совсем ли конкретное, что в такой-то деревне не осталось больше мещан, что все мещане обзавелись скотом, или более общее, что подрастающее поколение, хотя и не учится, но зато развивается быстрее и глубже, чем раньше, — как мои слушатели сразу же подозрительно настораживались и даже странным образом... разочаровывались. Получалась совершенно непонятная картина: любовь, очевидная, патриотическая любовь моих собеседников к России явно требовала от меня совершенно недвусмысленной ненависти к ней. Всякая же вера в то, что Россия жива, что она защищается, что в ней многое становится на ноги, принималась как цинизм и кощунство, как желание выбрить и нарумянить покойника и посадить его вместе с живыми за стол. Говори я, что не Россия жива, а что большевики бессмертны, что не Россия успешно защищается от большевизма, но что большевики успешно защищают Россию, подозрительность и негодование моих собеседников были бы объяснимы. Но этого я никогда не говорил. Моя защита большевиков никогда не достигала энергии хотя бы той формулы, которую Гете защищает всякое зло:

Ein Teil von jener Kraft
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.*

Утверждать, что большевики всегда творят благо, было бы слишком большим оптимизмом, но не видеть, что иногда они его все-таки творят, — зрячему человеку все же нельзя. Ясно, что видеть это совершенно не значит верить в большевиков, но значит верить в свет, в добро, в смысл истории, в Россию. Утверждая, что ужасы войны и революции, окопы и тюрьмы многих привели к Богу, я, конечно, всегда оставался очень далек от утверждения, что все палачи — священники и пророки. Нет, я волновал и отталкивал моих собеседников не совершенно чуждою мне защитою большевиков как власти, а защитою моей веры, что, несмотря на большевиков, Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу <...>

Я никогда не был сторонником белого движения; как его идеология, так и многие из его вдохновителей и вождей всегда вызывали во мне если и не прямую антипатию, то все же величайшие сомнения и настороженную подозрительность. Такая невозможность внутренне сочувствовать белому движению была для меня в известном смысле всегда тяжела.

Уж очень много близких людей шло на Москву в добровольческой армии, и прежде всего шли лучшие элементы того рядового русского офицерства, которое за годы войны я привык не только искренне уважать, но с которым я плотно свылся и которое от души полюбил. Рядовое наше офицерство, каким я его застал на фронте в обер-офицерских чинах, было совсем не тем, за что его всегда почитала радикальная интеллигенция. Как офицерство монархической России, оно, конечно, и не могло быть и не было революционно, ни социалистично, но как всякий обездоленный класс, оно было в конце концов как в бытовом, так и в психологическом смысле глубоко народолюбиво. Вынужденный денщиком, воспитанный в кадетском корпусе задаром или на медные деньги, с ранних лет впитавший в себя впечатление вечной нужды многоголовой штабс-капитанской семьи, кадровый офицер, несмотря на свое часто только сти-

* Часть силы той, что вечно хочет зла и вечно совершает благо («Фауст», часть I).
(Прим ред.)

листическое пристрастие к рукоприкладству и крепкому поминанью, зачастую много легче, проще и ближе подходил к солдату, к народу, чем многие радикальные интеллигенты.

Воевали все, за очень немногими исключениями, честно и храбро, многие доблестно. При этом были скромны. Ни общество, ни правительство не воздавали им должного. Санитарные двуколки без рессор, товарные вагоны, превращенные в санитарные исключительно при помощи кисти маляра, эвакуационные пункты, похожие на застенки, или бестактная роскошь великокняжеских или всяких иных именных лазаретов, в которых даже умирали под оперные переливы алябьевского «Соловья», частая задержка нищенского жалованья, грязь и вши на этапах — все это рядовое русское офицерство не замечало, не видело...

Когда над фронтом неожиданнее всех неприятельских шрапнелей разорвалась революция, русское офицерство, которому она ничего хорошего не несла и не обещала, приняло ее без малейших оговорок и сопротивления. В ответ на это оно было революцией сразу же взято «под подозрение». Неся всем все возможные и все невозможные свободы, мартовская революция все же не нашла возможным разрешить офицерству свои профессиональные союзы, офицерские комитеты без участия солдат. Чем дальше развевывалась революция, тем неприемлемее становилась она для офицерства. «Брестский мир», кровавым быком хлестнувший по опозоренному лицу всей России, больше всего, с чисто психологической точки зрения, ударил, конечно, по рядовому офицерству.

Вместе со всей армией оно годами ждало мира, не блистательного и жестокого, но справедливого и благообразного. Как о чуде мечтало оно о том часе, когда покатаются обратно в родные углы России воинские поезда. В эти минуты духовного предвосхищения «мира» светлела память о погибших, крепла дружба между живыми, и бесконечно дорогим и близким душе звучало генье в солдатских вагонах, генье родных, испытанных, любимых рот и батарей.

Кроме этого часа ожидаемого мира, у офицерства ничего за душою не было. Всем своим воспитанием изначально оторванное от всякой иной жизни, кроме военной, никак не связанное в своем большинстве с общественной, политической и культурной жизнью России и чуждое хозяйственным солдатским интересам, оно ждало этого часа как единственного оправдания всей своей жизни, начиная с подготовительного класса кадетского корпуса и кончая страшными минутами в окопах и на операционных столах. И этот час был у него большевиками украден.

Дологжданный мир всходил над Россией не святым, а кощунственным, не в благообразии, а в безобразии, ведя за своей позорной колесницей со связанными за спиной руками, оплеванными и избитыми, тех самых приявших революцию офицеров, которые, многократно раненные, возвращались на фронт, чтобы защищать Россию и час своего мира.

Все это делает вполне понятным, почему честное и уважающее себя офицерство психологически должно было с головою уйти в белое движение. Но все это делает вполне понятным и то, почему уход офицерства в белое движение вполне мог не быть и чаще всего и не был уходом в движение контрреволюционное.

Теперь, когда идея интервенции потеряла всякую почву под ногами, когда запоздавшее отрицание ее со стороны демократии невольно покрывает и прошлое интервенции все сгущающимися тенями, в сердце невольно подымается боль за всех тех, которые и под Корниловым, и под Деникиным, и под Врангелем воевали, конечно, бескорыстнее, чем царские «генштабисты» и молодые красноармейцы под Троцким и Каменевым, и которых, кажется, снова ничего не ждет, кроме неблагодарности и забвенья. <...>

Каждого человека, стоящего сейчас на распутье в сложных чувствах и сократических сомнениях, подстерегает целый ряд соблазнов и опасностей.

Для всякой сложности соблазнительнее всего элементарность. И для всяких сомнений — самоуверенность.

Помню свой разговор в 1917 году в Царском Селе с Плехановым. Говоря о Ленине, он сказал мне: «Как я только познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения».

Думаю, что подмеченный Плехановым в Ленине дар упрощения проник в русскую жизнь гораздо глубже, чем это видно на первый взгляд. Быть может, он не только материально, экономически развалил Россию, но и стилистически уподобил себе своих идейных противников.

Если внимательнее присмотреться ко многим господствующим сейчас в русской жизни культурным явлениям, в особенности же к тем формулам спасения России, которые предлагаются ныне некоторыми «убежденными людьми» всем «знающим, что они ничего не знают», то невольно становится жутко: до того силен во всем ленинский дар упрощения.

И в «сменовеховстве» и в вульгарном монархизме, увлекающемся, с одной стороны, скобелевскими талантами Троцкого, а с другой — думающем, что Россия гибнет от «жида», и в аристократическом монархизме, увлекающемся религиозно-социальной структурой средневековья, и в почти модном ныне отрицании демократии как пустой формы и социализма как коммунизма, игнорирующем элементарные соображения, что и форма на своем месте может быть величайшим содержанием, и что не все дети выходят в отцов, а некоторые и в прохожих молодцов, и во многом Другом очень много неосознанной большевистской заразы.

Спасли всех стоящих сейчас на распутье от этого вездесущего большевизма, от преждевременного движения все равно куда, лишь бы по линии наименьшего сопротивления, в особенности же от идейного признания большевистской власти, все равно — в полюсе ли «сменовеховства» или монархизма, — величайшая задача демократии.

То, что она и сама стоит сейчас на распутье, как и те, которых ей должно спасать, неважно. Важно только одно: важно следить за собою, как бы с распутья сократического раздумья не попасть на пути гамлетического безволия.

У старых наших нянек был замечательный прием утешения своих питомцев. И по себе помню и потом сколько раз на бульварах видел: споткнулся ребенок на камень или разбился о косяк, плачет... а старуха, вытирая слезы, шепчет: «а ты побей его, побей, ишь он какой нехороший, и как он смеет»... И вот отколотишь себе, бывало, докрасна кулаки и чувствуешь — полегчало: и боли меньше и на душе как-то спокойнее..

Русская интеллигенция десятилетиями готовила революцию, но себя к ней не подготовила. Почти для всех революция оказалась камнем преткновения, большинство больно ударила, многих убила.

Пока я жил в России, как-то не спрашивал себя, обо что разбился, да и кругом об этом мало говорили. Временами настоящее было слишком страшно, чтобы утешаться анализом прошлого. И потом, — все время гнул позорный труд жизни: борнил, копал картошку, ездил на мельницу, а когда не хватало хлеба — на Сухаревку продавать женины кофточка, посуду, зеркала, старые брюки. Месил целыми днями грязь и громко выкрикивал: «Кому, товарищи, брюки? С ручательством: крепки, как буржуазные предрассудки!» Торговал хорошо. Со злостью и потому с веселостью. Веселое сердце всегда удачливо.

Большинство кругом жило так же, но, конечно, каждый на своей вариации. Когда же после нэпа полегчало и начались поиски виноватого камня, стало понемногу обнаруживаться, что виноватый камень — демократия.

Приехав в Берлин, я убедился, что мнение о том, что во всем виновата демократия, распространено среди эмиграции гораздо шире, чем в России. Я был бы рад примкнуть к нему. Очень утешительно знать, кто виноват, и особенно утешительно знать, что виноват не ты. Но не могу — мешает навязчивый образ старой няньки и память о своих набитых кулаках. А враги демократии все наступают. Спорить с ними сейчас почти что бесполезно. Время жестокое — словами никого не убедишь. Но не задуматься над их наступлением и ожесточением — демократии все же нельзя. Познание своих врагов — один из самых верных путей к самопознанию. А в самопознании сейчас все дело.

Что же, однако, это за люди, столь громкие ныне враги демократии?

Ответ на этот вопрос не легок. Портретная галерея врагов демократии очень богата. Каждый тип вражды требует совсем особого к себе отношения. Многие незаметно переходят друг в друга.

Начнем с обывателей. К ним принадлежат все те, которые, споткнувшись о ка-

мень революции, больно разбили о него свои головы и, памятуя наставления нянек, бьют камни, чтобы сорвать свою досаду. В душах большинства этих несчастных, оказавшихся не у дел и вне жизни людей очень много самой настоящей скорби, и их глубокая неправда не в том, как они чувствуют, а только в тех дилетантских политических выводах, которые они делают из своих чувств. Все они ненавидят Керенского гораздо больше, чем Ленина, и Временное правительство — больше Коминтерна. Происходит это потому, что, хотя социальное бытие всех их поджег, в сущности, Ленин, они сами все же обожглись на Керенском, в которого в свое время поверили, которого, того, кто, даже бегали слушать и смотреть. Вот этого своего простотильства они и не могут себе простить. Багровый гнев, которым пылают их щеки, когда они говорят о пресловутом «феврале», чаще всего не что иное, как краска стыда за свое непростительное «прятие революции», за свою сентиментальную, глупую надежду, что все обойдется по-хорошему: немцы будут разбиты, излишняя земля по справедливой оценке отчуждена в пользу крестьян, производство в генералы, виду заслуг перед революцией, ускорено, правосознание насаждено и т. д. и т. д. ...

Доказывать этим людям, что в нарушении революционного идеализма виноваты далеко не одни только демократические идеи, но и вечные законы революции, — бессмысленно, так как всякий, даже и самый просвещенный обыватель может положительно относиться к историческим событиям только до тех пор, пока они трагедии на сцене. Революция же, которая неизбежно взрыв бомбы под спокойным театральным креслом и предложение самоличного взлета в дали истории, для него всегда неприемлема, так как вся суть обывательщины в том, что насиженный быт для него много милее великих исторических событий. Обвинять, как это иной раз делается, всякого рядового обывателя, который в первые дни февраля кидал шапку вверх и кричал «да здравствует революция», а теперь, смотря по темпераменту, или шипит, или брюзжит, в измене демократическим идеям и ренегатстве дело явно бессмысленное и несправедливое. <...> Открещиваться от обывателя демократии потому никак не приходится; ведь ради его благосостояния и ведет она свою борьбу. Сколько бы ни злобствовал сейчас против демократии обыватель, в конце концов он для нее все же не враг, а блудный сын.

Однако не со всяким оцетинившимся обывателем возможно для демократии такое отеческое примирение. Всматриваясь в многообразие стертых обывательских лиц, часто наталкиваешься среди них на такие обличья, примирение с которыми было бы уже преступно.

Я говорю о людях, если и не бывших в свое время в самых сердцевинах демократических партий, то все же убежденно и принципиально шедших до революции в общем русле демократически-оппозиционных настроений, а после революции громче других кричавших «ура», писавших статьи, выступавших на митингах и циркулировавших в передних и приемных революционных министерств. Теперь они очень изменились: не то раскаялись, не то поумнели, не то сами не заметили, что с ними произошло. Не хуже многих из тех щелкоперов, которым по какому-то непонятному недосмотру небо временами все еще отпускает заваленный отрез давно пропахнувшего подостью таланта, поносят они «маниловщину» Временного правительства, «медовый месяц» русской революции, «пошлость демократического уравниательства», «слоняйство» социалистов и безволие Керенского. Спорить с этими крепьшами заднего ума, не лишёнными оппортунистической смекалки, не приходится. Под веселую руку им, впрочем, можно ответить горькими словами Чацкого: «Довольно, с вами я горжусь своим разрывом». Как и безвредные обыватели, эти обыватели-ренегаты в сущности совсем не враги демократии, хотя они своими громкими голосами и увеличивают в данную минуту хор ее озлобленных хулителей <...>

Сейчас, когда положение демократии очень экспонировано, когда она, хотя и в форме моды на ее отрицание, все же очень в моде, им явно выгодно выставлять свой ходкий товар в заметных витринах демократической проблематики и быть принятыми за принципиальных врагов демократизма. Но все это, конечно, одна видимость. Принимать врагов общечеловеческой честности за лично своих врагов у демократии нет ни малейшего основания, как бы они того ни добивались. Их надо разоблачать в их до- и сверхдемократической подлости — и только.

Политическая борьба вещь жестокая. Отличительная черта политических деятелей — невнимательность к отдельной человеческой душе. Удивительного в этом ничего

нет. Основным элементом современной политической жизни являются партии, то есть организации, принципиально интересующиеся каждым из своих членов, поскольку он похож на всех остальных, а не постольку, поскольку он ни на кого не похож. В атмосфере современной политической жизни постоянно повторяются потому большие несправедливости. К самым недопустимым принадлежит неумение отличить ренегата от человека действительно внутренне переродившегося, оппортунистическую волю от многомерного сознания, человека, легко меняющего хозяев, от человека, который всегда сам себе остается хозяином. <...> Все эти соображения только небольшое предисловие к указанию на тот третий толк ненавистников демократии, который психологически не всегда достаточно острый взор политической мысли иногда непросто смешивает со вторым.

К этому третьему толку принадлежат все те, часто беспартийные люди, что по тем или другим соображениям, приняв было горячее личное участие в революционной борьбе и вдруг увидав, к чему революция привела страну, с ужасом отшатнулись и от себя и от революции. Это люди, которые приняли революцию как истину, и ужаснулись ее смрада; ждали, что она освободит человека, и ничего не поняв, когда она на них же самих вскинулась зверем; люди, вошедшие в нее, по самой своей лучшей совести и с отчаянием увидавшие, что она украла у них их чистоту, их честь и совесть. Из глубин самого подлинного раскаяния отрицают они сейчас в самих себе свое прошлое и ненавидят соблазнивший их демократический бред. Это не обыватели, поносящие демократию, потому что она помешала им спокойно допить их послеобеденный кофе, и не ренегаты, изменившие ей потому, что ей изменил успех. Это люди совсем другой внутренней складки, люди большой совести. Их меньше всего среди заправских политических деятелей. Ведь на людях не только физическая, но и нравственная смерть красна. Все же заправские политики вечно на людях: в партиях, комитетах, съездах, резолюциях, в круговой поруке дробящейся ответственности, никому не прожигающей одинокого сердца. Те же, о которых я говорю, все одиночки. Я лично встречал их среди офицеров, сначала принявших революцию, потом ушедших в контрреволюцию, наконец упершихся в тупик; среди радикальных земцев, всю жизнь боровшихся против монархического режима за мужиков и вдруг с отчаянием увидавших в «личном» знакомых им мужиках кровожадных бездушных зверей, а в умученных ими усадьбах родные облики кровно-близкой культуры, живые души прошлых поколений. Такими же непримиримыми врагами революции сделала на моих глазах умный, верующий деревенский священник, в свое время очень друживший с агрономами, кооператорами, читавший даже Маркса и вдруг прозревший: увидевший, что Христа распинают, и одна земская учительница, старая социалистка, никак не могущая себе простить мученическую смерть великих княжен и наследника. Характерная черта людей этого типа, которых немало, острый, личный и нравственно серьезный характер их ненависти к демократии, к социализму, к революции. Все это они ненавидят как зло, как неизвестно как попутавшее их наваждение, как свою глупость, свой позор, свой стыд, свой грех. Со всем этим они борются как со своею собственной нечистой совестью, стоящею перед ними в обличье реального зла. Эти переживания в сочетании с некоторыми реакционными мотивами модной ныне религиозно-социологической идеологии очень сильно влияют на некоторые и конечно не худшие элементы русской молодежи. Молодость всегда идеалистична, а кроме того, ставка на монархизм пока что отнюдь не ставка на спокойную и привилегированную жизнь. Откуда же эти студенты, которые под портретом Николая II занимаются философией и богословием? Конечно, в их головах много путаницы, но в их сердцах много самой настоящей правды, покаянной боли за неотмытую Россию, за ее поруганную честь, за весь тот несказуемый ужас, который она пережила и в котором она еще живет.

Иногда инстинктивные монархисты, иногда убежденные демократы наперекор своим инстинктам, но чаще всего люди без всяких определенных политических убеждений, эти «кающиеся дворяне» революции, несмотря на разнообразие своих политических установок, все же связаны между собою характерною чертою горячей любви к отошедшей монархической России. Не видеть этого своеобразного, эмоционального монархизма в сердцах тех врагов демократии, о которых сейчас идет речь, было бы большою слепотою, но не отличать этого покаянного монархизма от реставрационного черносотенства было бы слепотою еще большею.

Каждая свершающаяся на земле жизнь раскрывает свой последний смысл толь-

ко в образе уготовленной ей судьбою смерти. Выражение каждого индивидуального лица, кому бы оно ни принадлежало, человеку ли, народу ли, эпохе ли, всегда тождественно выражению изживаемой им судьбы. Для покаянного настроения низвергнутая революцией монархия не отвлеченный государственный строй, а историческая форма и живое лицо России. Выражение этого лица естественно неотделимо сейчас от образа трагической смерти, которая была суждена русской монархии и всей монархической России. Сознание, что монархическая Россия была не только заживо сожжена на кострах обезумевшей революции, но и с проклятиями прахом развезена на все четыре стороны, не может не просветлять в памяти тех людей, которые чувствуют себя ответственными за это преступление, ее жестокого прижизненного образа. Борьба против монархизма этих людей перечислением всех преступлений, которые похоронила в своей душе павшая монархия и которые с такою силою воскресли в большевизме,— совершенно бессмысленно. Они ответят, что страшные преступления монархии были искуплены еще более страшными страданиями; что вспоминать о преступлениях и забывать об искуплении нравственно недопустимо; что говорить о сходстве между их монархией и большевизмом— такое же грубое бесстыдство, как говорить о сходстве двух близнецов, из которых один висит на виселице, а другой пляшет под ней. И во всех своих ответах они будут безусловно правы.

Так же по-своему правы будут они с другой стороны, страстно отрицая очень распространенное среди демократии мнение, что во всех ужасах большевизма виновата не демократия, а одни только большевики. Такое разделение вины не может быть для них убедительно, потому что в основе их ненависти к демократии лежит не стремление уйти из-под ответственности, но, наоборот, взять как можно больше ответственности на себя. На основе такого устремления они естественно будут доказывать, что отрицать кровную связь между большевизмом и демократизмом нельзя, что факт вчерашней ссоры не может в одно мгновение погасить факта предшествовавшей ей долголетней дружбы, что до революции и идеи и вожди всех социалистических партий жили какою-то единою жизнью и творили какое-то общее дело. Напомнят они и себе и ненавистной им сейчас демократии, что, как-никак, в дни Корниловского (еще неизвестно, монархического ли) восстания правящая демократия предпочла опереться на большевиков против Корнилова, а не на Корнилова против большевиков. Укажут, наконец, и на то решающее, по их мнению, обстоятельство, что коммунизм и демократический социализм связаны друг с другом в своих положительных образах, то есть, в своих идеалах, коммунизм же и монархизм только в своих искажениях, то есть, в своих преступлениях.

Конечно, все эти размышления не совсем верны; все же они достаточно верны, чтобы понять и внутренне принять вражду к демократии тех людей, которые свое приятие февральской революции и работу в ней не могут не считать своей неизбежной виной перед Россией и ее судьбою.

Какой же ответ демократия должна дать этим своим самым серьезным врагам? <...>

Предположим, что враги демократии правы, предположим, что унаследовавшая от монархии судьбу России русская революционная демократия действительно является главною причиною всех бед, разразившихся над Россией.

Значит ли это, что она виновата? <...>

Неопровержимо верно, что некоторые специфические свойства русской демократии послужили прямой причиною большевистского господства со всеми его страшными последствиями; так же неоспоримо верно, что некоторые (весьма отрицательные) свойства большевистской психологии окажутся в исторической перспективе прямыми причинами возрождения русской государственности; но из всего этого совершенно не следует,— если только верно наше положение, что нравственная оценка поступка должна быть связана не с его следствием, а с его мотивом,— что Временное правительство может быть в нравственном порядке обвинено за господство Коминтерна, а Ленин когда бы то ни было оправдан возрождением российской государственности. <...>

Доказать демократии ее вину — задача, таким образом, ни для кого, и в особенности, конечно, для врагов ее, никоим образом не разрешимая; но это совсем не значит, что демократия совсем не виновата. Не виноватая перед внешним судом

вражеских обвинений, она глубоко виновата перед внутренним судом своих искренних друзей и своей собственной совести. Если бы, потому, обвинения тех единственно серьезных врагов демократии, о которых идет речь, могли быть хотя бы только отчасти поняты как обвинения и внутри, как голоса раскаяния самой демократии, то отношение к ним должно бы было быть совершенно иное, чем то, которое мы до сих пор защищали.

Утешаться перед лицом своей собственной совести и своих искренних друзей детским лепетом разума, что мы не в ответе за большевиков, демократии никак не пришло. Это действительно значило бы делать из разума черта и сватать за него свою совесть.

О чем же говорить? Бесконечно страшные вещи случились с Россией. В пламени обезумевшей революции расплавились суставы ее единого тела, сгорела ее державная мощь, обесмыслились и опозорились ее ратные страдания. Брошенная в ее неуемное сердце пылающая головня классовой ненависти зловеще осветила его темные, во многом еще звериные недра. Кровью окрасились русские реки, невсхожим стало зерно. Не думаю, чтобы были русские люди, которым за последние годы хотя бы временами не казалось, что России уже нет, что только труп ее, раскинув окаменевшие руки, лежит неприбранным на окаменевших полях, а над ним, словно каркающее воронье, озабоченно суетится стая одетых в европейскую кожу и звериную шкуру хищников. Те из русских демократов, что не пережили этого виденья как своего личного позора и своей личной вины, не имеют, конечно, никакого нравственного права защищать право дело демократии в России.

Не взяв на себя полной меры ответственности за все, что случилось с Россией под игом большевизма, демократии никогда не обрести права и силы на его действительное, внутреннее преодоление. Идти нераскаянным к делу воссоздания России никто не имеет права, и меньше всего, конечно, демократия, ощущающая себя сердцем России. Ощущение себя сердцем не смеет не обременять и не обижать. Страшных вещей натворила Россия сама над собою, и где же, как не в своем сердце, ощущать ей боль всего случившегося и раскаяние в своих грехах.

Обыватели, ренегаты, покаянники — неужели же, однако, в них дело, неужели же они те враги демократии, с которыми ей придется встретиться в той жестокой борьбе, которую ей, очевидно, готовит судьба? Не ясно ли, что если бы дело было только в перечисленных нами врагах, то успех демократического дела был бы вполне обеспечен? Обыватель — явно не воин, потому что он лежачий камень, под который и вода не течет. Ренегат — тоже воин слабый: своего дела он ведь активно никогда не творит, всегда только чужой успех плыущом обвивает. Не сильный воин и «кающийся дворянин» революции — слишком он внутренне раздвоен и ослаблен сомнениями пережитого им опыта.

Возражения эти на первый взгляд вполне верны. И все же: и бездеятельный обыватель, и подделывающийся ренегат, и разделяющийся со своим прошлым покаянник в своих пределах — явления для демократии очень страшные. Предельный обыватель — черносотенный персонаж; предельный ренегат — оборотень; предельный покаянник — идеолог. <...>

Мои схематически закрепленные враги демократии представляют собою, таким образом, некие типизированные образы, но не столько образы отдельных людей и человеческих групп, сколько образы действующих в людях энергий.

Обыватели, ренегаты, покаянники, черносотенные персонажи, оборотни, идеологи — все это в моем ощущении типизированные обличья борющихся против демократии социально-психологических энергий.

Что эти энергии не витают в воздухе, но наличествуют в психофизических организмах, именуемых людьми, — ясно. Ясно также и то, что между обличьями энергий и человеческими лицами, в которых они жительствоуют, существует некая определенная связь и даже некое определенное соответствие. Несмотря, однако, на ясность обличья положений, упрощать вопрос о размещении обличий по лицам все же не следует. Только в очень мирные и идиллические, утрясенные времена этот своеобразный квартирный вопрос прост и односмысленно ясен. В такие же переходные, как наше, он крайне осложнен и запутан. Куда ни посмотри, все сдвинулось и переменялось; почти все обличья переехали на новые квартиры.

Очень улучшилось социальное положение обывательщины. Из темных, сырых подвалов чиновничьих, купеческих и мещанских душ она, если и не окончательно, но все же, кажется, не на короткий срок переехала в светлые хоромы художественного и философского творчества.

Сильно зато ухудшилось положение черносотенства.

До войны оно привольно бражничало в запущенных особняках сановных, генеральских и охотничьих утроб, а теперь, по причине их полного разгрома, зачастую бедствует на пыльных чердаках интеллигентского сознания. Часто также случается, что за типичным фасадом «светлой личности»: прекрасное лицо, благородная осанка, умные очки и независимая борода — откровенно проживает типично ренегатское обличье, стучит новенькими каблуками по скрипучим половицам ветхого флягелька, стараясь доказать всему миру, что не только оно само, но и родители его здесь родились.

Но все эти изменения совершенные, конечно, пустяки по сравнению с тем полным переломом, который претерпела жизнь оборотничьего обличья. Раньше оно почти исключительно ютилось по вонючим каморкам, по захарканным душам агентов тайной полиции. Теперь не то, теперь оно свободно шатается по всем путям и перепутьям русской жизни, торчит чуть ли не на каждом перекрестке, ночует на любой площади, на каждом вокзале и нет-нет да и мелькнет перед нами совсем неожиданным выражением на давно знакомом лице...

Шпики, охранники и провокаторы — вероятно, вечные спутники всякой государственной власти, и не они те враждебные демократии оборотни, о которых идет речь. Оборотни как враги демократии, как существа, порожденные страшною смутю наших дней, никакого постоянного жительства в социально определенных лицах вообще не имеют. Невидимыми обличьями шмыгают они и шныряют решительно повсюду, заглядывают в темные углы самых, казалось бы, безупречных сознаний, нагло хлопают дверьми вчера еще неподкупных сердец. <...>

Как черносотенный персонаж является потенцированным обывателем, так и оборотень является потенцированным ренегатом. В основе обыкновенного обывательского ренегатства лежит почти всегда стремление к самозащите. В конце концов явление ренегатства явление мимикрии, и только. Перехода из одного лагеря в другой, чтобы спасти свою жизнь или хотя бы только благополучие своей жизни, ренегат почти всегда озабочен тем, чтобы сделать это по возможности прилично. Внутренне лишенный всяких нравственных устоев, он извне очень амбициозный этицист и потому почти всегда любитель почтенного и чистого социального места. В Ч.К., в Г.П.У., в Ревтрибунал ренегат по своей охоте никогда не пойдет — это места для оборотней-провокаторов. Его же всегда будет тянуть к кафедре, к газете, в Наркоминдел, в Совхоз и т. д.

У него были одни убеждения — стали другие. Он всю жизнь смотрел на мир левым глазом, стал смотреть правым, — но что же в этом дурного? Кто, какой доктринер запретит человеку менять свои убеждения, когда вся жизнь ломается и строится заново; и неужели же не преступление упорствовать в своих ошибках, когда тысячи людей кровью расплачиваются за них? И неужели же геройство — после явного поражения все еще размахивать мечом? В таких всегда громких словах всегда прогрессивного ренегата иногда много правды, но только не как в его словах. Как его слова, все его слова ложь и обман, потому что за ними не убеждения, а приспособление. <...>

Но если ренегат и завершается в оборотне, то оборотень отнюдь не всегда начинается в нем. По отношению к ренегату оборотень представляет собой совершенно самостоятельное явление; ту изначальную, очень трудно определяемую установку души, которая одна только и объясняет страшное явление провокации в самом широком смысле этого слова. Основное различие между ренегатом и оборотнем-провокатором заключается в том, что ренегат живет под знаком смены одной души другою, а оборотень-провокатор под знаком совмещения своих многих душ. Ренегат ставит крест на своем прошлом и присягает будущему. Его неверность — смена вер, его двусмысленность — смена мыслей.

Оборотень-провокатор ни от чего не отрешивается, ничему не присягает: не имея ни прошлого, ни будущего, он весь в настоящем. Его неверность — совмещение несовместимых вер, его двусмысленность — совмещение несовместимых мыслей. В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир левым глазом и зажмурившего его потом в пользу правого, или наоборот, оборотень-провокатор всегда смотрит в оба. Но это мало: смотря в оба, он левым глазом еще о чем-то подмигивает правому, а правым —

левому. Его раскосые глаза излучают, таким образом, как бы четыре взора. Двумя взорами он смотрит в мир, а двумя подмигиваниями на свои же взоры оглядывается. От этого раздвоения каждого глаза на два взора у оборотня-provokatora все бесконечно двоятся в глазах. Бесконечно двоя жутким своим косоглазием мир и все в мире, оборотень-provokator двоящимся миром постоянно двоит свою душу. Живя в известном раздвоении между двумя лицами и постоянно прикрывая это раздвоение сменяющимися личинами, всякий provokator в конце концов лишается всякого подлинного своего мира, лица, всякого подлинного своего мнения и чувства. Удивительного в этом ничего, конечно, нет, так как зло как таковое своего лица вообще не имеет. Лицо всякого зла, всякого отрицательного явления в конце концов всегда только искаженное лицо отрицаемого им добра. Какое же лицо отрицает ренегат и какое оборотень? Только в ответе на эти вопросы возможно последнее уточнение нашей характеристики обоих враждебных демократии обличий.

Постоянно служа только личной выгоде, но утверждая себя не только перед другими, но зачастую и перед самим собою в позе человека, будущего свое нравственное достоинство и исполняющего свой человеческий и гражданский долг, ренегат явно живет за счет этической идеи борьбы человека с самим собою за свое идеальное совершенство, за свое совершенное «я».

Среди всех идей, рожденных гением человека, идея нравственного совершенствования в известном смысле наиболее человеческая идея. Ее сугубая человечность заключается в том, что ни природная, ни божественная жизнь невысказана стоящего под ее знаком. Нравственное самосовершенствование — задача, стоящая только перед человеком, единственным существом, несущим в себе раздвоение между природным и божественным миром.

Предавая этическую идею нравственного совершенствования, ренегат предает, таким образом, центральную идею человека о себе самом, предает самого человека, сердцевину его души, душу его сущности.

Как бы страшно ни было это предательство, предательство, совершаемое оборотнем, еще страшнее. Являясь наиболее человеческою идеею, идея нравственного самосовершенствования все же не является высшею идеею человека. Кроме идеи о себе самом, человек родил еще и идею о Боге, кроме идеи борьбы, идею примирения всех противоречий, совмещения их начал, то есть идею абсолютной полноты Бытия. Эту высшую идею и предает оборотень.

Если ренегатство представляет собой категорию этическую, то оборотень представляет собою, таким образом, категорию религиозную. Если ренегатство — грехопадение категорического императива, то provokacija — испавшая во грех «coincidentio oppositorum»*. Если обличье ренегата — имитация идеи человека, то обличье оборотня — имитация идеи Бога. Если ренегат — предельно павший человек, то оборотень в своем пределе всегда provokator, павший ангел, то есть дьявол.

Без проникновения в их внутреннюю религиозную природу явления оборотничества и provokacija вообще не могут быть осмыслены и объяснены.

В русской душе есть целый ряд свойств, благодаря которым она с легкостью, быть может несвойственной другим европейским народам, становится, сама иной раз того не зная, игрой темных оборотнически-provokatorskix сил.

Широта человека, которого, по мнению Мити Карамазова, нужно было бы сузить, — широта, конечно, не общечеловеческая, а типично русская. В этой страшной русской широте самое страшное — жуткая близость идеала Мадонны и идеала Содомского. Русской душе глубоко свойственна религиозная мука о противоречиях жизни и мира. В этих особенностях заложены как все бесконечные возможности религиозного восхождения русской души, так и страшные возможности ее срыва в преисподнюю небытия.

В срыв этот русская душа неизбежно вовлекается всякий раз, как только, не теряя психологического стиля своей религиозности: своего максимализма, своей одержимости противоречиями, своего испуганного искания во всем последнего конца, она внезапно теряет свою направленность на абсолютное, свое живое чувство Бога.

Все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики. Если к этой глубоко характерной черте русской души, к этой ее предопределенности к прохождению сквозь жуть и муку химерической религиозной диалектики прибавить с одной стороны отмеченное еще

* Совпадение противоположностей (лат.). (Прим. ред.)

Леонтьевым глубокое неуважение к категорическому императиву, то есть ко всякого рода морализму и законности, а с другой — ее единственную артистическую дерзость, тот ее глубокий, гениальный «мимизм», который один только объясняет и то, почему русские люди всюду дома: французы с французами и англичане с англичанами, и то, почему только русские мужики, выходя в люди, сразу же становятся неотличимы от бар, и еще очень многое другое, вплоть до изумительного явления русского театра вообще и в частности русского крепостного театра, то в нашем распоряжении будут все те черты, жуткое перерождение которых вполне объясняет то страшное явление в современной русской жизни, которое я не совсем, быть может, привычно, но феноменологически, думаю, вполне точно называю «оборотничеством».

Явление это очень сложно, очень многомерно; зарождается оно с первых же дней февраля, но развивается лишь после большевистского переворота.

Зачатки «оборотнических» настроений февраля сводятся почти всецело к таким пустякам, как искусственная педализация революционных ощущений в кругах внутренне чуждых революции, как спешная инсценировка «революционности» со стороны некоторых монархически настроенных чинов высшего командования, как театральное ощущение пьедестала у целого ряда революционных деятелей (чего стоила одна борода Н. Д. Соколова, катавшего по Петербургу в великолепном царском экипаже)... и только. Обо всем этом говорить, конечно, не приходится. Ни дух февральской революции, ни тактика Временного правительства никого не провоцировали, сокрытия подлинного лица ни от кого не требовали; в слишком, быть может, свободолобивой атмосфере каждый мог только быть и никто не должен был ничем казаться. Если поэтому оборотничество и имело место, то только в форме самопровоцирования со стороны отдельных лиц.

Но с первых же дней октября все сразу меняется. В отличие от Временного правительства, пришедшего к власти по воле истории, большевики сами врываются в историю как подпольные, таинственные, страшные заговорщики. Вместе с ними в жизнь входят двуличное сердце, мертвая маска и заспанный кинжал.

С первых же дней их воцарения в России все начинает двоиться и жить какой-то особенной, химерической жизнью. Требование мира вводится в армию как подготовка к гражданской войне. Под маской братания с врагом ведется явное подстрекательство к избитию своих офицеров. Страстная борьба против смертной казни сочетается с полной внутренней готовностью на ее применение. Всюду и везде сознательная имитация величайших лозунгов времени, самых заветных ожиданий уставшего от войны народа. Всюду и везде явный дьяволизм.

Учредительное собрание собирается в целях его разгона; в Бресте прекращается война, но не заключается мира; капиталистический котел снова затапливается в нэпе, но только для того, как писал Ленин, чтобы доварить в нем классовое сознание не доваренного царизмом пролетариата. И дальше — лицемерная ставка на явно презираемого буржуа, фантастическая вера революционеров в то, что новую жизнь освобожденной страны могут строить не свободные граждане, а на свободе дрессированные «спецы», перед которыми власть держит в одной руке кусочек сахара, а в другой — кнут. Причем все это отнюдь не при отсутствии интереса к душе человека. Наоборот, этот интерес неведом большевиков в гораздо большей степени, чем все иные правительства. Интересовались всем — верой, мирозерцанием, чуть ли не бессознательной жизнью всякого гражданина Р.С.Ф.С.Р., но всем этим интересовались почти исключительно на предмет ареста, тюрьмы и расстрела. Для практической же жизни оказывалось вполне возможным, игнорируя душу, считаться только с той маской, которую она по тем или иным причинам решалась прикрыть свое подлинное лицо.

Что такой «стиль» преобладающей власти не мог при полном отсутствии свободы слова и при систематической борьбе со всяким проявлением «общественного мнения» не оказать глубокого влияния на духовную структуру русской жизни и русского общества, вряд ли подлежит сомнению.

Из всех зол, причиненных России большевизмом, самое тяжелое — растление ее нравственной субстанции, внедрение в ее поры тлетворного духа цинизма и оборотничества.

Первая «идея», которую оставшаяся в России интеллигенция попробовала противопоставить Советской власти, была идея «бойкота».

Но бойкот долго длиться не мог. Кроме государства, в стране не было ни одного работодателя, страна же с каждым днем все глубже и глубже засасывалась в безвыходную нужду. Так складывалась неразрешимая альтернатива: или смерть, или советская служба,— разрешавшаяся, естественно, в пользу службы. Но службы для власти всегда было слишком мало: она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враждебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их «товарищами», требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности. И сонмы людей, ненавидевших слово «товарищ» больше всего на свете и не связывавших с ним ничего, кроме представления о грабеже и насилии, называли друг друга и своих порабитителей «товарищами»; «товарищи же большевики» принимали это обращение, ни минуты не чувствуя его страшного цинизма и лицемерия.

Слово «товарищ» было, однако, в донэповской России не только словом, оно было стилем советской жизни: покроем служебного френча, курткой — мехом наружу, штемпелеванным валенком, махоркою в загаженных совуерждениях; селедочным супом и мороженой картошкой в столовках, салазками и пайком.

Как ни ненавидели советские служащие «товарищей» большевиков, они мало-помалу все же сами под игом советской службы становились, в каком-то уточненнейшем стилистическом смысле, «товарищами». Целый день не сходявшее с уст и наполнявшее уши слово проникало естественно в душу и что-то с этою душою как-никак делало. Слова — страшная вещь: их можно употреблять всею, но впустую их употреблять нельзя. Они живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей.

Так мало-помалу обрастали советские служащие обличьем «товарищей», причем настолько не только внешне, насколько с т и л ь жизни есть всегда уже и е е с у щ н о с т ь. Но, стилистически превращаясь в «товарища», советский служащий оставался все же непримиримым врагом той власти, которой жизнь заставила его поклониться в ноги.

Эта вражда советского служащего к коммунистическому владычеству нашла себе, быть может, самое острое выражение в тех теориях, что были выработаны русской интеллигенцией для оправдания своей Каноссы.

Когда сломился «бойкот» и антисоветские элементы в массе своей пошли к большевикам, прежде всего, конечно, по безвыходности своего положения, они прикрыли эту сдачу своих позиций с одной стороны теорией необходимости спасения того, что было создано в России не большевиками и должно остаться и после них, а с другой — теорией внутренней борьбы через завладение аппаратами управления. Так под слоем «товарища» рядовой советский служащий, словно штатскую жилетку под форменным френчем, всегда тайл и изредка незаметно поглаживал в своей душе сакраментальный слой «заговорщика». <...>

Чем дальше развивалась революция, тем глубже закладывалась нравственная порча в душу русского человека и прежде всего советского служащего. К моменту начала деникинского наступления в целом ряде людей невозможно уже не только наличие двух лиц, но и лицо двуличия, то есть полная невозможность разобратсья — какое же из своих лиц, «товарищеское» или «заговорщическое», они действительно ощущают своим. <...>

Но как ни страшно было двуличие з а щ и т н о е, много страшнее было двуличие т в о р ч е с к о е.

В деревню, даже подмосковную, большевизм проник не сразу. Месяца через три после большевистского переворота приходили к нам описывать живой и мертвый инвентарь представители земельной комиссии, выбранной еще при Шингареве.

Чистые, степенные, богобоязненные мужики-сенники хозяйственно ходили по двору и дому; по-цыгански дергали за хвост лошадей, шупали коров, тщательно приглядывали завидушими глазами, на сколько пудов сеной сарай и сколько лет простоят рига; явно раздумывали, как бы все это половчее перехватить в свои руки (господам все равно не удержаться), и тут же сочувственно причитывали: «что деется, барыня, что деется,— смотреть тошно!»

С весны все начало меняться. Кулаки-сенники, хозяйственники-богомолы, длинные бороды, отступили в тень, замолчали. Выдвинулась совершенно другая компания. Социологически очень пестрая; и бедяки, и дети богатеев, но психически единая: все лю-

ди, которым было тесно в своей шкуре и своем быту,— безбытники, интеллигенция. Был среди них слесарь, вылечившийся толстовством от запоя; московский лихач, не одну зиму продрогший под окнами «Яра» со страстною мечтою: «хоть бы разок посмотреть, как там господа с барышнями занимаются»; матрос дальнего плавания и какой-то старый, бритый городской человек с благородной физиономией капельдинера. Но во главе всех все же настоящий крестьянин, хорошо мне знакомый Свистков. Мужик как мужик. С малолетства грешил водочкой, хорошо играл на гармонии; до войны был в деревне человеком совсем завалающим, но с фронта вернулся героем, кавалером. Лицо самое обыкновенное, только глаза грустные и с «сумасшедшинкой».

Вот эта-то компания и вошла в управление уездом. Я постоянно имел с нею дела и хорошо ее изучил. Ни в одном из ее представителей не было ни малейшего намека на какое бы то ни было двуличие, хотя у каждого по крайней мере по два лица. Если эти два лица не превращались в двуличие, то только потому, что они существовали не одно под другим, как у интеллигентов совслужащих, а откровенно рядом, как настоящая жизнь и фантастическая роль. Я не думаю, чтобы ставка на театральную стихию революционной фантастики была у большевиков сознательным расчетом — провокацией; но в той смелости и уверенности, с какой они разнуздывали ее в русском народе, был все же какой-то безошибочно зоркий инстинкт путей своего успеха...

<...> Рассказ о подвигах Свисткова я слышал из уст очевидца, моего хорошо знакомого, старого крестьянина. Рассказывая о происшедшем, он был бледен, весь трясся и, крестясь, все время оглядывался по сторонам.

Беспорядки были самые пустяковые. Несколько купцов, кожевников и хлеботорговцев, сговорились, ввиду припрятанных запасов, с пожарной командой, что она своевременно даст знать о приближении ожидавшегося в городе реквизиционного отряда. Команда, которой были обещаны большие чаевые, выпила, очевидно, загодя, переусердствовала и, заслышав о красноармейцах, откровенно ударила в набат и послала верхового «с эстафетом» по купеческим дворам, предупредить, что «наступают».

Вышла огласка, ревтрибунал раздул дело и приговорил 3-х мятежных буржуев к расстрелу. Выполнение приговора было поручено Свисткову. И вот тут-то и обнаружился в нем какой-то фантастический выверт души. Прибыв в город с отрядом красноармейцев, он распорядился выгнать на площадь не только осужденных, но и их родственников. Когда обезумевшие люди были доставлены, он приказал им разложить часть площади и вырыть могилу. Бросившихся было с воем к ногам его лошади он чуть не затоптал, объяснив, что всех, кто вздумает выть, он живьем зарежет вместе с приговоренными. Оторопевший народ «перекрестился» и молча приступил к работе...

Когда все было кончено, Свистков выстроил родственников в шеренгу, лихо проскакал несколько раз по снова замощенной ими площади и, прокричав какой-то невразумительный коммунистический бред, медленно отъехал со всем отрядом к трактиру.

Возвращаясь спустя несколько месяцев после описанного происшествия порожняком из Москвы, я повстречался на совсем уже трухлявом мартовском шоссе с каким-то показавшимся мне знакомым мужиком, бившимся над тяжелым возом дров; не брала тощая лошаденка. Я слез помочь и узнал Свисткова.

«Здравствуйте, Свистков».

«Здравствуйте, Федор Августович».

«Что ж, опять крестьянствуете?»

«А что прикажете делать?»

«Да ведь слышно было — Вы в большие люди выходили».

«Нет, нам, мужикам, не выйти, не нашего это ума дело».

«Что так?»

«Да без ума-то, видите ли, я немножко неловко проворовался; а потом — за это время много греха на душу принял, чай, слышали...»

«Как не слышать!»

Мы стронули воз и расстались. Пожимая Свисткову руку, я не испытывал к нему ни малейшей неприязни. Спровоцировала человека жизнь, потерял подлинное свое лицо, вскрутился в какую-то дьявольскую фантазмагорию.

Мало ли чего не бывает с душой человека?

Случай со Свистковым больше чем случай. Не все низовые советские управители на местах были свистковыми, но, думаю, мало в ком совсем не было «свистковщины». Роль, кураженье, какая-то инсценировка своего собственного «я», какое-то внутреннее самопровоцирование, вечно мелькающее оборотничество бесспорно играли в большевистский период революции совершенно исключительно большую роль.

Внешне это оборотничество казалось особенно страшным на административных низах, и притом тем страшнее, чем удаленнее от центра; но внутренне оно было, быть может, еще много страшнее в центре, в мирной обстановке ловкачского циркулирования безликих, двуликих и двуличных субъектов в бесконечных управлениях, комиссиях, подкомиссиях, заседаниях и совещаниях. <...>

В провозглашении нэпа в последний раз с громадной силой сказалась основная стилистическая черта ленинизма — какое-то исступление и юродство лукавого упростиельства. Ну кто бы додуматься мог прекратить мелькание красно-черной чресполосицы донэповского периода путем до гениальности смелого утверждения, что красное и есть черное, что старая экономическая политика и есть политика новая, что контрреволюционное устремление есть одновременно сверхреволюционное наступление революции. В нэпе оборотнически-провокационная стихия революции достигает своего кульминационного пункта. Если это сознается далеко не всеми, да и теми, кем сознается, ощущается далеко не всегда, то причина этому исключительно в прозаичности нэпа как территории реализации оборотнических энергий большевистской России.

Оно конечно — чёрт с рогами и копытами гораздо виднее чёрта в пиджаке и без всяких атрибутов потустороннего мира; но зато всякий неприметный чёрт много страшнее всякого очевидного.

После нэпа оборотничество приобретает совершенно новый характер. В нем не остается ничего ни от трагического двоеличия, ни от химерического двуличия, ни от фантастической утраты всякого лица. Из явления трагической глубины оно превращается в явление утомленной поверхности, в прибрежную рябь отбушевавшего океана, в переливчатую дружбу «кулаков» и советов, в открытое обменивание деревенскими священниками живоцерковных настроений на земельные прирезы, в постепенный переход совхозов на хозяйственный расчет, в нарядные театральные туалеты оголенных жен совсепецких френчей, в скрипичные ключи писательских спин в цензурных заведениях, в пьесы Луначарского чуть ли не на всех сценах Москвы и т. д. и т. п. вплоть до взимаемых ныне красных процентов с черных доходов игорных домов. И все это под праздный гром советских передовиц о посрамлении буржуазной культуры и насаждении пролетарской морали.

Дальше идти некуда: во всем этом колесо лицемерного оборотничества мелькает уже с такою мерною ровностью и быстротой, что минутами кажется, будто оно остановилось, стоит.

Но это, конечно, только кажется. <...>

Если бы я не верил, что русские люди (и прежде всего, конечно, не «видные эмигранты», а еще невидные люди советской глуши) таят в себе и как-то защищают свои подлинные лица, как отсветы единого лика России, я бы не надеялся на грядущую победу демократии над рабствующим и порабащившим химеризмом советского оборотничества. Победа эта, думается, придет, однако, не скоро. Основной психологической предпосылке демократизма — ощущению свободы как права на неприкосновенность своего лица и долга уважения такого же лица в каждом другом человеке, после всего того, что пережито Россией, будет очень, конечно, трудно пробиться к свету и власти. Оборотничество еще держится очень крепко. Самую страшную для демократии его цитаделью является все нарастающее сближение между обоими полюсами русской политической жизни: между вечерней зарей чернеющего коммунизма и стремящейся к красному восходу монархической ночью. <...>

В очень запутанном споре очень полезно время от времени ставить не только противнику, но и себе самому самые простецкие, самые дурацкие вопросы; как это ни странно, но простецкая постановка запутанных вопросов весьма часто приводит к существенным ответам. За последние годы мне пришлось не раз говорить с нем-

цами, только что пережившими, как и мы, революцию, о русских событиях. В разговорах этих я каждый раз только руками разводил, когда меня с систематическим упорством всегда спрашивали об одном и том же: как могло случиться, что революция крестьян вылилась в форму пролетарской диктатуры, и чем объяснить, что малоразвитой русский мужик развернул в своем революционном порыве всю полноту современных религиозно-культурных проблем, в то время как стоящий на гораздо более высоком уровне немецкий народ не обнаружил в своей революции решительно никакого интереса к вопросам высшего порядка.

Что отвечать, в самом деле, на такие простецкие, дабы не сказать дурацкие, вопросы? Не ясно ли всем нам, изнутри чувствующим происходящее в России, что ни о какой диктатуре пролетариата не может быть и речи! Не примелькались ли всем нам газетные размышления о том, что в России властвует не русский пролетариат, а прикрывающаяся его именем коммунистическая партия; что диктатура пролетариата есть в сущности диктатура коммунистической головки над обезглавленным пролетариатом. Не ясно ли нам и другое,— что никакой полноты религиозно-культурной проблематики русский мужик в своем революционном порыве и не думал развертывать, что выпрепная коммунистическая выдумка по вопросам высшего порядка не имеет решительно ничего общего ни с культурною темнотою русского мужика, ни с тою мыслью, которая, быть может, и светится в глубине этой темноты?

Все это бесспорно ясно, и все же всею этою ясностью мы в конце концов вряд ли вправе отмахнуться от тех простецких вопросов, которые нам задают действительно мало что смыслящие в русских делах иностранцы.

Конечно, никакой пролетариат в России не властвует, но все же большевики властвуют его именем! А разве имя отдельно от нарекаемой им реальности? Разве оно не составляет одной из наиболее существенных частей ее?

Конечно, коммунистическая фраза высшего порядка глубоко чужда миросозерцательной невнятице и духовной маете мужицкого бунтарства; но разве не непонятная встреча этих чуждых друг другу начал так остро поставила перед всем миром целый ряд глубочайших религиозных и культурных проблем?

Если же так, если в простецких вопросах иностранцев действительно таится столь существенный смысл, то нам презрительно отмахиваться от них никак не приходится: быть может, оно и верно, что «со стороны виднее»!

Между русской и немецкой революцией много общего: обе готовились одними и теми же идеями революционного марксизма; обе случились во время войны; обе (немецкая вслед за русской) организовали советы рабочих и солдатских депутатов. И все же, несмотря на эту тройную связь, между немецкой и русской революциями гораздо меньше общего, чем между русской и французской 1789 года, отдельных друг от друга существенною разницей идей, эпох и организационных форм. <...>

Думаю, что каждый, кто беспристрастно прочтет книги Ленина, Бухарина, Троцкого и других вождей русской революции и сравнит их с писаниями немецких социалистов левого крена, с писаниями Розы Люксембург, Густава Ландауэра, Лукача и других, ясно увидит, что у русского коммунизма никогда не было ни одной подлинно своей и подлинно большой идеи; что с точки зрения идейного богатства немецкая коммунистическая головка была не только не слабее, но во много раз сильнее русской. И все же она ничего не сделала; все ее революционные идеи остались вне революции; немецкая революция как-то сразу идейно обескрылела, с места отяжелела деловитостью. Отчасти такое бессилие коммунистической идеи над революционной стихией объясняется чрезмерною духовною сложностью идеологов немецкого коммунизма, в гораздо большей степени напоминающих Блока эпохи написания «Двенадцати», чем Ленина с атактистическим примитивизмом его мирочувствия и миросозерцания. Но главная причина, конечно, не в этом, а в том, что партия деловых людей (а деловой человек есть в каждом, даже и в самом партийном европейце) одержала быструю победу над идеологами как левого, так и правого лагеря. Главная причина в словоре староимперских чиновников с чиновниками революции, с секретарями социалистических партий, с социалистическими членами парламентских деловых комиссий, с вождями профессиональных союзов,— одним словом, со всеми теми деловыми элементами организованного социализма, что вы-

росли в привычке бороться за свои идеалы не столько на путях их торжественного провозглашения, сколько на путях тактического отступления от них. Эти люди как-то сразу подменили великую тему всякой революции, тему о невозможном преобразении жизни темой ее возможного преобразования; сразу же твердою рукою принялись за осуществление исторического смысла своей революции, решительно повернувшись спиной к ее сверхисторическому сверхсмыслу, к смыслу взрыва всех смыслов. В России таких деловых гасителей революционного пламени не нашлось. И благодаря этому общая обоим революциям идея пролетария-сверхчеловека разгорелась у нас с фантастическою силою.

Ограниченная в Германии социально-политической сферой, она пламенно перекинулась у нас во все области духовной жизни: объявила религию «опиумом для народа», семью — оплотом реакции; проституцию — свободной любовью; конструктивизм и супрематизм — революционным, натурализм и импрессионизм — реакционным искусством; заняла на научном фронте вполне определенные метафизические и даже гносеологические позиции. Нигде не ограничиваясь теоретическим провозглашением своих утверждений, она всюду страстно боролась за их осуществление, не брезгуя никакими средствами, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, слепо веруя, что сущность революции в том «философствовании молотом», о котором говорил Ницше, что коммунистической вере действительно под силу двигать горы.

Так объясняется тот безусловный факт, что в немецкой революции победила тема исторической законопослушности, а в русской — тема революционного историческоборчества.

В Германии многие (причем духовно весьма значительные) круги остро чувствуют эту разницу: стыдятся своей революционной провинциальности и всею душою тянутся к «великой русской революции, исполненной мировых проблем и заданий».

Отрицать грандиозный размах русской революции, ее пока еще не учитываемое значение для судеб всего мира, ее подлинно русскую страстную тягу к вопросам высшего порядка, конечно, не приходится. Но и признавая все это, нам все же надлежит и самим себе сознаться, а заодно уже и любезным иностранцам выяснить, что столь увлекающая их идейная напряженность русской революции весьма сложного состава и коренится отнюдь не в особой высоте нашей революционной идеи (идея пролетария-сверхчеловека в русской революции та же, что и в немецкой), а в отсутствии во всех нас, ее творцах и деятелях, духа творческой созидательности и законопослушной деловитости. Немного больше европейской выдержки, европейского чувства возможного, европейской политической выпколенности, и русская революция, быть может, и превратилась бы в такое же провинциальное (то есть подлинно национальное) дело, как и немецкая, не расплылась бы на весь мир злым, большевистским пламенем. Эта связь идейной напряженности и какой-то высшей неделовитости, прекрасно уживающейся с напряженнейшею деятельностью, представляется мне очень глубокою и очень страшною проблемой. Может быть, в ней, в этой связи, и надо прежде всего искать ответа на то, почему русский мужик был наречен русской революцией пролетарием, пролетарий — сверхчеловеком, Маркс пророком сверхчеловечества, и почему вся эта фантастика одержала в России столь страшную победу над Россией.

Правы ли позитивистические социологи, выводящие свойства народного характера из географических и климатических условий, или правы их противники, метафизики-духоверы, утверждающие, что всякий народ селится среди природы, близкой его бессмертной душе, факт остается фактом, что душа всякого народа похожа на душу того пейзажа, среди которого он живет, на душу той земли, которую он возделывает и застраивает. <...>

Сущность русской природы — бесформенность, но, конечно, не в смысле малой выразительности ее форм, а в смысле качественной особенности выражаемого этими формами содержания.

Всякое отрицание формы, всякое формоборчество таит в себе два внутренние противоположных и все же часто связанных друг с другом начала: начало мистического утверждения превыше всякой формы пребывающего и ни в какой форме полностью невыразимого абсолюта и начало варварского отрицания всех форм культурного творчества. Для основной темы русского пейзажа, для темы переливающейся

в Азию среднерусской равнины характерно то, что оба эти начала звучат в ней с одинаковой силой.

Редкая сеть железных и шоссейных дорог, скупо разбросанные каменные горда и усадьбы, бесконечные то топкие, то пыльные проселки, животрепещущие, горбатые мосты, которые надо объезжать вброд, бревенчатые, под соломою избы, шелудивые, из необчищенных жердей плетни — все на авось проложенное, проезженное, протоптанное, кое-как, на глаз из подручного материала сложенное и справленное! Во всем изумительное единство стиля, основанное на полном подчинении форм жизненного устройства бесформенности застраиваемой земли, но и варварское отсутствие всякого тяготения к культуре, но и чисто русское упорствование в своем исконном убожестве. Да, убожестве! Быть может, это самое точное определение деревенской России. Но только надо, конечно, помнить, до чего глубоко прочувствована в народном представлении убожества и юродства диалектическая связь между историчностью из мира и спасенностью в вечности, между видимой оставленностью Богом и таинственною укрытостью в нем, между варварским, циничным отрицанием форм и законов нормальной жизни и мистическим отрицанием творчества как высшей нормы духовно-напряженного жития. Самая глубокая сущность русской природы, что пытался, но не смог выразить (духовно не осилил) Нестеров, в том, что в ней естественны убогие и божьи люди.

По сравнению с красотой Западной Европы эстетическое содержание среднерусского пейзажа вообще, конечно, не красота. Ничто не останавливает взора, не приковывает, не насыщает, не ослепляет его. Красота русской природы — невидимая красота: она вся в чувстве легко и неустанно размыкающихся и расступающихся горизонтов. Она не столько красота на горизонте, сколько красота за горизонтом. <...>

Вся красота русского пейзажа в том, что в нем нет самодовлеющих, себе тяготеющих красот: снежных вершин, незабываемых очертаний горных хребтов, как сапфир синих озер, вычурных деревьев и экзотических цветов. Вообще ничего нету, есть только некое «вообще». Нет никаких форм, ибо все формы поглощаются бесформенностью; смысла дали — в бесконечности; смысл бесконечности — в Боге.

Так связаны в русской равнинности, в разливе деревенской России убожество заполняющих ее форм с божественностью охватывающих ее горизонтов. Так как принцип формы основа всякой культуры, то вряд ли будет неверным предположить, что религиозность, которой исполнена бесформенность русской равнины, есть затененная основа того почвенного противления культуре, того мистического нигилизма, в котором, в революцию, так внезапно погибли формы исторической России.

Четыреста лет подряд, с самого освобождения от татарского ига, русский народ жил, говоря несколько парадоксально, неисполнимую мечтою включения охватывающего русскую равнину горизонта в состав Государства Российского. От царствования к царствованию все шире и шире разливалась Россия на север, на восток, на юг и, наконец, на запад, ища и не встречая естественных препятствий своему головокружительно быстрому росту. За четыреста лет территория России увеличилась в 36 раз. Факт этот, лежащий в основе русской истории, коренным образом определил собою не только стиль русского земельного хозяйствования, но в известном смысле и стиль всякого русского делания и творчества.

Труд, положенный русским народом на создание Державы Российской, был, конечно, громаден, и все же он никогда не был тем, что под словом труд понимает трудолюбивая Европа, что под ним ныне понимаем уже и мы: он не был упорного, медленною работой, систематическим преодолением сопротивления материала специально изобретаемыми для того средствами. Читая любую русскую историю, получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военнопленная земля и работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней по-настоящему работал. Так постоянный колонизационный разлив России, неустанный прилив хлебобродных равнин, которые приходилось наспеш заселять и засеивать, лишил русский народ не только необходимости, но и возможности заботливого и тщательного труда на земле. Кое-как бередили все новую и новую целину и в смутном инстинкте государственного строительства брали с нее ровно столько, сколько требовалось, дабы осмыслить и оправдать дальнейшее продвижение. Так столетиями создавался в России стиль малокуль-

турного, варварского хозяйствования, психология безлюбивого отношения к любимой земле, ощущение в качестве земли-кормилицы не столько собственной земли под сохой, сколько земли за чертой своей собственности.

Прикрепление крестьян к земле не было ни в какой мере и степени призвано к перерождению этой своеобразной психологии, сохранившей всю свою силу вплоть до наших дней и сыгравшей громадную роль в революции.

Тяга к земле на горизонте характерна для крепостного сознания вряд ли меньше, чем для сознания колонизаторского. Не в меньшей степени, чем народ-колонизатор, тянется крепостной народ всеми помыслами души от своей насиженной земли к какой-то не своей, далекой земле. Не важно, что далекая земля была далека для крепостного не в географическом, а в хозяйственно-правовом смысле; что своя близкая и не своя далекая земля для него не две разных земли, а одна и та же земля в двух разных смыслах: своя в смысле той, на которой он из поколения в поколение трудится; далекая, чужая — в смысле той, которой он не владеет, но которой жаждет владеть. Важно лишь то, что и крепостное право оказалось не призванным внедрить в крестьянское сознание влечение к тщательной, заботливой, любовной работе на земле. Барская земля (своя лишь на горизонте исконного чаяния ее как своей) — кормила впроголодь и при варварском обращении с ней, а по-настоящему, досыта (понимая под сытостью удовлетворение не только физическое, но и элементарного культурного голода) не кормила бы и при самом любовном отношении к ее поверхности и недрам.

С таким тяжелым наследием, с такою упроченной традицией неряшливого вымогания у неухоженной земли ее благ, вошел русский народ в свою новую жизнь, в жизнь, если и не свободного, то все же освобожденного хозяина своей общинной земли. Как бы положительно по совокупности всех соображений ни относиться к общине, вряд ли можно оспаривать, что на пути к культурному устройству крестьянского хозяйства и она была скорее тормозом, чем толкачом. В условиях общинного владения землей — земля все же оставалась до известной степени по крайней мере землей на горизонте, не до конца близкой, не до конца своей, лично своей, по-своему олиценной землей. С этой неоличностью лишь во временное пользование нарезанного куска земли связан тот факт, что и освобожденный русский народ не преодолел в себе безлюбивого, варварского отношения к любимой земле. Несмотря на свою древнюю напряженную и страстную мечту о земле, о какой-то несбыточной земле на горизонте, земле-невесте, русский мужик ту землю, при которой жил и с которой кормился, никогда почему-то не ласкал, как ласкают иной раз даже и надоевшую жену, а всегда только гнул в три погибели, как безответную и беззащитную работницу. С этой странной, раздвоенной психологией жадного и зрящего отношения к земле подошел русский народ к дням революции.

Можно, конечно, как то делает Крамарж в своем «Русском кризисе», нападать на русского мужика, на его темную лень, упрекать русское правительство в том, что оно своевременно не просветило народ светом агрономии, и поносить русскую интеллигенцию за то, что она, вместо того чтобы учить народ производительному труду, подстрекала его к революции; но делая все это, нельзя все же забывать, что некультурность, а в связи с этим и малоодоходность русского народного хозяйствования, сыгравшие бесспорно величайшую роль в русской революции, были в свою очередь порождены не только темною, мужицкою ленью, но и поставленною перед русским народом задачей создания величайшего в мире государства, которое он перед тем как разрушить, как-никак все же создал.

Элементарный стиль земельного хозяйства не мог, конечно, не влиять на все стороны народной жизни и народного миросозерцания. То, что русский крестьянин дождался 20-го столетия, не войдя в близкое и привычное общение с тою самою машиной, которая на Западе произвела величайший переворот общественно-политической и религиозно-культурной жизни, — факт совершенно исключительной важности. Появлением машины отделены в Европе, говоря кратко и потому не совсем справедливо, две эпохи: эпоха религиозной культуры средневековья от эпохи гуманистической цивилизации. Отсюда ясно, что примитивное, кустарническое, безмашинное крестьянское хозяйство должно было, с одной стороны, способствовать сохранению в русском народе веры отцов, а с другой — играть роль задерживающего фактора в деле культурного развития народа. В основе машины лежит точное знание, число, расчет; на этом обстоянии вещей основано то, что во всяком машинном производстве гарантировано наступление ожида-

емых результатов, оправдание человеческих предположений. Индустриализация сельского хозяйства — это прежде всего борьба против тех случайностей, что неизбежны во всяком сельском труде, под открытым небом, с его зависимостью от погоды и всяких иных неучитываемых обстоятельств. Но случай — только атеистический псевдоним чуда. Борьба против случая есть потому в последнем счете борьба против веры в чудо, борьба против Бога, который путает все карты, борьба за сверхчеловека, который все знает и все может.

Принципиально, конечно, допустимо, что в далеком будущем сложится иное отношение к точной науке и к машинной культуре; что вся наша техника перестанет быть чудом, преодолевающим Чудо. Но пока этого нет, пока пути индустриализма крепко-накрепко связаны с путями атеистического рационализма. Превратись русские крестьяне уже 50 лет тому назад в просвещенных собственников и культурных фермеров с дизелями и тракторами, и русская революция прошла бы, быть может, много тише, приглушеннее, рациональнее, чем она в действительности прошла, но зато и Толстой с Достоевским не стали бы тем, чем они стали: всемирно значительными иероглифами русской народной религиозности. Для того, чтобы видеть живую связь культурно-хозяйственного убожества народной жизни с духовной существенностью русского религиозного сознания, с индивидуальными чертами «русского Бога», право, не надо быть марксистом!

Но из всего этого отнюдь, конечно, не следует, что министерство народного просвещения было право в своей упорной заботе о том, чтобы русский народ как можно медленнее продвигался по путям просвещения. Ведь болезнь, страдания и смерть тоже самым тесным образом связаны с религиозною жизнью человечества (быть может, безбожность современной западноевропейской жизни, в особенности в протестантских странах, ни в чем не выражается с такою очевидностью, как в том, что люди начинают думать о смерти лишь с температурой в 40° и что покойников перевозят в часовни и из часовен на кладбище в автомобилях, мало чем отличающихся от машин больших торговых фирм), но от осознания этой связи очень, конечно, далеко до оправдания борьбы с медициною.

Входить глубже в эту сложную проблематику и подробно исследовать вопрос о том, какие пути были открыты царскому правительству для насаждения в России просвещения не враждебного вере, но встречного ей, — я не могу. Для меня важно лишь отметить, что русский народ был вплоть до революции огражден от влияния культуры не только исторически сложившимся убожеством своих хозяйственных форм, но сверх того еще и просветительной политикой власти, стремившейся по своим корыстно-династическим соображениям держать Россию в темноте.

Если ко всем этим мыслям прибавить еще одно размышление; если отчетливо представить себе, что Россия накануне революции была, быть может, больше чем когда-либо сплошь народной, сплошь мужицкой Россией, социальной равниной, среди которой некогда властные древние дворянские роды, подобно старым дубам, догнивали на корню; если отчетливо представить себе, что роль отсутствующего в России пролетариата исполняли мужики что поинтеллигентнее, а буржуазия, только еще слагаясь из недавних Гит Титычей и Африкан Савичей, самодуров и англоманов, и не представляя собою настоящей политической силы, шла в последнем счете на поводу у обреченного гибели дворянства, — то станет совершенно ясным, какую решающую роль в революции должно было сыграть культурно никак не воспитанное, культурно бесформенное, — с одной стороны, убогое, а с другой, — определенно религиозное мужичье сознание.

Как в душе русского пейзажа, так и в пейзаже русской души тема убогих форм теснейшим образом связана с темою божественной неоформленности. Темнота, некультурность, необразованность русского народа безусловно спасли его от того полупросвещения, которое в Западной Европе встало между народом и верою, задержали процесс обездушения жизни и расщепления народного сознания. В известном смысле потому не только возможно, но и верно утверждение, что темнота русского простого человека как явление внутрицерковной жизни скорее культура, чем некультурность. Если культура — целостность мирозерцания и вытекающее из нее единство жизненного стиля, то не подлежит, конечно, никакому сомнению, что крепко веровавший, по старине живший, тонко чувствовавший традиционный чин жизни и всегда знавший, что пристойно и что непристойно, старый, русский дореволюционный хлебороб-хозяин был высококультурным человеком в самом подлинном и строгом смысле этого слова.

Но, конечно, всякая культурная нерасчлененность, формальная невзрачность, научная, художественная и правовая неоформленность сознания способны пребывать

культурою лишь внутри подлинно верующей души. Падение веры неизбежно превращает недифференцированную целостность народного сознания из явления прикровенной культуры в явление откровенного варварства. Как убогость форм русского пейзажа формально прекрасна, благословенна, тиха лишь в охвате уходящих в бесконечность — в географическую вечность — горизонтов, так и формальная убогость русского народного сознания культурно-значительна лишь в оформлении религиозным горизонтом веры.

Всякий добрый европеец, не верующий в Бога, далеко еще не безбожный человек; в нем в той или иной степени, в том или другом ущерблении всегда или почти всегда жива вера: вера в нравственность, в право, в культуру, в науку, во все ризы отрицаемого им Божества. Народная же Россия всем этим верованиям всегда была чужда. Никогда не верила она ни в науку, ни в право, а всегда только в Бога, в нагого, не облаченного Бога.

Революция — и в этом ее последний, метафизический смысл — была мгновенным падением, внезапным, хотя и многими процессами подготовленным крушением народной веры. Некультурность же, нерасчлененность, неоформленность народного сознания не позволила задержаться на вере в «ризы». Вера в нагого Бога сразу, почти без перехода, как плюс бесконечность на минус бесконечность, перешла в голое циническое безбожие.

В этом диалектическом срыве народной души и надо искать объяснение как невероятной напряженности и высоте метафизической проблематики русской революции, так и ее предельному окаянству <...>

Теоретически, конечно, допустимо, что и Россия со временем образумится, культурно причешется и на примере своей истории докажет правду кантовского утверждения, будто бы каждый народ в своем развитии неизбежно переходит от веры в Бога к положительному знанию, — от власти священнослужителей к власти пролетариата. Но пока это будущее, несмотря на диктатуру пролетариата, не наступило, у нас безусловно есть веские основания полагать, что дело обстоит не так и что в раждаемая дифференциация культуры религиозность субстанциально присуща русскому сознанию. В пользу такого положения говорит прежде всего самосознание русской духовной сущности — русская философия.

Начиная с ранних славянофилов, она неустанно и последовательно борется за религиозное единство бытия и сознания, за идеал религиозно-целостной жизни и не распадающейся на отдельные автономные сферы теонимной культуры. Целое столетие она духовно влечется к церкви, как бы сияясь вспомнить, осознать и философски высказать святоотеческий опыт; целое столетие из поколения в поколение ведет упорную борьбу с «рационализмом и атомизмом» западноевропейской мысли и жизни, с критически-формалистическим духом декарто-кантовской философии. <...>

Сущность философии заключается, по учению славянофилов, не в рациональном овладении предметом познания, а в пребывании самого познающего сознания во власти рационально непостижимого Бытия. Такое понимание философии завещано России великими восточными мыслителями, которые, в противовес западным, никогда не заботились «о внешней связи понятий», а всегда лишь «о правильности внутреннего состояния мыслящего духа». <...>

Во всех этих положениях И. Киреевского, под которыми безусловно подписались бы не только все остальные славянофилы, но и Чаадаев, и Вл. Соловьев, и все его последователи и продолжатели, — философия отчетливо осознается и убежденно утверждается как проявление враждебного всякой дифференциации целостного духа, как художественно-свободное (слово, не термин) закрепление волевого устремления к религиозному преображению жизни.

Понятие оригинальности, как мною вскользь было уже сказано, имеет два смысла. Смысла новизны и смысла первичности. Оригинально не только то, что впервые сказано, но в известном смысле и то, что лишь первично пережито, первично найдено в глубине собственной души, что не занесено в нее со стороны. Пусть в первом смысле слова славянофильское учение мало оригинально, пусть в нем как в теоретическом учении мало существенно нового и специфически русского, его оригинальность во втором смысле не подлежит никакому сомнению. Только этой оригинальностью, то есть только действительной наличностью в русских душах какого-то более первичного, чем на Западе, опыта духовно-целостного отношения к жизни и творчеству и объяснима та легкость, с какою во многом зависящее от романтики славянофильство, преодолев в себе

соблазны и грехи романтизма, развилось в наиболее значительное течение положительной религиозной мысли.

Быть может, различие духовной атмосферы Запада и России ни на чем не уловимо с такою отчетливостью и полнотой, как, с одной стороны, на вырождении западной романтики в эстетический индивидуализм, псевдомистицизм и во всякие иные формы комфортабельного отстранения от себя реальной действительности, а с другой — на боевом устремлении славянофильства навстречу самым жгучим вопросам культурной и политической жизни России. <...>

На почве православия, одинаково чуждого и духу католического законничества, духу индекса, и духу чрезмерно-индивидуалистического, протестантского свободолюбия, и развивается вся дальнейшая русская религиозная философия — философия целостности и соборности: славянофилы, Вл. Соловьев, Леонтьев, Федоров, и дальше — Флоренский, Булгаков, Бердяев, Карсавин и целый ряд других, менее значительных мыслителей. <...>

Сила и правда русской религиозной философии заключается не столько в ней самой как в философии, сколько в том, что она теснейшим образом связана со всею русскою культурой: и с религиозной трагедией Гоголя, и с религиозным обращением Толстого, и с пророчествами Достоевского. Русское искусство никогда не было, как то уже не раз отмечалось, искусством для искусства, оно всегда было или религиозным исканием, или нравственно-общественным служением. Так же обстоит дело и во всех других областях: политическая проповедь русской интеллигенции (о чем речь еще впереди) так же мало руководилась законами чистой политики, как и русское искусство — законами самодовлеющей эстетики. В связи со всем этим и русская философия никогда не была чистою, то есть отвлеченною мыслью, а всегда лишь мыслью, углубленною жизнью. С этим характером русской философии связано и то, почему типичною формою ее выражения редко являлись толстые, заботливо и обстоятельно на главы и параграфы разграфленные книги, и так часто письма, отрывки, наброски и статьи лично-исповедального и общественно-полемиического характера. В противоположность немецкой философии XIX века русская мысль представляет собою не цикл замкнутых систем, а цепь вот уже целое столетие не прерывающихся разговоров, причем разговоров в сущности все на одну и ту же тему.

Сказанного, думается, достаточно, чтобы убедиться в том, что анализ русской философии, ее темы и ее формы вполне подтверждает ту характеристику души России, к которой неизбежно приводит внимательный взор в душу русского пейзажа и русского хозяйства. Как стиль русской равнины и русского отношения к земле, так и стиль русского философствования явно свидетельствует о том, что религиозная тема России роковым образом связывается в России со своеобразным тяготением к бесформенности, — с каким-то специфически-русским формоборчеством. Есть нечто в русской душе (нечто очень глубокое и очень правдивое), что затрудняет всякий переход религиозной жизни в религиозную культуру и тем тесно связывает русскую религиозность с некультурностью России. Нельзя, конечно, говорить ни об убожестве, ни о варварстве русской философии, но нечто аналогичное убожеству русского пейзажа и варварству русского хозяйства в русской философии все же есть. Эта аналогия, думается мне, заключается в отрицательном отношении к началу формы и дифференциации. В специфической русской религиозной философии есть та же самая неряшливость, что и в русском земельном хозяйствовании. Отсутствию сельскохозяйственных машин соответствует отрицание методов и преемственно усовершенствуемых навыков мысли.

Чем глубже всматриваешься в структуру русской философской мысли, тем яснее видишь, что уровень ее вопросов бесконечно выше уровня ее ответов. С самых первых своих шагов она обнаруживает почти пророческую тревогу о грядущих судьбах человечества и исключительно тонкий слух на подлинно большие и существенные вопросы. Чуждая бездушному профессионализму и профессиональному благодушию западноевропейской эпитимийской мысли, она неустанно вызывает к решению лишь подлинно существенных, духовно-насушных вопросов. И все же никаких действительно новых ответов она не дает. Для нее показательно, что, несмотря на свою насыщенность положительным религиозным созерцанием, она больше всего сделала в направлении отрицательной критики западноевропейской культуры. Но и для этой критики характерно, что она по своей чисто философской силе и глубине даже отдаленно не достигает уровня критикующей западноевропейской мысли. <...>

Русская религиозная философская школа никогда не понимала, что во всякой действительно совершенной форме (научной, художественной, правовой) как в совер-

ш е н и о й неизбежно наличествует некоторый минимум религиозного содержания, ибо всякий образ совершенства возможен только как отображение абсолютного, совершенного Существа. С этим непониманием связаны все типично русские оценки и утверждения, — окончательно непонятные для европейца и такие почти самоочевидные на характерно русский слух. Через всю историю русской религиозной мысли если и не красной линией, то все же красным пунктиром проходит домысел, что право — могла правда, что лучше быть бьющим себя в перси грешником, чем просто порядочным существом, что быть хорошим человеком вещь вообще стыдная, ибо обладатель нравственных качеств нечто вроде капиталиста этической сферы, держателя своеобразных ценностей и привилегий... И т. д. и т. д. <...>

Оттого были ей так близки бездны и безмерности Достоевского и так далеки меры и закономерности Пушкина. В безднах же Достоевского таится действительно нечто страшное — страшная нравственная диалектика.

Страшны не бездны, увиденные Достоевским, а то, что они ему по-настоящему, быть может, и не стали страшны. Единая вдохновенная строчка Пушкина об упоении мрачною бездною развернута Достоевским (не всегда вдохновенным, иногда только задыхающимся) в целые серии романов, в которых бездна уже не прекрасное «упоение» Пушкина, а какой-то ужасный мистический запой. Неизвестно, конечно, предпочел ли бы Достоевский, чтобы Федька Катгоржний, проповедуя апокалипсис, не резал за грешку Хромоножку, но во всяком случае ясно, что он его, режущего и проповедующего, предпочел бы ему не режущему и не проповедующему. Уж очень не любим мы серединности и мешанства, до того не любим, что иногда и не замечаем, что о б ж и т а я бездна — бездна, превращенная в «бытовое явление», вовсе уже и не мрачная бездна, а всего только темная дыра.

Самая страшная и нравственно самая неприемлемая сторона большевистской революции — это гнусный, политический размен религиозной бездны народной души: апокалипсис без Христа, апокалипсис во имя Маркса. В результате бессмысленный срыв разумного социалистического дела обезумевшего сектою марксистов имяславцев. Во всем типичный разгул безмерности, любовь к горизонту и презрение к порогу, профессиональное прожектерство и дилетантское строительство, бессознательная религиозность на основе безрелигиозного сознания. Во всем знакомые черты, характерные не только для русской природной и исторической стихии, но и для русского философского сознания с его отрицанием идеи автономии, с его недооценкой принципов формы, меры и дифференциации.

Утверждая все это, я ни минуты не забываю, что русская философия, и в особенности охарактеризованное мною течение, представляет собою глубоко положительное раскрытие религиозной сущности русской души, революция же — предательство «русского Бога». Но поскольку это предательство «русского Бога» представляет собою и типично русское предательство, постольку становится понятным и бросающимся в глаза сходство между безбожной русской революцией и русской религиозной философией. <...>

Одна из причин, затрудняющих западноевропейскому сознанию действительное понимание русской революции, заключается в непонимании той роли, которую сыграла в ней интеллигенция. Не подлежит никакому сомнению, что если бы эта роль была меньше, если бы революция ограничилась выражением и защитой реальных хозяйственных нужд русского народа, то она вылилась бы в совершенно иные формы, чем те, которыми она ныне и влечет и пугает Европу.

Мужуку она даровала бы землю, пролетарию — восьмичасовой рабочий день и книжку сберегательной кассы, молодой буржуазии — руководящую политическую роль, дворянству — грустные воспоминания в поэтически-развалившихся усадьбах. Всем же гражданам купно равенство перед нелицеприятным законом и полную серию законных свобод. Ни одной копейки не истратила бы она на разжигание «мирового костра», на котором, как в том все больше и больше убеждаются большевики, «каши не сварить», но того гляди сам сгоришь.

Но в том-то и дело, что по всей своей природе русская интеллигенция не могла ограничиться ролью защитницы экономических интересов восходящих классов русского народа, что она всем своим прошлым была обречена на роль разрушительницы практических достижений революции путем безоглядного повышения уровня революционных задач.

Эта разрушительная роль интеллигенции стала сейчас общим местом*. Интеллигенцию сейчас поносят не только представители правого лагеря, психология которого подверглась за последнее время весьма опасной милитаризации, но также и многие не в меру и, главное, не по правильной линии раскаявшиеся интеллигенты, готовые к предпочтению способных на кровопролитие стальных большевиков способным лишь на чаепитие мягкотелым интеллигентам. Положение о том, что интеллигенция, и прежде всего радикальная интеллигенция, погубила Россию, так как бросилась спасать ее, не чувствуя ее религиозных и национальных корней, ее особых исторических задач и провиденциальных путей,— встречает ныне лишь очень слабый отпор. Старая «гвардия» интеллигенции, правда, держится иных убеждений, но вся молодежь, в особенности красноцветская и белоэмигрантская, ощущает слово «интеллигент» почти как бранное слово. Ставя выше всех слов слова «воин» и «доблесть», она не хочет и слышать о том, что русский интеллигент воевал в свое время против тех, кого считал врагами России, и проявляя в этой борьбе, не ожидая ни признания, ни пощады, подчас немало воистину блистательной доблести.

Во всех модных нападках на интеллигенцию много несправедливости, много преувеличения, и потому всем, чувствующим свою духовную связь с русской интеллигенцией, не надлежит, конечно, усиливать темную злобу запоздалых критиков малодушным и немумным самооплевыванием. Но одно дело малодушное самооплевывание в ощущении конца интеллигенции, и совсем другое — мужественная самокритика в том ощущении, что интеллигенции предстоит сыграть в деле воссоздания России еще очень большую роль. Лучшая форма борьбы с враждей критикой — признание правды критики, связанное с решительным отрицанием за врагами всякого права на нее.

Русская интеллигенция если и не родилась, то все же, — как явление общественно-политической жизни и как явление национального сознания, — окончательно сформировалась в первой половине девятнадцатого века. Фактором, сыгравшим в этом оформлении решающую роль, было, бесспорно, соприкосновение с Западной Европой. Правильность этого доложения доказывается хотя бы тем, что интеллигенция раскололась на два лагеря как раз по вопросу об отношении России к западу. Этот раскол и этот вопрос связаны с другим расколом и другим вопросом, — с расколом самого запада на запад революционный и антиреволюционный, с вопросом о том, с каким же западом пойдет Россия.

Противопологая ранних славянофилов западникам, не должно забывать, что в известном смысле они отнюдь не менее западники, чем их противники. Разница только в том, что для славянофилов истинный запад — запад христианского средневековья и революционной философии традиционализма и романтики; для западников же подлинный запад — запад уже преодоленного в романтизме просвещенческого рационализма и грядущего социально-политического господства народных масс; так противоположность славянофильства и западничества пересекается противоположностями церкви и революции, романтики и просвещения. Эта сложная fuga русского сознания осложняется еще одним моментом — моментом исторической разновозрастности России, только что начинавшей подыматься к свободе из сумрака византийского средневековья, и запада, уже успевшего исказить и возрожденскую свободу творчества и протестантскую свободу совести в насильничестве конвента и якобинских клубов.

Громадное значение факта этой разновозрастности не было в достаточной мере учтено ни славянофилами, ни западниками. Одинаково ориентируя свою историко-философскую проблематику «путей России» на данных западноевропейского развития, оба лагеря по-разному впадали в одну и ту же ошибку, в ошибку разрыва «правды-истины» и «правды-справедливости».

Явленную французской революцией историческую связь между просвещенским атеизмом и политическим свободолобием и славянофилы и западники приняли, в конце концов, за связь не только историческую, но и метафизическую. Отсюда славянофильская глухота на общественно-политическую свободу и западническая враждебность к религии и церкви.

Пойми славянофилы, что пафос общественно-политического служения свободе непогасим в России на том основании, что он был задушен в насильничестве французской революции, и пойми западники, что удушение свободы во французской революции есть следствие ее отрыва от религиозных корней, — в России вместо двух враждебных лаге-

* См. замечательную статью Е. Богданова «Трагедия интеллигенции» («Версты», Париж. 1927, № 2), к которой мы в дальнейшем думаем еще вернуться.

рей, быть может, и создалась бы единая партия защитников религиозной свободы во всех ее формах и проекциях (в том числе, конечно, и в политической) против реакционно-националистического клерикализма и революционно-космополитического атеизма. К величайшему несчастью России, ни славянофилы, ни западники этого понимания до конца не осилили, благодаря чему и создалась та связь между верою в Бога и членовредительством и верою в обезьяну и самопожертвованием, о которой писал Вл. Соловьев в своем замечательном письме к Н. Я. Гроту. <...>

Решающей датой, датой окончательного разрыва, и тем самым окончательного конституирования русской интеллигенции в социологически вполне определенном смысле этого слова мне представляется день убийства Александра II.

Пока западники и славянофилы совместно работали над освобождением народа, ни те, ни другие не были еще интеллигентами в узком и точном смысле этого слова. Большое, бесспорное, общее дело заслоняло собою все разногласия, в том числе и то, что для славянофилов борьба за отмену крепостного права была борьбою за высветление нравственного облика монархии как политической формы правления. Убийство Царя Освободителя взрывает это временное единогласие. Славянофилы и западники расходятся в разные стороны. Первые окончательно выходят из рядов оппозиционно настроенной, антиправительственной общественности. Вторые окончательно отрываются от религиозных и национальных корней славянофильского мирозерцания. Результат этого двустороннего отрыва — вырождение обоих лагерей русской общественности. Вырождение свободолюбивого славянофильства Киреевского в сановнически-реакционное славянофильство Победоносцева. Вырождение верующего свободолюбия западника Герцена в жерелерелигиозный героизм революционной интеллигенции.

Нарисовать облик этой интеллигенции во всей его сложности дело очень трудное и в пределах данной статьи, конечно, неразрешимое. Хотелось бы выяснять лишь то, что, несмотря на постоянно утверждаемый факт отрыва русской интеллигенции от религиозных и национальных корней народного мироощущения, несмотря на ее атеизм и космополитизм, выродившийся на наших глазах в злостный и воинственный интернационализм, она все же представляет собою кость от кости и плоть от плоти русской духовной жизни, что вся структура ее сознания во всем существенном совершенно тождественна структуре русского пейзажа, русского хозяйства и русской народной психологии и русской философии. <...>

Славянофильское утверждение России совершенно тождественно духовному и бытовому патриотизму западных народов; западничество же отрицание Руси, начатое Петром и законченное Лениным, — явление западу неизвестное, явление типично русское. В конце концов, западничество — лишь интеллигентское преломление народного бродяжничества, почему и пресловутый отрыв западнической интеллигенции от России антинационален лишь как отрыв от России, но одновременно, как это ни парадоксально, все же и национален, как отрыв от корней. Обе эти его стороны друг от друга никак не отделимы, и лишь в чувстве этой неотделимости кроется возможность правильного разрешения вопроса о беспочвенности русской интеллигенции. Русская интеллигенция потому и почвенна, что в России есть почва для беспочвенности, что в России беспочвенность — почва. Будь это иначе, пригоршня беспочвенных идей, брошенная на вспаханную войной землю кучкою «беспочвенных интеллигентов», не могла бы дать тех всходов, которые она дала, — всходов, от которых содрогается мир.

Аналогично обстоит дело и с безрелигиозностью русской интеллигенции. Не подлежит ни малейшему сомнению, что кривая развития русской интеллигенции от Герцена до Ленина знаменует собою, если отвлечься от некоторых временных колебаний, определенное нарастание атеистической энергии в русском общественном сознании. История русской интеллигенции есть история раскрещивания общественного сознания России. И все же она не есть история обезбоженья души русской общественности. Не есть потому, что параллельно раскрещиванию сознания в русской интеллигенции неустанно нарастала готовность добровольного и страдальческого служения делу освобождения России. Исчезновение чувства религиозного Предмета странно совпадает с нарастанием религиозного отношения к предмету своего служения. В одержимости русской интеллигенции темою общественного служения ясно слышатся почти религиозные ноты. Конечно, лишь почти религиозные, ибо всякая подлинная религиозность возможна лишь там, где религиозное отношение к предмету направлено на религиозный Предмет; где она своим предметом имеет не возведенное в достоинство Абсолютного относительное, а само Абсолютное — Бога.

Без этой оговорки речи о религиозной природе русской интеллигенции и русской революции явно двусмысленны и соблазнительны, но при наличии ее они и не бессмысленны и не кошунственные.

Достаточно ясно представить себе, как русская революционная интеллигенция, в особенности молодежь, из поколения в поколение жила не своими радостями, а чужим страданием, как, мучаясь у последней черты между жизнью и смертью — подпольная, беспаспортная, нищая, преследуемая правительством и непонятная народу, — она упорно делала свое историческое дело, не боясь ни тюрем, ни каторги, ни смерти, чтобы почувствовать и понять, до чего ее тема свободы крепко спаяна с религиозною темой русского народа. <...>

Наряду с этою связью между русской «беспочвенной» интеллигенцией и русскою почвой существует еще и иная связь. Убожеству и бесформенности русского пейзажа, варварству русского хозяйства, необразованности русского народа, недифференцированности русской философии соответствует некая весьма своеобразная *не деловитость* русской интеллигенции, неделовитость, явно являющаяся обратной стороной идейности совершенно в том же смысле, в котором убожество русского пейзажа является обратной стороной его Богоисполненности, и недифференцированность русской философии — обратной стороной ее религиозности. И эта связь напряженной идейности интеллигенции с ее неделовитостью вполне понятна.

Революционное движение в России никогда не было низовым явлением. Русская революционная интеллигенция никогда не была, и поныне, конечно, не стала, точной исполнительницей воли народных масс. Интеллигентское революционное движение всегда было не столько восхождением народной нужды к идее свободы, сколько нисхождением идеи свободы к народной нужде. На протяжении всей своей жизни русская интеллигенция защищала не столько ближайшие, насущные интересы народа, сколько свои представления о них. Эти представления о реальных интересах народа были не всегда реальны, что в достаточной степени объясняется тем, что интеллигенция народную нужду всегда видела издали, на горизонте западноевропейских идеологий и в глубине своей беспокойной совести. <...>

Все это взятое вместе: устремленность к идеологическим горизонтам, погруженность в глубины покаянной совести, направленность воли к положительному устройению не сегодняшнего, но лишь завтрашнего дня, привычка мыслить и предощущать свое положительное дело как разрушение уже сделанного и положенного, — естественно способствовало развитию в русской интеллигенции идеологической дальнорукости и эмпирической близорукости.

Что наибольшая доля вины за эти грехи интеллигенции ложится на царский режим, не подлежит, конечно, ни малейшему сомнению. Не преврати он русскую интеллигенцию как таковую в наследственно безработный элемент, запряти он ее в определенную ответственную общественно-политическую работу, она, конечно, «обошлась» бы, выработала в себе деловую энергию и умерила бы свою заносчивую идейность. Но царский режим этого не сделал и по всему своему существу сделать, конечно, не мог. Лишив интеллигенцию всякого дела, он воспитал в ней ощущение, что всякое громкое слово есть уже настоящее дело. Химерическое словоделание, уплотнявшееся порою до революционного мифотворчества, выросло на этой почве в главное содержание революционной жизни интеллигенции. Перспективы двигались: словесные дистинкции революционного подполья естественно принимались за господствующие тенденции самой жизни. Не достигающая жизни политика превращалась в политиканство. Политиканство распространялось на все стороны и вопросы жизни; выросла специфически интеллигентский панполитизм. Лишенный углубленной связи с реальной хозяйственной и общественной жизнью страны, этот панполитизм вертел в революционном сознании русской интеллигенции свои отвлеченные категории с быстротой освобожденного от приводного ремня махового колеса. В этом смысле весьма типичен факт, что начиная с Герцена из сознания русской интеллигенции не исчезает мысль, что мы обгоним Европу, потому что мы отсталая страна. Этот, по отношению к медленным ритмам громадной страны, сумасшедшие ускоренный ритм интеллигентских чаяний и требований ее развития отражался весьма вредно и на идейном развитии самой интеллигенции. С отрывом интеллигенции от реальной низовой народной жизни связан и отрыв каждого нового поколения интеллигентов от предыдущего. Для русской интеллигенции характерно расхождение детей и отцов, основанное на том, что для совсем еще юных детей их всего только сорокалетние отцы превращались в выживших из ума дедов. Не раз уже отмечалась та роль, которую в русской револю-

ции играла молодежь. Этот «педократизм» русского революционного движения есть тоже одна из характернейших форм интеллигентской неделовитости, интеллигентской бездельности. Молодость имеет много достоинств. Но деловитость есть, конечно, достоинство зрелых лет.

Подводя итоги всему сказанному о русской интеллигенции, можно сказать, что для нее характерны три основные черты:

- 1) почти религиозная жажда служения и подвига;
- 2) страстная одержимость безрелигиозной идейностью;
- 3) страстное стремление к действию при наличии доходящей до бездельности неделовитости.

Всеми этими свойствами и в особенности скрытого в них диалектикой оторванная от религиозно-национальных корней интеллигенция отчетливо определяется как явление типично национальное. Только очерченной структурой интеллигентского сознания объяснима победа большевистской идеологии над другими идеологическими течениями и только своеобразною, обратно-аналогичною, созвучностью интеллигентского сознания народной стихии объяснима победа большевиков над Россией. <...>

Для правильного, феноменологически углубленного понимания всего происходящего в России необходимо строгое разграничение понятий — коммунизм и большевизм. Что такое коммунизм, в общем ясно. <...>* Что такое большевизм — ясно уже в гораздо меньшей степени. Под большевизмом можно, конечно, понимать русский вариант коммунистической идеологии, но такое узкое, в теоретическую сторону направленное понимание не соответствовало бы той эмоции, которая за годы революции накрепко срослась в нас с представлением о большевизме. Русский вариант коммунистической идеологии правильнее потому называть ленинизмом. Под большевизмом же понимать ту стихию русской души, которая в 1917 году откликнулась на коммунистическую проповедь Ленина, и круг тех явлений, который был порожден этим откликом.

Лишь при таком разграничении коммунизма как интернационалистической идеологии от большевизма как национальной эмоции возможна отчетливая постановка основной проблемы русской революции — проблемы встречи просвещенско-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной маятой русской народной души. В настойчивом подготовлении и безоглядном осуществлении этой, на первый взгляд, совершенно невероятной, совершенно фантастической встречи кроется все значение ленинизма, раскрывается вся глубина и все исступление страшного, вражьего подвига Ленина. <...>

Большевизм не только грех России перед самой собой, он еще и грех социализма перед самим собой. Обе эти темы в нем до конца слиты, теоретически различимы, но в исторической действительности неотделимы друг от друга.

Если всем чувствующим себя русскими нельзя отрекаться от большевизма, ибо отречение от своего греха есть погашение своей нравственной, а потому и творческой личности (всякое творчество в последнем счете укоренено в религиозной сердцевине нравственного начала), то так же нельзя отрекаться от большевизма и всем, сознающим себя социалистами. Иногда высказываемые размышления на тему — «большевики не демократы, а потому коммунизм не социализм и октябрьская революция не революция, а контрреволюция», очевидно, ложны. Но если недопустимо социалистическое омывание рук перед лицом коммунистического разгрома России, то так же ложно и некритическое взваливание на социализм всей ответственности за все натворенное большевиками. <...>

Положительного определения социализма еще никто не дал. Все определения или совершенно бесцветны, или совершенно произвольны. И это не случайно: никакое отчетливое предвосхищение будущей формы социально-хозяйственной жизни в отвлеченном понятии по самой сущности дела невозможно. Определение социализма будет найдено лишь после того, как жизнь определится социализмом. Определяться же им,

* В публикации «Современных записок» (XXXIII, 1927, стр. 337) здесь имеется дефект текста. (Прим. составителя.)

то есть исканием его, она будет очень долго, очень трудно и, вероятно, очень страшно. Реальная сила и значительность социализма как мирозозерцание и волеустремление не в идеологической состоятельности социалистического учения, а в анализе фактической несостоятельности капитализма. Поскольку эта несостоятельность становится все определеннее и все очевиднее (чему величайшее доказательство самый факт большевистского бреда в Европе), постольку социализму есть на чем стоять, постольку он состоялся. Отчетливое описание грядущего социалистического царства разрешили себе, как известно, лишь утописты, не оказавшие почти никакого влияния на реальную борьбу пролетариата за власть. Маркс же, определивший своим учением эту борьбу, дал, как известно, лишь очень тщательный анализ несостоятельности и греховности капитализма, надстроенный несколькими приблизительными догадками о будущем социально-хозяйственном строе. Эти догадки, из которых главная «обобществление средств производства», конечно, очень важны, но основное заключается все же не в догадках о социализме, а в анализе капитализма. Если не бояться несколько парадоксальных формулировок, то можно сказать, что социализм есть не что иное, как капитализм, увиденный взором удушшаемого в нем пролетариата. По сравнению с громадным значением этого нового взгляда на капитализм все социалистические программы в последнем счете несущественны. Это не значит, конечно, что от них надо отказываться, но лишь то, что их надо будет еще очень долго писать и переписывать, проверять на опыте, рвать и снова писать. <...>

Что же произошло в России? Была ли Россия разгромлена социализмом или, наоборот, социализм наголову разбит Россией? Думаю, что и то и другое одинаково неверно. Окончательное крушение потерпела в России и не Россия и не социализм, а всего лишь оторванная от идеи социализма социалистическая идеология большевиков. Вся фантастика и вся трагедия России тем только и объясняется, что социалистическая идеология зародилась в головах русской интеллигенции задолго до того, как толща русской жизни начала прорастать идеей социализма.

Почувствую вскоре после революции в совет рабочих и солдатских депутатов и осмотревшись в нем, я очень скоро почувствовал, что большевики нечто совсем иное, чем все остальные партийцы. Во всех них, в знаменитых и незаметных, ощущалась какая-то особенная накаленность, другой, чем у с.-р. и меньшевиков, градус революционного кипения. Их было сравнительно немного, но казалось, что они всюду; было в них какое-то особое искусство самоумножения, какой-то дар всеприсутствия. Хорошо помню, как, проходя мимо открытой в их фракционную комнату двери (был перерыв на предмет какого-то межпартийного сговора), я невольно остановился с какою-то злобной тревогой на сердце. Небольшая кучка людей казалась громадным сборищем: словно все стояли в зеркальной комнате, бесконечно умножающей каждого; все лица были искажены неприятною выразительностью, перегружены ею до отказа. Высоко над головами все время взлетали испуганные жесты; стоял страшный шум.

С появлением Ленина атмосфера еще сгустилась и накалилась. <...> Его непобедимость заключалась не в последнюю очередь в том, что он творил свое дело не столько в интересах народа, сколько в духе народа, не столько для и ради народа, сколько вместе с народом, то есть созвучно с народным пониманием и ощущением революции как стихии, как бунта.

Как природженный вождь, он инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В отличие от других деятелей революции он сразу же овладел ее верховным догматом — догматом о жесте разрушения и созидания и сразу же постиг, что важнее сегодня кое-как, начерно исполнить требование революционной толпы, чем отложить дело на завтра, хотя бы в целях наиболее правильного разрешения вопроса. На этом внутреннем понимании зудящего «невтерпез» и окончательного «сокрушай» русской революционной темы он и вырос в ту страшную фигуру, которая в свое время с такою силой надежд и проклятий приковала к себе глаза всего мира. Для всей психологии Ленина характернее всего то, что он, в сущности, не видел цели революции, а видел всегда только революцию как цель. Благодаря такой установке он ощущал себя до конца и навсегда слитым с революцией; и потому, быть может, он был единственным из всех деятелей революции, который никогда не представлял себе момента своего отхода от революции на основании отхода революции от своих подлинных путей и существенных целей. Это

не значит, конечно, чтобы Ленин был согласен на все пути и все цели. Наоборот, он был крайне нетерпим и определен. Это значит лишь то, что он всегда отклонял те пути, на которых предвидел возможную убыль революционной энергии и всегда утверждал как цель революции максимальное повышение революционной волны, максимум революции как таковой.

Читая его статьи, представляющие собой в большинстве случаев изумительные по сжатости, четкости и озлобленности анализы стратегических и тактических положений на фронте революционной борьбы, диву даешься, до чего этот человек был приспособлен к выполнению той роли, которая была на него возложена судьбой.

Прежде всего поражает полная неспособность к критическому ощущению вещей, связанная с безусловным даром теоретического анализа. Все исходные точки марксизма принимаются им на веру. Догматы экономического материализма он утверждает и с сектантским исступлением, и с фельдфебельским изуверством. Все его анализы исходят из авторитарно принятых, вполне определенных положений. Основные положения анализу не подлежат. По своему интеллектуальному типу он старовер, косный старовер, окончательно чуждый духу пророческой тревоги. И в этом его сила: будь он революционером мысли и духа, вряд ли он осуществил бы на практике ту революцию, которую он осуществил; получилась бы утка разрушительной силы: дух и разрушая творит. С такою догматическою косностью духа в нем уживается изумительная подвижность служащей мысли; изумительная способность оправдания и применения своей догмы. Какая-то начетническая ловкость мысли, производящая временами впечатление не только ловкости мысли, но уже и ловкости рук, какого-то не вполне доброкачественного фокусничества. Со страстною хваткостью изобличает он, например, всех своих противников в оппортунизме, но, когда он сам вынуждается к утверждению оппортунистических позиций, он не задумываясь определяет свой оппортунизм как диалектику. Прodelьвает он все это совершенно искренне, так как, приверженец диалектического метода в социологии, он совершенно лишен дара эмоциональной диалектики, дара внутреннего мимизма, дара перевоплощения в чужую душу и чужую правду. Во всем, что он говорит о своих политических противниках, начиная с «Николая кровавого» и кончая «лакеем и социал-предателем» Каутским, нет ни слова правды, ни йоты той психологической меткости и портретной точности, на которые был такой мастер Герцен. Почти все его характеристики — в конце концов никого и ничего не характеризующие грубые издевательства. Они не сливаются с характеризуемыми образами, а ложатся рядом, как на дешевых литографиях краснота губ съезжает на подбородок, а синева глаз на середину щеки. С этим непониманием чужой правды и полным отсутствием эмоциональной диалектики связан громадный диапазон злостно-отрицательных оценок, носящий какой-то безлично-машинный характер. <...>

Причем Ленин не понимает не только своих врагов, но и всей духовно-бытовой реальности русской жизни. Не понимает русской истории, в которой видит исключительно только погромы, виселицы, пытки, голод и великое пресмыкательство перед попами, царями, помещиками и капиталистами; не понимает православия, не понимает национального чувства, в конце концов, не понимает как будто бы даже и русского мужика. Ведь нельзя же, в самом деле, всерьез утверждать, что великорусский мужик уже вырастает в демократа, уже гонит из церкви попов и помещиков. Что это — полное незнание мужицкой психологии или весьма своеобразное понимание демократии?

Но все это, в конце концов, только мелочи. Ленин не понимает гораздо большего, быть может, самого главного, не понимает того, что введение социализма в России (мысль и сама по себе весьма смелая) могло бы удалиться лишь при условии самого тщательного учета всех особенностей социально-экономического строя России столь чуждого по всей своей структуре той Англии, с которой Маркс писал очень талантливый, но и очень условный портрет своего капитализма. Самые элементарные марксистские раздумья над социалистическими судьбами России должны были бы, казалось, подсказать ему те элементарные мысли о мужике — не пролетарии, о пролетарии-полуужике, о мещанине — не гражданине и капиталисте — полупомещике, одним словом, о той характерной для России нечеткости классовых взаимоотношений, вернее, о том отсутствии в России классов в европейском смысле слова, без трезвого учета которого марксистская защита социализма в России естественно должна была обернуться борьбою против него.

Почему же все эти столь очевидные истины отскакивали от Ленина как горох от стены? Почему этот все же недожизненный теоретик марксизма так страстно боролся против ревизионизма, то есть против жизненной правды социализма? Почему жизненная правда социализма представлялась ему всего лишь только житейской ложью? <...> Раб своего революционного мифа и ненавистник всех «критически мыслящих личностей», он, несмотря на весь свой интернационализм, гораздо органичнее вписывается в духовный пейзаж исторической России, чем многие хорошо понимавшие реальные нужды России общественно-политические деятели. В душе этого вульгарного материалиста и злого безбожника жило что-то древнерусское, что не только от Стеньки Разина, но, быть может, и от протопопа Аввакума. В формальной структуре и эмоциональном тембре его сознания было, как это ни странно сказать, нечто определенно религиозное. Он весь был нелепым марксистским негативом национально-религиозной России. Только этим и объясняется то, что ему удалось слить воедино древнюю тему русской религиозности с современной темой западноевропейского атеизма. В этом все его значение и вся его единственность. Никакой евразийской похвалы в этом признании нет, ибо все положительное значение Ленина заключается только в том, что в нем до конца раскрылась греховная сторона русской революции: ее Богоотступничество.

Известный немецкий ученый Карл Диль, проделавший большую работу по сопоставлению марксизма и большевизма (он понимает под большевизмом не стихию большевистской революции, а теоретические учения большевиков, то есть то, что мы выше условились называть ленинизмом), пришел к определенному и на первый взгляд убедительному выводу, что большевизм, или по-нашему — ленинизм, в гораздо большей степени напоминает Огюста Бланки, чем Карла Маркса. И действительно, вряд ли возможны сомнения в том, что ленинская интерпретация Маркса созвучна разве только «Коммунистическому манифесту» и очень далека от гораздо более углубленных и охлажденных позиций «Капитала».

В «Коммунистическом манифесте» Маркс, правда, страстно защищал самую энергичную революционную тактику, но, во-первых, он защищал ее юношей, еще не изжившим своего революционного Sturm und Drang'a; во-вторых, в годы, когда мир как электричеством был заражен революционной энергией, всеобщее же избирательное право не было еще завоевано даже и наиболее передовыми странами Европы.

С годами, пережив чартизм, февральскую революцию и опыт коммуны, Маркс, как известно, отошел от боевых позиций «коммунистического манифеста». Не отказываясь начисто ни от агрессивной революционной тактики, ни от террора, ни от идеи диктатуры пролетариата, он с годами все настойчивее подчеркивал мысль, что «время революций, осуществляемых небольшими кучками революционеров во главе бессознательных масс», отошло в прошлое, что по шучьему велению революции не сделаешь, что успешная революция предполагает наличие в стране хорошо организованного пролетариата, представляющего собой большую экономическую, политическую силу. В своей работе «Revolution und Kontre-Revolution in Deutschland» он также утверждает, что революционный опыт 1848—1849 годов вполне подтвердил теоретический вывод: рабочий класс, призванный уничтожить систему рабства, может прийти к власти, лишь отрешив от власти мелкобуржуазную демократию. Вдумываясь в судьбы Франции, он опять-таки высказывает мысль, что в такой аграрной и мелкобуржуазной стране, как Франция, шансы социальной революции стоят весьма низко, что социальная революция должна будет начаться скорее всего в Англии, в которой пролетариат играет весьма значительную роль.

Особенно энергично протестует Диль против большевистских попыток оправдать свою демагогию ссылаками на Марксово учение о диктатуре пролетариата. По справедливому мнению немецкого ученого, идея диктатуры, во-первых, вообще не занимает центрального места в системе Маркса, а во-вторых, означает для Маркса и марксистов нечто совсем иное, чем для Ленина и его сотеоретиков. Разница чисто внешне выражается уже в том, что самый термин «диктатура пролетариата», которым решительно пестрят размышления Ленина и советская пресса, встречается во всех писаниях Маркса и Энгельса вместе, по подсчету того же Дилья, не более чем с поддожины раз. Но важен, конечно, не этот внешний факт, а то внутреннее рас-

хождение между марксизмом и ленинизмом, которое стоит за ним. Важно то, что Марксу диктатура никогда не представлялась некою особою, по существу противоположною демократии, политической формой, а всегда только временным переходным состоянием, необходимым не в целях окончательной отмены демократии, а, наоборот, в целях замены лицемерного псевдодемократизма капиталистического общества подлинной, то есть связанной с социализмом демократией. <...>

Доказывать правильность этого положения не входит в задачу настоящего очерка. Что Россия 17-го года не была готова к превращению в страну стопроцентного социализма, доказано для всякого имеющего глаза всем развитием большевистского хозяйства, все определеннее возвращающегося к позициям примитивного капитализма. Изначальный бросок Ленина был, конечно, явно демагогической попыткой совлечения России с пути предстоящего ей закономерного хозяйственно-производственного развития и превращения ее в передовую социалистическую страну диктаторской волей инициативного меньшинства. Все эти вещи совершенно очевидные, и потому Диль вполне прав, утверждая, что тактика Ленина по всему своему духу гораздо ближе заговорщику Бланки, чем экономисту Марксу. И действительно, характеристика, которую Энгельс дает Бланки, без малейшего изменения применима и к Ленину. Как и Бланки, Ленин был «в своей политической деятельности прежде всего „человеком дела“», верившим в то, что небольшое, но хорошо организованное меньшинство, готовое в надлежащую минуту на всяческий риск, способно несколькими удачами увлечь за собой массы и тем осуществить победоносную революцию. Не может быть сомнения, что Октябрьская революция была осуществлена по этому рецепту: не пролетариатом, как наиболее организованным и сильным классом России, а кучкою интеллигентов-марксистов и пролетариев-интеллигентов; что она была осуществлена не столько в интересах всего пролетариата, сколько от имени пролетариата и с точки зрения пролетарской идеологии. Результат получился тоже вполне бланкистский: «старое общество разрушено дотла», «расчищено поле для построения жизни на совершенно новых основах».

Думаю, что более подробный анализ взаимоотношений между Огюстом Бланки и Владимиром Лениным мог бы еще во многом подтвердить правильность дилевского положения; и все же это положение по существу не верно, и главное — совершенно неинтересно.

Всю жизнь изучавший Маркса и ощущавший себя марксистом, Ленин не был ни бланкистом, ни даже утопистом, а всего только (это всего только очень много) русским марксистом. То, что Дилю представляется в Ленине бланкизмом, есть, в сущности, не что иное, как претворение марксизма в душе типичного русского марксиста-революционера. С точки зрения научных элементов марксизма, дело Ленина было задумано, конечно, совершенно утопично, но в том-то и дело, что ставка на утопизм отнюдь не была в России утопизмом, и надо отдать справедливость Ленину, что при всем своем утопизме он был весьма расчетливым и трезвым политиком. И это не противоречие, наоборот: ничего более утопичного, ирреального и фантастического, чем положение в основу русской революции подлинно научного духа марксизма, нельзя было бы вообще выдумать; положение же в ее основу совершенно фантастической веры в догму марксизма было делом вполне реальным, ибо Россия никогда не жила наукой, а всегда жила догмой; ведь даже и философия в России была, как то было мною показано в предыдущем очерке, не критической, а догматической.

И Ленин, безусловно, потому только и победил всех своих политических противников, потому только и воплотился, потому только и реализовал свою мифическую революцию, что он не был ученым, каким, безусловно, был сам Маркс, а был характерно русским и з у в е р о м н а у к о в е р и я.

Если уже не считать Ленина марксистом, то гораздо интереснее сопоставления его с Бланки — сопоставление его с Бакуниным.

Отношения между Марксом и Бакуниным были всегда весьма сложны и подчас остро и даже злостно враждебны.

В мою задачу никоим образом не входит хотя бы мало-мальски подробное рассмотрение этих отношений. Мне хотелось бы лишь вскрыть и наметить в Бакунине ту типично бакуниинскую революционную тему, которая отделяла его от Марк-

са и которую он, на мой слух по крайней мере, страстно перекликается со стихией русского большевизма.

Противоположность Маркса и Бакунина видна во всем, видна издали. <...>

Как в каждой системе убеждений, так и в революционной идеологии до некоторой степени отделяемы ее логос от ее эроса, ее ум от ее сердца. Для идеологии Бакунина характерно, что у нее «ум с сердцем не в ладу». Логос Бакунина атеистичен и мелководен (логос марксизма); эрос — религиозен и глубок. Теоретически все учение Бакунина сводится к сплошному отрицанию, но на дне всех его отрицаний слышится страстное утверждение. То «да», которое он говорит всем своим «нет», гораздо патетичнее всех произносимых им «нет» Богу, церкви, монархии, государству, праву, организации, центру и т. д. В этом бакунинском «да» всем вообще мыслимым и произносимым «нет» слышится поистине религиозная энергия. Недаром Бакунин озаглавил свою программу революционного действия революционным катехизисом, недаром перефразировал он знаменитое изречение Вольтера: «если Бога и нет, Его надо (для народа) выдумать», в гораздо более страшное утверждение: «если бы Бог в действительности был, Его надо было бы уничтожить». Зачем? — Не для всеобщего счастья и равенства, а для абсолютного торжества абсолютной свободы.

Но что такое свобода Бакунина, на огне которой он так безудержно и безоговорочно сжигал свою жизнь? Кто для него первый революционер, первый свободолоб и в чем последний смысл свободы? Имя первого революционера и свободолоба Бакунин называет на первых же страницах своих размышлений «о Боге и государстве». Первый революционер — библейский дьявол. Он, этот «извечный бунтарь» и безбожник, и начал великое дело освобождения человека от позора незнания и раболепства.

Все это Бакунин говорит, конечно, как вольнодумствующий философ, борющийся не с Богом, которого — о чем же говорить — конечно нет, а только с царями и полами, отравляющими в своих целях сердца и умы народа. Но в самом звуке бакунинского голоса, в самой страстности его полемики, в том характерном факте, что и главный его труд посвящен Богу и первый параграф катехизиса провозглашает «отрицание Бога», во всем этом есть нечто скрывающееся в этом теоретике атеизма, — практика антитеизма, фанатика безбожия.

Всякое фанатическое безбожие отличается от теоретического атеизма тем, что оно всегда во что-нибудь верит, как в Бога. Бакунин верит, как в Бога, в Свободу (Бакунинскую свободу как-то неловко писать с маленькой буквы). <...>

Бакунинская свобода есть не что иное, как его страстная вера в положительное значение и созидательную мощь разрушения. Свобода Бакунина — это «музыка революции», слушать которую призывал Александр Блок, музыка, не передаваемая никакими словами и все же звучащая во всех бакунинских словах. С особенной силой в его призыве «Довериться вечному Духу, который лишь потому все разрушает и все уничтожает, что непостижимо таит в себе вечно бьющий ключ жизни и творчества». <...>

Теория и практика ленинизма отнюдь не представляют собой, как это часто утверждают враги русской демократии, продукта вырождения русского социализма, то, до чего «докатались» русские социалисты. Верно как раз обратное. Ленинизм не последнее, а первое слово русского революционного социализма. Уже в шестидесятих годах прошлого столетия наметилось в русском революционном сознании то своеобразное пересечение марксистского науковерия и бакунинской истступленности, которое составляет основу ленинизма. «Впервые произнесший в русской литературе имя Маркса» Ткачев и весьма близкий Бакунину Нечаев, связанные между собой целым рядом общих идей, одинаково близки Ленину. В последнем счете ленинизм есть не что иное, как последнее слово ткачевско-нечаевского движения. Ткачово-нечаевщина же не что иное, как эмбриональный ленинизм. Отличительной чертой этого эмбрионального ленинизма является то, что, исходя из Маркса, он проявляет страшную глухоту на самое главное в марксизме: на идею определенности всей жизни хозяйственно-производственными отношениями; и исходя из бакунизма, он проявляет такую же глухоту на самое главное в бакунизме, на иступление Бакунина о свободе, которое делало его врагом «организации революции» Отрицая самое главное, он одновременно преувеличивает и вульгаризирует произ-

водное: прежде всего идею централистической организации Маркса и идею созидания через разрушение Бакунина, в результате чего получается своеобразное понимание революции как централистически организованного разрушения жизни, с надеждой на то, что разрушение неизвестно как обернется созиданием. Причем эта диалектическая тема, которая у Бакунина, временами по крайней мере, действительно звучит какою-то демонической музыкой, у Ткачева и Нечаева всего только захлебывается, хрипит и скрежещет. Как для Ткачева, так и для бакуниста Нечаева прежде всего характерно презрение к народу, который из себя никогда не загорится свободой (Бакунин верил в Божью искру свободу в глубине каждой человеческой души). Отсюда глубокое убеждение, что свободу народу может навязать только инициативное меньшинство, что к свободе через свободу не пробьешься, что путь к свободе лежит через насилие над народом, а не через развитие народа. Весь реформизм и эволюционизм представляются Ткачеву понятиями вполне утопическими, снотворными средствами для ума и совести. Все люди, крепко стоящие в налаженной жизни,— люди сонного ума и сонной совести. На революцию способна лишь молодежь. Для судеб революции было бы самое лучшее, если бы с лица земли исчезли бы все, что старше двадцати пяти лет. Проведение такой революции «сверху» нуждается, конечно, в совершенно особой породе революционеров. И вот Нечаев пишет с себя самого портрет такого революционера. Он живет в обществе, опоясанный, как Сатурн, кольцом-одиночеством. Его жизнь оправдывается только тем, что он разрушает общество, в котором живет. Его ничто не связывает даже и с самыми близкими людьми. Все нежные чувства «родства, дружбы, любви, благодарности и даже чести ему чужды», «все задавлено холодной страстью революционного служения». Он готов в любую минуту своей жизни умереть за свое дело, это дает ему право убить всякого, кто мешает его делу. <...>

Эта лубочно кровавая идеология, потерпевшая, как известно, полный и быстрый крах в неудачном заговоре Нечаева, была единодушно осуждена всеми признанными вождями русского социалистического движения. Герцен отозвался добродушно-презрительно, усмотрев в нечаевщине странную смесь Шиллера (вероятно, он думал о «Разбойниках») и Бабёфа. Бакунин, разошедшийся с Нечаевым, отклонил все как величайшую бестактность по отношению к русскому народу. Чернышевскому было ясно, что все преждевременно, что взят совершенно бессмысленный темп. Кое-кто утверждал, что все сплошная провокация, подстроенная царской охранкой. Главное же, никто не увидел, что это серьезно. Никто не услышал в нечаевщине камертона будущей всероссийской большевистской революции, никто, кроме одного человека, — Достоевского.

Чувствую, что мысль о порочном смысле «Бесов» Достоевского настолько уже затрепана, что повторять ее, в сущности, нельзя. Если я все-таки ее еще раз повторяю, то только потому, что она обыкновенно бралась в слишком упрощенном виде. Параллель между «Бесами» и большевиками совсем не интересна при понимании большевизма как шигалевщины, и только. Достоевский дал гораздо больше, он до конца раскрыл вторую половину таинственных слов Сорен Киркегардта, сказанных великим датским богословом еще в 48 году: «...протестантизм будет выдавать себя за религиозное движение, но окажется движением политическим; коммунизм будет выдавать себя за движение политическое, но окажется движением религиозным».

В произведенный Достоевским анализ ткачевско-нечаевского социализма входит и догмат человекобожества (Кириллов) и принцип маски, оборотничества и провокации (Ставрогин), и всяческий псевдомессианизм националистический и классовый (Шатов), и двуединный пафос разрушения и иллюзионизма (Верховенский), и лишь на последнем месте мертвая китайщина уравнилельного коммунизма (Шигалев).

То, что Достоевский оказался прав, что он оказался в отношении нечаевщины правее Герцена, Чернышевского, Бакунина, обязывает и нас к утабленному религиозному подходу к большевизму. Такой подход требует прежде всего одного — уразумения той связи, которая безусловно существует между мистической бесформенностью русского пейзажа, варварством мужницкого хозяйства, идейностью и бездельностью русской интеллигенции, религиозностью и антинаучностью русской философии, с одной, и изуверским науковерием и сектантским фанатизмом коммунизма, с другой стороны. <...>

ПИСЬМО К О. А. ШОР*

8.01.1934 г.

A.24 Dresden
Schnorrstr. 80

8-го января
1934 г.

Дорогая Ольга Александровна,

Оно действительно совершенно непонятно, почему мы не только с Вами не переписываемся, но даже ничего и не знаем друг о друге. У меня такое чувство, будто Вы куда-то пропали, так что я Вам даже своих книг и статей не посылаю. Давайте решим твердо исправить в новом году соделанную ошибку и вступить в естественное общение друг с другом. В этом письме положить начало новогоднему плану не могу, очень поздно, собираюсь на лекцию в отъезд и спешу кратко ответить на Вашу открытку, установив с ужасом, что вот скоро уже месяц, как я ее получил.

Родился я в 1884 году 6/16 (так!) февраля в Москве. Детство провел в деревне. Окончив среднюю школу, приехал в Гейдельберг. В 1907 сдал докторский экзамен: философия (Hauptfach)**, государственное право, история литературы (Nebenfächer)***.

Объездил всю Россию в качестве лектора. С 1914 по 1917 война. Потом Петербург — начальник политического управления при Керенском, затем эпоха большевизма на Ваших глазах и наконец высылка.

В Европе с 1922—1926 эмигрантские скитания и лекции по всей Германии, преимущественно о большевизме. (До настоящего времени прочел около 250 публичных лекций в 85 городах Германии, Австрии, Чехии и Швейцарии.) В 1926 получила профессуру по социологии на культурно-научном отделении Дрезденского Политехникума. (Наше отделение в сущности целый философский факультет.)

Профессорская деятельность не прервала и не сократила даже участия в русской эмигрантской жизни. Два года тому назад вошел в редакцию журнала «Новый град», посвященного защите позиции духоверческого свободолюбивого социализма. На днях выходит восьмой №. За время пребывания в эмиграции выпустил на русском языке

- 1) «Жизнь и творчество», сборник философских статей.
- 2) «Основные проблемы театра».
- 3) «Записки прапорщика» 3^{ье} изд.
- 4) «Николай Переслегин».

Кроме этого, напечатал в «Современных записках» и в «Новом граде» большое количество философски-публицистических статей. Думаю, не меньше 20—25. На немецком языке вышли четыре книги.

- 1) «Die Liebe des Nikolai Pereslegin» **** (разошлось, выходит второе изд.).
- 2) «Wie war es möglich». Briefe eines russischen Offiziers *****.
- 3) «Theater und Kino» (очень серьезная переработка русской книги с добавлением второй части, посвященной кинематографу) читали ли Вы?
- 4) Только что вышла «Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution» ***** (106 страниц). Кроме этого, напечатал в периодических изданиях большое количество больших и маленьких статей.

Написать вкратце о том, что бы я хотел, чтобы Вы обо мне сказали, очень трудно, да я и не знаю, какого размера может быть Ваша заметка. Так как меня в Италии никто не знает, то я думаю, что она должна быть очень краткой. Вы же меня так давно знаете, что на краткую заметку Вашего знания и чужения с избытком хватит. В той борьбе, которая происходит сейчас в мире между либерализмом и фашизмом (определения, конечно, не точны, а плакаты), я занимаю очень сложное положение. Спасать старый мир, в общем, не собираюсь. Больше верю в просветление нового. Все больше укрепляюсь на христианских позициях. Все определеннее чувствую лицо народа. Уверен, что будущее принадлежит общинно-социалистическому началу. Думаю, что Россия со временем займет ведущее положение в мире. Считаю, что структурно и типологически Италия, Германия и Россия составляют единый фронт. Трагедия мира в том, что старая истина представлена сейчас исключительно мещанами, а новая—демонами, бесами и чертями. Думаю, что главное сейчас—религиозность, трезвенность и деловитость. Зло сейчас

* Публикация и комментарии Д. В. ИВАНОВА и А. Б. ШИШКИНА.

** Главная дисциплина.

*** Второстепенные дисциплины.

**** «Любовь Николая Переслегина».

***** «Как это стало возможным. Записки русского офицера».

***** «Лиц России и лицо революции».

не столько во зле, сколько в утолизме, Форма утопизма дана Гегелем: Der Bacchantische Taumel der Kategorien*. Думаю, что сейчас нельзя думать, если ничего не делать.— Оттого сознательно философствую в публицистической форме. Наше время требует идей-сил, а не только идей-истин. Сейчас необходима не только забота об идее-семенах, но и о почве, на которую она сеется. Почва же эта — живые люди. Потому мне представляется необходимым организовать в эмиграции кадры людей, способных к восприятию новгородских идей. Мне кажется, что то, что пытаемся делать мы, новгородцы (Булгаков, Бердяев, Федотов, Гессен, Вышеславцев, Бунаков, я и другие), делается и в Европе. Во Франции группа «Esprit»¹, в Германии разные формы религиозного социализма, Англия, по моим сведениям, имеет много родственных нам организаций. Сила всех фашистских направлений в том, что они поняли проблему организации человеческих кадр как подготовку психологической территории для восприятия их идей. Слабость всего фашистского фронта в непонимании христианской идеи свободы и в неумении ее отличить от ее либералистического искажения. Отсюда «забывание» людей в свои организации с полным презрением к вопросу о их преобразении².

Все это я пишу кое-как, на тот случай, если заметка нужна спешная и Вы не сможете прочесть того, что я написал.

За всей моей деятельностью — профессорской и полит<ическо>-публицист<ической> — все же стоит тоска по углубленному сосредоточенному философствованию, а также и по художественному творчеству. Удастся ли мне когда-нибудь вернуться к тому и другому — не знаю. Профессорская моя деятельность протекала с очень большим успехом. Сейчас кое-что осложнилось. Пишите так, чтобы не поссорить меня с моим работодателем. Ну вот все, что наскоро ночью мог написать Вам. Напишите, как Вам понравилась моя статья о Вяч<еславе> Ив<ановиче>³. Боюсь, что ему не понравилась, так как он на рукопись не откликнулся. Fuchs же написал, — tief und glanzvoll**. «Человек» совершенно замечателен. На мое ощущение, В. И. страшно вырос как поэт⁴.

Мы все здоровы, живем, конечно, трудно, но живем. Жду ответа и шлю самые сердечные приветы от всех нас, Вам, дорогая Ольга Александровна, и Вяч<еславу> Ив<ановичу>.

Ваш Ф<едор> Ст<епун>.

Автограф — в римском архиве Вяч. Иванова.

Ольга Александровна Шор (1894, Москва — 1978, Рим) принадлежала к известной московской семье. Дядя ее, Давид Соломонович Шор, был крупным пианистом. Ее мать была деятельным членом «Общества свободной эстетики». Маленькая Ольга помнила Льва Толстого, посещающего дом родителей.

О. Шор училась философии в Германии, слушала во Фрайбурге лекции Риккерта. Но господствовавшие в те годы неокантианские настроения были ей чужды; ее увлекали Платон, Августин, Микеланджело.

В 1921 году О. Шор участвовала в создании Государственной академии художественных наук (ГАХН), стала одним из главных сотрудников. Там О. Шор встречалась со старыми друзьями: М. О. Гершензоном, Г. Г. Шпетом, С. И. Гессеном. С творчеством и философской мыслью Вяч. Иванова она за много лет до личной встречи чувствовала себя «созвучной». Познакомились они в Москве в 1924 году, а с 1927 года О. Шор жила с семьей Ивановых в Италии.

На протяжении 25 лет О. Шор была постоянным собеседником и сотрудником Вяч. Иванова и личным свидетелем его переживаний и духовных исканий. Редактировала Брюссельское Собрание сочинений Вяч. Иванова (под псевдонимом О. Дешарт) и ряд других изданий поэта на итальянском, французском и немецком языках (см. подробнее в некрологической статье в т. 3 указанного собрания, 1979, с. 688—691).

С Ф. А. Степуном и его семьей О. Шор связывала глубокая дружба в течение всей жизни. Поводом для написания письма Степуна была просьба О. Шор сообщить ей материалы о себе, которые предполагалось поместить в посвященном Вяч. Иванову миланском журнале «Il Convegno», где была опубликована обширная статья Федора Августовича.

Вот фрагмент из этой заметки:

«Alle welche Dich suchen, versuchen Dich. Und die, so Dich finden, binden Dich an Bild und Gebärde»:

«Все, кто ищут Тебя, искушают Тебя. И кто находят Тебя, запечатлевают Тебя в лике и жесте». Эти слова Райнера Марии Рильке, начало всякой мистики, Федор Степун повторяет постоянно или исходит из них. И для него «мысль изреченная есть ложь»

* «Вакхический вихрь категорий».

** Фукс... глубоко и блестяще (нем.).

и единственная истина — *Silentium* *. Но этому рассудочному апофатизму, этой мистической ностальгии по единению с невыражаемым Бытием Степун противопоставляет начало этическое, которое делает его поборником жизни и отрывает его от Бога ради Послушания Богу. Глубокий метафизик, острый диалектик, мастер прозы, убеждающий оратор, он никак не может быть причислен к сторонникам аскетического «упрощенчества» жизни.

Хоть Степун и противопоставляет все творчество человека, эту «пыль, которую мы поднимаем и которая скрывает Бога от нашего взора», священному Молчанию, он принимает культуру как трагический долг человека, более того, он требует от человека высокого творческого дела и полноты жизни как священный «долг дара». Но что есть эта полнота? Каждое осуществление происходит через устранение или исключение других возможностей, которые не имели силы себя проявить: но эти потенции не окончательно изжиты, они стремятся найти себе выражение в жизни. Борьба между осуществившим себя «я» и правым стремлением других потенций к примирению с этим «я» и осуществлением себя в нем — главная для Степуна проблема. Борьбу эту он описывает в романе «Николай Переслегин» на примере истории любви, и в своих статьях о театре дает ее феноменологический анализ. <...>

¹ Ежемесячный журнал, посвященный религиозно-философским и социальным вопросам, основанный в Париже в 1932 году католическим философом Эммануэлем Мунье (1905—1950); продолжает выходить в Париже. Персонализм, движение, возглавляемое Э. Мунье и считавшее Н. А. Бердяева одним из своих вождей, имело большое влияние в Западной Европе.

² Позиция Степуна в последующие годы все более оказывалась несовместимой с тоталитарной политикой руководства Германии. В недатированной машинописной заметке (Римский архив Вяч. Иванова) Степун писал: «В 1937 г. я был за непримиримость к Гитлеру лишен профессуры с запретом печатных и устных выступлений. Было очень трудно, так как нас было четверо (Марга с подругой жили у нас). В 1944 г. наша квартира и моя громадная библиотека (около 3 тысяч томов) <...> была окончательно разгромлена, сохранилась только икона Божьей матери, которая была со мной на фронте. К счастью, мы в это время гостили у друзей в Ваварии. По окончании войны я получил профессуру по истории русской литературы в Мюнхене».

³ Речь идет о статье Ф. Степуна «Wjatsheslaw Iwanow. Eine Porträtstudie» (журнал «Hochland», январь 1934; перевод статьи на итальянский язык появился в специальном выпуске миланского журнала «Il Convvegno», январь 1934; фактически вышел в апреле 1934); русский вариант статьи опубликован в «Современных записках» в 1936 году и затем включен в книгу Степуна «Встречи» (Мюнхен, 1962).

⁴ Речь идет о поэме Вяч. Иванова «Человек» (1915—1919); частично опубликована в 1916 году в журнале «Русская мысль», полностью — отдельным изданием в Париже в 1939 году. Имеется следующее свидетельство О. Дешарт в письме неизвестному (Римский архив В. Иванова): «Я знала, что Степун в России «Человека» не читал (в 1915 и 1916 гг. он был на фронте <...> С В. И. он в эмиграции не виделся), но я не знала, что он ничего не слышал в прежние годы о существовании «Человека». В ответ на просьбу Степуна я ему послала тогда еще не изданные «Римские сонеты» и мною переписанного «Человека». Под мою рукопись стояла дата переписки 1928 г. На слово «переписано» Феодор Августович не обратил внимания и решил, что мелопея написана В. И. в 1928 году».

В этой ошибке <...> виновата я, не подумавшая о сообщении точных дат написания «Человека». По существу — это неважно: Степун высоко оценил мелопею и, говоря о неизменном «художественном восхождении» В. И., отнес ее к последним годам. Но «восхождению» он говорит по сравнению с *Cor Ardens* и утверждение остается в силе».

* Молчание (лат.).

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Читайте в 1991 году:

П. Б. СТРУВЕ (1870—1944)

За свободу и величие России

Статьи. Заметки. Письма. Вступительная статья, составление, публикация писем из семейного архива и комментарии Н. А. Струве.

К 120-летию со дня рождения И. А. Бунина

ВОПРОКИ НЕЛЕПЫМ ВЫМЫСЛАМ...

Письмо И. А. Бунина в редакцию «Октября»

Разбирая архив моего отца Григория Александровича Санникова в связи с тем, что в 1989 году исполнилось девяносто лет со дня его рождения (и двадцать лет со дня смерти), я прежде всего обратился к письму Ивана Бунина, текст которого здесь воспроизводится. После смерти Санникова считалось, что именно это письмо, а также письма Андрея Белого — самое ценное, что есть в архиве.

Помню, что как-то незадолго до смерти отца я заставлял его заняться архивом. Он отнесся к этому очень неохотно, но в течение нескольких дней перебирал листки одной из многочисленных папок, относящихся к 20-м годам, по-видимому, очень расстраивался, вспоминая прошедшую жизнь, ничего, насколько я знаю, не выкинул, не прокомментировал, закрыл эту папку и больше к архиву уже не прикасался. Но как-то обмолвился, что Данила (то есть я) займется архивом после его смерти.

Я действительно, сраженный его кончиной, в продолжение длительного времени разбирал архив. Но ничего в этом не смыслил — ни в том, как это делать, ни в том, что ценно, а что можно без ущерба выбрасывать, не знал ни имен, ни событий. Однажды И. С. Зильберштейн приехал ко мне домой и попросил отграть ему письмо Бунина, а взамен обещал, что ЦГАЛИ примет архив и поставит в план разбора на следующий год. Но письма я тогда не отграл.

С 1946 по 1950 год Г. А. Санников был заместителем главного редактора журнала «Октябрь» Ф. И. Панферова. Он пришел после фронта работать в «Октябрь», возможно, потому, что в 1925—1926 годах был одним из первых редакторов этого журнала. Я не помню, говорил ли что-нибудь отец о том, как отреагировала редакция на это письмо, показывали ли его Ю. Жукову (надо думать, что показывали).

Статья Юрия Жукова опубликована в № 10 «Октября» за 1947 год (стр. 112—131), и в ней И. А. Бунину отведено несколько страниц. Ю. Жуков пишет так (стр. 128, 130, 131): «... маленький, сухонький Бунин: рафинированное лицо эстета, под усталыми глазами дряблые мешки, седой, аккуратно расчесанный пробор, пенсне. Он старчески жует губами, утомленно потирает лоб... Бунин поеживается, убирает со стола лангыши, открывает книгу и начинает читать свой старый рассказ «Смерть»... Он читает с некоторым раздражением, как учитель, перегруженный уроками; читает много раз повторенные им тексты... Бунин входит и стоит, прислонившись к притолоке. Он глядит пустыми глазами в зал, раздраженно жует губами, сердится на что-то, но не уходит», Бунин «с деланной живостью начинает говорить»; «озабоченно повторяет»; «раздраженно машет рукой: — Ну что ты, матушка, говоришь»; «нерешительно говорит»; «устало отмахнулся»; «Он помолчал, пожевал по-стариковски губами и сухо повторил...»; «резко оборвав разговор, стал прощаться и потянулся за своим выдавшим виды пальто и мятой шляпой». Заканчивается статья так: «...строгий и желчный, раздраженный и обиженный на своих слушателей, на самого себя, на свою судьбу, на судьбу всей эмиграции, бесцельно растативший лучшие годы в добровольном изгнании».

Неудивительно, что И. Бунин ответил на публикацию следующим письмом. (Позднее к этому эпизоду Бунин вернулся в очерке «Третий Толстой». — См.: «Слово». 1990, № 7, стр. 49.)

25. 3. 1948.

Редакции «Октября».

Вопреки совершенно нелепым вымыслам Юрия Жукова («На Западе после войны», десятая кн. «Октябрь» за прошлый год) я не «маленький и сухонький», а выше среднего роста, худощавый, но широко

кий в кости и в плечах, держусь твердо и прямо,—«фигура-то у вас, папаша, еще знаменитая!» — сказал мне один пленный красноармеец; назвать мое лицо «рафинированным лицом эстета» может только круглый дурак; губами я никогда не жую, пенсне не ношу,— только прикладываю к глазам, когда смотрю вдаль; голос имею не «скрипучий», а еще настолько звучный, что, когда читаю в зале перед тысячной публикой, слышно в самых дальних углах; на вечере «Общества русско-еврейской интеллигенции» читал не «с раздражением», а только строго, местами повелительно, как и подобало читать рассказ, написанный отчасти в тоне Корана; и вообще «раздражаться», «злиться» в тот вечер не имел ни малейшей причины,— злобу и жующие губы Жуков приписал мне, очевидно, только потому, что как же обойтись без этих классических пошлостей, раз изображаешь «маленького, сухонького» старикашку?

Совершенно нелеп и лжив и второй мой портрет, сделанный Жуковым,— он ведь не удовольствовался одним,— нелеп тем более, что полностью разрушает первый. Этот портрет сделан уже на основании личного знакомства Жукова со мной и с моей женой, какое знакомство состоялось по окончании вечера, когда Жуков подошел ко мне с каким-то другим господином и, замирая от восторженного подобию страстия, сказал мне, какое великое счастье испытал он в Берлине, читая зарубежные издания каких-то моих книг. Тут я с машинальной любезностью, обычной в таких случаях, что-то отвечал на его восторги — и, конечно, уклончиво, шутовливо на его бестактные вопросы, намерен ли я вернуться в Россию. А что же прочел я в «Октябре», только недавно и случайно попавшем в мои руки? Прочел, что ядовитый и, как видно, энергичный старикашка превратился вдруг в блаженное, расслабленного полуидиота, что-то смущенно бормочущего, называющего свою жену «матушкой», невзирая на свое «рафинированное лицо эстета» — и т. д., и т. д.

Ив. Бунин.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРИНА НОВИКОВА

*

ХРИСТОС, ВЕЛЕС — И ПИЛАТ

*«Неохристианские» и «неоязыческие» мотивы
в современной отечественной культуре*

1

Сами по себе и те и другие мотивы замечены в нашей литературе, публицистике, эссеистике (шире — культуре) отнюдь не мной и далеко не год-два назад. Замечены, отмечены, осмеяны, одобрены, подняты на пьедестал, сброшены с пьедестала... Позиция критиков, на эту тему писавших, тоже интересует меня как свидетельские показания времени. А не как приговор, под которым (или против которого) надо немедленно подписаться. Главным же образом меня вообще интересует другое.

Если это есть, то хорошо это или плохо? Так вопрос о «неохристианстве» и «неоязычестве» ставился уже не раз. Что есть «это» — раз оно и впрямь есть? Так хотелось бы повернуть сегодня вопрос в предлагаемой статье.

А начать стоит не с сегодня, а со вчера.

Любой литературовед, философ, фольклорист, историк, культуролог, да просто любознательный человек, работая в любой крупной библиотеке, мог без труда обнаружить пространную вещь. Научных трудов по язычеству: всякому — славянскому, европейскому, азиатскому, мировому — множество. Выпущенных в отечестве. Под грифом солидных издательств. Почтенными титулованными авторами и с обширным библиографическим аппаратом.

Оттепель, правда, подобных работ почти не продуцировала. Зато чем прочней воцарялся застой, тем сильнее обозначался прилив «погановедческих» трудов¹. Сперва просочился робкий ручеек; ко второй половине 70-х «море вздулось бурливо»; а к годам 80-м хлынул потоп.

С отечественными работами по христианству ситуация разительно отличается.

До предъюбилейных лет перед 1000-летием Крещения Руси практически все доступное «христиановедение» крепко держат в руках редакции политической и атеистической литературы. Кроме множества детективов, которым позавидовал бы и Юлиан Семенов и которые яркими красками и мрачными фактами живописуют связи христианской церкви (любого толка) с разведками всех без исключения империалистических держав, — кроме экскурсов в историю, из коих явствует, что христианская церковь (любого толка) была у нас на службе максимально темных сил, — кроме популярных брошюр о вреде, — кроме извиняющихся пассажей в биографиях разных великих (писателей, ученых и т. д.), сугубо случайно и попутно надыхавшихся опиумом народа, — кроме этого нет почти ничего.

Сплошь да рядом нет первоисточников. Затрудняешься определить, по какому же изданию цитируются библейские тексты и уж тем паче — богословские труды. «Журнал Московской Патриархии», орган до недавних лет скорее информационный и популяризаторский, выглядит на этом фоне энциклопедией теологической учености. Большинство «разоблачительных» цитат выдернуто из «забугорных» изданий, так что проверить корректность «разоблачений», рассмотрев их в контексте всей книги или статьи,

¹ «Поганин» — по-старославянски и по-древнерусски означает «язычники»; от латинского paganus, буквально: сельский житель.

нет никакой возможности. Наиболее капитальные теоретики-«христовержцы» ссылаются на богословские диссертации из библиотеки Московского Патриархата (поди доберись до них) или дореволюционные церковные изыскания (до них и не пытайся добраться).

А С. Аверинцев? — напомнят мне искушенные читатели. — Его статьи, грянувшие в начале 70-х? А П. Гайденко, чьи работы, такие сложные, до отказа нагруженные философской терминологией, такие «зарубежные» и «специальные» (о Кьеркегоре, о Хайдеггере и прочих им под стать)? Как захлеб они читались; как незаметно, однако властительно подпитывали дух интеллигентов, вжатых в социологические ниши застоя, — от условно тихих НИИ до котельных и кочегарок, этих ПЕН-клубов тогдашнего «молчаливого сопротивления»!

Назовут еще с поддюжины имен... Но в том-то и соль: в их с е н с а ц и о н н о с т и. Ибо воспринимались они на ф о н е. Помыслить страшно: молодой тогда безумец-академист невозмутимо и подавляюще-эрудционно сопоставляет «образ Зевса» в эллинской религии (это можно) — с кем? С «образом Христа» и «образом Яхве». Цитирует Книги Пророков и кондаки Романа Сладкопевца так, будто Исаяю или Сладкопевца можно купить в книжном магазине за углом.

Он «со други своя» не принимал правил общей игры. Но, значит, правила-то существовали. И вызубрили мы их назубок.

Таково было положение с язычеством и христианством еще несколько лет назад. Склонна думать, что, при всей либерализации нынешнего общественного сознания, разница в отношении к ним осталась. С язычеством бесхлопотно; соответственно, ему «ведде у нас дорога»; христианство же... ну, скажем так, п р о щ а е т с я — чтобы сподручнее использовать его в целях утилитарно-политических, или назидательно-моральных, или культурно-пропагандистских. «Оно и тяжело, конечно; но что ж...» — так, пушкинской цитатой, можно определить отношение к христианской традиции и сегодняшнего нашего генералитета от идеологии.

Алмазным блеском очевидности засверкала эта разница на рубеже: в канун 1000-летия Крещения Руси. Дату эту встречал девятый вал «погановедения», так что в глазах несколько даже двоилось: что мы, собственно, готовимся праздновать? Встречу восточнославянских культур с христианством — или прощание (а вернее, н е ж е л а н и е прощаться) с язычеством?

Чем позже, тем вежливей, чем раньше, тем ультимативней, но именно в ту, предъюбилейную и «раннеюбилейную», пору были высказаны и основные претензии к христианству по сравнению с язычеством. Претензии шли по многим — в сущности, по в с е м основным — линиям: государственной, национальной, экологической, нравственной.

И это было хорошо: неожиданно, п о д а р о ч н о хорошо. Кто бы мог дотоле подумать, что не на заре «нашей эры», и не в «эпоху Апостата» (П. Верлен), то есть императора Юлиана Отступника, и не в буйных средневековых прениях с «еретиками», и не в роскошно-витийственных ренессансных памфлетах, и не в опусах вольтерьянцев XVIII века, с их «холодной иронией» и «площадной пасмешкой» (снова А. С. Пушкин), — не тогда, повторю, а на исходе второго тысячелетия «по Рождестве Христовом», в стране, уже семь десятков лет с лишком как вытвердившей, что никакого Бога нет и никаких доказательств на сей счет не надо (применяя навыворот реплику булгаковского Воланда), — что в э т о й стране и в э т о время вновь с полной серьезностью разгорится «пря» о христианстве и язычестве?

Язвительный умница Т. С. Элиот обронил: кто называет Библию памятником культуры, тот считает ее памятником на могиле христианства... Именно в громоздких предъюбилейных баталиях вокруг роли «Христа и Велеса» памятник сошел с могилы и стал (в восприятии широкой публики) живым явлением.

Спорят только о н а с у щ н о м. Спор — неотразимое доказательство того, что в погребенном и «чужом» эпоха снова учуяла даже не вечное, а остросиюминутное и жгуче-«свое».

Что же ставилось в вину восточнославянскому христианству по контрасту с язычеством?

Государственный аспект. Огосударствление религии; создание предпосылок для того, чтобы рано ли, поздно ли сформировалась памятная триада «православие — самодержавие — народность». Даже католичество, с его явным вкусом к «священной империи», выставалось православия в пример — ибо католичество есть все же Ц е р к о в ь - Г о с у д а р с т в о, а не Ц е р к о в ь - д л я - Г о с у д а р с т в а. Язычество же (имелось в

виду снова-таки язычество в его славянском, не греко-римском варианте) — религия родоплеменная. Поэтому таких имперских тяготений взлелеять в себе оно попросту не могло.

Национальный аспект. По сути то же самое. Христианство — религия наднациональная, а, стало быть, от него прямой путь к «интернационалу». Христианство выкорчевывало родоплеменные корни молодых восточнославянских культур; рвало естественную пуповину, связывавшую их с материнским лоном национального бытия и самосознания. С другой стороны, христианство было сопряжено с централизацией, с выдвиганием «главного» престола — духовного, но и политического: отделить одно от другого по тем временам было невозможно. А централизм ставит разные племена, их родовые владения, их культуры в заведомо неравное положение. «Метрополия» возвышается и диктует; «окраины» подчиняются и обескровливаются. И тут уж безразлично, какое имя эта метрополия носит: «Царь-град» ли Константинополь, великокняжеский ли Киев или «первопрестольная» Москва.

Язычество центробежно; христианство центростремительно. В годы, когда страну всколыхнул бунт «окраин» против диктата «центра», наперед ясно, которая из традиций, языческая или христианская, выглядела по этому пункту предпочтительней.

Экологический аспект. Язычество изначально и сущностно «природно»; христианство — надприродно, сверхприродно. Язычество усматривает в Человеке отнюдь не «венец вселенной», да и вообще с Человеком не слишком носится. Человек для языческого мировидения — элемент великого Космоса, «Белого Света». Не меньше. Но и не больше. Звери и птицы в глазах язычника — отнюдь не братья меньшие, а братья старшие, куда более могучие и «вещие», нежели человек, — хотя бы уже потому, что они ближе к природным истокам. Бить их по голове не рекомендуется не из покровительственно-сердобольных видов, а потому, что они сами способны в ответ отомстить «царю природы», и притом гораздо большей. Реки и моря, горы и леса в язычестве неизмеримо более полновластные действующие лица, чем люди. Хозяева стихий, духи воды, земли или огня суть одновременно и повелители людского сообщества, — не наоборот. Эта безостаточная погруженность в физическую природу могла казаться тягостной поколению наших дедов, безусловно казалась — поколению отцов; но поколение, на которое пала чернобыльская Звезда Полюнь, посмотрело на дело иначе.

Христианство выделило человека из природы по единственному, зато главному признаку. Человек есть существо духовное; этим Человек, и только он один, прямо причастен Божеству.

Без христианства не могло бы возникнуть гуманизма. Многие годы эту вполне научную аксиому мы произносили вполголоса, под сурдинку. Нам казалось, что первое слово — «христианство» — компрометирует второе — «гуманизм»... Теперь аксиома была воскрешена — громко, но обвинительно: в ней теперь уже гуманизм (при всех оговорках: «безбожный», «антропоцентрический») компрометировал христианство². Получалось, что именно христианство произвело гибельный раскол целостного до тех пор мироздания на «метрополию» (Человека) и «окраины» (остальную Природу). Ну и, конечно, «метрополия» начала диктовать, править и повелевать и все такое; а «провинция», потеряв самостоятельную душу, потеряла и голос, права, полномочия, а в конечном счете — жизнь («неживая природа» — такого вообразить язычество действительно не в силах). В итоге же «окраина», Природа, мстя за унижение, пошла войной на «центр», Человека.

Из экологии мы перебрались уже в нравственность. Счеты к христианству в нравственном аспекте звучали, пожалуй, сдержанней прочих. Зато раздались раньше прочих.

Верующий и больше кого-либо сведущий в религиозной философии М. Бахтин, например, едва ли отдавал себе отчет в том, что его теория «народной смеховой культуры» — один из самых тяжелых ударов, какие язычество когда-либо наносило христианству. Причем удар (соответствуя самой теории) приходился ниже пояса. Как раз в «телесный низ», по «органам пищеварения, естественных отправлений и деторождения». Ибо именно эти органы были названы вместилищем народного, оптимистического, жизнеутверждающего начала. А заодно, как выяснилось, веселый и привольный «телесный низ», языческая природность находятся в вечной оппозиции к неулыбчиво-мрачному вер-

² Люди конца XX века «перестрадали... в невиданных дотоле безднах индивидуального и коллективного зла, оказавшись на обломках гуманизма, как раз горделиво принявшего самого человека, и только его, за абсолют». — Светлана Семенова, «Николай Федорович Федоров» («Литературная газета», 22.11.89).

ху: к властям (светским и церковным), но за компанию и к духу, духовности и тому подобным христианским категориям.

Последнего М. Бахтин никогда не говорил и не писал. Это за него договорили и дописали другие. Под завязку хлебнувший в годы культа опал и ссылки, ученый и не помышляя, на чью сторону позовут сражаться его теорию. Но когда после оттепели подморозило снова и филологию в очередной раз начала прибираться к рукам идеология, она-то, идеология, быстро уяснила для себя, как придать «средневековой» концепции актуальную направленность.

Лично мне, к примеру, не известен ни один председатель колхоза, который лет пять-шесть назад дерзнул бы организовать у себя крестный ход или молебен с водосвятием. Зато мне хорошо известны факты той же давности, когда на Полтавщине, после специальной «вказівки згори» (указания сверху), председатели организовывали купальские игрища и костры. Именовалось это скорее всего «народными гуляньями». Или «праздником встречи лета» (осторожность никогда не помешает!). Но риска и не было. Ведь было еще раньше сказано, что народная культура — это культура язычества. А слово «народность» у нас в идеологии всегда играло роль пропуска на трибуну...

«Телесно-низовую концепцию» оспаривать тут не стоит: ее перехлесты деликатно и мудро подправил медиевист А. Гуревич. Напомнивший, что карнавал и пост именно в народной культуре Средневековья — не антиподы, а подвижные взаимодействующие. И что аскетизм «изобретен» человечеством по меньшей мере так же давно, как и священный «купальский» разгул.

Речь сейчас о другом: что пришлось ко двору тогдашних «установок», а что нет. Велес — пришелся. Христос — нет.

Но помимо «установочных» манипуляций было во вспышке «неоязычества» нечто иное — интуитивное и неподдельное.

Сном-духом о такой функции не помышляя, «неоязычество» в промежутке от периода «послеоттепельного» до периода «послеюбилейного» исполнило функцию духовного тамбура. Перехода от сознания начисто десакрализованного, полностью утерявшего «чувство тайны», — к сознанию, в котором это чувство смутно просыпается, ища мировоззренческих, поведенческих и художественных форм для своего повседневного воплощения.

Не хочу верить, лишь бы верить, — воскликнет публицист в «Известиях» 1990 года. Хочу верить, лишь бы верить, — мог бы воскликнуть типичный отечественный неофит году в 1970-м. И уж наверняка — году в 1980-м.

2

Столетиями христианство и язычество сражались по разные стороны теологических баррикад. Это мы выучили давно. Гораздо меньше мы задумывались над тем, что битвы (и жестокие!), что баррикады (и высокие!) располагались-то на духовной территории, не погоревшей еще, при всех фундаментальных разногласиях, некоей мировидческой близости. Зато это становится ясно в ретроспективе: лишь теперь — и только людям, подобный тип мировосприятия уже утратившим.

Что же (именно по мировидению, по мировосприятию) смыкает не картонно-«идеологическое», а подлинное, исконное языческое мифомышление — и религиозное христианское сознание?

Смыкает многое. Сплошная, всепроникающая «знаковость», значимость и языческого и христианского мироздания. Испытующая роль любого житейского события в обоих мирах. Постоянно, ежедневно и ежемгновенно вменяемая человеку обязанность — переводить каждый свой шаг с языка быта на язык Бытия. Или, лучше сказать, с мнимого языка быта на истинный язык Бытия. А еще лучше сразу договорить до конца: ни в языческом, ни в христианском мире быта нет вообще — есть лишь Бытие. Светящееся и глядящее отовсюду — как сквозь витражное стекло храмов просвечивают вечностью «святые, схимники, цари» (Б. Пастернак).

Мир и христианства и язычества — вселенская притча, которую надо понять, услышать. Внять ей. «Правдивый и свободный язык» волхвов, «горный ангелов полет» в этом мире нисколько не более притчеобразен, не более вещь и символичен, нежели «проза жизни»: «дольней лозы прозябанье», «гад морских подводный ход». Отсюда вывод собственно литературный. Если произведение (любое) не пронизано этой «тотальной сетью отождествлений» (В. Н. Топоров), если прозябанье житейской лозы не откликается в нем

на горный полет,— значит, это произведение не вскормлено ни в о и с т и н у языческой, ни п о - н а с т о я щ е м у христианской традицией.

Дело, таким образом, вовсе не в том, сколь часто в той или иной литературной вещи поминаются кресты, свечи и церковные купола — за что на исходе застоя влетало, положим, «околохристианину» А. Вознесенскому... Или: сколь регулярно встречаются буйные травы, дикие скачи, разгулявшаяся рука и удал молодецкая — что было так по нраву «околоязычнику» В. Сосноре. Топика, метафорический словарь, предметная утварь, совокупность персонажей у писателя могут быть многообразными. Важно, вокруг чего они собраны и с чем сопряжены.

Еще одно важно: чувство с в я щ е н н о г о, столь мощное и всеприсутствующее как в языческой, так и в христианской вселенной.

Поскольку все и вся в этой вселенной несет на себе космическую печать, то с очевидностью все и вся в ней священно. Смена ночи-утра, зимы-лета, посева-жатвы — но и человеческая история: смена поколений и держав, посев и жатва деяний человека.

Священность Бытия не равнозначна идилличности.

Язычество, как и христианство, превосходно знает о конечности любых земных царств и династий. От шумеро-аккадских табличек, описывающих мировой потоп, до «Старшей Эдды» Древних скандинавов, прорицающей мировой пожар в конце света,— языческие сказания весьма мало смахивают на идиллию. Однако и естественная смерть и трагическая гибель в них т о ж е осмысленны, а не абсурдны. И в масштабах гигантского «хозяйства мироздания» не беспросветны, ибо не бесцельны. Рассказ о них призван потрясти слушателя, разбудить в нем ужас — но ужас катарсиса, ужас т о ж е священный, а не обреченно-животный. Физиологический визг «а-а-а!», каким встретил свой смертельный недуг толстовский Иван Ильич,— реакция, конечно же, не христианская. Но и отнюдь не языческая!

Так что гимны «жизнелюбию», «кипению сил», «природной энергии», якобы составляющим исключительную принадлежность язычества, идут от культурологического невежества (оговорюсь: донедавна — невежества чаще всего вынужденного). Да еще — от вытекающей из него наивной утопии язычества как «безоблачного детства» человеческой истории.

Утопия эта необременительна и, как все утопии, безответственна. А принять на себя духовные законы что язычества, что христианства — это ноша. И немалая.

Прыгать через купальские костры и одновременно злоупотреблять ядохимикатами при обработке полей — означает, что н и к а к о г о священного отношения к природе у прыгунов давным-давно нет. Однако не злоупотреблять ядохимикатами т о л ь к о п о т о м у, что сообразили наконец: пойдут эти яды в нас самих (и к тому же экономически не выгодно будет в скором времени сбывать «грязные продукты») — означает столь же явное отсутствие чувства священного. «Иерархии предметов». Понимания того, что чем управляет: дух — материей, этика — экономикой, «мировой лад» — формами собственности и системами производства, а не наоборот. Язычество в этом неповинно. Христианство — еще менее.

То же справедливо и насчет «политики».

Кажется порой: многие писатели сегодня, работая на материале разном (кто историческом, кто современном), подвизаются в жанре едином — создают Евангелие от Пилата. Не в смысле апологии «разумного предательства», (Со своей, римской точки зрения Пилат, кстати, никого не предавал; умывая руки, он лишь юридически свидетельствовал, что из «дела об Иисусе» самоустраивается, отдавая его иудейскому Закону.) Под Евангелием от Пилата я разумею п е р е в е р н у т ы й взгляд на мир. Когда политические страсти, конфликты, суды, приговоры и есть д е л о. А всякие там «запредельные», помягче — д у х о в н ы е, материи — это не более чем соус: стимулятор, предохранитель — не наименование существенно, а отводимая р о л ь. Вспомогательная или, что то же, «удержательная».

Очень выразительно «пилатский» взгляд на вещи проступает в трех христианских добродетелях, наиболее благосклонно встречаемых сегодня «мирской» культурой. Это миротворчество, благотворительность и милосердие.

Если взять на себя труд и подсчитать, сколько раз Церковь п о л о ж и т е л ь н о фигурирует у нас по этим параметрам и сколько — по всем остальным, то на остальные останется ничтожный процент, а эти три покроют львиную долю публикаций.

Миротворчество,— обратите внимание,— понимается нынче все более и более широко. И все приметней переключивает из внешней политики в политику внутреннюю.

Национальные ли конфликты облить примиряющим елеем, взбунтовавшимся ли заключенным дать гарантии, без которых те не идут на переговоры, «сепаратистам» ли продемонстрировать готовность к компромиссу,— всюду при этих попытках возникает фигура в рясе (не только, разумеется, в рясе, бывает, и в чалме,— но сейчас речь о христианстве). Люди в рясе становятся как бы духовным подразделением спецназов. Точнее, подразделением, спешно мобилизуемым в попытках отменить второй акт внутриполитической драмы — появление самих спецназов.

Хорошо ли это? В прагматико-социологической плоскости — несомненно хорошо. Увещевание всегда лучше слезоточивого газа, и уж само собой — лучше автоматных очередей. Но в плоскости христианской философии это скорее прискорбно. Ибо доказывает, что наше общество (а ведь на «батюшек» как на политических гарантов уповает не начальство, а общество; начальство лишь учитывает эти упования), — итак, общество наше склонно тачать сапоги из Шекспира... то бишь из Библии.

Один очень энергичный и неподдельно измаянный нашими социальными бедами общественный деятель заявил недавно с экрана ТВ: «Говорят, мы все должны покаяться; это верно, но время для покаяния мы уже упустили; теперь надо не каяться, а действовать»...

О, Господи,— с тяжелой сердечной одышкой вздыхал то и дело Лесков последние годы своей жизни. Вот и тут влору повторить: о, Господи!.. Когда же это было, есть или будет поздно каяться — если покаяние понимать по-христиански или хотя бы около того? И как же «действовать», и что за прок выйдет из этих «действий», и куда они заведут — не очищенные прежде тем самым покаянием?

Как ни удивительно, покаянные ноты, «сокрушение сердечное», горестная исповедальность зазвучали в нашей публицистике и литературе от застоя к перестройке раньше всего у старших. В поэзии, например, у А. Тарковского и А. Межирова, у Д. Самойлова и М. Дудина (нарочно перечислю имена из разных, прежде даже противоположных рядов и обоем).

А может, это и неудивительно. Старость (не просто физически — духовно) делает финальную черту земного существования человека из умозрительной — очевидной. Змеящейся по календарю; чертящей свой след по лицам родных, друзей и оппонентов; отрезающей каждый день, дольку за долькой, из последнего, неприкосновенного, невосполнимого уже запаса. Меры и масштабы на старости лет крушатся.

«В моем возрасте ничего уже не страшно, кроме Страшного суда», — пошучивал в предсмертные свои годы М. Бажан. Пошучивать он пошучивал, а ознобец пробегал у собеседников от этой интонации. От этого взгляда — усмешливо-беззащитного о... Штатные критики-одописцы той поры пытались ваять из Бажана «живого классика»: мраморную безопасную фигуру. Не скажу, чтобы он бурно возражал. Но, при всех отсидах во всяческих президиумах, он — тогда же — переводил Рильке. Занятие, в середине семидесятых, на Украине, совсем не «классическое», а скорее «подрывное»... И переводил с такой старательностью и долготерпением, так покоряясь безжалостным замечаниям взыскательнейшего мастера перевода, «неблагоданежного» тогда Г. Кочура, — словом, так выкладываясь, как ни над чем дотоле.

Это был и его прощальный монолог: «Дуинские элегии», «Сонеты к Орфею», другие последние стихотворения Рильке. Это было то, что он хотел бы сказать сам: своим умершим и расстрелянным сверстникам 30-х, оплыванным — конца 40-х, всем остающимся. А возможно, это ему хотелось предъявить и на том самом «Страшном суде» Вечности, от которого он отшучивался.

Или стихи Д. Самойлова. «Возвышенная старость» в них по смыслу и стилю внятно окликает «старость — Рим» Б. Пастернака. Она «тычет в нас перстом пророка и хриплым голосом кричит». И как задолго до наших дней он это пережил: перст пророка, направленный прямо в нас! Кто бы поверил, не зная датировки, что не сейчас это написано? Не тогда, когда все траурней звучат скорбь и стыд в лирических циклах А. Межирова. Не одновременно с недавними циклами М. Дудина, где покаяние выговаривает себя неловко — короткими толчками, четверостишиями-восьмистишиями. Сухо, горько и (по тону стихов слышать) без надежды на участливо-легкое прощение.

«Перерасходована смета, а ты — не вышел в короли. И дьявол требует ответа с тебя за клятву на крови»...

«Судьба рассеялась по крохам на скудной почве скудных дел. А над моим чертополохом случайно ангел пролетел»...

Никого из этих «стариков», живых или мертвых, я по росту не соизмеряю. И биографий их не взвешиваю: вверх потянет? вниз? Нет у меня полномочий «Страшного суда». Мне другое видно и важно. Изю всех поколений именно старшие, старейшие первыми предварили лихачевский призыв к покаянию и откликнулись на него.

Еще бы, возразят молодые, им же есть в чем каяться. Накопить успели...

Накопить в се мы успели. А в «старейшинах» сработало, мне кажется, иное накопление. Что-то и вправду они успели взять от того, позабытого нами, давнего мира, далекого уже душеустройства, когда белое и адо было хоть единожды в жизни назвать белым, а черное черным; когда и адо было соотносить себя с Бытием, а не только с постановлениями. А ежели не так (или не совсем так) на земле прожито,— облегчи душу. Створи ей дверь к людям и окошко к небу — покайся...

Шиша с два! — хриплым голосом кричит уже не самойловская «яровая старость», а нынешняя обманутая юность, другое а н т и исповедание веры — или, правильное, исповедание а н т и веры. Ни в покаяния не веруют, ни в искупления, ни — тем более — в прощения. Ничего и никому не простят: ни отцам, ни дедам.

И что же дальше? Самим станет и сорок, и пятьдесят; свои дети вырастут; тем-то какой хлеб есть, по какой земле ходить, какому Богу молиться?

Бросьте вы вашу «глобалку» (появился такой жаргонный термин), скажут трезвые политологи. У них все просто, все по-пилатски: покаяние рассматривается как деталь (иногда полезная, но не обязательная). Как компонент политического действия: его прекраснотушный, но уже отставший от событий, уже — или еще — ненужный этап. А что без этого личного содрогания, отвращения от зла и оплакивания т в о е г о собственного внутреннего «недостойства» (а не: скороспелых или незрелых правительственных указов; а не: паралича власти; а не: половинчатости реформ) никакое «действие» ничего не решит,— как-то в голову нейдет. Все-таки мы же взрослые люди, все равно — верующие или неверующие...

Позиция недвусмысленная. И любой, разумеется, волен ее принять, равно как и отвергнуть. Но принимающему такую позицию следовало бы по крайней мере воздержаться от христианской жестикуляции.

Аналогичная картина — и с милосердием и с культурной благотворительностью. «Мирское» сознание отводит тут христианству роль доброго дядюшки Сэма. Пусть, мол, нам поможет, а заодно и капиталец подзаработает... Дядюшка — капиталец денежный; христианская братия — капиталец душевспасительный. На скорую руку организуем акционерные общества, где в акциях «покупается» праведность.

Станным, провиденциальным образом еще десятка полтора лет назад была у нас издана в новом переводе, а в 1983 году пополнена отменным философско-филологическим комментарием библейская «Книга Иова». Уж она-то должна была бы сильно поколебать умы всчешских «акционеров». Увы, как видно, не поколебала.

Между тем комментатор книги, С. Аверинцев, внятно объяснял там (а заодно и в соответствующей статье энциклопедии «Мифы народов мира»), какую тяжбу ведет в «Книге Иова» Сатана с Господом Богом. Центральный пункт этой тяжбы — вопрос о том, во имя чего Иов добродетелен. Сатана утверждает: во имя корысти, хотя бы и возвышенной. Рассчитывает-де если не на вознаграждение материальное (здоровье, долголетие, процветание дома и семейства), то на «компенсацию» духовную. Иов Богу — веру и преданность; Бог Иову — гарантию насчет грядущего душеустройства.

Сатана из древней притчи спор с Богом, как известно, проиграл. Бескорыстное устремление к добру, решимость любой, пусть самой страдальческой ценой «объясниться со своим Богом начистоту» (С. Аверинцев) и таким образом уяснить истину, а не выторговать душевное успокоение,— оказались у Иова сильней естественной, природой в человеке заложенной тяги к приятному и полезному.

Здесь, между прочим, и пролегал водораздел между языческим мироощущением, языческим жизнеповедением — и мироощущением «библейским», а позже «евангельским».

«Натуральное», первозданное язычество, как уже упоминалось, вовсе не чуждо идее священного. В этом оно торит дорогу христианству. Но «работает» со священным оно еще достаточно прагматично и операционалистично. Языческие боги, языческие повелители стихий духовным состоянием Человека не обеспокоены. Духовного спасения Человеку именно как Человеку: личности, но и сыну всего человечества,

а не просто биологической особи и не только члену родового сообщества,— не предлагают.

Добро и Зло язычества — это прежде всего Польза или Порча. Чем дальше мы отступаем в глубь веков, тем этот дээтический и внеетический утилитаризм очевидней. Однако и в позднейших языческих верованиях он не исчез. Он-то и объясняет преобладающее для язычества значение магии и магического ритуала.

Публицисты сегодня выпустили целый колчан стрел в адрес сограждан, спешащих утром поставить свечку во храме Божием, днем отсидеть на партсобрании, а вечером попасть на сеанс «чародея-лицедея» типа Чумака или Кашпировского. Сограждан насмешливо упрекают или гневно изобличают во всеядности. Между тем по типу поведения никакая это не всеядность, а вполне последовательное магическое отношение к действительности. Ритуальное участие в ней. Партсобрание и телепатический сеанс в одинаковой степени представляют здесь магическое «обрядославие». Как и свечка или другие возможные христианские атрибуты.

Магия есть попытка «договориться» со священным, повлиять на него — без внутреннего переустройства души. Без усердного труда над ней. («Душа обязана трудиться», — сказал Н. Заболоцкий, поэт, начинавший как образцовый «неоязычник», а кончивший как стыдливый христианин.)

Позволю себе предположить, что именно «новая магия» есть на сегодня самый популярный, самый расхожий и удобный поведенческий тип и ценностный ориентир — как для «неоязычников», так и для «неохристиан». Ожидание чуда наружно — без чуда внутреннего. Надежда на преобразование — без преображения.

А уж в какой лозунг эта жажда «корыстного», «внешнего», «операционального» чуда конкретно отливаётся: в экономический, в политический, в национальный, в оккультный, в культурный, — дело десятое. И к каким богам «магисты» зывают: к белым, к черным, к красным или какого-то другого колера, — тоже главного не меняет. А главное, повторю, — тип духовного склада и житейской его реализации.

Тип же другой: сознание, пробуждающееся к бескорыстному добру, — совершенно не обязательно находит себя в сюжетах, явно связанных с высокими материями. Я бы даже дерзнула высказать такую мысль: «готовые», прокламирующие себя «специалисты по духу» именно сегодня крайне сомнительны. Мы болели столь долго, так больны и сейчас, что реанимация духовности (которую многие до сих пор путают с культурностью) исключает уверенную позу, широкие жесты, бег вприпрыжку. Душа наша как бы учится ходить заново — маленькими шагами. Так оно надежней.

«Скорее взыщешь милость... если соблюдеши меру свою и не взыскуешь высшего, чем надлежит тебе», — говорил по поводу «возвышения души» прославленный проповедник XII века Бернард Клервоский.

Вот одна из таких ступенек — нашего восхождения? претканика?

Выше упоминалось: христианству и вытекающему из него гуманизму от лица язычества выставлялся обвинительный счет по отношению к «нечеловеку». К животным, растениям, прочей природе. Но есть и в самом человеческом обществе зыбкая грань между «вполне человеком» и «не вполне человеком»: люди, умственно неполноценные. В перестрочной публицистике тема эта приобрела резонанс в основном (опять-таки!) социологический: вменяемость или невменяемость Сталина; психушки эпохи застоя — «белые» концлагеря.

Ну а если «псих» — не «романтический» вариант безумного ясновидца или параноидального злодея? А вариант самый «непоэтический» — дебил. Куда с ним и как нам с ним обходиться?

Русский прозаик Р. Киреев и украинец М. Рябчук, каждый независимо, сделали «дебила» героем одного из своих рассказов. Положим, у Киреева он и не дебил, а только «дурачок»: славный работяга, любимец мастера. Тащили при рождении голову щипцами да и повредили. Жена есть, профессия есть, но манера говорить и переживать (тончайше воспроизведенная Киреевым) какая-то детская. Да теща-злыдня в лихую минуту на него пальцем у виска крутит.

У Рябчука герой — дебил несомненный. Пишется это слово курсивом, а то и вслух кричится вдогон. И работник из дебила никудышный: грузчик, а из рук все валится. В лифте застревает, товарищи по работе (среди них и рассказчик) зубами на него скрипят.

Ага, сообразит читатель, ставится проблема милосердия.

И ошибется. Не «ставится». И не «проблема». А тихо-тихо, больше взглядом, чем речью, отхаживает пожилой мастер униженного тещей киреевского «дурачка». А мается тоской подсознательной вины рассказчик у Рябчука: утонул «дебил» во время отпуска в море. Вроде бы туда ему и дорога: отмучился. Однако мучиться (как удостоверяется на себе герой) придется теперь живым: не физически, но «метафизически» человека убившим, выбросив его из своего человеческого круга.

Сегодня вынесем за скобки «Дебила», старушку какую-нибудь склеротическую; завтра — слабака, очкарика, «неудачника»; послезавтра — ненужную, ослабевшую речку, бесперспективную деревню, а послепослезавтра? Бесперспективную нацию? Страну? Расу?

Вряд ли Киреева, Рябчука, иных «нешумных гуманистов» специально заботила христианская генеалогия гуманизма и общечеловеческих ценностей. Их писательское дело — показать. Дело читательское — над показанным призадуматься.

А вот вопрос о том же с другого конца. Фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Можно определить его сюжет как встречу человека с Зоной. А можно — как встречу с Богом. Одни герои при этой встрече демонстрируют духовную неготовность к Великому Контакту, нравственную «недочеловечность». Другие — возвращаются «оттуда» другими. Открывшими и утвердившими в себе человека.

И посмотрите, как сводится при этом онтологический баланс. «Человеческое» проверяется «божественным» (хорошо, хорошо: не буду смущать читателя с иным словарным запасом; скажу — проверяется «космическим», «надчеловеческим»). Но сущностно человеческим оказывается как раз то, что в самом человеке не противоречит «запредельному», не разлетается вдребезги от соприкосновения с ним.

Языческому человеку любовь к природе давалась без труда, но это была любовь слабого к сильному. В «нашу эру», а особенно в последние ее десятилетия человеку приходится переучиваться: учиться любить хрупкое, слабое, уязвленное и уязвимое. И не ему, слабому, покровительствуя. А себя спасая, свою душу, само свое человеческое (и больше, чем индивидуально-человеческое) существование.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине...»

Не хотим такой любви? Непосильна, несвоевременна она для нас? Тогда — своевременно приходят «черемуха» или бутылка с зажигательной смесью, взрыв на атомном реакторе или «черные тюльпаны».

3

Одно слово в предыдущем разделе статьи мелькнуло как бы попутно — а между тем на нем надо задержаться. Массивное, широко ветвящееся, а последнее время и грозно шумящее, слово это — национальн^ый.

Соотношение нынешних национальных возрождений и возрождения религиозных начал — проблема огромная. Исчерпать ее немислимо, и не только в ограниченных рамках одной статьи. Само соотношение еще только складывается; контуры его на ходу меняются; политика именно здесь, как нигде активно, пытается обосноваться и перейти к действию — понятно, действию по-пilateски.

С высоты птичьего полета (скажем, над европейской территорией страны) разница национальных позиций бросается в глаза.

Русская Россия начинает все больше задумываться над православными устоями своего национального бытия. Автономии российские колеблются в широком конфессиональном разбросе — от явственно еще языческих культурных зон до христианизированных, исламизированных, воспринявших буддизм. Другие регионы тоже неоднородны.

Прибалтика насчет национальных языческих или национальных же христианских традиций сохраняет, пожалуй, состояние наибольшего равновесия: обе традиции почитаются своими, ни одна не декретуруется и не изгоняется. Православная Молдова (как и Украинская Автокефальная Церковь) борется за родной язык в богослужении и за церковную независимость. Грузия и Армения давно этого добились. Есть, само собой, проблемы и у других христианских или нехристианских течений.

Но вот «неоязычество» в литературе и в культуре,— там, где оно призывается под национальный стяг (ни грана иронии, произнося «национальный стяг», я сюда не вношу),— мобилизуется с целью резко определенной. Уже не один раз выговоренной и даже отлитой в законченные формулировки.

Цель — отмежевание. Своего — от несвоего (или полусвоего). Органичного — от насилим (а то и кровью) навязанного. Самобытного — от унификаторского.

Язычество наделяют в подобных случаях статусом религии (и культуры) «колонизальной»; христианству отводят роль религии (и культуры) «колониальной».

И вторая цель — воскрешение. Собственных национальных первоначал, праисточков, «пра-праиссыка», как сказал бы Юлиан Тувим. Тоже ведь веровавший в чудодейственное обновление поэтического, да и обиходно-человеческого мироощущения, если спуститься «в детство слов язычных», в «тайное подземное полесье», где в мистерии прасознания только-только «словом обернулось тело» (цитирую «словотворческую фантазию» Тувима «Зелень»).

Заметьте: это «на роскошном»-то «польском словополе» так манило поэта язычество и языческая «словесь»! Что же и говорить о поле, суржилом не по своей воле заросшем? Репрессиями пытоптанном? О поле украинском, или белорусском, или им подобном? Как там не гордиться первостихией своей — язычеством, если в нем твоя давность, твое равенство в кругу иных, старейших европейских народов и одновременно твоя культурная уникальность?

И — твое бегство от опостылевшей «социологии» и ее близнеца, официальной идеологии. Не перечесть, сколько писателей в республиках эпохи застоя спасалось так им «неоязычеством». В сущности, едва ли не вся «метафорическая» украинская поэзия или «химерная» украинская проза, «загадочная» и «притчевая» лирика прибалтов или воскрешенные белорусские «волочёбные», колядные, жнивные и прочие обрядовые тексты (равно как их стилизации) были тогда национальной отдушиной и способом спасения национальной культуры.

Проследите за географией тогдашнего «неоязычества»: где были самые густые его всходы? И сопоставьте с тогдашней общественной температурой: где шла наибольшая охота на ведьм? Где национальное выслеживалось и травилось особенно рьяно? Или состояние самое трагическое: где выслеживать-то было уже почти нечего,— такая пала на душу и на художническое слово анемия, дистрофия, беспмять?

Вы увидите: участки совпадают.

Рыжие кобылы и священные источники — узорчатые деревенские колодцы у И. Друцэ были не просто данью метафорике и символике, на которую щедро прощедшая бароккальная школа молдавская (как и украинская и белорусская) традиция. Они были формой самосохранения чего-то большего, о чем нельзя было сказать прямой речью, но можно — типом образного мышления, щемящими ассоциациями: воскрешаемым вновь и вновь алфавитом национального космоса.

Латыш К. Скуениекс не так себе, только для заработка или ради просветительства, переводил тогда фольклор чуть ли не пол-Европы. Вплавлял цыганско-андалусскую мифологию Лорки в свои (упорно не печатаемые) стихотворные циклы. Геворг Эмин не зря говорил поэту с Украины Л. Вышеславскому, как замечательно тот приметил следы язычества в армянской культуре, быту, мироощущении... В контексте разговора (вспоминает Вышеславский) это означало: ты написал о нашем «прошлом, пронизывающем настоящее и уходящем в будущее. О вечности, глядящейся в вечность».

Говорилось «языческое» — подразумевалось «национальное». Говорилось «языческое» — подразумевалось вечное, «космологическое». Говорилось «языческое» — подразумевалось «вне идеологическое», «вне официальное». В общем, как и везде, речь времен застоя имела здесь двойное дно.

Времена эти прошли, а с ними, надо думать, прошла и нужда подразумевать. Настала пора разуместь. Среди прочего — разуместь и невозможность полноценного воскрешения языческой модели мира в новых всемирно-исторических условиях.

Не однажды мне приходилось уже писать о причинах такой невозможности³. Поэтому сейчас повторю их тезисно и вкратце.

³ См., например: Марина Новикова, «Круг и путь» («Новый мир», 1989. № 8)

Языческая модель мироздания — круг. «Вечный возврат». Природный круговорот всего живого, от растительного семени, выросшего колосом, сжатого и вновь умирающего-воскресающего в земле, — до человеческого семени, возрастающего и ложащегося в землю, чтобы снова воскреснуть в потомках. Двух понятий язычество не то что не знает — не приемлет. Не может принять без того, чтобы весь его «космический лад» не рухнул. Это понятие личности: единственной и неповторимой, не растворяющейся в родовом «я-внутри-мы», самостоятельной проходящей свою часть общечеловеческой истории и жаждущей своего, тоже личного, бессмертия. И это понятие самой истории: не как чередования природных циклов, круговращения лунных «месяцев», земных «лет» или солнечных (даже галактических) «макроциклов». До их исчисления древние дошли своим умом, не худшим, а в чем-то и более пронизательным, более масштабным, чем наш. Не по количеству (хронологических измерений, социальных изменений) мы от них отличаемся, а по качеству. Конца земной истории — абсолютного, безвозвратного конца — они вообразить себе не могли. А не могли как раз потому, что бесконечной и вечной оставалась для них окружающая земная природа. Ее конец для них тоже невообразим.

XX век позаботился о противоположном. Конец человеческой Земли и конец человеческой истории, а с нею и человеческой личности, стали пока еще «альтернативной», однако вплотную подступившей реальностью. Еще сравнительно недавно «неоязыческое» мироощущение было вопросом индивидуального выбора. Хочешь исповедовать Велеса — дело твое; всерьез ли или в качестве экзотической литературной игры — дело опять же твое. Сейчас всерьез внедрять в себя языческий «образ мира» и языческий взгляд на этот мир значило бы для внедрителя первым делом бежать за мылом и веревкой, чтобы повеситься. Ибо мира, адекватного этому взгляду, и взгляда, адекватного этому миру, больше не существует. И не будет существовать никогда. А изысканная игра в неоязыческий «бисер» душу послечернобыльского человека тоже не утолит.

С христианством сложнее. Опасность «национализации» христианства вырисовывается в нашей культуре вполне осязательно. Как и первые за семьдесят ближайших лет пробы заключить альянс «между Пилатом и Христом».

Опасно ли это? На высоте «областей зачных» — нет. Пробы такого сорта известны уже без малого два тысячелетия. Если они каждый раз терпели фиаско (а они каждый раз его терпели), — значит, и теперь попытка альянса принесет только «у с и л е н и е з а б л у ж д е н и я»: высшее наказание «нечестивым», согласно Священной Книге другой мировой религии — мусульманскому Корану...

Да, опасно, и крайне опасно — «внизу», для конкретно-исторической, конкретно-национальной культурной и нравственной ситуации. Кто-то в этой ложной суматохе будет искать сапоги, полагая, что ищет Библию. Кто-то примется искать Библию, но способом, каким соотечественники «достают» или «выбивают» сапоги.

Утилитаризм Древнеязыческий был доверчивым, наивно-детским — в меру тогдашнего человека и его внутренних способностей. Утилитаризм «неохристианский» — болезнь сугубо взрослых и очень дальновидных (по их собственному мнению) людей.

Означает ли сказанное, что национальная проблема ни с язычеством, ни с христианством не имеет сегодня подлинной, а не искусственно, «политически» навязанной сопряженности? Отнюдь не означает.

Языческий мировидческий пласт действительно лежит в основе любой сегодняшней национальной культуры. Языческое детство осталось с нами навсегда; его нельзя ни вычеркнуть, ни «раскритиковать» — оно попросту было. И тем самым в нас и с нами есть. Не желая его узнавать, отказываясь спуститься в это подспудье нашей этики и эстетики (да чего там — самого нашего национально-духовного существа), мы никаких «пережитков» не упраздняем, мы только проводим операцию по исскаению части нашей памяти — национальную лоботомию.

Но детство человека (и народа) — еще не весь человек (и народ). Национальное не застыло в неподвижности, оно растет, оно хочет, может и должно расти, если только над ним не проводят иную изуверскую операцию: не сажают в тесный сосуд, препятствуя росту. (Так когда-то выращивали карликов.)

Г. Гуковский заметил о культурологической философии и поэтике писателей-романтиков, тоже творивших на гребне национальных возрождений XIX века: каждая из культур для этих писателей «представляет собою законченное целое, непроницае-

мое и неизменное. История же превращается... в географию»: в замкнутые культурные комплексы, каждый из которых заперт «в своей системе образов, мотивов, знаков», — можно добавить: и богов.

Даже странно, что все это сказано не о наших современных процессах и тенденциях.

Верно: язычество — религия (и философия мира) исконно родоплеменная. Оттого национальному чувству легче и проще на нее непосредственно опереться. Но где, когда и кем доказано, что национальному чувству, национальному сознанию под силу только легкий путь?

Справедливо: в Новом завете написано, что для христианства «несть Еллина, ни Иудея»⁴. Но в каком смысле? Перед лицом Бога и любви друг к другу. Что ж, разве при землетрясении в Армении спасатели, медики, авиаторы, псжертвователи разбивались по рубрикам на «эллинов» и «иудеев»?

Наблюдая, как напылавают в сегодняшнюю литературу (и русскую, и иных наших) все еще ошарашивающие нас религиозные мотивы, мы склонны скопом зачислять их в поветрие, в моду, если резче — в спекуляцию. Так оно и есть на уровне масскультуры, о чем я уже говорила выше.

Но многого читатель, отученный от разговора на такие темы, а пуще на таком языке, просто-напросто не умел расслышать — задолго до «поветрий». Поскольку же читатель у нас был всякий и разный: в частности и такой, кто имел власть (раз уж мы поминаем Пилата) «распяты и власть имел отпустить», — то оно и лучше, что кое-что он, имевший власть, не умел расслышать.

Г. Айги, к примеру, опубликовал уже сейчас, в 1990 году, к юбилею чувашского классика-просветителя К. Иванова, статью в «Литературной газете». Где черным по белому написал, что значило для чувашей приобщение к христианской мысли, — в частности, перевод Библии.

Батюшки, воскликнет читатель, и Айги туда же!..

А между тем Айги «там же», где и пребывал по крайней мере три десятка лет. На протяжении всех этих лет его стихи казались официально подозрительными, «чуждыми национальным традициям» (был и такой официальный жупел, симметричный жупелу «национализма»). А присмотреться бы, прислушаться бы в свое время к этому поэтическому миру, составленному из безошибочно национальной «материи», природы, предметов, но взвихренному каким-то — неслышанной, тоскующей силы — порывом с в о з ь матерью: в пространство, почти не поддающееся слову, несущее душу поэта «бездны на краю» ко внутреннему свету... Да грамотно квалифицировать бы все это — как бесспорное присутствие в чувашской поэзии Г. Айги христианской космологии... Нет, лучше не надо. Что бы тогда случилось с судьбой поэта? И так испившего польиной чаши «чуждого элемента» и «внутреннего эмигранта»...

Критика дружно перечитывает и переосмысляет нынче наше семидесятилетнее наследие: не самиздатское, не тамиздатское. не из ящиков стола, а легальное, до «Поднятой целины» включительно. И сколько же там отыскивается другой литературы! Других смыслов, других оттенков, других оценок событий, чем привычно-программно нами вычитывавшихся.

Пока подобное «открытие вспять» идет в области социологии. Возможно, аналогичное открытие поджидает нас и в «областях заочных», причем именно на острие национальных исканий. Приглядитесь, коллеги-критики, ко всем писателям и мыслителям, наипаче же к тем, кого ваши предшественники били и за «национализм» и за «абстрактный гуманизм» в одном лице. Коль не все, то многие из битых обнаружат такие скрытые духовные резервы, каких не могли ни понять, ни востребовать бывшие их по наитию — по безошибочному чутью «бдительности».

Если честно и прямо расшифровать то, что мы сегодня именуем общечеловеческими ценностями, это и будут заповеди мировых религий. Во всяком случае уж ни как не будут заповеди религий родоплеменных. И чем больше национальные возрождения распрямятся, возмужают, наберут широкого и спокойного дыхания, тем меньше им захочется национализировать Господа Бога. Тем паче, что никто у Него согласия на это не испрашивал и Он, насколько известно, такого согласия не давал.

⁴ Для справки: это изречение прямого касательства к национальности, к «пятому пункту» не имеет. Речь идет об ином. Первые христиане до крещения были разного вероисповедания: одни греко-римского («еллины»), другие иудейского.

Так что же получается в итоге? А то, чего и следовало ожидать. Слухи о «смерти Бога» оказались (перефразируя Марка Твена) сильно преувеличенными. Зато предстоит еще немало потрудиться, чтобы слухи о «смерти Человека» не приобрели куда более веских оснований.

Традиции, существовавшие тысячелетия, не умерли, это так. Однако восприятие, понимание, продолжение традиций — вещь несравненно более хрупкая, чем они сами

Знаменитый Збручский идол славян покоится ныне в музее, он уцелел. Но многие ли сегодня умеют прочесть его как культурный текст (как текст религиозный — уж и не спрашиваю)? Владимирская Богоматерь тоже висит на стене музея. Многие ли из посетителей, ее разглядывающих, догадываются, что икона начинается не с кипарисной доски и не с яичной темперы, а с души — с нашей способности воспринимать икону как икону, а не как «специфическую» картину? А способность эта воспитывается не на лекциях по изящным искусствам.

«Большая», высокая литература стоит сегодня на рубеже, за которым публицистичность — даже дельная, хорошая публицистичность — вот-вот исчерпается, замысловатые «чисто-беллетристические» конструкции рухнут, а исповедальность (оставаясь в цене, как всегда, — иначе какая же это литература?) потребует не только душевности, но и духовности. За «большую» литературу можно при этом не беспокоиться: где есть томимость духовной жажды, там «явление в пустыне» и «воззванный глас» — так или иначе — неизбежны. Метафорами и мифологемами стилистическими тут не отделаешься.

«Массовая» литература находится в ином положении.

Не Велес и не Христос занимают сегодня умы «делателей» этой литературы — и отсюда ее же, литературы, героев. Как бы ретиво ни пускались они вслед моде на «запредельное», скрыть, что внутренне, духовно они «полые люди» (Т. С. Элиот), не удастся. Коллекционирование геологических терминов и персонажей в рясах эту «полость» только подчеркивает.

...Не Христос и не Велес, а скорее всего Пилат. С его слепо-«трезвой», бессмысленно-«дальновидной» политикой. И с подсознательным выжиданием чуда (покажет Он его Пилату или не покажет?).

Не показал. Нищим, увечным, обиженным, даже «инородцам-иноверцам», вроде самаритянки, даже разбойнику на кресте — показал. Пилату нет. Потому что сам Он был живым, явившимся к Пилату чудом. Однако чтобы понять это, Пилату надо было перерасти самого себя: перестать быть таким, каким он был, и стать другим. Ко встрече с чудом Пилат оказался не готов.

Так и разошлись они вечной притчей, вечными символами-антиподами в разные стороны последующей двухтысячелетней истории.

Куда пойдем завтра мы и наша культура?

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Читайте в двенадцатом номере:

Л. ПАНТЕЛЕЕВ (1908—1987)

Я верую

Главы из книги.

Публикация Владимира Глоцера.

«Разрешаю печатать эту рукопись — или отдельные отрывки ее — через три года после моей смерти.

Л. Пантелеев.

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Аннинский. «Как выбрать мед тоски из сатанинских сот?» — Е. Храмов. Китежанин. — Вячеслав Вс. Иванов. У истоков русского футуризма.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Мира Петрова. «...остался самим собой».

Литература и искусство

«КАК ВЫБРАТЬ МЕД ТОСКИ ИЗ САТАНИНСКИХ СОТ?»

Борис Чичибабин. Колокол. М. «Известия». 1989. 271 стр.

Борис Чичибабин. Мои шестидесятые. Стихотворения. Киев. «Дніпро». 1970. 278 стр.

Шестидесятые? Странно. По рождению Борис Чичибабин никакой не шестидесятник. Он — из старших. Школу закончил за год до войны, и хоть «не стрелял», «в окопах не сидел» и немца «перед собой» не видел, а прослужил всю войну на аэродромах (что скрупулезно подчеркивает в автобиографиях), — он все же из поколения «меченых». По типу психологическому. По памяти о предвоенных святыхнях (пионерское детство, костры Революции, «Аврора», Ленин). По какой-то неудовимой интонации: «Мы — племя лишних в этой жизни чертовой». По готовности к Страшному суду — да простится мне такой оборот в разговоре о мальчиках Державы, спасших Державу и принесенных ею в жертву: они мыслили, наверное, в других категориях, но мыслили — об этом. «Сними с меня усталость, мать Смерть»... Шестидесятники были живей и гибче, несчастней и счастливей, податливей, легче, звонче.

А если по судьбе писательской, по судьбе книг — «восьмидесятником» можно назвать Чичибабина: эпоха гласности вывела его из издательского небытия, из немоты, а те изувеченные сборники, которые выходили у него в 60-е (почти все — в «провинции») и почти все — без настоящего отклика, — не радовали его, заслонены оказались последующим молчанием и изгойством («То я — украинский националист, то я —

сионист»). Выпал Чичибабин из литературного процесса, не успев в него по-настоящему войти, и только теперь вошел. Где же он шестидесятник и почему адресует к тем годам слово «мои»?

Есть причина. В «литературный процесс» тогда Чичибабин не вошел: ни в официальный, естественно (умеренно-оттепельный), ни в «оппозиционный» (молодежный, отчаянно-либеральный — по тем временам). Но в духовную ситуацию — прорвался, полуподпольным эхом, а технически — что тоже характерно для ранних шестидесятых — магнитозаписью. Даже какой-то гитарный благовест, помню, вторил мерному, монотонному, мощному стиху, песенке с кожиновского магнитофона:

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня!

Это тяжкое «без меня!» шло вразрез с общей исповедальной тональностью тогдашней поэзии, с ее захлебывающейся жаждой: объясниться! Чичибабин пришел из других краев. Пахло лагерем, горем, горечью:

А здесь, среди чахоточного быта,
где номера зловонны и мокры,

все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры...

Он мыслял в непривычных для оттепельной поэзии крупностях. Он говорил: «В Игоровом Путивле выгорела трава», — двумя ударами очерчивая силуэт страны, стоящей на апокалиптической черте. Это было мощно, страшно — такой огляд прошлого, когда вокруг поэзия пьянила себя будущим; будущее звенело, гудело, как раковина, из которой слышался зов очищенного от «культы личности» коммунизма, — а у Чичибабина гудели глухие удары, словно камни срывались и уходили из-под ног в пропасть: на Литве — веселье, в Туле — топоры, на Дону — татары, на Москве — воры. Топором вырубал — резко:

Знать, с великого похмелья
завязалась канитель.
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель,

Шестидесятники цели об искренности, взывали к пониманию, верили, что вот-вот откроется вся правда, звали: «помогите!», а он вслед Георгию Иванову устало роптал:

То ли и завтраму, быть может,
воцарится новый тать...
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.

Он круто врезался тогда в хор шестидесятников. Он сказал: «Без меня!» Сказал: «Не надо!» Сказал: мы достойны своей участи. Разумеется, это не вписывалось в официоз того времени ни с какого боку (и официальные инквизиторы действительно плохо понимали, куда его записать, то ли в националисты, то ли в сионисты), но его стихи не вписывались и в нежно-звонкий, инфантильно-доверчивый, романтический, задорный тон шестидесятников. Чичибабин был из другого времени, хотя и врезался в оттепельный сюжет.

Потому и вспоминает: «Мои шестидесятые», отдавая дань общей ностальгии нынешней оглашенной и голосящей эпохи по полузадушенным хрипам первых ее глашатаев. Конечно, Чичибабин сложнее и шире такого опыта. Опыт его именно теперь и виден — из новых, неурезанных, неизуродованных его книг.

Итак, первая контроверза: «без меня!», «расхлебывайте сами!»; человек сам выбирает позицию и за нее отвечает! — и рядом: желание быть со всеми неотлечимом. Этот «растворяющийся» пласт его поэзии (и соответствующий этап опыта) связан, по-видимому, с тем изгойством, полную меру которого хлебнул вчерашний зек, от-

сидев (за смелые разговоры) пять лет, с 1946-го по 1951-й, и выйдя на волю не в оттепель, а в самый мороз культа. Не война, не армия стала решающим испытанием, не следственная тюрьма, не лагерь, а те несколько лет в о л и, когда сама почва, пронизанная страхом и раболопием, отторгала изгоя. Он мог «упереться» перед лицом противника, недруга, далача, там он мог сказать: «Без меня!» — но тут, где надо было как-то сводить концы и сходиться с людьми, тут все это не годилось. Судьба Чичибабина на долгие годы определялась этой нуждой: надо было расплываться по жизни, надо было делить с людьми все. Надо было числиться бухгалтером, рабочим сцены, кладовщиком в трамвайно-троллейбусном парке, да не числиться — вкалывать, разгадывая смысл в этой тщете и беспросветности, ища ей противес.

Противовесом и стала — поэзия. «Весь Божий свет сегодня свихнут, и в нем поэзия одна, как утешение и выход, слепому времени дана». С просветительской точки зрения цепочка спасителей безукоризненна: Гоголь, Достоевский, Толстой, Шевченко, Твардовский. И Пушкин — «вне всяких списков», выше всех: недостижимый идеал гармонии, эталон вечности, знак ее присутствия в беспросветной жизни зека и изгоя.

Высвечивая эту драму, Чичибабин бывает крайне неосмотрителен в формулировках «Как Пушкин и Толстой, я вечности причастен»... Можно себе представить, какие пародийные смыслы извлекаются из подобных строк, при изъятии их из контекста, но... тут мы подходим к замечательной особенности поэтического речи Бориса Чичибабина: в контексте его бытия такие братания не кажутся неловкими, и даже рискованнейшая автохарактеристика: «Я весь добра и света весть», явно задевающая не только Блока, но и Христа, вовсе не отдаёт гордыней.

Дело в том, что контекст поэтического исповедничества Чичибабина, характер его лирического героя начисто исключают гордыню. Этот герой удивительно, обезоруживающе прям и открыто простодушен. Его стих правилен и ясен, но в нем нет докторального напора и нет чеканности; набат — да, это может прорваться, но нет чекана формул, нет самозабвенья правоты. Сама фактура его стиха, иногда отвечающая чтением других поэтов (от Пастернака до Смелякова), более озабочена достоверностью примет, чем изяществом речи или последовательностью мысли; Чичибабин, чтобы срифмовать «духовность», мо-

жет завернуть: «охо-хо в нас», — и это ничего, это прощаешь, это — в стиле Стих держится не на внешних стяжках, демонстрируемых иногда «на грани фола», а на внутренней звукописи: «до берез не доберусь», «розовое зарево», «пышные шипы»... Главное же — замечательное ощущение раскрытости души и жизни: от того, как Гомер в облике «слепенького странника» чешет по миру, бросив «хату», до разговоров о самом себе в стиле заземленного Вийона: «Уже не быть мне Борькой, не целоваться с Лилькой...» А как же быть? И что делать? А вот: «...возьмем с собой Лильку, пойдём по России смотреть, как горят купола»...

Бродяга, путник, гуляка. «Сумка да палка». Может хлебать щи с колхозниками, обсуждая последний пленум (и написать об этом стихи), а может «юродивым, горбатеньким» утrophать на три сотни лет в глубь истории, самому Петру Великому заявив, что тот «не выше скомороха». Может остановить Александра Грина: «...ну, лакомка, жу, враль, бродяга и алкаш», «кабацкий бормотун, вевдалый бедолага...», может увидеть Волошина в том же свете: «художник, пророк и бродяга»... или так: «Буддийский поп, украинский паньч, в Москве француз, во Франции москвич... он свил гнездо в трагическом Крыму, чтоб днем и ночью сердце рвал ему...»

Смысл этих перекличек в том, что герой Чичибабина не вьет гнезда. Он — казак, он — калика, он — юродивый, идет, как по облаку, вечно на краю, у края.

«С Украиной в крови», он живет на земле Украины, привязанный всею судьбой — и к России. На границе, на грани. Можно туда сойти душой, можно сюда. Можно гадать: «Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней, если б город престольный, лучась красотой и добром, не на Севере хмурым вздымал золоченые кровли, а над вольными и щедрым Днепром...» Вольней, может, и было бы, а насчет «бескровней» — сомневаюсь. Однако вопрос характерен: где почва? Наверное, тут добровольные инквизиторы шли Чичибабину украинский национализм.

А вот еще и похлестче: объявляя о духовном родстве с гонимым племенем Сиона, он мечтает: «Не родись я Русью, не зовись я Борькой, не водись я с грустью золотой и горькой, не ночуй в канавах, счастьем обужанный, не войди я навеки частью безымянной в русские трясины, в пажити и в реки, — я б хотел быть сыном матери-еврейки». Видимо, это тут Чичибабин — «сионист», хотя куда

важнее временного адреса само скитанье, обрыв корней, ощущение бездомья и трясины. Это действительно не отменишь и не опровергнешь.

Поэт, всем сердцем прикованный к России, задает себе вопрос, невысказанный в устах патриота какой-нибудь другой земли: что Россией назвать? Скользит реальность, шумит ковыль, промчался степью курчавый и смуглый поэт с негритянским солнцем в крови — это Россия. Топочет в пыли веселый украинский черт — и это Россия. Нету крова, нету толка, нету мира — все равно Россия. Нет ни тверди, ни твердыни — есть эхо, чудо отклика, волна невесомости.

Где тяжесть, куда делась? Где камень державный? Разве что чугунный микешинский шар укатал в себя весь гром? Разве что Медный всадник с Гром-камня протрубит тревогу, но как это далеко, а тут — солнышко Диканьки и мед пасечника. Разве что католическая лепнина Львова, венок каменного Мицкевича заставят встать в позицию: а нам не нужна Европа! С ее надменностью, с ее богатством, с ее регулярностью! Мы — сырые, нам это чуждо! Мы — духовные. мы — нищие! Может, это тот редчайший случай, когда естественная интонация Чичибабина, живая и озорная, отдает позой и «программой», но суть-то его вопроса, вдруг вывихнувшегося в гордыню, все та же, вечная: «О, есть ли где-нибудь на свете Россия, родина моя?»

Как это по-русски: жить в ее лоне, в ее ауре, в ее поле, в ее полях и все время задавать себе огулашающей душу вопрос: боже, где е Россия? в чем она? как собрать, ощутить ее, как угадать смысл ее загадочного бытия в этом мире?

Легко представить себе, сколь многие проповедники русской темы и русской славы готовы будут справа и слева растолковать сегодня Чичибабину смысл, цель и пути решения мучающей его загадки: им насчет России все ясно.

Но мне дороже их ясности — вечный вопрос в голубых глазах скомороха. Его наивное: кто я, откуда, зачём живу? Его вечный страх, что все это — только сон, русский сон, в котором прожил человек всю жизнь, — вот-вот кончится.

И не знаешь, когда в голубом небе громыхнет гром, и в этом лепете, в этом хмельном бормоте вдруг прорежется медь:

И вижу зло, и слышу плач,
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому — палач,
и никому нельзя помочь.

Вопль ужаса и гнева сокрыт в косноязычии пророка, в шуточках юродивого. Безум-

ный взгляд — в его приветливости, взгляд в сторону новых поколений:

Они проходят шагом беглым,
моих святых не видно им,
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

И этот испепеляющий взгляд в себя:

Я не могу любить людей,
Прости мне, Боже.

Какие уж там шестидесятые, какие шестидесятники! Те — жаловались и утешались, просили и ждали и все-таки верили. Ужасно серьезны были и все надеялись на будущее — последние романтики, обманутые мечтатели.

А тут будущее с прошлым вразмах перемешаны, и сатанинская тоска — изначально, и бред скомороший едва удерживает от

срыва в ярость, и кротость мудреца едва спасает от срыва в бессилие.

«Верхним сознанием», пушкински выверенным, просветительски ясным, Борис Чичибабин объясняет читателю задачу, «как выбрать мед тоски из сатанинских сот и ярость правоты из кротости Сократа».

Но колотится из-под гармонии русская вечная боль, и кроется среди бескрайних цветущих, дождичками поливаемых просторов пропасть, которой нет имени.

Впрочем, есть:

Я не могу любить людей,
Распявших Бога.

Но и за словом «Бог» встает такая бездна, которую надо иметь, чем объять.

Л. АННИНСКИЙ.



КИТЕЖАНИН

Даниил Андреев. Русские боги. Стихотворения и поэмы. М. «Современник». 1989. 397 стр.

«Феникс» — так назвало новую книжную серию издательство «Современник». Возрожденная из пепла жизнь воспринимается отнюдь не метафорически, если вспомнить, сколько рукописей было за семь десятилетий арестовано и превращено в пепел кочегарами ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, сколько книг подверглись «активированию» — таким ведомственным эвфемизмом заменялось слово «уничтожить».

Жизнь и труды русского писателя и мыслителя Даниила Леонидовича Андреева (чья книга вышла под грифом «Феникс») немного известны отечественному читателю: в 1975 году (за 10 лет до начала нашего пробуждения, но через полтора десятилетия после смерти автора) появился сборничек его стихов (Андреев Даниил Раньше заревою. М. «Советский писатель», 1975), еще раньше, в середине 60-х годов, в ленинградской «Звезде» дважды печатались андреевские подборки; но крупнейшая работа Даниила Андреева — философский трактат «Роза Мира» — вообще не фигурировала в печатном виде ни на шестой части земного шара, ни за рубежом нашей страны. О «Розе Мира» только говорили, шептались некоторые посвященные, сумевшие прочитать ее, да в «Новом мире» в 1989 году появилось несколько отрывков, да еще в нынешний сборник «Русские боги» вошли фрагменты десятой книги «Розы Мира». А состоит про-

мадина эта из двенадцати книг! Не удержусь, чтобы не перечислить их: Книга первая — Роза Мира и ее место в истории; Книга вторая — О метаисторическом и трансфизическом методах познания; Книга третья — Структура Шаданакара. Миры входящего ряда; Книга четвертая — Структура Шаданакара. Инфразифика; Книга пятая — Структура Шаданакара. Стихияли; Книга шестая — Высшие миры Шаданакара; Книга седьмая — К метаистории древней Руси; Книга восьмая — К метаистории царства Московского; Книга девятая — К метаистории русской культуры; Книга десятая — К метаистории Петербургской империи; Книга одиннадцатая — К метаистории последнего столетия; Книга двенадцатая — Возмозности.

Чувствуете, читатель, какую глыбу вам предстоит преодолеть? Но, читатель конца XX века, затурканный, перепутанный, нервный, спешащий, — читать ее вам будет легко. «Роза Мира» написана не скучным, дошным «гелертером». Ее написал поэт.

Моя собеседница, женщина со вкусом, интеллигентная, начитанная, прочитавшая, кстати, «Розу Мира» и буквально заболевшая ею, сказала мне: «Стихи Даниила Андреева! Но ведь они воспринимаются как какое-то приложение к его философии, не больше».

Мне хотелось бы здесь отойти, насколько это возможно, от сложнейшей, причудливой и поэтической космогонии и мифологии Даниила Андреева, не касаться (пока) его трактовки русской истории и истории русской культуры. Давайте читать его стихи. Но не забудем поставить эпиграфом к стихам определение «Розы Мира», данное ее автором: «Это грядущая всехристианская Церковь последних веков, объединяющая в себе церкви прошлого и связующая себя на основе свободной унии со всеми религиями светлой направленности. В этом смысле Роза Мира интеррелигиозна или панрелигиозна. Основная задача ее — спасение возможно большего числа человеческих душ и отстранение от них опасности духовного порабощения грядущим противобогом».

Автор этих строк всегда читает, даже наедине с собою, стихи вслух: так лучше ощущается, осязается каждое слово. И вот теперь — радуется свой слух, слух давнего читчика стихов и практика стихосложения, когда раскрывает книгу Даниила Андреева и произносит:

Уж не грустя прощальной грустью,
Медлительна и широка,
Все завершив, достигла устья
Благословенная река.

Как широко, какой полной грудью выдохнуто это! Какая удивительная ширь и торжественная, плавная медлительность в последней строке с длинным, наполненным «л» и «н» словом «благословенная». Не только словами, но и звукорядом создается здесь образ, он вершится самым высоким поэтическим умением.

А на соседней странице стихотворение «Русские октавы». Что промелькнет в сознании при самом этом слове «октавы»? Пушкинский ли «Домик в Коломне»? Майковский ли «Гармонии стиха божественные тайны...»? Нет, это свое:

Еще таинственной, вневременной
Живую глечь стихий почует,
Кто у костра один ночует
Над дружелюбною рекой.

(Там река благословенная, здесь дружелюбная — много можно отдать за подобные эпитеты.)

Кто в этой вещи, мудрой темени
Души Земли носится страстной,
Даст путь раскрыться ей, безгласной,
И говорить с его душой.

И если раньше грань отечества
Сужала наш размах духовный
И замыкался миф верховный
В бревенчатую тесноту,—

Теперь простор всечеловечества
Ждет вестника, томится жаждой,
И из народов примет каждый
Здесь затаенную мечту.

Ну и еще одна цитация — начало стихотворения «Весной с холма»:

С тысячелетних круч, где даль желтела
нивами
Да темною парчой духмяной конопля,
Проходят облака над скифскими
разливами —
Задумчивая рать моей седой земли.

Стихи эти написаны, казалось бы, прямо здесь, на берегах медлительной благословенной реки, у ночного костра, над скифскими разливами. Или, наверное, в спокойном доме, у широкого окна, когда не остыла еще душа от совсем недавнего собеседования с родной природой. Как бы не так — стихи эти написаны в камере Владимирской тюрьмы.

В 1947 году недавний участник Великой войны Даниил Леонидович Андреев был арестован. Вместе с семьей. Были арестованы и те немногие слушатели, которым читал он свой роман «Странники ночи», — рукопись этого романа была, очевидно, сожжена в топках МГБ, и этот феникс — увы! — из пепла не восстал. Роман — причина ареста, но приговорен был Д. Андреев Особым совещанием («Эх, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа...») за подготовку «покушения на товарища Сталина» к двадцати пяти годам тюрьмы.

Произведений о каторжном, тюремном быте не так уж много в старой русской литературе, а перечислить те, что написаны «изнутри», в тюрьмах или на каторгах (или, во всяком случае, задуманы там и осуществлены частично), вообще хватит пальцев одной руки. Это XX век высыпал нам целый короб таких произведений. И почти в каждом из них, особенно в стихах, как бы ни был внутренне свободен их автор, тюремная жизнь, неволя присутствует либо прямо как жизненный материал, либо проглядывает какой-нибудь деталькой, черточкой, уколает воспоминанием.

Ничего этого как будто и нет у Даниила Андреева. Изредка-изредка в стихах, под которыми стоят даты с 1949 по 1956 годы, пробивается знак «трудной судьбы» автора (читай: «сидел»); один раз — всем стихотворением: «Сквозь тюремные стены» (но — обратите внимание — сквозь стены, а не за стенами); другой — только названьем: «Игрушечному медведю, пропавшему при аресте». Третий раз одним словом в стихах.

Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,
Но неизбежен час самодержца —
Властвующего стиха.

В камеру, как полновластный хозяин,
Вступит он, а за ним
Ветер надзвездных пространств и тайн
Вторгнется, как херувим.

Говоря о годах тюрьмы, Даниил Андреев (вслед за Достоевским и Солженицыным) благодарил судьбу, приведшую его на целое десятилетие в условия, «которые проклинаются почти всеми их испытавшими». Но «именно в тюрьме с ее изоляцией от внешнего мира... с ее полутора тысячами ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей — именно в тюрьме для меня начался новый этап метаисторического и трансфизического познания...» Во второй книге «Розы Мира» чуть раньше Даниил Андреев дает развернутое определение термина «метаистория»: «...совокупность процессов, протекающих в тех слоях ино-бытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны, его собою в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того... метода познания, который следует назвать метаисторическим».

Гордый своей трезвостью эмпирик, сутубый материалист усмехнется: «Эк, куда хватил! Инобытие, потусторонние процессы... Похоже, спятил наш автор, лежа на тюремных нарах...». Помню школьные годы: как славно разъяснила мне тогда Писарев Раскольникова — голодный был, вот и полезла в голову всякая чушь. Но им всем усмехаться сколько хочется, а мы взглянем — попытаемся взглянуть — в дали русской поэзии. Пушкинский зов: «Давай улетим» — орлу ли молодому лететь в горы или кому-то иному горé? Так ли риторичен тютчевский вопрос: «О чем ты воешь, ветер ночной? А сомнение Фета: «Я ль несся к бездне полуночной иль сонмы звезд ко мне неслись...»? И наш, легко укладывающийся в социалистические рамки, поэт, сказавший: «Никогда взыскующие града не переедутся на Руси». Кто ищет, а кто и обрел град. Даниил Андреев в своих стихах весь пронизан мерцанием, проблесками этого, возможно, уже обретенного града. Даже в тех небольших, приведенных выше примерах поэтического мастерства видно это мерцание: «живая глубь стихий», почувя-

ная таинственно и вневременно, и «ветер надзвездных пространств и тайн», вступающий в камеру, но вступающий — напомним и запомним — вслед за стихом.

Ибо стих — вестник.

Сам этот образ появляется в стихах, но объяснен в десятой книге «Розы Мира» (вы найдете соответствующее место в рецензируемом сборнике в «Приложении»). «„Вестник“ — это тот, кто... дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющийся из иных миров». Вестником в русской литературе называл Даниил Андреев Лермонтова. Он пишет о нем: «Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, несший его душу на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный прием... а факт». А разве, добавим, увиденная с непостижимой для техники XIX века высоты Земля в «Демоне» — тоже только литературный прием?

Даниил Андреев цитирует еще одного вестника:

И з тумане над Непрядвой спящей
Прямо на меня
Ты сошла в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече;

И когда наутро тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

И восклицает: «Да ведь это Навна!» Навна — «то, что объединяет русских в единую нацию; то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь; то, что овекает искусство России неповторимым благоуханием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими женскими образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает в русских сердцах тоску о выском...»

Навна — являющаяся в блоковском цикле «На поле Куликовом» — это свет и добро. Но есть и другие свидетельства Блока:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вкруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Там — Навна, а здесь, по созданной (или угаданной, или увиденной) Андреевым мифологии, — Фокерма, великая блудница. За метим, что в этой мифологии силы Добра и силы Зла противопоставлены друг другу

как бы и фонетически (сравните два ряда имен, и вам станет ясно — Вента-Свентана, Навна, Ярослав, с одной стороны, и Гар-тунгр, Жругр, Уицраор — с другой).

Понятно, почему Даниил Андреев писал «Розу Мира» крадучись, а вынес ее из тюрьмы и закончив на воле, прятал и читал лишь немногим...

Так что же, права моя собеседница, и стихи Даниила Андреева «только приложение к его философии, не больше»? Нет.

Мы можем ничегошеньки не знать о написанной прозой «Розе Мира», но космогония, мифология, метаисторическое видение этого мыслителя предстанут перед нами в поэтических строках не только лирических стихотворений, но и в поэмах, так сказать, прямого звучания: «Навна», «Рух», «Гибель Грозного». Потому что прежде всего — помните — «властвующий стих». Стих чрезвычайно гибкий, чрезвычайно разнообразный — от кантилены, примеры которой приведены выше, до острых ритмов «Карнавала» (из триптиха «Столица ликует»):

Громяхают в метро	
	Толп
	Воды
Единицу — людской	
	Мчит
	Вал.
Заливаются вниз	
	Все
	Входы,
Лабрадор и оникс	
	Всек
	Зал.

И он же, этот стих, мерно гудит в поэме «Рух»:

Звон	
	медный,
Звон	
	дальний,
Зов	
	медленный
В мир	
	Дольный.

И рифма, которой орнаментирован андреевский стих, так же разнообразна: от точных, полных рифм до диссонансных. Вот такова она, «сумма технологии» поэта Даниила Андреева.

Во Владимирской тюрьме Даниилом Андреевым был написан цикл «Святые камни». В него вошли стихотворения «Василий Блаженный», «В Третьяковской галерее», «Художественному театру», «Большой зал консерватории», «У Памятника Пушкину». Завершающее цикл стихотворение «Большой театр» имеет подзаголовок «Сказание о Невидимом граде Китеже»:

И меркнет, стихая, мерца,
Немыслимой правды преддверие —
О таинствах Русского края
Пророчество, служба, мистерия.
Град цел! Мы поем, мы творим его,
И только врагу нет прохода
К сиянию Града незримого,
К заветной святине народа.

Китеж — образ, проходящий по всей русской истории. Сознание полной невозможности физического сопротивления и такой же невозможности быть покоренным. Ушли под воды озера Светлояра не только женщины, дети и старики града Китежа. Китежанами стали через столетия и русские раскольники, и интеллигентные дворники времен застоя, и отечественные мыслители XX века. Китежанином был и Даниил Андреев. То внешнее пространство, где совершалось его жизнетечение, он обозначил так:

Тешатся масштабами. Веруют в размеры.
Радуются милостям, долдонят в барабан...
Это — нянчит отпрысков великая химера,
Это — их баюкает стальной Левнафан.

Рядом с этим так точно охарактеризованным им городом он построил свой Град, где проходило его житетворчество и куда теперь мы можем войти.

Более всего опасался для человечества Даниил Андреев двух бед: всемирной войны, грозящей физическим уничтожением Человека, и тяжелой тирании, бесповоротно несущей духовную гибель Человеку. Он испытал оба эти бедствия. Чтобы победить, он избрал свой путь.

Остается добавить, что «Русские боги» хорошо изданы «Современником», книга, как говорится, «смотрится». Она очень удачно обрамлена небольшим эмоциональным вступлением Михаила Дудина и толковым, обстоятельным послесловием Бориса Романова. Составила книгу и подготовила тексты к печати (а по сути, сохранила их для нас) вдова поэта А. А. Андреева.

Снабжена книга и некоторым изобразительным рядом — в конце ее несколько фоторепродукций из архива семьи Андреевых. По детскому обычаю начинать всякую книгу «с картинок» я заглянул туда, в последние страницы книги. И теперь, прочитав ее и снова вглядываясь в тонкие, красивые, какие-то святящиеся черты ее автора, я лишний раз убеждаюсь в справедливости испанской пословицы: Бог дает человеку лицо и никогда не ошибается при этом.

Е. ХРАМОВ.



У ИСТОКОВ РУССКОГО ФУТУРИЗМА

Бenedикт Лившиц. Полутораглазый стрелец. Л. «Советский писатель». 1989. 719 стр.

Читатель впервые получает возможность познакомиться почти со всем творчеством Бенедикта Лившица — не только автора замечательной книги воспоминаний о начале русского футуризма «Полутораглазый стрелец», но и интересного поэта, не потускневшего рядом с созвездием гениев, и блистательного переводчика. Не желая умалять достоинств оригинальной поэзии Лившица¹, не могу не заметить, что его редкое сочетание классицистической манеры с современной остротой восприятия особенно заметно в мастерских переложениях французских поэтов. Некоторые из переводов Лившица навсегда останутся и как образцы прекрасных русских стихов, и как показательные примеры точности передачи подлинника. Чего, например, стоит его перевод того стихотворения, в котором Шарль Пегг предсказал свою смерть в битве на Марне:

Блажен, кто пал в пылу великого сраженья
И к Богу, падая, был обращен лицом.

Глубокое проникновение в традицию русского поэтического высокого стиля, которым отмечены переводы, сказалось и в собственных его стихах, оттого не теряющих и черт новейшей поэзии. Из петербургских стихов (этому циклу недавно была посвящена чудесная статья одного из самых тонких наших знатоков поэзии — М. Л. Гаспарова) отмечу четверостишие, одинаково запоминающееся и звучанием своим, и живописностью городского пейзажа:

Все те же слова о величьи,
И первоначальный размах
Речного овала, и птичьей
Распятья на спящих домах.

Из приведенной цитаты видно, что у зрелого Бенедикта Лившица больше переключек с акмеистами (прежде всего с Мандельштамом), чем с футуристами, к которым он декларативно примыкал в молодости. Возможно, что будущая история русской литературы сгруппирует постсимволистские течения не совсем так, как они представлялись современникам и участникам. При этом скорее всего расширится область акмеистического направления, которая мо-

жет вобрать немало, скажем, и из стихов Пастернака. Предметность, обращенность к вещи была для многих едва ли не главной стилистической чертой. Она и объединяет архитектурно четкие стихи о городе Мандельштама и Лившица.

Быть может, именно известная условность отнесения Бенедикта Лившица к футуризму и делает его особенно поучительным летописцем ранних этапов этого течения в России. «Полутораглазый стрелец» — книга, достоверная благодаря своей исключительной субъективности. Впрочем, эту особенность мемуарная проза Лившица разделяет с книгами того же или близкого жанра, написанными на рубеже 20-х и 30-х годов несколькими поэтами, среди них Мандельштамом и Пастернаком.

Книга Лившица представляет собой одно временно очерк первой поры поисков русских футуристов («будетлян», как их называл Велимир Хлебников, — один из главных героев этой книги) и автопортрет молодого поэта. Пестрое переплетение разнообразных знаний, обычное для русской интеллектуальной традиции, становилось особенно внушительным в начале века, ознаменовавшегося столькими прорывами в будущее — в литературе, искусстве, науке. Бенедикт Лившиц видит русский футуризм и самых значительных его представителей глазами того начитанного и остроумного молодого человека, которым он был в те годы. Некоторые сжатые замечания, касающиеся, например, психологических трудностей, замеченных им тогда у Маяковского, поражают своей пронизательностью.

Из людей, с автором мемуаров предельно несхожих и оттого именно описанных им особенно выпукло, впечатляет Хлебников. Для понимания Хлебникова как личности «Полутораглазый стрелец» остается незаменимым. Примечательна сцена, в которой Хлебников пробует развлечь девушек, общая им свои словесные изобретения. Для понимания нескольких стихотворений Хлебникова, где поэт, бывший одновременно и специалистом-орнитологом, передает звучание птичьих голосов, ценно свидетельство Лившица о том, как Хлебников подражал этим голосам. Бенедикт Лившиц сумел не только точно передать свои впечатления от личности Хлебникова. Он воссоздает и ту атмосферу завороченности хлебниковским гением, без которой нельзя понять раннего русского футуризма. Хлебников начал пи-

¹ Оригинальные сочинения Лившица, в отличие от переводов, после его ареста и гибели у нас не переиздавались; «Полутораглазый стрелец» был переиздан за границей.

сать стихи совсем особого рода еще до того, как его открыли братья Бурлюки.

Точно воспроизводя пристрастия и причуды своего кружка, Лившиц вместе с тем судит о нем и как историк культуры. В книге достигнуто сочетание отстранения от описываемой эпохи и увлечения ее склонностями (иногда кратковременными). Как исторический и психологический документ книга едва ли может быть переоценена.

Книга появилась во время, когда на смену опытам художественного воплощения приходит литература факта. При несомненной достоверности сообщаемых сведений и надежности памяти автора «Полуто-

раглазого стрельца» стиль этих искусно написанных мемуаров несет отпечаток своей эпохи, когда печатались, скажем, первые русские переводы эпосов Пруста. Так что было бы полезно выяснить место «Полутораглазого стрельца» в истории нашей прозы.

Рецензируемое издание сопровождается чрезвычайно обстоятельным и богатым по материалу комментарием А. Е. Парниса. Поскольку в нем представлены все важнейшие деятели русского авангарда начала века, комментарий может служить введением в изучение авангарда и справочником — пока единственным — в этой области.

Вячеслав Вс. ИВАНОВ.

*

Политика и наука

«...ОСТАЛСЯ САМИМ СОБОЙ»

В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. 1917—1921. Составитель П. И. Негретов. Под редакцией А. В. Храбровицкого. М. «Книга». 1990. 288 стр.

С фотографии 1921 года Владимир Галактионович смотрит скорбно и вопросительно. «Звериная свалка» последних лет погасила лучистый и смеющийся взгляд, который, по свидетельствам мемуаристов, отличал его в прежние времена...

Перед нами свод откликов на события 1917—1921 годов, составленный по статьям, дневникам и письмам Короленко, почти совершенно неизвестным советским читателям. В основу книги лег многолетний труд покойного А. В. Храбровицкого, вместе со своим соратником П. И. Негретовым много сделавшего для возвращения на родину публицистики Владимира Галактионовича.

«Отлучение» Короленко от советской печати началось в 1918 году. Именно тогда вместе со всей независимой прессой был закрыт журнал «Русское богатство», редактором которого Владимир Галактионович оставался более двух десятилетий. Закрыт при помощи бюрократического удушения, а запас бумаги — под угрозой конфискации — куплен газетой «Северная коммуна» за деньги, на глазах теряющие цену.

Теперь, через много лет, мы слышим голос старого писателя, и нам открывается, почему русское общество с таким сердечным доверием относилось к его словам, почему мечтало увидеть его первым президентом свободной России, почему назвало «нравственным гением». Короленко обладал безошибочным чутьем социальной истины. Он и сейчас «с нами и за нас», как думало в 1918 году русское общество, с де-

монстративной торжественностью отмечавшее «некруглый» 65-летний юбилей писателя.

Следует сказать, что и дореволюционная публицистика Короленко попадала в советские издания выборочно, чтобы не нарушать «официальный портрет» писателя. А Короленко всегда шел своими путями, называл себя вечным оппозиционером и не любил «догматического единства», «нерассуждающей ортодоксии», «сильного лексикона» партийных кружков. Его статья «О сложности жизни» (1899) получила в 1914 году авторский подзаголовок «Из полемики с „марксизмом“». Это закрыло для нее путь в издания советского времени, но не остановило усердия толкователей наоборот. Короленко уже тогда выступал против общих схем марксизма, предписывающих такое «шествие истории», которое «направляется к обезземелению массы и исчезновению «мелкобуржуазного» кустарничества», то есть громадного пласта необходимых для жизни ремесел. Такое «шествие», предупреждал писатель, нисколько не совпадает с развитием «промышленного гения» страны и нуждами человека, живущего «не для того, чтобы служить материалом для тех или других схем». Человек важен «сам по себе», без всякого предварительного экзамена на классовый, идеологический или религиозный чин — просто как «русский человек вообще, без различия сословий и состояний». «Не верю в социальную алхимию», — провозгласил Короленко в том давнем

споре. Важно раскрепостить творческие силы самой жизни и направить их в русло самоуправления под девизом «во имя человека и человечности».

На рубеже веков Россия переживала не только культурный Ренессанс, но и мощную демократическую реформацию. Короленко видел «настоящую поворотную точку» исторической эволюции не в «последних словах» социализма, а в пробуждении правосознания «мирного, легального и спокойного обывателя» (дневник 1895 года). Понятие «обыватель» не содержало у него обличительного пафоса, характерного для времени, на разные лады превозносящего любовь к «дальнему», так или иначе «преобразованному» человечеству. Короленко мечтал о том, чтобы язык передовых людей становился все более гуманным и терпимым. «Не смейтесь над маленьким русским человеком!» — призывал он, ведь только в пробуждении всего российского люда — залог нашего дальнейшего гармонического развития.

Летом 1918 года А. В. Луначарский написал, что Короленко растерялся перед жестокостью революции, не сумел понять, полюбить ее и примкнуть к ней, ибо не был подготовлен «обозреть настоящее, прошлое и будущее с вершины исторического познания». На что критик Ф. Д. Батюшков, близко знавший Владимира Галактионовича, заметил: не «растерялся», а «остался самим собой».

Теперь, после горчайшего опыта «исторического познания», мы можем в полной мере оценить высоту примиряющей мысли Короленко и его мужественное упорство в поисках выхода из «мрачного бездорожья», в которое завели Россию социальные алхимики. «От души желаю,— писал Владимир Галактионович Луначарскому,— чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то родило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам».

Короленко и после революции продолжал «совершенно искренно и горячо считать себя социалистом», то есть человеком, «мечтающим о праве и свободе для всех граждан отечества». Классовый подход был ему совершенно чужд: он не делил общество на «передовые», «отсталые» и «эксплуаторские» классы, не считал интеллигенцию «служанкой» классовых или партийных и долов и полагал, что у нее есть самостоятельная роль — представлять и де а л ы

высшей и вечной правды, без которых не может обойтись человечество.

Христианский или социалистический идеал нужен, по мнению писателя, для того, чтобы действительность порою представляла перед судом мечты, перед лицом высших идеальных начал и обобщающих мировых гипотез, которые утлают «общечеловеческую тоску по недостижимому». Короленко никогда не утрачивал чувства реальности. «Мера, мера во всем» — его главное правило. В 1912 году, обращаясь к интеллигенции, он напоминал: «Мы на д у м а л и и читали уже на два-три столетия вперед против европейского уклада, а жизнь держит нас на столько же столетий назади от него». И предлагал не мечтать среди пустыни, а и д т и к цели, выбирая достойные человека дороги. 26 октября 1917 года, еще не зная о свершившемся большевистском перевороте, Короленко написал своим товарищам по редакции: «Вперед — та же социалистическая идея, но без легкомысленной резвости в побежке. А сейчас — верное чутье действительности».

Высокий и гуманный идеал социализма писатель предъявил действительности военного коммунизма, как раньше предъявляла самодержавной бюрократии лицемерно признаваемые ею христианские заповеди. «Такова уж моя судьба,— написал он весной 1918 года,— бороться со всякой торжествующей властью».

Однако то, что писал Короленко, не похоже на яростные иеремиады «Несвоевременных мыслей» Горького, нет у него и мстительно-раздраженных нот «Окаянных дней» Бунина. Возможно, эти две книги выглядят более ярко, но в них (для меня по крайней мере) нет аромата прекрасной и доброй души, который исходит из всего написанного Короленко.

Он не принадлежал к «судиям человеческим», всегда обращался к современникам со спокойной доброжелательностью, искал равнодействующую общественных настроений и даже полагал, что «Доля истины» содержится в анонимном черносотенном послании, наполненном «безобразными ругательствами и угрозами» (такие письма с обращением «Враги Отечества!» получал и сам Владимир Галактионович). В разгар революции 1905 года на вопрос, какую роль он бы предпочел, Короленко ответил: «Миротворца». Тогда же, увидев в сатирическом журнале злую карикатуру на Николая II, сказал: «Пóшло и по-холопски набрасываться на царя и ругать его при первых лучах свободы». Можно ли после этого удивляться, что стойкий «борец с самодержавием» написал 8/21 июля 1918 года: «Известие о рас-

стреле Николая II негодяями красногвардейцами)?

Сразу после февральской революции Короленко провозгласил: «Монарх уходит — Россия остается». В августе 1921 года написал Горькому: «Россия погибает». Он считал, что большевизм как «горячая бацилла» проник во все клетку русского общества: «Есть в России много людей, пострадавших тяжело и неповинно. Но нет ни одного класса, который мог бы претендовать на безгрешность...» (август 1919 года).

Уже в мае 1917 года писатель различил, что на место «милостивого царя» претендует «царица-революция». Летом, после полтавской пробы «всеобщей подачи голосов», заметил, что «много издали кажется красивее, чем вблизи», ибо «народ не развит политически, его мнения детски неустойчивы и изменчивы». А 17 сентября того же года написал старому знакомому: «Вот мы и дожили до «революции», о которой мечтали, как о недостижимой вершине стремлений целых поколений. Трудновато на этих вершинах, холодно, ветрено», но и «любопытно чрезвычайно».

Один из первых декретов большевиков — о введении предварительной цензуры (отмененной в 1905 году) означал для старого демократа, что Россия пошла «по пути смерти», ибо принцип «говорите нам только приятное» укрепляет власть и разрушает страну. То, что воцарилось в России, Короленко определял как «якобы диктатуру рабочего класса и крестьян», а на самом деле «диктатуру штыка», которая предписывала: «Подчинитесь или погибнете». Чтобы в таких условиях остаться самим собой, надо было обладать твердостью Короленко, убежденного, что всякая власть кончается на пороге человеческой совести: «Смерть? Ну, так что же! Жизнь писателя должна быть также литературным произведением». Решимость стоять «даже до смерти» дает лишь вера (религиозная в прямом смысле или «убежденная», по слову Короленко), которая «не поддается софизмам ближайших практических соображений» и говорит человеку свое — «не могу». Однако все, что совершалось вокруг, заставило Короленко сделать горький вывод, что «русская душа — какая-то бесскелетная», наша психология — «это организм без костяка, мягкотелый и неустойчивый», готовый подчиниться «любой «преуспевающей в данное время лжи» («В сторону успеха мы шарахаемся, как стадо»). Короленко полагал, что «запуганная масса» и даже интеллигенция лишь прикидываются приверженцами «вооруженной власти», делая это «без глубокой веры и увлечения, а только из малодушия», не пред-

видя при этом скорую свою гибель под колесницей победителя. Он просто не мог себе представить, что насилью можно служить «увлеченно»...

До самой смерти писатель работал над «Историей моего современника». Эта была история не только единства со своим поколением, но и спора с ним, ибо Короленко, переживший в отрочестве сильное религиозное чувство, никогда не испытывал склонности к материализму и рационализму, а к теориям всякого рода «ниспровергателей» питал прямое отвращение. Но и «скороспелые разочарования» в идеалах семидесятичества не встречали его сочувствия. «Стремилась к тому, к чему нельзя было не стремиться при наших условиях», — писал он в июле 1920 года. На путь революции Россию толкала «слепая реакционность прежнего строя», тормозящего все разумные и необходимые для страны реформы и прежде всего — земельную. Это рождало, с одной стороны, «непосредственный максимализм массы», доведенной до отчаяния и пускавшей в ход «свои средства» и «грабижку», с другой — «надуманный максимализм интеллигенции», воодушевленной социальными схемами, возникшими в «безвоздушно-логическом пространстве». Короленко не считал себя революционером, но понимал, что «Россия должна была пережить свою революцию», а это требовало бесстрашного пересмотра многих старых форм. Ведь и Христос, писал Короленко еще в 1887 году, пережил свой период критики, то есть «разрушающей мысли, прежде чем перейти к созиданию» нового учения, которое является лишь «предчувствием гармонии» будущего, в то время как на земле продолжает царить закон борьбы и мести. (Кстати, знаменитая максима Христа «Кто не со Мною, тот против Меня» была для Короленко абсолютно неприемлема.) «Решительную борьбу» коммунизма с религией Короленко считал большой ошибкой. В те годы он рассуждает на страницах «Истории моего современника» о незаменимой роли христианства для объединения человечества («...и Бог знает, когда эта роль его кончится»). А 11 октября 1920 года пишет С. Д. Протопопову еще определеннее: «...никогда покончено не будет. Да и не желательно это».

Писатель проявлял достаточную терпимость и в отношении к большевикам, а при угрозе реставрации старого режима напоминал, что «в революции не одни ошибки, но и подавлявшаяся правда». И когда в советских газетах его третировали как «контрреволюционную каналью», для Владимира Галактионовича (да и для всего русского

общества) это означало лишь то, что его оппоненты «отбросили всякое представление о литературной порядочности».

Различая народную стихию революции и «самозванную диктатуру», установленную большевиками, Короленко не упускал и сопоставлений между ними. Сила большевизма, на его взгляд, в «демагогической упрощенности» лозунгов и в том, что они «по-сумасшедшему последовательны». Сначала писателю казалось, что «большевистская авантюра» не привьется, что в стране найдутся силы противостояния, но очень скоро он начинает понимать, что этот «бредовый кошмар» надолго: «Чем больше я приглядываюсь, чем больше вдумываюсь в происходящее, тем больше утверждаюсь в мысли, что большевизм такая болезнь, которую придется пережить органически. Никакие лекарства, а тем более хирургические операции помочь тут не могут. Лозунг для масс очень заманчивый. До сих пор вы были в угнетении, теперь будьте господами. И они хотят быть господами. Толкуй тут, что свободный строй требует, чтобы не было господ и подчиненных» (февраль 1919 года).

И все же Короленко не покидала уверенность, что военно-административная диктатура, превосходящая «самые безумные мечты царских ретроградов», исторически обречена. Он постоянно возвращался к мысли о том, что народной стихией нельзя управлять декретами. «Берегитесь же! Ваша победа — не победа», — заявил он в открытом обращении к Луначарскому в декабре 1917 года, а в последнем письме к нему, в сентябре 1920 года, предостерегал: «Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет расплата».

Но пока расплачиваться приходилось народу. Вместо обещанного «коммунистического рая» воцарилась «мертвая пустота» («Земли! Земли!»). Заманчивые лозунги с неумолимой последовательностью обращались в свою противоположность. Объявили «высшую форму общения» — а ввели «невежественную самонадеянность», беззакония и повальное воровство; погнались за равенством, провели с этой целью «так называемое

раскулачивание» — и добились голода, уничтожения самой трудоспособной части народа, «и теперь земля лежит впусте». «Показательные опыты» воплотили в «революцию чрезвычайек», которая «сразу подвинула нас на столетия назад». Дело дошло до того, что люди «спросят, чтобы их хоть казнили по-старому: позволяли бы исповедаться, попроситься с близкими или хоть написать предсмертные письма» (апрель 1919 года). И в результате вместо притязаний возглавить мировую революцию показали миру, «как не надо делать социальную революцию», и теперь долго будут говорить: «...видели, видели на примере России».

Через все эти кровавые годы тянутся хлопоты Короленко о приговоренных к расстрелу, о притесняемых властью. Уехать за границу, как Горький и Бунин, он наотрез отказался. Больной и старый человек обивал пороги чрезвычайек, и редко-редко ему удавалось «затронуть человеческие струны». А люди шли, «надрывая сердце слезами, жалобами и горем». «Создалась такая традиция: что бы ни случилось, — беги к Короленку», — написал он 6 сентября 1921 года. Последнее ходатайство Короленко подписал за девять дней до смерти...

Короленко приравнивал литературу к религии и полагал, что писатель даже на развалинах мира должен находить слова надежды и утешения. В начале мировой войны он грустно пошутил: «Поляки говорят: надежда мать глухих. Я когда-нибудь так и умру дураком». В самые тяжелые дни он не терял веры в человеческую природу, в то, что «натура у русского человека хорошая», что у властителей страны пробудится «собственный здравый смысл» (нэп он считал «поворотом несомненным» к жизни). В инстинкте родины Владимир Галактионович видел огромный объединяющий потенциал, который воспрепятствует распадению России на общество без связей и позволит создать ковчег национального спасения.

Он мечтал о России свободной и человеческой, входящей во всемирное объединение равных и независимых государств.

Мира ПЕТРОВА.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН. Записки экстремиста (Строительство метро в нашем городе). «Знамя», 1990, № 1.

Кучка энтузиастов загорелась идеей построить в родном городе метро... Стихийное пробуждение масс, увлеченных смыслом общего строительства... Соппротивление властей... Группа «экстремистов» уводит людей под землю, лишает контакта с внешним миром и упрямо продолжает начатое дело.

Логика дальнейших событий легко угадывается: интриги между вождями-«экстремистами»... борьба за власть... диктатура... террор... Добровольно спустившиеся под землю люди теперь уже не могут выйти наверх под угрозой казни.

И вновь логика работает железно: построить метро, выбираются наружу те, кто смог выжить в адских условиях. В основном это не те, прежние, а их дети и внуки. Что же они видят? Нормальную жизнь постиндустриального общества, которое в допотопном метро давно уже не нуждается.

Скажу сразу, у меня немало претензий к новой повести-притче Ан. Курчаткина по части языка, стиля, некоторых мотивировок. Фантастический элемент этой вещи «сшит на скорую руку, выполняет явно служебную функцию. Да и психология героев бедновата, а ведь именно глубокий и даже утонченный психологизм отличал прозу автора «Гамлета поселка Уш».

Недостатки, впрочем, есть почти у всех крупных вещей Курчаткина, и в моем представлении он все-таки остается превосходным новеллистом, автором «Сверчков», «Полосы дождей» и других мастерски написанных рассказов-новелл.

И все же «Записки экстремиста» вы прочтаете до конца. Повесть трогает и, простите за банальность, наводит на мысли, она выпадает из привычного и уже порядком заэксплуатированного жанра антиутопии.

Какие мысли? Ну, например, о том, что антиутопия, как и утопия,— не литературный жанр просто, а определенная модель общественного сознания. По сути это та же схема, только — наизворот. Следуя ей, мы должны подвергнуть сомнению Цель и Идеал как таковые. Ведь сейчас даже школьник, читающий «Орнек», знает, что «благими намерениями» и т. д. Что не надо ослаблять слабое человечество призраками Больших Идей, в каждой из которых есть зерно тоталитарности, способное вырасти в чертополох. Кучка «экстремистов» всегда наготове...

Все так, и все это мы уже знаем. Но почему же опять на лицах недоуменный вопрос: как жить дальше?

Семьдесят лет строили глупое и ненужное общественное «метро» и остановились как вкопанные: Запад процветает; мы же топчемся на месте, не видя впереди пути. Эйфория гласности давно уже переросла в растерянность, растерянность постепенно переходит в ужас. «В поле бес нас водит, видно...»

Социальный прогноз, который с грустной иронией предлагает Курчаткин, угнетает полной безнадежностью. Выбравшись наружу, «экстремисты» и ведомые ими попросту ослепли от одного вида «нормальной жизни». Большая часть их тут же спряталась назад, под землю, как кроты от утренних лучей. Другие сошли с ума. Выжили единицы!

Но и это еще не все. Оказывается, «нормальная жизнь» тоже внутренне обречена. Чудо современной техники, «пеналы», преодолев гравитацию, переносят людей прямо по воздуху. Красота! Вот только лиц у этих людей почему-то не видно. Сам же художник их не видит — дурной признак!

Чем же движимо то общество, которое не стало строить «метро», а предпочло жить «нормально»?

«Жизнь моя тянется чередой однообразных дней... Время от времени меня в моей конуре посещают всякие молодые люди... Они просят рассказать о нашем Движении, о том, как все начиналось, жалуются на бесцельность и пустоту жизни».

И потому старый «экстремист» убежден, что еще «возникнет нужда в метро — возникнет и нужда в знании о тех, кто строил его». Лично я не смею его осуждать. Ведь каждому «хочется утешения, сознания ненарасности прожитой жизни, сознания оставляемого после тебя...» Святое человеческое право...

И потом... Я тоже не уверен, заживи мы «нормальной» жизнью,— в один прекрасный день наш «человек нормальный» не взбунтуется ли и не пошлет «к черту» все эти «пеналы» и прочее; а потом, чего доброго, вновь закопается под землю и будет там строить глупое, ненужное, но дающее хоть какую-то иллюзию общественного смысла «метро».

Повесть Курчаткина остро ставит все эти вопросы, но их не решает. Пронизанная грустной иронией, она позволяет автору уйти от прямых ответов, что, вообще говоря, характерно для прозаиков «московской школы».

Ирония спасает Курчаткина.. Но не нас с вами.

Павел Басинский.

*

ГРИГОРИЙ ШУРМАК. Нас время учило. Повесть. М. «Советский писатель», 1989. 303 стр.

Время учит всех. Но учиться можно по-разному.

Можно так, как об этом сказано у Багрицкого: приказы века не обсуждаются — они исполняются (пусть даже с признанием их тяжести, но с убеждением в их «высшей революционной целесообразности»). А можно — как у Коржавина:

Время? Время дано. Это
не подлежит обсуждению,—
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем.

Именно эти коржавинские строки я поставила бы эпиграфом к повести Григория Шурмака.

Она откровенно автобиографична по материалу и исповедальна, лирична по интонации (впрочем, в начале 60-х так писали многие; вспомним «До свидания, мальчики!» Б. Балтера, «Будь здоров, школяр!» Б. Окуджавы...).

Герою Шурмака тоже приходится вынести многое из того, что выпало на долю людям его поколения: предвоенное, омраченное репрессиями детство; в начале войны — эвакуация, тяжкий, недетский труд в тылу, потом — фронт; первые — ошеломляющие в своем неустойстве — дни мира... Так что и Балтер и Окуджава вспомнились не по одному лишь интонационному сходству...

Оконченная в 1963 году, повесть Шурмака пришла к читателю 26 лет спустя — в 1989-м, когда ее автору уже под 70... Почему?

Вяч. Кондратьев в предисловии к повести цитирует заключение одного из рецензентов: «...приведенные... ссылки — всего лишь примеры негативной постановки политических и военных вопросов, содержащихся в рукописи. Исходя из этого, считаем, что издание романа «Нас время учило» не принесет пользы делу военно-патриотического воспитания трудящихся, особенно молодежи».

Резолюции этой — в тех условиях — оказалось достаточно, чтобы решить судьбу рукописи на долгие годы...

Что же так напугало тогда рецензентов? Быть может, некоторые, с их тогдашней точки зрения, излишне вольные (а на наш сегодняшний взгляд — чересчур наивные) вопросы, которыми иной раз задается юный герой повести? Например, его беседа во сне с товарищем Сталиным: робкий вопрос, нужны ли (перед войной!) массовые аресты старых революционеров, бывших вождей — и сурово-непреклонный ответ Вождя: тем, кто сбился с пути, нет пощады! Что ж, одно-два слишком прямолинейных, не обусловленных художественной логикой повествования обращений к сталинской теме, может быть, и стоило бы снять: ощущение от них (быть может, и не вполне справедливое) такое, словно бы это поздний Шурмак-публицист подменяет (а кое-где и подминает под себя!) юного героя-повествователя.

И все же главная причина «нежелательности» этой книжки в минувшие, не столь далекие годы, пожалуй, в другом. Начальство и выражавших его установки рецензен-

тов раздражали, видимо, не просто отдельные неосторожные высказывания автора и его персонажей, — раздражал сам «тип» героя. В самом деле: к какому герою привыкли мы, с каким удобнее было «кусепешно» осуществлять военно-патриотическое воспитание? Конечно же, с твердокаменным, закаленным, как сталь. — таким, из которого сам бог велел делать гвозди («Крепче б не было в мире гвоздей» — Н. Тихонов). Еще бы, ведь «у нас была великая эпоха»...

Герой Шурмака — из иного ряда: не стальных, не железных, в чем-то, может быть, даже слабых. Поначалу — по-детски наивный, несформировавшийся, не готовый к тому, чтобы встретиться со злом лицом к лицу — не тогда, когда оно в образе фашиста, а тогда, когда рядом с тобой, в виде малолетнего уголовника... Со всем пылом юности, стремящейся творить себе кумиров, влюбляется он — иначе не скажешь — в нового начальника на их далекой тыловой (но очень важной для фронта!) стройке, — в его волю, решительность, властность; и с какой болью, горечью обнаруживает, что за этим «волевым» антуражем — пустота, равнодушие к людям... На наших глазах разворачивается своеобразный роман воспитания — в предвоенные годы и на войне, воспитания фронтом и тылом... Воспитания не богатыря — просто человека: честного, совестьливого и сердечного...

В стихотворении «Защитник Москвы» Александр Межиров вспомнит о таких ребятах:

«Невысокого роста и в кости не широк,
никакого героизма совершить он не смог.
Но с другими со всеми, неокрепший еще,
под тяжелое Время он подставлял плечо».

Об одном из этих людей — книга Григория Шурмака.

А. Коган.

*

ПЕТР КОЖЕВНИКОВ. Ученик. «Юность», 1989, № 4.

ПЕТР КОЖЕВНИКОВ. Личная неосторожность. Повесть. «Юность», 1990, № 5, 6.

В прозе Петра Кожевникова есть все, что теперь привычно связывается с «андерграундом», — стилистическая и композиционная усложненность, постмодернистская цитатность, индифферентно поданная «чернуха» и прочие признаки «новой», «другой» литературы, произведения которой все чаще выносятся к читателю журнальный поток. Эта проза искушает критика соблазном отнести к ней как к феномену языка и порассуждать, например, о том, как в «Личной неосторожности» своеобразный слав «академического», «научного» и «бюрократического» языка работает в повествовательном режиме. Но мне интереснее, честно говоря, другие, более грубые, может быть, материя — герой, конфликты, проблемы. Именно здесь, мне кажется, можно отыскать то, что отличает Кожевникова от других «других».

А отличает его гораздо большая, чем у многих, откровенность в обнажении самой основы «другого» сознания. Читая некоторых писателей «новой волны», нетрудно прийти к выводу о принципиальном отсут-

ствии у них хоть какой-нибудь ценностной иерархии, о нравственном релятивизме и прочих непривычных в русской литературе вещах. Но это, конечно, обман зрения. «Другие» прозаики, может быть, куда большие моралисты, чем те, на фоне которых они выглядят циниками. Просто при градуировании ценностной шкалы ими принимаются во внимание факторы, далеко не всегда учитывавшиеся литературой и уж вовсе не учтенные обыденным сознанием. Например, ужас человека перед жизнью, которая самим ходом истории повседневно лишается не только смысла, но и всех культурных покровов, всех примиряющих мифов. Чтобы не задохнуться от этого ужаса в атомизированном мире, человек должен возвести в самом себе то, что всегда было вовне, — новый миф, новый смысл, нового Бога, если хотите. То, что прежде творилось «сборно» и на протяжении тысячелетий, современный человек должен создать один и немедленно.

Повести Петра Кожевникова переполнены ужасом перед жизнью, особенно первая, но в них есть и настоячивые, последовательные, хотя и безуспешные поиски просвета. Его герой — почти не изменившийся за тридцать лет, разделяющих «Ученика» и «Личную неосторожность», — предпочитает бесполезно и неуклюже биться о стену, чем иронически сортировать и классифицировать обломки распадающегося мира, как это делают герои многих произведений «андерграунда». Герой Кожевникова — человек, связанный с творчеством. В его мире много миров, ему есть куда бежать от безобразия мира реального; творчество — его спасение и оправдание, но он не может не задаваться вопросом «зачем?». Только жизнь, от которой он бежит, может дать ответ на этот вопрос. В повести «Ученик» круг замкнут, хотя она и кончается словами надежды: «Только Ты прости за то, что Тебя нет. Но может быть, Ты будешь?» Кто это — Ты? Это местимение у Кожевникова принципиально многозначно — Любимая, Учитель, Бог... Это может быть и он сам — Ученик. Ученик, во всяком случае, согласен учиться.

Вторая повесть Кожевникова, датированная 1989 годом, ближе к жанровому канону, чем первая. Она организована сквозным сюжетом, в ней писатель сравнительно редко «отлетает» в метафизические выси, хотя их наличие обозначено. На первый план все-таки выходит натуралистически, в хороших традициях «физиологического очерка» поданная реальность — типы городского «дна», актеры бюрократического театра, сюрреалистический маскарад официальных собраний, «разбирательства», упомопрачительное советское делопроизводство. Соответственно изменена внутренняя установка героя. Сегодня он, по его же словам, — «позитивист», и как «позитивист» хочет добиться — здесь и сейчас — элементарной, «маленькой» справедливости, почти побеждая в одинокой борьбе с отлаженной машиной. Однако таинственная смерть героя в финале обозначает, видимо, что сердцевина его «позитивизма» — все-таки отчаяние.

Эта повесть несет на себе специфические черты переходности, некоторой несведенности «концов» и «начал». Впрочем, и весь наш «андерграунд», вся «другая» проза представляются мне неким переходным, «проме-

жуточным» искусством. Того подпольного пространства, которое многое скрывало и многое позволяло прощать, уже нет, и каждый художник бывшего «андерграунда» стоит сейчас на площади. «Моя судьба — „возращение блудного сына“ — здорово мыслящее к Отчизне», — пишет Кожевников, но это пока выбор жизненный, и еще неизвестно, как он будет обеспечен литературно, эстетически.

Александр Агеев.

Иваново.

✱

Н. НАРОКОВ. Мнимые величины, Роман, «Дружба народов», 1990, № 2.

О Николае Владимировиче Нарокоче (Марченко) известно немного... Энциклопедический словарь русской литературы после 1917 года, изданный в Лондоне, сообщает, что родился он в 1887 году в Бессарабии, учился в Киевском политехническом институте. После октябрьского переворота стал офицером денкинской армии, был в плену, бежал. В 1932 году его арестовали, но в заключение он находился недолго. В 1944 году эмигрировал, а с 1951 года начал печататься. Роман «Мнимые величины» (1952) принес автору мировую известность.

Об этой книге у нас писали как о вещи с острым сюжетом, как о хорошей беллетристике на драматичнейшем материале. Мое же внимание приковала другая сторона романа, менее, быть может, очевидная.

...30-е годы. Областной город. Должность начальника местного управления НКВД занимает участник гражданской войны, в прошлом машинист, Ефрем Любкин, какой-то уверен, что «каждый гражданин, который еще ходит на свободу, есть скрытый враг Советской власти!.. Невинных жалеем? Невинных в СССР нет!». Происходящее в стране принимает уже характер иррациональный, мистический...

Рассуждая о массовых расстрелах, один из персонажей, заключенный, уточняет: «...сатанинская пакость в том, что это ведь у них совсем не расстрел. В расстреле, как вы себе хотите, есть какая-то романтика. А у них не расстрел, а убийство. Они не расстреливают, а пристреливают..»

— Сатанинское? — переспрашивает собеседник.

— Хуже — внечеловеческое. Сатана — это «против Бога», и антихрист — это «анти-Христос». А тут не «анти», тут — «вне». Вне Бога, вне сатаны, вне человека... Это оборотная сторона мистики, это мистика с отрицательным знаком, минус-мистика!

О. Сергей Бугаков назвал царевубийство «черной мессой всех революций». И тридцатые годы воспринимаются Нарокочем как дьявольская черная мистерия. Участники террора пытаются изо всех сил поверить в «правду предлагаемых обстоятельств» и добросовестно исполнить порученную им роль, боясь завтра перейти в разряд жертв. Второй же роли гротескно путаются: «Товарищи смертники, заходи вон в ту дверь на шлепку!» (Разрядка моя.— В. Б.)

Бесноватый палач Любкин, у которого тоже впереди участь смертника, внушает собрату по профессии: «...ты не сомневайся: если нашей коммунистической партии завтра-

ра прикажут выкинуть из Мавзолея труп Ленина, прсклять Карла Маркса и заплывать коммунизм, так она и выкинет, и проклянет, и заплывает. И не потому, что послушается, а потому, что будет думать, будто это она сама так хочет.

Хаос, распад, поприание всяческих принципов, по мысли писателя, не случайность, а логическое зачернение и реализация идей воинствующего атеизма. «Речь безумен в сердце своем: несть Бог», — написано в знаменитом 13-м псалме Давида. Отрицание Бога на интеллектуальном уровне может быть «временным заблуждением», а утверждение этого «в сердце своем» с вытекающими отсюда поступками — уже безумие, уже отрицание жизни; жизнь «вне» — видимость жизни, когда все величины — мнимые.

Подлинная же жизнь — в упорном противостоянии напору царства тьмы. Спасаешься сам, спасешь вокруг тысячи других, говорил великий христианский подвижник св. Серафим Саровский. Слова эти невольно вспоминаются, когда читаешь, как кроткой труженице-интеллигентке, «голубенькой», как ее называют соседи, Евлалии Григорьевне, раздавленной житейскими невзгодами (муж посажен, зарплата нищенская...), приходит тот самый Любкин. Мизансцена — «достоевская».

«— Коля есть в вас сила, так дайте мне ее, поддержите, потому что я, кажется, в самую яму падаю! — Вы у меня... У меня вы силы ищете? — не сдержалась и тоже выкрикнула Евлалия Григорьевна. — Конечно, у вас! Именно только у вас! Где же у другого? У кого у другого? — Но почему же? Почему? — Потому что вы настоящая!.. А мне, кроме как в настоящем, спасти себя негде!»

Сопереживая своим соотечественникам, Нароков не лишает их перспективы искупления вины и очищения, не воздвигает между ними и собой стены; человек для него, пусть даже самый непотребный, — икона, втоптанная в грязь, и, если поднять ее и очистить, она может явить свой подлинный лик.

В. Буцков.

✱

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. Записная книжка. 1919—1920. «Вильнюс», 1990, № 6.

В 1921 году в Мюнхене в издательстве «Drei Masken Verlag» вышел сборник статей под названием «Царство Антихриста». Сборник открывался одноименным эссе Д. С. Мережковского, далее шли материалы З. Н. Гиппиус «Петербургский дневник», «История моего дневника», «Черная книжка», «Серый блокнот», Д. В. Filosofova «Наш побег», В. А. Злобина «Тайна большевиков». Там же была напечатана и «Записная книжка» Мережковского. Участники сборника делились своими впечатлениями и размышлениями о русской революции, точнее, по выражению Мережковского, об «Октябрьской контрреволюции» — в противовес «благоуханным» Февралю и Марту. И вот «Записная книжка» опубликована в нашей стране. (В № 1 за 1990 год журнал «Вильнюс» напечатал также письма Мережковского 30-х годов польскому ученому М. Э. Зазеховскому.)

Нельзя сказать, что это первые «перестроечные» публикации Мережковского; уже вышли (одновременно в разных издательствах) историческая трилогия «Христос и Антихрист», роман «Александр I»; пьеса «Павел I» с успехом идет в одном из московских театров; наконец, издательство «Правда» (!) выпускает его четырехтомник более чем миллионным тиражом. В этом внезапном «выбросе» есть и свои комические стороны: по меньшей мере пять журналов отметили недавний дерматовский юбилей публикацией эссе Мережковского «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». В иное время подобное возвращение могло стать настоящим событием в культуре. Ныне это «быт» времени перехода от гласности к свободе печати.

Но публикация в журнале «Вильнюс» имеет особое значение, она дает непосредственное представление о политической позиции Мережковского, а именно — о его (их — вместе с З. Н. Гиппиус) ожесточенном антибольшевизме. В «Записной книжке» отражена жизнь четы Мережковских в Петрограде и их побег на Запад через Польшу. В этом смысле форма и пафос записей Мережковского напоминают знаменитые «Окаянные дни» Бунина. «Все лето 1919 года прошло в «пытке надеждою». Освобождения ждали мы со дня на день, с часу на час. Когда при наступлении Юденича приближались глухие звуки пушечных выстрелов, мы прислушивались к ним, как погребенные заживо — к стуку в крышку гроба... Но выстрелы постепенно удалялись, наконец умолкли. И мы перестали ждать: поняли, что в гробовую крышку стукали, потому что заколачивали гроб». Это чувство испытывал и Бунин — в Москве, в Одессе.

И еще одна важная тема записок — мысли о ничем не понимающем Западе, о Европе, всматривающейся в лицо русского большевизма: «...мнимое «невместительство» Европы в русские дела окажется действительным вмешательством в пользу большевиков. То, что тогда Европа сделала с Россией, никогда не простится». И о том же: «Чем вы (в Европе.— А. В.) спокойнее, тем страшнее нам»; «Не своею силою сильны большевики, а вашей слабостью. Они знают, чего хотят, а вы не знаете; они хотят все одного, а вы хотите каждый разного»; «Когда мы с вами говорим, то все слова как в подушку». Не правда ли, знакомый голос — не Солженицын ли это обращается к Западу полвека спустя?

Но вот что интересно. Как в дневниках Бунина в полной мере выявляется его художественный дар, внимание к реалистической конкретности, к точной и одновременно символической детали, так и в записях Мережковского не менее ясно выявляются сухость, «деревянность», декларативность его слова, пристрастие к умозрительным историософским и метафизическим схемам, неистребимая выспренность, высокомерие, отталкивавшие прежде всего неуместностью, несочетаемостью с вызвавшей их к жизни ужасной реальностью. «Вы, оставшиеся, не завидуйте нам!», «Здесь, в изгнании, — тот же крест, как там, в России: мы только переложили его с плеча на плечо», «На ниву Божью, вспаханную плугом войны народов братоубийственной, мы, русские изгнанные

ки, бестелесные духи всемирности, падем, как семена сева Божьего, грядущего братства народов»...

«О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем»,— восклицал Бунин в «Окаянных днях» по другому, но сходному поводу.

«По двадцатиградусному морозу,— записывает Мережковский,— за пятнадцать верст гоняют на окопные работы семнадцатилетних курсисток и старых профессоров-академиков. Горький возмутился, написал Ленину, просит, чтоб этого не делали. Как будто не сам Горький с Лениным это сделали». Казалось бы, припечатал. Но ведь и Мережковский (в отличие от Бунина) тут очень даже при чем. Конечно, он никогда не призывал гонять курсисток рыть окопы, но не следует забывать, с какой последовательностью и ожесточением отрицался им дореволюционный российский уклад: в знаменитом трактате Мережковского грядуще-

му Хаму социализма предшествуют другие два — самодержавие и православие. И дело тут не в том, хороша ли была российская государственность (допустим, что дурна), а в том, что падение этой государственности вылилось в национальную катастрофу, последствия которой мы пожинаем до сего дня. «Что такое Россия? Ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек»,— вспоминает Мережковский фразу, брошенную ему некогда К. П. Победоносцевым. В отличие от покойного обер-прокурора Синода ему пришлось на себе почувствовать, что такое «лихой человек». И что же? Адепты теорий «религиозной общественности» Гиппиус и Мережковский бежали, но тысячи православных священников пошли на казнь за веру...

Уроки горькие, дай Бог, не напрасные.

Андрей Василевский.

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Читайте в 1991 году:

1. АНТОНИЙ (БЛУМ), митрополит Сурожский. Без записок. Вступительное слово Сергея Аверинцева.
2. С. И. ФУДЕЛЬ. Воспоминания. Вступительное слово протоиерея Владимира Воробьева.
3. ИЗ НАСЛЕДИЯ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора),
А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. Гинзбург.**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 206 08-29.

Сдано в набор 20.07.90 г. Подписано к печати 29.04.91 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл. печ. л. 24,0 усл. кр.-отт.), 28,41 уч.-изд. л.

Тираж 957.000 экз. (1-й завод 1—422.000 экз.). Зак. 01420061. Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К 6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии № 1 ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, проспект Поседы, 10

9 НМ № 6 ЭО

**Во втором полугодии 1991 года
и в 1992 году
«Новый мир» предполагает опубликовать:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман);
ПЕТР БАЛАКШИН. Финал в Китае (фрагменты книги);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
М. ВОСЛЕНСКИЙ. Феодальный социализм (место номенклатуры в истории);

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНОБЫЛЕ;

АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ. Повесть о Дубчесских скитах;

А. ГЛАГОЛЕВ. За други своя (воспоминания);

В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);

И. А. ИЛЬИН. Из философского наследия;

АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман); Рассказы;

М. КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Рассказы;

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И Аз воздам (роман);

ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (эссе, перевод с французского);

П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;

МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть); Рассказы;

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Счастливая Москва (роман);

Н. САРРОТ. Дар слова (повесть, перевод с французского);

ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»); Сквозь чад; Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;

А. С. СУВОРИН. Дневник (фрагменты);

И. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого;

Н. ТОЛСТОЙ. Жертвы Ялты (главы из книги);

ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;

Ю. ШРЕЙДЕР. Синдром освобождения (эссе);

а также другие произведения.

Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».